ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ

ЯЗЫКИ ИСТОРИЯ КУЛЬТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»



ВИКТОР ИВАНОВИЧ
БОРКОВСКИЙ

1900—1982

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ

ЯЗЫКИ ИСТОРИЯ КУЛЬТУРА

К 85-летию
академика
В. И. БОРКОВСКОГО

Ответственный редактор
член-корреспондент АН СССР
Ю. Н. КАРАУЛОВ



МОСКВА
«НАУКА»
1985

Сборник, посвященный памяти академика В. И. Борковского, включает статьи, отражающие широкий круг его исследовательских интересов. Преимущественное внимание уделено проблемам истории русского языка и русской культуры (исторический синтаксис, вопросы функционирования современных славянских языков и их диалектов; вопросы истории и культуры восточных славян).

Редколлегия

В. П. ВОМПЕРСКИЙ, В. Л. ВОРОНЦОВА,
Л. П. ЖУКОВСКАЯ,
Е. А. ИВАНЧИКОВА, Ю. Н. КАРАУЛОВ,
Р. Б. КЕРШИЕНЕ (секретарь),
М. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Рецензенты

В. В. ИВАНОВ, Л. М. МАКСИМОВ



В $\frac{4602000000\text{-}164}{042\ (02)\text{-}85}$ -335-85-II

© «Наука», 1985 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый сборник статей посвящен памяти академика Виктора Ивановича Борковского.

С именем В. И. Борковского в советской лингвистической науке связано прежде всего развитие исследований в области сравнительно-исторического синтаксиса русского и — шире — восточнославянских языков. Именно в этой области он выступил и как исследователь, автор широко известных фундаментальных трудов, и как организатор направления сравнительно-исторических исследований восточнославянских языков; тем самым он продолжил традицию русской филологической науки XIX в., идущую от таких корифеев, как А. А. Потебня, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, Е. Ф. Карский, Б. В. Лавров и др. В. И. Борковский был крупнейшим знатоком письменного наследия восточных славян и современных восточнославянских языков, это позволило ему стать одним из инициаторов ряда значительных научных предприятий, таких, как диалектологический атлас русского языка, лингвистическое и палеографическое изучение новгородских берестяных грамот, цикл трудов по сравнительно-историческому синтаксису восточнославянских языков; В. И. Борковский — вместе с Р. И. Аванесовым, С. Г. Бархударовым и Ф. П. Филиным — стал у истоков организации и осуществления академической «Исторической грамматики русского языка».

Содержание сборника в целом отражает широту научных интересов В. И. Борковского. Соответственно в сборник включены статьи по различным актуальным вопросам современной славистической науки, при этом преимущественное внимание в нем уделено проблемам истории русского языка, русской культуры и письменности.

Сборник состоит из трех разделов. Первый раздел, самый обширный, выдвигает на передний план аспект истории грамматического строя восточнославянских языков. Наиболее широко представлены здесь работы по историческому синтаксису русского языка и прежде всего, в частности, статьи учеников В. И. Борковского, сотрудников руководимого им в Институте русского языка АН СССР сектора сравнительно-исторического изучения восточнославянских языков. В этих статьях рассматриваются различные типы словосочетаний в древне- и старорусских памятниках (атрибутивные, объективные, пространственные, а также оборот «дательный самостоятельный»), уточняются их синонимия, связь с семантикой слова, их место в грамматической системе. Цикл статей посвящен историческому синтаксису сложного предложения: теоретическим принципам исследования древнерусского текста и специфики его структуры; описанию

сложноподчиненных и сложносочиненных конструкций (в том числе и многокомпонентных); изучению вопроса о становлении конструкций с чужой речью, ее параметров и служебных средств. В двух статьях анализируется неравномерность развития в различных славянских языках отдельных безличных конструкций.

Разнообразны вопросы, рассматриваемые в статьях, которые посвящены проблемам исторической морфологии: элемент *тъ/ть* в глагольных формах прошедшего времени; вариативность форм имен существительных; подвижность приставки *не-* в предложно-падежных сочетаниях и написание возвратной частицы *ся*.

Проблемы исторической лексикологии и лексикографии исследуются в статьях, посвященных таким вопросам, как степень лексической близости древнерусского и старорусского, староукраинского и старобелорусского языков, формирование синонимии служебных слов, история отдельных слов; отражение в словарях некоторых грамматических категорий (в частности категории лица).

Второй раздел сборника посвящен функционированию современных славянских языков. Здесь представлены статьи по проблемам семантики, таким, как связь синтаксиса и семантической иерархии в словаре или внутренняя семантическая организация пословиц с идеей «предпочтительности». Статьи, посвященные синтаксису, связаны и с отдельными проблемами истории синтаксиса (категории глагольности и предложения), и со стилистикой и экспрессивностью синтаксических форм и конструкций, и с текстом художественного произведения. В одной из статей раздела стилистическая дифференциация служебных слов русского языка связывается с их архаичностью и устарелостью.

Особое место среди статей этого раздела занимают работы, посвященные лингвогеографии — теоретически актуальному вопросу о восточнославянских языках как самостоятельном объекте лингвогеографии, а также методике обобщения результатов сопоставительного изучения разновременных лингвогеографических данных для исторического синтаксиса русского языка, и двум частным случаям применения лингвогеографического метода: для анализа служебного слова *дак* в севернорусских говорах (в замыкающей позиции полипредикативного высказывания) и для характеристики фонетического, морфологического и словообразовательного варьирования названий частей руки и ноги в белорусском языке.

Третий раздел сборника посвящен вопросам истории культуры восточных славян. Естественно, что основное место здесь занимают статьи, в которых рассматриваются проблемы истории восточнославянской письменности: это статьи о древнейшем славянском списке Хроники Георгия Амартола и об Апракосе Мстислава Великого. Сюда же можно отнести статьи, предметом анализа которых являются традиционные особенности структуры древнерусских текстов (княжеских посланий, включенных в текст летописей, и формул деловой речи). В ряде статей рассматриваются такие существенные моменты развития русской филологической науки, как «Словарь славяно-российского языка», риторика Георгия Дашиловского, «Рос-

спйская грамматика» Барсова; к ним примыкает статья об оценке Е. Ф. Карским «Слова о полку Игореве». Отдельно стоят в этом разделе две статьи, посвященные толкованию особо трудных для понимания смысла слов и выражений (*шуляк* и *убити в пса мѣсто*).

В статьях сборника содержится много новых материалов из разнообразных источников. Широта содержания делает его интересным для специалистов-филологов самого различного профиля.

В сборнике приняли участие — наряду с сотрудниками Института русского языка АН СССР — научные работники других лингвистических учреждений и вузов Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, Волгограда, Воронежа, Львова, Ивано-Франковска, Челябинска, а также ученые из Чехословакии, Югославии, Японии.

Редакционная коллегия приносит благодарность рецензентам сборника доктору филологических наук профессору В. В. Иванову и доктору филологических наук профессору Л. Ю. Максимову.

Редколлегия также благодарит Н. Н. Наследову, принявшую участие в подготовке рукописи к печати [1].

[1] При воспроизведении примеров из древних памятников письменности в настоящем издании в ряде случаев допущены упрощения графики.

ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

*

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЗНОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА РУССКОГО ЯЗЫКА

И. Б. Кузьмина

Одним из общих теоретических вопросов, рассматриваемых в трудах В. И. Борковского, является вопрос о значении показаний современных говоров для исторического синтаксиса русского и других восточнославянских языков. Как исследователь В. И. Борковский обращался к диалектным данным на протяжении всего своего творческого пути — место этих данных в его трудах определяется в каждом конкретном случае объемом накопленных наукой сведений. Обращение к диалектным материалам естественно для ученого, в центре научных интересов которого оказывается история синтаксического строя языка народно-разговорного типа, — в этом плане В. И. Борковский следует таким отечественным языковедам XIX—нач. XX в., как Лавровский, Буслаев, Корш, Потебня, Шахматов, Карский. В теоретическом плане вопрос о диахронических возможностях диалектных материалов был поставлен В. И. Борковским в 1958 г. в докладе, который был прочитан и активно обсуждался на IV Международном съезде славистов [1]. Показывая, какой существенной может быть для историка языка-синтаксиста опора на показания современных говоров, В. И. Борковский констатирует вместе с тем значительное отставание синтаксиса от других разделов в описательной диалектологии и соответственно недостаточное привлечение диалектных данных в работах по историческому синтаксису восточнославянских языков. Развернутая оценка накопленных описательной диалектологией материалов с позиции историка языка-синтаксиста дается В. И. Борковским в статье 1973 г.[2]; здесь же сформулированы и задачи на будущее. Определяя потенциальные возможности монографического и лингвогеографического методов

[1] *Борковский В. И.* Использование диалектных данных в трудах по историческому синтаксису восточнославянских языков. М., 1958 (серия IV Международный съезд славистов. Доклады). См. также: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. М., 1962, т. 2. Проблемы славянского языкознания, с. 404—412.

[2] *Борковский В. И.* Синтаксис диалектов и исторический синтаксис русского языка. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1973, т. 32, вып. 3.

обследования говоров, В. И. Борковский отдает предпочтение первому, так как только при монографическом изучении возможен системный подход к синтаксическим явлениям и исчерпывающая характеристика семантики тех или иных конструкций. Но и ответы на вопросы диалектологических программ, несмотря на всю их фрагментарность, оцениваются В. И. Борковским как существенный материал для истории языка, поскольку «бóльшая часть вопросов затрагивает важные, характерные для многих говоров синтаксические черты, при этом такие, которые получили отражение и в памятниках древнерусской и старорусской письменности» [3]. Следует сказать, что В. И. Борковский обращался к лингвогеографическим материалам не только как историк языка: он работал по ним и как диалектолог, будучи (совместно с С. С. Высотским) редактором одного из региональных томов атласа русских говоров [4].

В предлагаемой статье рассматривается фрагмент вопроса о значении лингвогеографических материалов для исторического изучения синтаксиса — автор останавливается на тех специфических возможностях, которые возникают за счет наличия в русской диалектологии материалов, собранных в разные промежутки времени.

Основу материалов по русским говорам, собранным по определенным программам с целью установления территории распространения языковых явлений, составляют: 1) частично напечатанные, частично оставшиеся рукописными ответы на диалектологические программы конца XIX—начала XX в. (см.: Изв. ОРЯС за 1896—1900 годы; Сб. ОРЯС за 1903, 1910, 1921 и 1922 годы; Труды Московской диалектологической комиссии, вып. 1—3 и 8—12; рукописные материалы хранятся в Ленинграде — главным образом в Архиве АН СССР и Архиве Русского географического общества); 2) рукописные ответы на «Вопросник для составления диалектологического атласа русского языка» (М.—Л., 1936 и несколько переизданий в ближайшие годы) и на „Программу собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка“ (Ярославль, 1945; М.; Л., 1947), на основании которых сейчас в Институте русского языка АН СССР подготовлен «Диалектологический атлас русского языка» (ДАРЯ); 3) относящиеся к говорам на территории РСФСР рукописные ответы на Вопросник Общеславянского лингвистического атласа (М., 1965). Во всех указанных документах, кроме краткой программы МДК, предназначенной для сбора материала по южнорусским говорам, представлены разделы, посвященные синтаксическим особенностям говоров, при этом некоторые из вопросов, относящихся к существенным для говоров русского языка (а также других славянских языков) синтаксическим явлениям, оказываются повторяющимися в разных программах.

---

[3] Там же, с. 267.

[4] Атлас русских говоров северо-западных областей СССР / Ред. Борковский В. И. и Высотский С. С. Рукопись. (Хран. в Институте русского языка АН СССР). — Автор настоящей статьи имел возможность составлять в этом томе атласа карты, посвященные синтаксическим явлениям, под непосредственным руководством В. И. Борковского.

Отличаясь от материалов, собираемых интенсивным методом, неизбежной неполнотой и ограниченностью с точки зрения объема охватываемых фактов, лингвогеографические материалы обладают преимуществом широкой территориальной перспективы и свойством соотносительности: они содержат данные об одних и тех же синтаксических конструкциях (или конструкциях, входящих в один синтаксический ряд), причем характеризуют их применительно ко всем говорам в принципе по одним и тем же (обусловленным программой) признакам, что́ позволяет видеть развитие явлений в пространстве. Поскольку варьирующиеся элементы структуры частных языковых систем (как и эти системы в целом) представляют собой, по определению Р. И. Аванесова, «историю языка в ее пространственной проекции» [5], это свойство регулярности, соотносительности в сочетании с широким территориальным охватом обуславливает большую значимость лингвогеографических материалов для прослеживания синтаксических процессов по отдельным их стадиям [6]. Но в тех случаях, когда синтаксические конструкции — благодаря повторяемости вопросов в диалектологических программах — находят отражение в материалах, имеющих разную хронологическую приуроченность, налицо возможность увидеть развитие явлений и непосредственно во времени.

Сравнение между собой данных, заключенных в материалах ДАРЯ и ОЛА, облегчается тем, что значительное большинство населенных пунктов, относящихся к русской части бланковки ОЛА, было обследовано также (на 20—30 лет раньше) по Программе собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка (сбор материала для русского атласа проводился, естественно, по гораздо более частой сетке). Однако картографируемые в ДАРЯ и в ОЛА части РСФСР имеют разные границы на востоке и на севере: бланковка ДАРЯ на востоке доходит примерно до 48° в. д., на севере — примерно до 62° с. ш.; бланковка ОЛА более ограничена в направлении с запада на восток (не включает говоров новой колонизации), но охватывает бо́льшую территорию на севере РСФСР — где расположены архаические говоры новгородского происхождения. Что же касается сравнения материалов ДАРЯ и ОЛА с материалами конца XIX—начала XX в. (последние относятся не только к европейской части России, но и к некоторым местностям Сибири), то его легче проводить, так сказать, крупным планом — без детализации с территориальной точки зрения, поскольку мы не располагаем такой картой (бланковкой), где были бы нанесены населенные пункты, обследованные в конце XIX—начале XX в., а точная

---

[5] Русская диалектология / Ред. Р. И. Аванесов и В. Г. Орлова. М., 1964, с. 24.

[6] Очевидно, что при использовании лингвогеографических материалов в целях реконструкции синтаксических процессов их показания должны быть сопоставлены — во всех случаях, когда это возможно, — с показаниями памятников письменности, а также данными диалектологических работ монографического характера (исследователь опирается, конечно, и на свое знание синтаксических систем наддиалектных форм языка — литературного языка, просторечия — в их современном состоянии).

географическая привязка населенных пунктов на основании помет об их административной принадлежности, имеющих семидесяти- и восьмидесятилетнюю давность, нередко оказывается весьма затруднительной (если практически не невозможной). Но при допущении известного огрубления материалы конца XIX—начала XX в. могут быть даже картографированы — например, с точностью до уезда. Такой опыт был осуществлен для нескольких явлений, касающихся глагольных основ, Г. А. Касвин [7].

В двух и более разновременных диалектологических программах повторяются вопросы, предусматривающие фиксацию полутора десятков синтаксических явлений русских говоров. Это вопросы о некоторых причастных конструкциях (*брат приехавший*; *у него уйдено*, *у хозяйки отстряпанось*; *мы видели его идучи* — 'видели его идущим'); о родительном падеже субъекта и объекта (*лесов у нас есть*; *взять ножа*, *найти гриба*); об именительном падеже существительных на *-а* в функции прямого объекта при глаголах (*носить/ношу вода*); о служебном синтаксическом и морфологическом компоненте — глаголе *быть* в форме настоящего времени (*она есть хозяйка*, *отец есть дома*; *брат есть пришел*); о ряде конструкций с предложно-падежными сочетаниями; об употреблении отдельных частиц (*ти*, *чи*; постпозитивных типа *то. . .*).

Как уже было отмечено выше, вопросы, повторяющиеся в разных программах, объединяются между собой обращенностью к таким элементам синтаксической структуры, с которыми связаны существенные для русского языка диалектные различия. С генетической точки зрения различия, выявляющиеся на материалах этих вопросов, не однородны. Наряду с такими, в основе которых лежит факт сохранения (с бóльшими или меньшими изменениями) исходно общерусских элементов в одной части говоров [8] и утраты их в другой, имеются — правда, немногочисленные — различия, возникшие за счет появления в части говоров каких-либо новых конструкций, — к числу новообразований относятся, например, объектно-целевые конструкции с предлогом *в* типа *пойти в орехи*, *в молоко*, развившиеся в юго-западных русских говорах (а также соседних белорусских) на базе местных с семантикой направления (*пойти в орешник*). Какую же информацию по истории конструкций, являющихся (или являвшихся в недалеком прошлом) различительными элементами синтаксических систем русских говоров, можно получить при сопоставлении данных из материалов разновременных диалектологических обследований? — Оказывается, что, несмотря на небольшой промежуток времени, охватывающий интенсивное изучение русских

---

[7] См.: *Касвин Г. А.* Основы настоящего времени глаголов 2-го спряжения. — В кн.: Материалы и исследования по русской диалектологии. М.; Л., 1949. Т. III.

[8] Сравнение диалектных фактов с показаниями памятников письменности позволяет сказать, что количество собственно архаизмов в синтаксических системах современных говоров невелико: при сохранении в качестве диалектной особенности синтаксическое явления древнерусского или старорусского языка в большинстве случаев претерпевают те или иные модификации.

говоров лингвогеографическими методами (менее ста лет) [9], для большинства синтаксических конструкций есть возможность констатировать те или иные изменения, характер и направленность которых могут дать основание для предположений и о более ранних стадиях в развитии конструкций и даже о каких-то моментах, связанных с их генезисом. Не лишены, как представляется, исторического интереса и сведения о стабильности (в структурном и территориальном плане) отдельных конструкций. Остановимся — по необходимости кратко — на свидетельствах разновременных лингвогеографических материалов, относящихся к некоторым из упомянутых выше явлений.

Согласно материалам ДАРЯ, страдательно-безличные обороты с причастиями, образованными от непереходных невозвратных глаголов, типа *с сельсовету уж уехано у них* (Загорье Порховск. р-н Псковск. обл.) характерны для говоров западных среднерусских и севернорусских — особенно западной их части; конструкции с причастиями от возвратных глаголов типа *там у хозяйки отстряпалось* (Типиницы Медвежьегорск. р-н Карел. АССР) употребляются в западной части севернорусских говоров и изредка в западных среднерусских. Материалы конца XIX—начала XX в. не показывают более широкой территории распространения ни для первых, ни для вторых конструкций. Очевидно, что этот факт сам по себе не дает оснований для предположений об обстоятельствах, связанных с генезисом рассматриваемого явления. Однако он должен быть принят во внимание при интерпретации тех расхождений, которые имеются в области синтаксического использования причастий, образованных от непереходных глаголов, между севернорусскими и западными среднерусскими говорами, с одной стороны, и памятниками письменности, отражающими в целом факты общерусского характера, с другой. (Специфической особенностью говоров является, в частности, употребление словоформ типа *уехано*, *отстряпалось* в таких конструкциях, где указывается — обычно при помощи сочетания родительного падежа имени с предлогом *у* — или предполагается конкретный исполнитель действия). То обстоятельство, что конструкции типа *у них уехано*, *у нее отстряпалось* не имели в конце XIX—начале XX в. более широкой зоны распространения, может служить, как представляется, одним из аргументов в пользу мнения об их исходно локальном характере, о невозможности квалифицировать рассматриваемое диалектное явление во всем его объеме как синтаксический архаизм — сохранение общерусской особенности предшествующих эпох.

---

[9] Следует заметить, что попытки собрать сведения о русских говорах при помощи анкетного метода предпринимались еще в первой половине XIX в. Так, например, ряд вопросов об отличительных особенностях говора жителей России был включен в этнографическую программу 1847 г. Русского географического общества. (Среди этих вопросов был один синтаксический: он предусматривал выяснение возможности/невозможности предикативного употребления неизменяемых причастий типа *ушедши*, *умерши*).

Сравнение материалов конца XIX—начала XX в., ДАРЯ и ОЛА, относящихся к конструкциям с предикативными причастными формами на *-ши* типа *надо потолок менять — закоптевши* (Жабино Кингисепск. р-н Ленинградск. обл.), свидетельствует о стабильности зоны интенсивного употребления данных конструкций — это широкая полоса на западе территории, занятой русским языком, включающая в себя говоры среднерусские, северорусские, а также и южнорусские — в последних употребительность конструкций постепенно ослабевает. В общем виде можно сказать, что сохраняется характер распространения явления и за пределами этой зоны: примеры типа *потолок закоптевши* спорадически встречаются в самых разных русских говорах, что́ естественно для конструкций, возможных в определенных жанрах литературного языка не только XVIII, но и XIX в.[10] Можно, однако, предполагать по имеющимся материалам, что в говорах, не относящихся к западной части занятой русским языком территории, на протяжении рассматриваемого времени происходит некоторое снижение употребительности конструкций типа *потолок закоптевши* — особенно в севернорусских говорах, хотя и в настоящее время эти конструкции на севере встречаются несколько чаще, чем на юге [11].

В программе ОЛА есть вопрос, предусматривающий фиксацию конструкций, в которых после глагола *видеть* или *слышать* следует указание на объект соответствующего действия (*он видел, как мальчик влезал на дерево*). Согласно данным ОЛА по русским говорам, формой выражения этого содержания являются только сложные предложения (с союзами *как* и *что*). Можно думать, что к настоящему времени в русских говорах (в отличие от украинских и белорусских) полностью вышли из употребления конструкции типа *я видел его идучи*, где неизменяемая причастная форма на *-учи* выступает в качестве члена предложения, распространяющего одновременно предикат — переходный глагол и прямой объект — имя в винительном падеже. В ответах же на программы конца XIX в. употребление этих конструкций засвидетельствовано — правда, немногочисленными примерами — для говоров северных губерний России (Архангельской, Олонецкой, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Костромской). Рассматриваемое явление уходит корнями в далекое прошлое: конструкции с неизменяемыми причастными формами на *-учи*, генетически связанные с оборотом «второй винительный», встречаются, хотя и изредка, в памятниках делового характера

---

[10] См., в частности: *Шведова Н. Ю.* Проблема лексических ограничений при изучении синтаксиса. — ВЯ, 1960, № 6, с. 21—22.

[11] Интересно отметить, что Шахматов относил предикативное употребление причастных форм на *-ши* к числу особенностей северновеликорусского наречия, см.: *Шахматов А. А.* Великорусская диалектология. Лекции. (Записаны в 1915—1916 г.). Рукопись, с. 7. Архив Акад. наук, фонд 134, опись 1, № 66. Иначе — как грамматическую неправильность, которая «в общем ходу по всей Руси», — определял это явление В. И. Даль в статье «О наречиях русского языка», см.: *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. I, с. 49.

(ср.: *кто на сию грамоту узрить или услышить чстучи. . .* Гр. 1407 г.[12]). Отмеченность конструкций типа *я видел его идучи* в диалектологических (а также фольклорных) материалах позволяет предполагать, что факты деловой письменности в данном случае (как и во многих других) отражают синтаксическую особенность языка народно-разговорного типа.

Во все диалектологические программы включены вопросы о таких объектно-целевых конструкциях, где выступают глаголы движения (а также глаголы с семантикой 'послать') и имена с предлогом, называющие предметы, послужившие целью движения (*послать за врачом*, *поехать по сено*). В материалах ОЛА данный синтаксический ряд представлен тремя компонентами — конструкциями с предлогами *за*, *по* и *в*. В материалах же конца XIX—начала XX в. и в материалах ДАРЯ имеются еще конструкции с предлогом *для* типа *пошел для рыбы или для мяса* (Муромля Петрозаводск. у. Олонецк. губ.), *ступай для молока* (Ново-Михайловское Наруксовск. р-н Горьковск. обл.). Для конца XIX—начала XX в. данные конструкции зафиксированы в Архангельской, Олонецкой, Новгородской, Владимирской и Симбирской губерниях. Из тех замечаний об употреблении конструкций с предлогом *для*, которые приводятся в некоторых ответах, следует, что применительно к этому времени они должны рассматриваться как единицы, выражающие широкое значение мотивации действия, в котором объединены семы цели и причины, ср.: *Он пошел для овса*, *для ржи* говорят тогда, когда сомневаются, дадут ли, например, в долг (Ежезеро Вытегорск. у. Олонецк. губ.[13]; Когда куплен на стороне хлеб, овес, мука, рожь, семя или же дано взаймы, то употребляют предлог *за*: *он поехал за хлебом*, *за мукой*, *за рожью* и т. д. Наоборот, когда имеется в виду только справиться о цене товаров и, если цены не высоки, то можно приобрести, *за* заменяется *для*: *он поехал для овса*, *для хлеба*, *для семя* (Выча Муромск. у. Владимирск. губ.) [14]. В одном из ответов конструкции с предлогом *для* сближаются с такими, где выступает предлог *насчет* (*поехать для коровы* и *насчет коровы*) и при этом указывается на возможность совместного употребления данных предлогов: *поехать насчет для коровы* (Ембулатово Буинск. у. Симбирск. губ.) [15]. Конструкции с предлогом *для*, имеющие значение мотивации действия, представляют собой архаизм; в литературном языке они были утрачены еще в первой половине XVIII в.[16] В материалах ДАРЯ

[12] Русско-ливонские акты / Собр. К. Е. Напьерским / Изд. Археограф. комис. СПб., 1868, с. 129.

[13] Материалы для изучения великорусских говоров, вып. II. — Изв. ОРЯС, 1896, т. 1, кн. 3, с. 571. № 22.

[14] Материалы для изучения великорусских говоров, вып. XI. — Сб. ОРЯС, 1922, т. 99, № 3, с. 13—14.

[15] Материалы для изучения великорусских говоров, вып. VIII. — Сб. ОРЯС, 1903, т. 73, № 5, с. 469—470. — Как указывает В. В. Виноградов, «в крестьянской и городской низовой речи» передки случаи «усиления одного предлога другим с синонимическими оттенками», см.: *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947, с. 679.

[16] См.: *Лозбэ М.* Из истории причинных и целевых отношений. Эволюция синтаксического употребления послелога *дёлы* — предлога *для* в русском языке.

конструкции типа *ступай для молока* отмечены всего пять раз — соответствующие населенные пункты расположены на территории Горьковской (2 нас. п.), Псковской, Великолукской и Владимирской областей. Тот факт, что примеры с предлогом *для* всегда приводятся здесь в одном ряду с объектно-целевыми конструкциями, включающими в свой состав предлоги *за*, *по* или *в*, без каких-либо замечаний относительно их значения и употребления, позволяет предполагать, что процесс утраты конструкций типа *ступай для молока* сопровождался или предварялся их десемантизацией.

АКД. М., 1965, с. 16. Следует заметить, что в конце XIX—начале XX в. предлог *для* мог еще употребляться и в составе причинных конструкций, ср.: *поем молебны для нечистого духа, надрываемся за этою работою только для нужды* (*Грандилевский А.* Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор. — Сб. ОРЯС, 1907, т. 83, № 5, с. 72).

К НЕКОТОРЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СВЯЗНОСТИ ДРЕВНЕРУССКОГО ТЕКСТА И ИХ РОЛИ В ПЕРЕСТРОЙКЕ «ТИПА» СИНТАКСИСА

Трестерова З.

Древнерусские письменные памятники, многие из которых относятся к шедеврам мировой литературы своего времени, постоянно вызывают интерес не только специалистов—лингвистов, литературоведов, историков и т. д., но и тех читателей, которые умеют ценить их особые эстетические качества [1]. Чтобы этого умения добиться, надо встать на точку зрения древнего книжника, не считать неправильностью те явления, которые были скорее типичной особенностью древнерусских текстов [2]. Эти явления относятся не столько к сфере грамматики и лексики (специфику грамматических и лексических черт древних текстов современный читатель воспринимает как само собой разумеющееся), сколько к сфере строения текста. Конкретно речь идет о том феномене, который принято обозначать как связность текста [3].

[1] См.: *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. М.; Л., 1967; *Он же.* Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.

[2] Еще А. А. Потебня по поводу непонимания особенностей древнерусских текстов писал: «Это взгляд потомка, которому свой образ мысли, своя обстановка кажутся так естественны, что уровень мысли и обычаи предков он готов считать. . . неправильным, болезненным отклонением от этой естественности» (*Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М., 1968, т. 3, с. 217).

[3] Связность текста — одно из основных понятий лингвистики текста. Ср.: «Как ни разнообразна картина лингвистических штудий, посвященных проблемам текста, по одному вопросу наблюдается в ней абсолютное единство: не возникает сомнения в том, что текст не мыслим вне связности» (*Кожевникова К.* Об аспектах связности в тексте как целом. — В кн.: Синтаксис текста. М., 1979, с. 50).

Именно особенности связности древнерусского текста иногда могут быть причиной или непониманния текста, или его оценки как «нелогичного», построенного не по тем требованиям, которые выдвигают нормы современного письменного языка. Ср. следующий пример: В лѣто 6597. Священа бысть церкы Печерьская Иоаномъ митрополитомь; том же лѣтѣ прѣставися (Лет. Новг. I Синод.). Первое предложение — по современным представлениям об организации текста — вызывает у читателя скорее экспектацию (ожидание продолжения) в духе: томь же лѣтѣ сгорѣ. Поэтому для широких кругов читателей прибегают в издательской практике к изданиям особого рода, где наряду с древнерусским текстом дается «перевод» на современный язык, причем примечательно, что особо комментируются именно те случаи, где принципы строения текста могли бы вести к непониманию смысла отрывка, ср.: И поидоста по Днѣпру, и идуче мимо и узрѣста на горѣ градок. И упрошаста и рѣста: «Чий се градок?» Они же рѣша: «Была суть 3 братья. . .», в переводе: И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?» Тамошние же жители ответили: «Были три брата. . .», или . . .якоже сохрани Епоха в первыя роды. . . тако и тя избавить от неприязни и от сѣтий его. . ., в переводе: . . .как сохранил Епоха в древнейшие времена. . .так и тебя избавит он от козней дьявола и от сетей его [4].

В настоящей статье рассматриваются некоторые из тех явлений, которые относятся к особенностям связности древнерусского текста и роль этих явлений как своего рода толчка к перестройке типа синтаксиса. Материалом для размышлений послужили древнерусские летописи — уникальные памятники письменности, содержащие наряду с погодными записями информационного характера развернутые сюжетные рассказы, переложения устных исторических преданий, жизнеописания святых и т. д.[5]

Связность текста, как известно, — это категория по-своему воспринимаемая в оппозиции автор текста — адресат текста. Хотя авторы летописных текстов давали себе отчет в том, что пишут и для потомков, но преимущественное внимание уделялось злободневным событиям, и летопись была предназначена в свое время не столько для чтения, сколько для слушания [6]. Потенциальные слушатели были люди осведомленные если не непосредственно в описываемых событиях, то в общей обстановке, в которой они происходили, и в том укладе жизни, который характеризовал данную эпоху. Книжника и слушателя (читателя) объединяло единство мировоззрения,

[4] Цит. по кн.: Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы, XI—начало XII века / Под ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., 1978, с. 36, 37, 76, 77.

[5] Ср. «Русский язык. Энциклопедия» (Под ред. Ф. П. Филина. М., 1979) и богатую литературу о летописях, представленную такими авторами, как А. А. Шахматов, Д. С. Лихачев, Я. С. Лурье, Б. А. Рыбаков и др.

[6] Русские князья очень хорошо осознавали «важность летописи, которая, по всей вероятности, предназначалась для чтения вслух в монастырской трапезной, а может быть и во дворце» (*Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М., 1963, с. 265).

общие философские взгляды, принадлежность к общему культурно-историческому ареалу (и субареалам), так что многое, касающееся содержательной стороны текста, подразумевалось само собой. С этим связана возможность имплицитности на языковом уровне, ср., например, вышеприведенный отрывок, где дьявол эксплицитно не называется, так как и без того было ясно, от чьей «неприязни и сѣтий» избавляет человека бог. Поэтому текст летописей с точки зрения автора был организован по всем правилам связности, но уже переписчики иногда не совсем ориентировались в смысле и допускали всякого рода недочеты [7].

С языковой точки зрения особенности связности текста летописей сводятся в основном к следующим явлениям: особенности согласования, чередование субъектов, особенности в употреблении местоимений, лексико-семантические показатели и корреляты, эллипсис и плеоназмы, употребление конструкций добавления, анаколуфы, так называемое нанизывание предложений, полифункциональность союзов и из нее вытекающие последствия (например, «несвободный» порядок следования частей сложного предложения) и т. д.

Большинство этих явлений описано в связи с изучением древнерусского синтаксиса, которое в последние десятилетия сделало огромный шаг вперед [8]. Однако трактовка материала велась преимущественно с точки зрения синтаксиса в узком смысле слова, между тем представляет интерес и возможность интерпретации рассматриваемых явлений в плане синтаксиса текста, или, вернее сказать, синтаксиса в тексте. Перейдем к рассмотрению отдельных интересующих нас явлений.

Во всех пособиях по историческому синтаксису упоминается как явление, примечательное для древнерусского состояния, так называемое согласование по смыслу сказуемого с подлежащим. Ср. известные примеры типа: В се же лѣто рекоша дружина Игореви. . . (Пов. вр. лет), в которых представление о множестве говорящих вызывает употребление формы мн. числа в сказуемом, несмотря на ед. число подлежащего, выраженного собирательным существительным. Это явление вызвано феноменами психологического порядка, ориентацией на смысл текста, между тем как закрепившееся позже формальное согласование, свойственное современному литературному языку, представляет собой один из основных грамматических приемов связности текста. Ср. еще древнерусское: . . . возъ по собѣ не возяше, ни котьла не мясъ варя. по потопку изрѣзавъ. копину ли. звѣрину ли. или говядину. на оуглех испекъ ядяху (Пов. вр. лет). В данном примере даже нет собирательного существительного, в процессе рассказа происходит сдвиг в пользу множественного числа, так как ясно,

---

[7] Ср.: «Понимание текста как связного со стороны адресата обусловлено, помимо факторов психического характера, и достаточным объемом его вещественных знаний: при отсутствии их текст, организованный со стороны говорящего по всем правилам связности, толкуется адресатом как несвязный и теряет свою коммуникативно-информативную ценность» (*Брчакова Д.* О связности в устных коммуникатах. — В кн.: Синтаксис текста. М., 1979, с. 250).

[8] Огромная заслуга в этом академика В. И. Борковского и коллектива, им возглавляемого, общеизвестна.

что князь Святослав, о котором идет речь, в военных походах участвовал не один. Примечательно, что в следующих списках, Радзивиловском и Рукописи б. Московской духовной академии, форма *ядяху* «исправлена» на *ядяше*. Согласование по смыслу как своеобразный прием другого типа организации предложения сохраняют до сих пор некоторые русские народные говоры, ср. конструкции типа: народ с грибами шли [9].

Одной из заметных особенностей древнерусских текстов можно считать явление чередования субъектов, причем они могут не быть эксплицитно выражены в отдельных предложениях подлежащим или быть выражены при помощи местоимений, выполняющих другую, отличающуюся от современной функцию (см. ниже). В результате адресат текста должен все время ориентироваться на смысл отрывка, чтобы успеть следить за тем, кто в данном предложении выступает субъектом. Ср. в тексте: На ту же зиму иде Мьстислав съ зятьмь съ Глѣбомь и съ братомь Яропълкомь на Суждаль, и бишася за Калакшею, и ту побѣдиша рязанце, и яша князя Глѣба и съ сыномъ и Мьстислава съ братомь Яропълкомь, порубиша я (Лет. Новг. I Синод.). Недостающий чередующийся субъект компенсирован эксплицитным приведением объектов (побѣдиша рязанце, яша князя Глѣба. . .). По современным представлениям о строении текста можно было бы ожидать: . . .и бишася за Калакшею, и ту побѣжени быша. Некоторые случаи свидетельствуют о том, что сам книжник как бы «вовремя» осознал, что чередование субъектов могло бы привести к неверному пониманию текста, и ввел субъект в конце отрывка, т. е. в позиции для подлежащего в древнерусском языке нетипичной, ср.: Того же лѣта взяша Нѣмци, медвежане, юрьевци, вельядци с княземь Ярославомь Володимеричемь Изборьско. И приде вѣсть въ Пльсковъ, яко взяша Нѣмци Изборьскъ; и выидоша пльсковичи вси, и бишася с ними, и побѣдиша я Нѣмци (Лет. Новг. I Синод.). Экспектация (подсознательное ожидание) смысла отрывка скорее противоположная. Слово *Нѣмци* вносит в это ожидание существенную поправку.

Своеобразной была в древних текстах функция местоимений. Они во многих случаях отсылали не столько к непосредственно предшествующему тексту, сколько к ситуации, ср.: и яко приближися к рѣцѣ. сверг порты сунуся въ Дѣпръ и побреде. видъвше же Печенѣзи оустремишася на нь. стрѣляюще его. и не могоша ему ничтоже створити. они же видѣвше с оноя страны. и приѣхаша в лодьи противу ему (Пов. вр. лет); Деревляномъ де пришедъшимъ. повѣлѣ Ольга мовь створити рькуще сице. измывшеся придите ко мнѣ. они же пережьгоша истопку. и влѣзоша Деревляне. . . (Пов. вр. лет). Показателен в этом отношении следующий отрывок: Въ лѣто 6677. Иде Даньслав Лазутиниць за Волокъ даньникомъ съ дружиною; и присла Андрѣи пълкъ свои на нь, и бишася с ними, и бяше

---

[9] Ср.: *Шапиро А. Б.* Очерки по синтаксису русских народных говоров. Строение предложения. М., 1953, с. 79 и сл.

новгородьць 400, а суждальць 7000; и пособи богъ новгородцемъ и паде *ихъ* 300 и 1000, а новгородьць 15 муж. . . (Лет. Новг. I Синод.). Местоимение *ихъ* не отсылает к новгородцам, о которых была речь в непосредственно предшествующем сегменте, а к суздальцам, как это вытекает из более широкого контекста и смысла отрывка. Важную роль здесь играют лексические показатели, в роли которых выступают в этом конкретном тексте имена числительные. Они свидетельствуют о позиции автора и одновременно выступают прессупозицией для толкования содержания следующего текста: или новгородцы не могли выстоять (но это сразу же опровергает сегмент *и пособи богъ новгородцемъ*), или цифры должны подчеркнуть их храбрость и «божью помощь», которая сказалась и в числе убитых: 1300 суздальцев, но только 15 новгородцев (то, что приведенные цифры не соответствуют исторической истине, неважно).

Лексико-семантические показатели приведенного типа сыграли важную роль и в формировании сложного предложения, точнее сложноподчиненного предложения с придаточным уступительным. Семантический оттенок уступительности формировался именно в таких текстах, как приведенный выше отрывок: «хотя суздальцев пало 1300, но новгородцев только 15». Ср. условия для формирования уступительной семантики еще в следующих текстах: . . . и горѣла та свеща *безпрестани день и нощь* 9 недѣль, а не умалися ее нисколико (Лет. Новг. IV); и одолѣ Святославъ въ 3-хъ тысящах, а Половець бѣ 12 тысящѣ (Лет. Новг. I Комисс.); . . . многа чюдес и исцѣленіа многым дает тобою богъ, аз же *многаа лѣта от младенства моего* работаю во обители твоеи и братии, мене не помилуешь (Лет. Моск.) [10].

В других случаях средства лексического уровня уточняли связь следующего текста с предшествующим, главным образом в области временных отношений: *потом*, *и ту*, *и се*, *и в тои час*, *и в то время*, *абие*, *внезапу*. . ., ср.: Того же лѣта ходиша новгородци ко Пьскову ратью и стояша под городом недѣлю; и в то время учинися бои в заиздѣ новгородцамъ съ пьсковици (Лет. Новг. I Комисс.). Таким образом, эти лексические средства выделяли из окружающего текста те два предложения, которые были связаны одновременностью или последовательностью событий. Следующим шагом было постепенное становление неравноправного статута обоих предложений, из которых одно стало восприниматься как детерминирующее, второе детерминированное. В этом смысле именно контекстные предпосылки сыграли важную роль в формировании сложного предложения [11],

---

[10] Более подробно о формировании семантики уступительного предложения см.: *Trösterova Z.* K problematice staroruského přípustkového souvětí. — AUC, Slavica Pragensia, X. Praga, 1968, s. 259—266.

[11] Подробно на конкретном языковом материале описал этот процесс Б. В. Лавров (см.: *Лавров Б. В.* Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. М.; Л., 1941). Ср. также: «Наблюдения показывают, что подчинение вычленяется из грамматической связи однородного следования путем парного объединения предложений. . .» (см.: *Ломтев Т. П.* Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956, с. 488).

www.ruslang.ru

Сами средства лексического уровня, сначала семантически полнозначные и полноправные, постепенно превращались в корреляты. Корреляты, по мере того как становились средствами формального, грамматического уровня языка, приобретали грамматические характеристики, обязательные или факультативные (например, возможный тип связи определенного коррелята с определенным диапазоном союзов и т. д.). Эти процессы в литературе хорошо описаны.

Если лексико-семантические показатели отношений и корреляты принадлежали к тем средствам, которые сознательно применялись древними книжниками для уточнения связи отдельных сегментов текста, то следующий комплекс особенностей связности древнерусского текста относится скорее к явлениям, вызванным подсознательными феноменами порождения текста. Имеются в виду эллипсис, плеоназмы, конструкции добавления, всякого рода анаколуфы, то, что в современной литературе по разговорной речи называется «явления экспансии именительного падежа» [12]. Со всеми этими явлениями встречаемся в текстах летописей сравнительно часто. Приведем некоторые примеры.

Эллипсис на уровне текста — явление довольно типичное [13]. Нет нужды эксплицитно выражать то, что ясно из контекста: . . . она же хотящи домови. приде къ патреарху благословленья просящи на домъ. и рече ему людье мои пагани и сынъ мои. дабы мя Бъ съблюлъ от всякого зла (Пов. вр. лет). «Недостает» выражения «благослови меня (чтобы)». В древнерусском языке возникла даже грамматикализованная конструкция, в составе которой находился эллипсис. Это была конструкция с *али*, *оли*: княже, поѣди проче, не хотимъ тебе; *але* идемъ вьсь Новѣгородъ прогонитъ тебе (Лет. Новг. I Синод.); прочии же идоша Црюграду въ Греки. и посла пред ними слы гля сще. црю се идуть к тебѣ Варязи. не мо зи их держати въ градѣ. оли то створять ти зло (Пов. вр. лет); и рече жена къ змиѣ. рече Бъ не имата ясти. *а ли* да оумрета смртью (Там же). Смысл таков: если не сделаете то, что приказано, то подвергнетесь наказанию.

Своеобразным антиподом текстового эллипсиса является плеоназм. В потоке речи как бы забывают, что слово уже было сказано, и повторяют его в следующем тексте еще раз: В лѣто 6476. Придоша Печенѣзи на Руску землю первое. а Стославъ бяше Переяславци. и затворися Волга *въ градѣ*. со оунуки своими Ярополкомъ. и Ольгомъ. и Володимеромъ *въ градѣ* Киевѣ (Пов. вр. лет); Иде Володимеръ на Радимичи. бѣ оу него воевода *Волъчии Хвостъ*. и посла и Володимеръ передъ собою *Волъчья Хвоста* (Там же).

Повторение имен существительных связано и с меньшей ролью прономинализации в собственном смысле слова; каждый сегмент текста

[12] Ср.: *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976, с. 160 и сл.

[13] Ср.: «В синтаксической структуре предложения возможны эллипсисы, которые не находят никакой параллели в морфологии. На уровне синтаксической структуры текста эллипсисы, кажется, еще менее ощутимы» (см.: *Dressler W.* Textsyntax [Рус. пер.] — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, VIII. М., 1978, с. 135.

сохраняет большую долю самостоятельности: В лѣто 6479. Приде *Стославъ* в Переяславець. и затворишася *Болгаре* въ градѣ. и излѣзоша *Болгаре* на сѣчю противу Стославу. и бы (с) сѣча велика. и одолаху Болъгаре (Пов. вр. лет).

В некоторых случаях плеоназмы сближаются с конструкциями добавления, ср. вышеприведенный пример: . . .затворися въ градѣ. . . въ градѣ Киевѣ. Конструкции добавления, типичные для спонтанной устной речи, встречаются в летописи или в своей классической форме (добавляется несказанное, забытое), или как более пространные, обычно ассоциативные, «отступления». Примером первого типа может служить отрывок: Въ лѣто 6574. Приде Всѣславъ и възя Новъгородъ, съ женами и съ дѣтми; и колоколы съима у святыя Софие. О, велика бяше бѣда въ час тыи; *и понекадила съима* (Лет. Новг. I Синод.).

К анаколуфам и случаям экспансии номинатива можно отнести примеры следующего типа: бѣ же речено имя ей во крещеньи Олена. якоже и *древняя царица. мати великаго Костянтина* (Пов. вр. лет); и рече ему кудесник один. княже *конь* егоже любиши и ѣздиши па нем. *от того* ти оумрети (Там же). Последний пример особенно показателен, так как находится в прямой речи.

К самым известным особенностям связности древнерусских текстов относится панпзывание предложений, которое в последнее время исчерпывающим образом описала В. Л. Ринберг [14]. Автор подчеркивает, что в зависимости от жанра памятника менялись условия для применения панизывания; в летописных жанрах оно встречалось часто и представляло собой одну из характерных их примет.

Объем статьи не позволяет подробно остапавливаться па проблематике полифункциональности союзов и па связанных с ней явлениях, хочется только подчеркнуть, что полифункциональность союза — грамматического показателя связи — компенсировалось целым рядом других языковых средств [15].

Многие из приведенных выше особенностей связности древнерусского текста имеют свои параллели и в современном языке, но сегодня они выступают в спонтанной устной речи, которая опирается скорее на ситуацию, общий фонд знаний адресанта и адресата, в потоке речи постепенно возникающие ассоциации и т. д.[16] Письменная форма речи в связи с тем значением, которое она постепенно приобретала в жизни общества, вырабатывала в течение веков свои нормы, основным требованием которых стала однозначность смысла письменного текста. Чтобы письменный текст соответствовал этому требова-

[14] См.: *Ринберг В. Л.* Древнерусские сложные конструкции и их современные параллели. К., 1975; *Она же.* Конструкция связного текста в истории русского языка. АДД. М., 1981.

[15] Более подробно см.: *Trösterova Z.* Spojovací výraz jako a jazykové prostředky kompenzující jeho polyfunkčnost v staroruském hypotaktickém souvětí. — Slavia 1976, XLV, s. 236—244.

[16] Ср.: *Barnet VI.* K identitě větného typu v diachronii. — In: Otázky slovanské syntaxe, II. Brno, 1968, s. 415—419; *Он же.* К принципам строения высказываний в разговорной речи. — In: Bulletin ruského jazyka a literatury, XVIII. Praga, 1974, s. 133—138.

нию, необходимо было переориентироваться на такие принципы строения текста, которые обеспечивают формальными, грамматическими средствами наибольшую эксплицитность выражения.

На этом пути в сфере письменной речи постепенно становились тормозом особенности древнерусских текстов, связанные с ассоциативностью, имплицитностью, линеарностью его организации. Немножко парадоксально, что в нашем сознании как образцовый зафиксирован только тип письменный, между тем как типом устным мы пользуемся скорее подсознательно, и для науки он был «обнаружен» только в последние десятилетия в связи с другими особенностями русской разговорной речи. Поэтому изучение древнерусских текстов в аспекте особенностей их связности не является самоцелью, а способствует и более глубокому проникновению в законы строения текста вообще.

ОБ ИЗУЧЕНИИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СТАРОРУССКОГО ЯЗЫКА

З. Д. Попова

Сложные предложения старорусского языка не раз служили предметом изучения историков русского синтаксиса [1]. Накоплен большой объем наблюдений, поставлено много вопросов, описаны формально-грамматические средства, служащие для связи простых частей в составе сложного предложения. И все-таки остаются вопросы, затруднения, особенно когда исследователь обращается к конкретному древне- или старорусскому тексту.

На первых этапах изучения древне- и старорусского сложного предложения применялась методика наложения на исследуемые тексты классификационной сетки синтаксических описаний сложных предложений современного русского языка. Зная типы сложных предложений современного русского языка, синтаксисты искали их аналоги в древне- и старорусском тексте. Поставив своей задачей, например, найти конструкции, выражавшие причинные отношения, автор подбирал все отрезки текстов, в которых такие отношения можно определить, и описывал их устройство [2]. В ряде случаев из целого текста вычленялись фрагменты, приблизительно соответствующие представлению ученого о сложном предложении искомого типа; при этом отношения вычлененного фрагмента к предшествующему и последующему контексту игнорировались. Не удивительно,

[1] *Борковский В. И.* Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые со сложноподчиненными. М., 1972; Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Сложноподчиненные предложения. М., 1973; Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение. М., 1979, и мн. др.

[2] *Кайзер Л. Э.* Сложноподчиненные конструкции с причинными отношениями в русском языке XVII века. АКД. Томск, 1978.

что классификация сложных предложений древне- и старорусского языка почти не отличалась от классификации современных сложных предложений.

Формирующийся в настоящее время синтаксис текста позволяет видеть слабость такой методики, которая зачастую нарушает логику текста, его естественное членение в угоду заранее заданной установке исследования. Подход к выявлению сложных предложений со стороны анализа целого текста, хорошо представленный в статье Р. Б. Кершиене, С. Е. Морозовой, М. Н. Преображенской [3], показывает совершенно новые перспективы в этой области исторического синтаксиса. Вычленение синтаксического единства будет соответствовать замыслу пишущего только в том случае, если изучается последовательно весь текст, если он членится на осмысленные отрезки без остатка. Оперировать с произвольно извлеченными из текста отрезками без внимания к тому, что остается выше и ниже такого отрезка, — это значит нарушать модальную, временну́ю, персональную, пространственно-дейктическую и другие линии смысловой перспективы текста. Раскладывая старорусский материал по рубрикам современных типов сложных предложений (определительные, дополнительные, временные, условные, уступительные, причинные, целевые и т. п.), исследователи неизменно встречались со следующими трудностями:

1. Большинство служебных слов старорусского периода развития русского языка встречается практически во всех типах вычленяемых предложений (например, такие служебные слова, как *что, как, кто*) [4].

2. Некоторые «отрезки» при всех усилиях не соотносятся ни с каким типом современных предложений и их приходится из принятой системы описания «выгораживать». Так на особом месте всегда стоят так называемые конструкции с относительным подчинением, построенные по схеме: *а что. . . и то. . .*; *а которые. . .* и *те. . .*; *а от кого. . . про то* [5].

Сопротивление материала накладываемым на него классификационным сеткам не раз служило предметом разных замечаний и оговорок. Создавались «промежуточные группы», говорилось о совме-

---

[3] *Кершиене Р. Б., Морозова С. Е., Преображенская М. Н.* Особенности организации сложных синтаксических конструкций в текстах древнерусских и старорусских памятников XI—XVII вв. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1983, № 1, с. 48—58.

[4] *Павлюченкова П. Ф.* Значения и функции союзных слов *кто, что* в составе сложноподчиненных изъяснительных конструкций (на материале деловых памятников XVII века. — Учен. зап. Смоленского гос. пед. ин-та, 1970, вып. XXIV, с. 199—203; *Политун Т. Н.* Употребление служебных слов «яко» и «что» в языке XVII—нач. XVIII века. — В кн.: Русский язык. Душанбе, 1979, с. 135—143.

[5] *Троицкий В. И.* Относительное подчинение в русском языке XVI—XVII вв. АДД. Л., 1972, с. 16—18; *Белкина Е. М.* Древнейшие конструкции сложных предложений с относительным подчинением в памятниках деловой письменности XVII века. — В кн.: Сб. научных трудов МГПИИЯ, 1973, вып. 78, с. 219—227.

щении нескольких значений в одной конструкции и т. п.[6] Конструкции с относительным подчинением трактовались и как фразеологизированные [7]. Однако само расхождение трактовок свидетельствует об отсутствии ясности в данном вопросе. Один из интересных подходов представлен в работе Л. Н. Гуковой, которая группирует усложненные предложения со ступенчатым подчинением по расположению подчиненных частей в препозиции и постпозиции к главной части и в зависимости от их соответствия семантико-синтаксической проекции. Однако автор не скрывает затруднений в вычленении изучаемых конструкций [8].

Особенность древне- и старорусского текста — почти сплошное союзное нанизывание предикативных частей, образующее сквозное логико-семантическое целое — хорошо известна [9]. Очевидно, что поиски сложных предложений в таком коммуникативном единстве надо производить исходя из его композиционной логики, находя такие объединения предикативных единиц, которые обладают некоторыми признаками выделимости по отношению к предшествующим и последующим фрагментам текста. Методически важным представляется нам соображение о том, что сложное предложение как структурная единица — сравнительно позднее синтаксическое построение. Сложное предложение возникает в ответ на потребность осознать связи между разными событиями [10]. До известного времени такие связи выражались только средствами текста, поэтому ожидать в старших текстах последовательной членимости на структурно организованные простые и сложные предложения не следует.

Для нас очевидно также, что совершенно бесперспективно по отношению к старшим текстам ставить вопрос о выделении сложносочиненных предложений. В этих текстах все высказывания от начала до конца увязаны сочинительными союзами. Ни одно из них не обладает коммуникативной законченностью, и во многих случаях высказывание даже не обладает структурной схемой предикативной единицы, а представляет собой фрагмент такой схемы или полупредикативный оборот. Расчленить такой текст на пары сочиненных предложений без насилия над цепным союзным нанизыванием не представляется возможным [11]. Конечно, в отдельных случаях могут встре-

---

[6] *Белкина Е. М.* Переходные конструкции с относительным подчинением в московской деловой речи XVII века. — В кн.: Сб. научных трудов МГПИИЯ, вып. 78, с. 228—233; *Кремко И. И.* Синтаксис сложного предложения слонимских актов второй половины XVI века. АКД. Минск, 1960.

[7] *Кузнецова Р. Д.* История подчинительных союзов в русском языке. АДД. Саратов, 1979, с. 18.

[8] *Гукова Л. П.* Усложненные предложения со ступенчатым подчинением в русской деловой письменности XVII в. АКД. Ростов н/Д, 1969, с. 5.

[9] *Ринберг В. Л.* Древнерусские сложные предложения и их современные параллели. К., 1975; Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение, с. 16—22.

[10] *Черемисина М. И.* Предисловие. — В кн.: Способы выражения полипредикативности. Новосибирск, 1978, с. 12—15.

[11] *Ильинская И. В.* Функционально-грамматические показатели членения старорусского письменного текста (на материале статейных списков XVI в.). АКД. М., 1978, с. 16—20.

титься в соседних предикативных единицах лексические средства, указывающие на более тесную связь между ними, чем с предыдущими и последующими ПЕ [12]. Такими средствами чаще всего бывают антонимы. На сцеплении частей с помощью лексических средств построены все пословицы, имеющие форму сложносочиненного по современным представлениям предложения. Пословицы и были такими автосемантичными текстами, которые, состоя всего из двух или трех ПЕ, увязывались и сочинительными союзами, что отвечает нормам построения старших русских текстов, и обязательно лексическими средствами разного типа: Вешней путь не дорога а пьянова рѣчь не бѣседа (Пословицы XVII в., с. 380); Время краситъ а безвремяне сушитъ (Там же, с. 382); Воробей под кровлю а сова на ловлю (Там же, с. 388). Подобные лексически соотнесенные объединения предикативных единиц можно найти и в некоторых художественных текстах древнерусской литературы [13]. Однако полагаем, что сложносочиненных предложений как отработанных и закрепленных структурных схем в старшем русском языке не было. Отдельные пары ПЕ, связанные сочинительными союзами, при обязательной опоре на лексические параллели и взаимодействия, были, но являлись фактами речи, а не системы языка. Вполне возможно, что возникшие таким путем структуры некоторых пословиц и крылатых выражений, получившие автосемантическое бытование в качестве самостоятельных небольших текстов, впоследствии могли оказать влияние на формирование сложносочиненных предложений.

Вопрос о бессоюзных сложных предложениях для древне- и старорусских текстов ставить еще более затруднительно. Возможный перерыв в союзном нанизывании обычно указывал на окончание одной части текста и переход к новой его части или на начало пояснения предыдущей части текста [14]. Мы полагаем, что о бессоюзных сложных предложениях в старорусском периоде можно говорить только как о речевом явлении, в частности, проявлявшемся, например, в тех же пословицах, имевших самостоятельное текстовое бытование. Духъ бодръ плоть немощна (Пословицы XVII в., с. 719); Не пеи много вина не истяряешь ума (Там же, с. 1693). В значительных по объему письменных текстах русского языка старшего периода такие сложные предложения не выделялись.

Анализируя тексты старорусской письменности, в первую очередь деловой, как коммуникативное и структурно-семантическое целое, мы пришли к выводу о возможности корректного вычленения без разрыва естественных связей в сложном тексте трех основных композиций, в рамках которых функционируют блоки взаимосвя-

---

[12] Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение, с. 55.

[13] *Кершиене Р. Б., Морозова С. Е., Преображенская М. П.* Указ. соч., с. 51.

[14] *Глинкина Л. А.* О структурно-семантической соотносительности/несоотносительности бессоюзных и союзных предложений в языке древнерусских памятников письменности XVI—XVII вв. — В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков. М., 1971, с. 94—105.

заиных предикативных единиц: 1) препозитивное подчинение ПЕ, несущей тему высказывания. Такая ПЕ содержит служебные слова, указывающие на ее зависимое положение. Следующая за ней ПЕ несет рему высказывания и может содержать соотносительные служебные слова, отсылающие к предыдущей ПЕ; 2) постпозитивное подчинение ПЕ, раскрывающей содержание предшествующих слов или ПЕ; 3) присубстантивное подчинение ПЕ, характеризующей одно слово, обычно именную часть речи, из другой ПЕ. Служебные слова во всех трех типах конструкций могут быть одни и те же. Главные из них — *что*, *как*, *чтобы*, *который*. Их функции разнообразны: союз, союзное слово, скрепа, указатель зависимости и т. п. Семантическая дифференциация служебных слов почти отсутствует, что неоднократно отмечалось историками русского синтаксиса. Проиллюстрируем указанные выше три типа сложных предложений, вычленяемых в старорусских текстах, связанных союзным нанизыванием.

I. Препозитивное подчинение. Как уже говорилось, старорусский текст образует тесно связанное структурно-семантическое единство. Высказывания следуют друг за другом в соответствии с реальной последовательностью описываемых действий, а также в соответствии с порядком следования мысли от темы к реме. Нередко тема и рема высказывания выражаются разными предикативными единицами. Обе эти единицы вполне вписываются в общее цепочечное нанизывание, от обычного следования ПЕ в связном тексте они несколько отличаются наличием указателей их коммуникативной функции. Часть, содержащая тему высказывания, имеет относительно-вопросительное слово, а часть, содержащая рему высказывания, включает указательное местоимение, выполняющее роль соотносительного слова: А *гдѣ* они тое грамотку взяли, *того* де онъ Васка не слыхалъ (Расп. речи, л. 387); А *кто* де у него въ товарыщахъ Татаръ были, *про то* де онъ Рысъ самъ скажетъ (Там же, л. 388).

На фоне таких предложений проясняются случаи, затруднявшие синтаксистов, когда в связном тексте тема высказывания только названа с помощью словосочетания (предикативной единицы не образует). Вместе с последующей предикативной единицей (ремой) фрагмент образует вполне осмысленное высказывание: А *что* моя деревня Беляницына ино *та* деревня после моего живота Козаку да Прибытку Онуфреевым детея Хворостинина (Дух. гр. 1507—1516 гг.); А бережных бы кабы*л* вели ходить *за* ними особѣ (Ист. 112). Формальные средства, включающиеся в препозитивную зависимую часть, позволяли дифференцировать семантико-синтаксические отношения между зависимой и главной частью. Это могли быть отношения временно́й последовательности действия. Они выражаются с помощью союза *как*: И *какъ* де Андрей Неприпасовъ указъ великого государя сталъ честь и велѣлъ ему Тевкихану съ мѣста на поги встать и шапку снять (Расп. речи, л. 386); *Какъ* де будетъ Таушка Мергень изъ Бухаръ съ товарыщи, и в то де число ихъ Андрея отпуститъ онъ Тевкиханъ (Там же, л. 387).

Этот же союз используется в конструкциях с условно-следственной семантикой: А *какъ* де ихъ отпустить, и твоему де зятю мурза Килдею у Тевкихана въ Ордѣ не бывать и съ Руси де его не отпустятъ (Расп. речи, л. 387); *Какъ* де ихъ не отпустишь, и зятя де его мурза Килдея съ Руси отпустятъ к нимъ въ Ургу (Там же, л. 387).

Но есть и более четкое средство для выражения условно-следственной связи между препозитивной и постпозитивной предикативными единицами. Это служебное слово *будет*: И *будет* де тѣмъ ворамъ, которые ходили подъ слободы и подъ остроги указу никакова не учинишь, и великій государь укажетъ тебя Тевкихана смирять войною (Расп. речи, л. 386).

В рамках препозитивного подчинения выражались и уступительные отношения: *Хотя* де и все вырубятъ и пожгутъ, намъ де до того дѣла нѣтъ (Распр. речи, л. 387).

Отметим выражение заместительных отношений: *Чѣмъ* де намъ въ Русь ходить, и они де къ намъ будутъ въ холопи (Расп. речи, л. 386).

Из синтаксических исследований известны и другие виды семантико-синтаксических отношений, которые могли выражаться в рассматриваемой модели препозитивного подчинения. Все они, на наш взгляд, различаются благодаря лексико-семантическим особенностям. Сама же синтаксическая модель препозитивного подчинения, на наш взгляд, во всех этих случаях остается одна и та же.

II. При постпозитивном подчинении вторая часть служит для раскрытия содержания первой части. Особенно широко постпозитивное подчинение использовалось для раскрытия содержания глаголов речи. Изложение того, что было кем-то сказано, могло состоять из большой цепи присоединенных друг к другу сочинительными союзами предикативных единиц. Но были и такие речевые контексты, когда содержание речи излагалось в одной предикативной единице. Получалось парное сцепление двух ПЕ, которое можно оценивать как прообраз сложноподчиненных предложений с придаточной изъяснительной частью: И онъ сказалъ: я де далъ Богъ здравъ въ восмидесятъ тысячахъ войска своего (Расп. речи, л. 386); И сказалъ имъ, что де выберетъ онъ посла своего къ великому государю и съ ними жъ отпуститъ въ Русь вмѣстѣ (Там же, л. 387).

Но подобные парные сцепления были редкими и оставались речевыми явлениями. Обычной же конструкцией было цепное нанизывание ПЕ, в совокупности своей поясняющих содержание глаголов речи. Эта цепочка после глагола речи могла начинаться без союза, но довольно часто использовался союз *что*, отмеченный исследователями уже в текстах XV в.[15] В. И. Борковский указал круг глаголов, которые изъясняются последующим текстом; это глаголы восприятия, мыслительной деятельности, волевого и эмоционального состояния [16].

[15] Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение, с. 438—439.

[16] *Борковский В. И.* Бессоюзные дополнительные предложения в старорусских

В конструкциях постпозитивного подчинения не было четкого разграничения между изъяснением, выражением атрибутивных, пояснительных, причинных и других обстоятельственных отношений. В следующих примерах постпозитивные части так или иначе разъясняют препозитивную часть, но характер этого разъяснения четко не определяется: А они де таковы жъ люди, *что* и онъ, Тевкихань (Распр. речи, л. 386); А вѣра де у нихъ такова, что по своей вѣрѣ и Богу молятца въ шапкахъ (Там же, л. 386).

Причинная функция союза *что* в старорусском языке отмечалась; она сохраняется и до сих пор в народно-разговорном языке [17]. Более четко причинные отношения выражались в конструкциях с союзами *для того что* и *потому что*: Нынѣ де ихъ Андрея въ Русь отпустить нелзя, для того, что де яртоулъ розошелся по степи (Распр. речи, л. 387); И пришелъ къ Тевкихану одинъ Казакъ и билъ челомъ, что де онъ идти посломъ въ Русь готовъ, потому что и прежъ де сего въ Руси бывалъ (Там же, л. 387).

Можно определить целевые отношения в конструкции постпозитивного подчинения с союзными словами *для того чтоб*: А товарыщи де его Васкины. . . пошли на казачьи городки, для того чтобъ въ Тоболескъ подать вѣсть вскорѣ (Расп. речи, л. 388).

В конкретных контекстных условиях модель постпозитивного подчинения использовалась для выражения разных пояснительных и детерминирующих отношений, но ее структурное единство не разрушалось.

III. Присубстантивное подчинение. Определение к существительному может быть выражено предикативной единицей. Такое определение ставится рядом с определяемым, а отношение между ними выражается с помощью местоименного слова. В старорусском языке в этой функции часто использовалось универсальное служебное слово *что* [18]. Оно употребляется и как союз, и как союзное слово: . . . Послань. . . съ выговоромъ, что его люди ходятъ великого государя Тоболского уѣзду подъ слободы, и людей побиваютъ и въ полонъ емлютъ и разоряютъ (Расп. речи, л. 385).

Связующую роль выполняют и другие местоименные слова: *как*, *где*, *который*: И Тевкиханъ сказалъ имъ и велѣлъ передъ себя придти съ указомъ великого государя въ иное время, какъ де Казаки съ степи съѣдутца (Расп. речи, л. 386); И шли де они отъ Тоболска сухимъ путемъ прямо степью два мѣсяца до перваго городу Тургустапу, гдѣ живетъ Казачьей Орды владѣлецъ Тевкиханъ (Там же, л. 385); . . . И тѣмъ ворамъ которые разоряли слободы, учинить указъ при немъ Андреѣ (Там же, л. 386).

В указанные три структурные схемы сложного предложения укладываются все синтаксические объединения предикативных еди-

---

памятниках. — В кн.: Русское и славянское языкознание. М., 1972, с. 49—54.

[17] *Борковский В. И.* Синтаксис сказок пушкинских мест. — В кн.: Современные проблемы литературоведения и языкознания. М., 1974, с. 375—388.

[18] Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение, с. 86.

ниц, которые можно вычленить из старорусского текста, не нарушая его логики и коммуникативной осмысленности. Значительные отрезки текстов не представляют собой частей какого-либо сложного предложения, а остаются автономными компонентами текста, в равной мере связанными с предшествующими и последующими окружениями. Система сложных предложений современного русского языка сложилась в результате сложных перестроек системы синтаксиса, которые развернулись после преобразований Петра I и охватили XVIII и XIX вв. В старорусском языке существовали лишь семантические аналоги временных, причинных, целевых, условных, уступительных, изъяснительных, определительных сложных предложений, выражавшиеся в рамках всего трех структурных моделей.

ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНЫХ СОЮЗОВ В ПАМЯТНИКАХ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XI—XVII ВВ.

Р. Д. Кузнецова

Одной из сложнейших проблем при изучении синтаксиса древнерусского языка является проблема вычленения сложного предложения и установления его границ в условиях речевого потока, каким является связный текст русских памятников. Это и понятно, если учесть, что для памятников русской письменности, не имеющих определенной системы пунктуации, роль интонации в организации сложного предложения, по точному определению В. И. Борковского, явление «не данное, а искомое» [1].

Обычно в работах по историческому синтаксису типовые конструкции и организующие их структурные компоненты характеризуются без учета воздействия окружающего контекста.

В строе современного союзного предложения синтаксические отношения находят формальное выражение прежде всего в средствах связи.

Если же произвести выделение сложносочиненного и сложноподчиненного предложений в древнерусском связном тексте, то оказывается, что наличие таких союзов, как *и*, *а*, *да*, не является достаточным основанием для выделения, например, сложносочиненного предложения.

Союзы, обозначающие грамматическую связь, могут отсутствовать, например: Солнце ему тьмою путь заступаше пощь стонущи

[1] *Борковский В. И.* Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение. М., 1958, с. 5. См. также: *Кершиене Р. Б., Морозова С. Е., Преображенская М. Н.* Особенности организации сложных синтаксических конструкций в текстах древнерусских и старорусских памятников XI—XVII вв. — Изв. ОЛЯ, 1983, № 1, т. 42; см. также: Структура предложения в истории восточнославянских языков. М., 1983.

ему грозою птичь убуди свистъ звѣрипъ вѣста. . . длъго ночь мрькнетъ заря свѣтъ запала мъгла поля покрыла щекотъ славiй успе говоръ галичъ убуди (Сл. о полку Иг., с. 211). В таких построениях предикативные единицы характеризуются однотипностью синтаксической организации.

Однако чаще предложения в тексте связываются повторяющимися союзами, состав которых ограничен. Наиболее употребительными в цепочечных построениях являются союзы *и* и *а*, реже — *да*. Ср. летописный текст: Бысть языкъ единъ и умножившемъся человѣкомъ на земли и помыслиша создати столпъ до небесе въ дни Нектана и Фалека и собрашася на мѣстѣ Сенаръ поли здати столпъ до небесе и градъ около Вавилопъ и созда столпъ то за 40 лѣтъ и не свершенъ бысть и сниде господь богъ видѣти градъ и столпъ и рече господь се родъ единъ и языкъ единъ и съмѣси богъ языкъ и раздели на 70 и 2 языка и расъсѣя по всей земли (Пов. вр. л.).

Отдельные звенья этого описания связаны союзом *и*, употребление которого создает своеобразие в объединении предикативных единиц в тексте (то же отмечается в текстах с повторяющимися союзами *а* и *да*): хотя союз *и* является показателем связи между предикативными единицами, однако границы этих единиц оказываются «размытыми» (исключение составляют реплики диалога). Вместе с тем уже в ранних памятниках союзы *и*, *а*, *да* использовались для выражения сочинительных отношений в сложных предложениях с парной связью частей, например: Татары же възвратишася от рѣкы Днепря и несъвѣдаемъ, отъкуда суть пришли и кдѣ ся дѣша опять (I Новг. лет.). Поэтому при анализе текста возникает проблема установления различий между самостоятельными предложениями, объединенными в связный текст союзами *и*, *а*, *да*, и сложными предложениями с сочинительными союзами *и*, *а*, *да*.

В результате однообразного повторения одного и того же союза, подчеркивающего и усиливающего взаимную связь предложений, создаются особые, характерные для древнерусских текстов синтаксические построения — конструкции нанизывания с цепочечной связью предикативных единиц. Эти построения открыты, так как количество компонентов в них может быть неограниченным и определяется объемом излагаемой информации.

В лингвистической литературе принято считать, что построения данного типа характеризовали строение любого древнерусского текста. Однако в исследованиях последних лет отмечается, что синтаксические построения с цепным нанизыванием предикативных единиц ограничены в жанрово-стилистическом отношении и отмечены узкой сферой использования в письменности старшего периода. Так, по наблюдениям В. Л. Рипберг, нанизывание составляет синтаксическую основу летописей, деловых и дипломатических документов, памятников публицистического характера [2]. На основе этих данных можно заключить об особенностях организации предложений

[2] *Рипберг В. Л.* Древнерусские сложные конструкции и их современные параллели. К., 1975, с. 52—53.

в единое смысловое и синтаксическое целое, характерное для тех памятников, в которых отражаются синтаксические приметы разговорной речи: высказывания отличаются параллелизмом строения, нанизываются одно на другое повторяющимися союзами, воспроизводя процесс организации спонтанной речи, развертывающейся по принципу присоединительности.

В. И. Борковский, исследовавший значительное количество грамот, заметил, что союзы *и, а* никогда не начинают грамот, даже тех, которые не имеют традиционного зачина, так как начальное предложение «нечему противопоставлять, не к чему его присоединять: Се въдале варламе стму спсу землю; Благословение от влъдкы» [3].

Эти факты свидетельствуют о том, что начинающий предложение союз указывает на связь данного предложения с предшествующим, т. е. предложение с начальным союзом всегда мыслится в каких-то отношениях к предыдущему. И лишь начальное предложение текста автономно, грамматически самостоятельно, поэтому в нем нет начального союза как показателя смысловой и структурной зависимости его от предшествующего текста. В. Л. Георгиева считает, что эти особенности употребления выявляют тесную связь союза с предложением, которое он начинает, т. е. такой союз стоит при каждом последующем предложении. Не случайно союз реализуется только в постпозитивном предложении, указывая на его смысловую связь с предшествующим [4]. При парном объединении предикативных единиц в составе сложносочиненного предложения союз стоит между частями сложного предложения, так как именно союз выражает отношения между образующими сложное предложение единицами.

Принадлежность рассматриваемых союзов тому предложению, которое они начинают, подтверждается и особенностями их употребления в сложноподчиненном предложении. Для древнерусского и старорусского периодов наиболее важным структурным признаком сложноподчиненных предложений является место зависимой части в составе сложного предложения, с чем связано их деление на две группы — с постпозитивной и препозитивной придаточной частью. В предложениях с препозитивной придаточной частью наряду с подчинительными союзами для выражения синтаксических отношений используются и сочинительные союзы. Особенностью таких предложений является употребление в начале придаточной части отмеченных выше союзов: *А* что былъ отцалъ братъ твои Александръ пожне. а то ти книже не надобѣ (Новг. гр. 1264—1265 гг., № 1); *А* которои дъяк список нарядит или дело запишет не по суду, *а* на том дъяке взяти перед боярином вполы да кинути его в тюрму (Суд. 1550 г.). А. Н. Стеценко отмечает, что в таких построениях «подчинительный союз выступает с сочинительным» [5]. Однако анализ употреблений союзов *и, а, да* показывает, что они выполняют начинательно-присоединительную функцию: участвуя в организации текста, они

[3] *Борковский В. И.* Указ. соч., с. 96—98.
[4] См.: *Георгиева В. Л.* История синтаксических явлений русского языка. М., 1968, с. 113.
[5] *Стеценко А. Н.* Исторический синтаксис русского языка. М., 1972.

ориентированы на связь с предшествующим предложением или даже с большим или меньшим отрезком текста.

Начальные союзы в сложноподчиненном предложении могли отсутствовать. Обычно это наблюдается в тех случаях, когда сложноподчиненное предложение представляет начальное высказывание текста, отдельную мысль. Ср. начало Смоленской грамоты 1229 г.: Что с А дѣѣте по вѣремьнемь. то ѿидето по вѣремьнемь. Как только предложение попадает в цепочку связанных по смыслу предложений, перед ним появляются союзы *и* или *а*: Которыи вълчанинъ възмьть латиньскыи товаръ чересъ вълъкъ вѣсти. а что погыпеть ѿ того товара что ѣмоу приказано. тъ платити всемъ вълъчанъмъ. Примеры подобного типа подтверждают положение о том, что союзы *и*, *а* являются сигналами начальной границы предложения в структуре сложного целого, каким является построение с цепочечной связью.

Союзы *и*, *а* отмечаются и перед главной частью. Такое употребление союзов характерно для всех разновидностей сложноподчиненных предложений с разными смысловыми отношениями (временными, условными, причинными, определительными и т. д.). В этом случае союз выполняет роль дополнительной связки, объединяющей предикативные единицы в составе сложного предложения. По выражению А. А. Потебни, такие сочинительные союзы «как бы назначают еще недостаточно сросшиеся швы между частями сложного предложения» [6]. Наличие сочинительного союза выявляет слабую грамматическую связь между частями сложного предложения и их относительную самостоятельность. Например: . . .*а* что ты гсдрь хател пожаловат грамоту прислат на пустошь. . . *и* грамоты тое гсдрь не присылал и письма нет (Пам. нар.-разг., № 127, с. 82).

В структуре сложноподчиненного предложения сочинительный союз отсутствует, если зависимая часть постпозитивна по отношению к главной части, например: а мы холопе твои ѣздили в Куреск. . . *и* сыскали крестьянку что бежала из деревни (Пам. нар.-разг., № 5, с. 121). Здесь проявляется более тесная связь между предикативными единицами.

Изучение функций начальных союзов в древнерусском тексте показывает, что они являются универсальным средством объединения предикативных единиц, обеспечивая связность текста. Круг повторяющихся союзов ограничен, а их употребление связано со специфической функцией — начинательно-присоединительной. Отмеченные особенности начальных союзов свидетельствуют о том, что использование термина «сочинительные» по отношению к начинающим предикативную единицу союзам очень условно.

Учитывая это, В. Л. Георгиева предлагает выделить начальные союзы как особую группу союзов, обозначающих грамматическую разновидность сочинительной связи [7]. Однако если цепочечную конструкцию рассматривать как способ организации древнерусского текста, в котором сочетание предложений образует синтакси-

---

[6] *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М., 1958, т. I—II, с. 197.
[7] *Георгиева В. Л.* Указ. соч., с. 113.

ческое и смысловое единство, находящее соответствие в сложном синтаксическом целом современного русского языка, тогда функция союза в начале предикативной единицы состоит в осуществлении особого типа синтаксической связи — выражение семантической общности объединяемых предикативных единиц.

Вместе с тем союзы *и* и *а* в тексте осложняются специфическими функциями. Рассмотрим текст письма № 64 (Ф. И. Безобразов — А. И. Безобразову): . . . *а*[1] пыпеча пишю что ты гсдрь укажеш то и делат пишеш ты гсдрь про двор московской что разделит и я гсдрь будꙋ к Семеню дни будет что не займет *а*[2] пишеш ты гсдрь про марфинской двор что мне которою половину брат и ты пожалуи мне ту половину что с канюшною и с ызбою и с клетю и половину двора ту ж *а* себѣ гсдрь изволь взят горницы да баню и с местом *а*[3] житницы гсдрь вели разделит Андрѣи Иличь гсдрь то какая правда что полтинны денги с чюбаровских мужиков и ты гсдрь те денги к себѣ взят и своим гсдрь крестьяном отдал кои тебѣ досталис *а* кои мне гсдрь досталис крестьяня и ты тем гсдрь не отдал и тем гсдрь крестьянишек не згонишь а меня не разориш же *а*[4] батюшка гсдрь приказал всем отдат *а* не одной твоей половине за всекаи милосердие твое ѳетка Безобразовъ челом бьет (Пам. пар.-разг., с. 42).

В письме союзами *а* (с цифровыми показателями) отмечается переход к новой мысли, причем никакого сопоставления со сказанным ранее или противопоставления сказанному здесь нет. Внутри этих отдельных смысловых звеньев (микротем) союзы *а* употребляются для обозначения противопоставления и сопоставления в составе сложного предложения. Союз *и* в начинательно-присоединительной функции употребляется в тексте, где передается временна́я последовательность в содержании следующих друг за другом предикативных единиц: По сихъ же придоша печенѣзи к Василеву *и* Володимиръ с малою дружиною изыде противу и съступившимся и не мог стерпѣти противу и подъбѣгъ ста под мостом одва укрыся противных *и* тогда обѣщася Володимеръ поставити церковь. . . (Пов. вр. л.).

Таким образом, союзные средства выражения межфразовых связей внутри конструкций цепного нанизывания и на границах между ними различны. Первое предложение обычно связано с предшествующим контекстом, формальная связь ослабевает, поэтому начальный союз не употребляется или же используется союз *а*, начинающий новую микротему. Внутри этой микротемы предикативные единицы соединяются друг с другом союзом *и*. Изучая текст Домостроя, к сходным выводам пришла М. А. Соколова [8]. Однако не все тексты так последовательно отражают дифференциацию в употреблении начальных союзов *и* и *а*. В церковнославянских текстах союз *а* в начале предложений отмечается чрезвычайно редко. В древнерусских текстах различных в жанрово-стилистическом отношении наблюдается разное соотношение в употреблении союзов *и* и *а*.

---

[8] *Соколова М. А.* Очерки по исторической грамматике русского языка. ЛГУ, 1962, с. 279.

Так, по данным С. П. Обнорского, в «Русской правде» союз *а* является основным в начале предложений. В «Поучении Владимира Мономаха» в начальной функции обычен союз *и*, союз *а* представлен единичными примерами [9]. Следовательно, употребление начального союза *а* характеризует те памятники русской письменности, которые отражают народно-разговорную речь. На эту особенность обращал внимание и Ф. И. Буслаев, отметив, что «повторение одного и того же союза, и преимущественно союза *а*», придает письменному языку окраску живой народной речи [10].

Союз *а* в начинательно-присоединительной функции широко используется в частной переписке XVII в.: . . . писал ты ко мне что я в покое живу и у меня гсдрь видел ты и сам в кокон покое живу на Москве одна у меня избишка и ты и тому позавидовал *а* у тебя люди и повор Власка в батюшкина ж хоромах живут *а* хоромы обчие ещо не разделены а двор гсдрь московскои я рад делит. . . (Пам. нар.-разг., № 64, с. 42). Организация предикативных единиц в составе конструкций цепного нанизывания доказывает, что употребление в них начинательно-присоединительных союзов сигнализирует о начальной границе предикативных единиц: *И* нача княжити Володимеръ въ Киевѣ единъ (1) *и* постави кумиры на холму внѣ двора теремнаго Перуна древяна а главу его сребрену а усъ златъ и Хърса Дажъбога и Стрибога и Симарыгла и Мокошь (2) *и* жряху имъ паричюще я богы (3) *и* привожаху сыны своя и дъщери (4) *и* жряху бѣсомъ (5) *и* оскверняху землю требами своими (6). (Пов. вр. л.).

Однообразно повторяющиеся союзы в начинательно-присоединительной функции не являются выразителями смысловых отношений между соединяемыми предикативными частями.

Таким образом, начальные союзы характеризуются двойной функциональной нагрузкой: они присоединяют предложение, которое начинают, к предшествующему и вместе с тем за рамками данного предложения соотносятся с другими союзами, создавая семантическую общность текста и его членение. Являясь посредствующим звеном между высказываниями, начинательно-присоединительные союзы указывают на движение от полученной информации к получаемой, т. е. их употребление определяется организацией текста. Такие союзы осуществляют связующую функцию в тексте сами по себе, поэтому их препозиция — сигнал нового высказывания.

---

[9] *Обнорский С. П.* Очерки по истории русского литературного языка. М.; Л., 1946, с. 176.

[10] *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1959, с. 554.

ОСОБЕННОСТИ СОЧИНЕНИЯ (сложные предложения) В ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ ДРЕВНЕРУССКОГО И СТАРОРУССКОГО ЯЗЫКОВ[1]

Р. Б. Кершиене

Проблема изучения одной из сложных синтаксических конструкций — сложносочиненного предложения — в текстах XI—XVII вв. теснейшим образом связана с вопросом организации этих текстов, построенных по способу «цепочечного (или цепного) нанизывания» предикативных единиц (далее ПЕ)[2] при помощи начинательных союзов»[3].

Как известно, тексты древних письменных памятников отличаются от современных текстов как внешним «оформлением» (нет пробелов между словами и пр.), так и своей внутренней организацией. Необходимо также отметить, что в письменных памятниках служебные слова *а*, *и*, *да* выполняют различные функции при нанизывании ПЕ в тексте и при объединении ПЕ в сложносочиненную конструкцию.

Приведем пример древнего текста, организованного по способу цепочечного нанизывания: 1. Приде Стославъ в Переяславець 2. и затворишасѧ Болгаре въ градѣ 3. и излѣзоша Болгаре на сѣчу противу Стославу 4. и бы(с) сѣча велика 5. и ѡдаляху Болъгаре 6. и ре(ч) Стославъ всемъ своимъ оуже намъ сде пасти потягнемъ мужьски братыа и дружино (Лет. Лавр., л. 21).

Служебное слово (в данном случае начинательный союз *и*) выполняет как функцию членения текста на отдельные ПЕ, так и функцию организации последних в единую линейную последовательность, создавая семантическую общность текста. Академик Д. С. Лихачев, «переводя» данный текст на современный язык, сгруппировал ПЕ следующим образом: № 1—2, № 3—4—5, № 6[4]. Но возможны и другие варианты компоновки ПЕ в этом тексте, например: в ПЕ № 5—6 можно усматривать причинно-следственные отношения; подобные

---

[1] Статья написана на основе обобщения проблем, касающихся соотношения способа организации древних текстов и сложносочиненных предложений, исследованных в монографии «Структура предложения в истории восточнославянских языков» (отв. ред. В. И. Борковский. М.: Наука, 1983).

[2] Предикативной единицей (ПЕ) считаем любую минимальную синтаксическую единицу, в которой тем или иным способом выражены предикативные значения времени и модальности, будь то простое двусоставное предложение, безличное предложение, оборот типа «дательный самостоятельный», одна из частей сложного предложения и т. д.

[3] Используем термины «цепочечное (цепное) нанизывание» и «начинательные союзы», уже с давних пор употребляемые историками языка (см., например: Е. С. Истрина, М. А. Соколова, Т. П. Ломтев, В. Л. Рипберг, З. Д. Попова и др.).

[4] Изборник. Сборник произведений Древней Руси. М., 1969, с. 53.

комбинации предикативных единиц «на свой вкус» при использовании опыта чтения современных текстов, ведет к искажению строения древнего текста. Если учитывать своеобразное строение древних текстов, при котором ПЕ как бы «нанизываются» начинательным союзом в единое семантическое целое, представляется справедливым мнение, что приведенный выше отрывок из Лаврентьевской летописи нельзя расчленить на отдельные ПЕ. Только последняя ПЕ № 6 (прямая речь со словами автора) может быть выделена из потока ПЕ, однако не следует забывать, что и она включена в общую цепочку нанизывания ПЕ начинательным союзом *и*.

В связи с омонимичностью служебных слов *и*, *а*, *да* (они могут выступать в функции начинательных союзов при цепочечной организации ПЕ и в функции сочинительных союзов, соединяя части сложносочиненной конструкции), очевидны трудности при определении границ сложносочиненной конструкции с этими служебными словами в древнем тексте. Можно указать некоторые «позиционные» условия, при которых их границы представляются достаточно отчетливыми (чаще всего это вхождение сложносочиненных конструкций в другие конструкции, обладающие своими специализированными формальными средствами связи, например: конструкция прямой речи, сложноподчиненное предложение, сложносочиненное предложение с другим союзом). На конец сложносочиненной конструкции может указывать ее «закрытость» (при отношениях внутренней обусловленности между частями сложного предложения — термин взят из Русской грамматики-80, а также конструкции с союзом *но*). По всей вероятности, из «цепочки» ПЕ не следует вычленять «пару» ПЕ со значением временно́й последовательности между ними в связи с тем, что это же значение характерно для цепочечного нанизывания ПЕ, — и поэтому почти невозможно найти формальные критерии для прерывания «цепочки» ПЕ.

Наблюдения при исследовании письменных памятников показали, что между характером объединения ПЕ при организации текста по принципу цепочечного нанизывания и особенностями структуры сложных синтаксических конструкций сочинительного типа много общего как в древних текстах, так и в современном русском языке [5]. Чтобы доказать данный тезис, целесообразно провести сравнение по некоторым параметрам (за единицу сочинительной конструкции принимаем двучленное предложение).

Прежде чем начать предложенный анализ, перечислим сочинительные союзы, зарегистрированные в письменных памятниках XI—XVII вв. Следует обратить внимание, что почти все сочинительные союзы сохранили свое значение и употребление на протяжении всей истории языка. Это: *и*, *а*, *да*, *да и*, *ни — ни*, *но* (*нъ*), *однако* (*одинако*), *или*, *либо*, *то — то*. Вышли из употребления союзы: *ан*, *ано*, *ин*, *ино* (дублировавшие *но*), *любо* (аналог *либо*), а также одиночные *ли* и *ни*.

---

[5] Однако отличие древнего сочинения и современных с ложносочиненных предложений существуют, что мы ниже постараемся показать.

Приведем примеры с одиночными *ли* и *ни* и укажем на особенности их употребления в письменных памятниках.

Одиночное *ли* занимало позицию сочинительного союза (стояло между частями конструкции, и части конструкции при этом могли быть обратимыми); в современном языке *ли* всегда помещается после значимого слова, т. е. занимает позицию частицы. Примеры из древних текстов: Бог того не даи, аче кого притча приметь, *ли* лодья уразится, ли Русьская, ли Немецькая (Смол. гр. 1229 г.); Кую похвалу створимъ достойну твоего блаженьства, *ли* кому уподоблю сего праведника (К. Тур.).

Ни одиночное не употреблялось в первой части конструкции, всегда отрицательной: А и Суждальской ти земли Новагорода не рядити, *ни* волости ти не раздавати (Дух. гр. Новг., 1264 г. — ГВНП). В некоторых примерах с одиночным союзом *ни* встречаются такие, в которых отрицание *не* при глаголе во второй части сложносочиненной конструкции отсутствует. В этих случаях проявляется особенность некоторых отрицательных предложений в памятниках XI—XVII вв. Отрицание *не* при сказуемом может не ставиться, поскольку имеется отрицание *ни* при одном из слов, когда *ни* является и отрицанием, и усилительной частицей, например: Роусину же не дати пересоуда ни въ Ризе, ни на Готьском березе, *ни* Немчичю платити пересоуда Смоленьске (Списки Д и Е — Смол. гр. 1229 г.) [6].

Необходимо отметить, что сочинительные союзы (соединительные и сопоставительно-противительные) и в письменных памятниках, и в современном русском языке отличаются неоднозначностью («круг отношений, выражаемых ими, очень широк», все они «переобременены значениями») [7]. В памятниках письменности XI—XVII вв. данные сочинительные союзы еще более многозначны, чем в современном русском языке. Так, союз *а* кроме частей с сопоставительными отношениями мог объединять части сложносочиненной конструкции с отношениями соединения, например: нъ уже княже Игорю утрпѣ солнцю *а* дерево не бологомъ листвіе сронн (Сл. о плк. Иг.).

Соединительные и сопоставительно-противительные сочинительные союзы полифункциональны [8], и в связи с этим говорится о «функциональной гибкости» сочинительной связи, о ее «способности к разнообразным конкретизациям» [9] (так, союзы *а*, *и* способны объединять как части предложения равноправные, равнозначные, так и части предложения с отношениями внутренней обусловленности; в последних одна часть обусловлена и зависит от другой, и семантические отношения между частями в этих предложениях напоминают отно-

---

[6] Об особенностях отрицательных предложений в памятниках письменности см., например: *Борковский В. И.* Отрицательные предложения. — В кн.: Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения. М., 1968, с. 227 и сл.

[7] *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972, с. 556.

[8] Там же, с. 554.

[9] Русская грамматика, т. II. Синтаксис. М., 1980, с. 616.

шения между главным и придаточным в сложноподчиненных предложениях; указанные отношения в сложносочиненной конструкции возникают в результате конкретного лексического наполнения ее частей) [10]. Бо́льшая, чем в современном русском языке, полифункциональность сочинительных союзов в памятниках письменности особенно ярко проявляется в последней группе конструкций: сочинительные союзы используются в сложных конструкциях с такими смысловыми отношениями, которые в современном языке передаются только подчинительными союзами; например изъяснительными: видѣша же нѣцин *и* течение звѣздное бысть на небеси, отторгахуть звезды на землю (Лет. Моск., л. 122 об.); а вѣстъ ны есть. *а* Половцы восе лежать. за полъ дне (Лет. Ипат., л. 227 об.); условными: А едеши по корову *а* вьзи (три гривнѣ) (Берест. гр. XII—XIII в. — Арц. и Тих., № 8); причинно-следственными: В се же лѣто посла Всеволодъ. псъ Киева на Вячьслава. река сѣдѣши во Киевскои волости. а мнѣ достоить. *а* ты поиди в Переславль. отцинои свою (Лет. Ипат., л. 114 об.); отче ты еси уже старъ. тебѣ не достоить трудитиса. *но* поиди въ свои Кыевъ (Лет. Моск., л. 70); Не могу зде лечи. *но* везете мя Кыеву (Там же, л. 75).

В связи с многозначностью и полифункциональностью соединительных и сопоставительно-противительных союзов значение конструкции создается лексическим наполнением ее частей, а не значением союза.

Однако в письменных памятниках XI—XVII вв. существовала группа однозначных союзов — это разделительные союзы, наличие которых вносило в конструкцию значение разделения (взаимоисключения). Таким образом, разделительные союзы были эксплицитным семантическим и формальным показателем в сложносочиненной конструкции и этим своим свойством противостояли группам соединительных и сопоставительно-противительных союзов. С другой стороны, ни один из соединительных и сопоставительно-противительных союзов не использовался в конструкциях со значением взаимоисключения [11].

Итак, учитывая сказанное выше о начинательных союзах, объединяющих ПЕ при цепочечном нанизывании, и сочинительных союзах, соединяющих части сложносочиненных конструкций, сравним некоторые свойства двух указанных объединений ПЕ.

1. Начальный союз перед первой ПЕ характерен только для текстов, организованных по способу цепочечного нанизывания ПЕ (при данном анализе — далее ЦН); для сочинительных конструкций он не характерен. Однако, если указанная конструкция выступает в ЦН, то и она включается в цепочку ПЕ начинательным союзом.

2. ЦН характеризуется односторонней зависимостью ПЕ: последующая ПЕ обусловлена предыдущей, т. е. для ЦН важен левый контекст. Сложносочиненные конструкции также строятся по прин-

---

[10] В современном русском языке при помощи сочинительных союзов также могут быть переданы многие отношения между частями, которые характерны для подчинительной связи (ср.: Там же, с. 616, 619, 623 и др.).

[11] Все сказанное о разделительных союзах справедливо и для современного языка.

цину ориентации на левый контекст: при связи соединения нужно последующее соединить с чем-то предыдущим, при сопоставлении и противопоставлении — сопоставить или противопоставить чему-либо, при разделении — разделить или исключить из чего-либо.

3. В ЦН предикативные единицы характеризуются автосемантизмом, т. е. в первой ПЕ никогда не содержится формальных показателей, которые требовали бы появления последующей ПЕ. Частям сложносочиненных конструкций также свойственен автосемантизм, т. е. ни в составе первой, ни в составе второй части нет формальных показателей наличия синтаксической связи между частями. Таким образом, при сочинительной связи сохраняется факультативность присоединения очередной ПЕ и автосемантизм каждой части конструкции, характерные для ЦН.

4. Отличительным свойством ЦН является повторение начинательного союза перед каждой последующей ПЕ, количество которых определяется задачами информации, т. е. ЦН характеризуется параметром открытости.

В древних текстах все сочинительные союзы (кроме *но*) могли быть повторяющимися. Из этого факта, по-видимому, следует, что сочинительные конструкции в памятниках письменности могли иметь неограниченное количество частей (кроме конструкций с союзом *но*), т. е. могли быть потенциально открытыми, как объединения ПЕ при ЦН.

В современном русском языке прибавление второй части в сложносочиненном предложении с помощью союза *и* также не превращает конструкцию в закрытую (если только не возникают отношения внутренней обусловленности между частями предложения). По-другому ведет себя союз *а*: в современном языке прибавление второй части с помощью союза *а* создает двучленность как структурный признак синтаксической конструкции. В современном русском языке *а* указывает на бинарность сложносочиненного предложения.

Иная картина наблюдается в текстах памятников письменности, где довольно многочисленны случаи соединения трех и более ПЕ сочинительным союзом *а*. В таких конструкциях сопоставляются не только смежные части, но и каждая с каждой (1-я со 2-й, 2-я с 3-й и 1-я с 3-й и т. д.); причем части таких конструкций не только сопоставляются друг с другом, но и перечисляются, поэтому эти отношения В. В. Виноградов назвал «противительно-перечислительными» [12]: а зовут ѧ татары *а* инии глть таоурмены *а* друзии печенѣзи (Лет. Новг. II, л. 958); (Владимир имел Святополка от грекини), *а* отъ рогнѣди. д. сны имѣше изѧслава. и мьстислава. и ꙗрослава и всеволода *а* отъ иноꙗ стослава *а* отъ българынѣ бориса и глѣба. и посажа всѣ по роснымъ землѣмъ въ кнѧжении (Усп. сб., л. 86).

5. При ЦН предикативные единицы нельзя менять местами, так как их порядок передает отношения временнóй последовательности событий.

---

[12] *Виноградов В. В.* Указ. соч., с. 559.

Как основной признак сочинения отмечают грамматическую независимость частей сложной конструкции, что означает отношения равноправности этих частей. «Сочинительные союзы указывают на относительную автономность соединяемых предложений; позиция самого союза при сочинительной связи также характеризуется большей автономностью по сравнению с позицией союза подчинительного» [13]. Благодаря данному свойству сочинительные конструкции со значением соединения, сопоставления и разделения между частями могут быть обратимыми, т. е. их части можно поменять местами, не нарушая смысла высказывания, например: Уныша цвѣты жалобою *и* древо с тугою къ земли прѣклонилось (Сл. о плк. Иг., с. 29); Аврамъ гулялъ по горамъ *а* Адамъ крылся по порам (Пословицы, XVII в., с. 324); Нам ли от града погинути, *или* граду отъ насъ плѣпену быти (Сл. Дан. Зат.). Однако критерий обратимости не является основным, отмежевывающим сочинение от ЦН (а также подчинения), так как многие сочинительные конструкции необратимы. Причина необратимости частей сложносочиненной конструкции может быть лексической: замена во второй части имени существительного местоимением, неполнота второй части, детерминант, находящийся в первой части и пр.: И поиде Сватоша Лучску. *а* Путата Киеву (Лет. Моск., л. 25 об.); А в Суждальскои ти земли Новагорода не рядити, *ни* волости ти не раздавати (Дог. гр. Новг. 1264 г., — ГВНП). Причина необратимости может быть смысловой. Необратимы те конструкции, между частями которых наблюдаются отношения временной последовательности (с союзами *и*, *да*). С союзом *но* почти все конструкции необратимы, так как вторая часть в них указывает на различного рода ограничения, возместительность и пр., происходящие в первой части, и поэтому не может занимать первого места. Необратимы также сочинительные конструкции с отношениями внутренней обусловленности между частями (отношениями, близкими к подчинительным, а именно: причинно-следственными, условно-следственными, цели, изъяснения, противительно-уступительными), так как в них вторая часть по смыслу обусловлена первой. Однако некоторые противительно-уступительные конструкции (только с союзом *а*) допускают обратимость. По всей вероятности, в этих случаях на первое место выступает семантика сопоставления, и значение уступительности лишь накладывается на него, например: Лошадка маленка *а* седл8 мѣсто б8деть (Пословицы, XVII в., л. 343); Двери не отворялись, *а* его не стало (Аввакум, Житие, с. 66).

Таким образом, фиксированность частей в сложносочиненной конструкции — это частный случай (фактор), диктуемый лексическими или смысловыми условиями.

6. В древних письменных памятниках, как и в современном русском языке, для обеих частей сочинительных конструкций характерна синтаксическая симметрия, комплекс средств синтаксического параллелизма: параллелизм расположения членов предложения в частях, типов и способов выражения этих членов и т. п. Однако

[13] Русская грамматика, т. II, с. 615.

в древних памятниках можно наблюдать «нарушение» с современной точки зрения нормы параллелизма в сопоставительных конструкциях, когда в первой части конструкции слово, обозначающее объект сопоставления, помещается не на первом месте (перед ним передко находится сказуемое). Подобное «нарушение», по всей видимости, связано с еще неустоявшимся порядком расположения главных членов, а, может быть, со спецификой построения «сказа» в летописях, откуда имеем большинство примеров такого рода, например: Того же лѣта сѣде Всеволодъ паки в Кыѣвъ, *а* Рюрик Черниговѣ (Лет. Сузд., л. 148); Бѣ Каинъ ратаи. *а* Авель пастухъ (Лет. Лавр., л. 29 об.).

Для ЦН также характерен синтаксический параллелизм, однотипность строения ПЕ.

7. Для ЦН характерно отсутствие эксплицитного выражения смысловых связей: между смежными ПЕ могут возникать различные отношения, однако начинательные союзы не выявляют эти связи (они выполняют функцию членения — соединения ПЕ в ЦН). В сложносочиненных конструкциях в отношении эксплицитного выражения смысловых связей между частями, соединенными союзами *и, а, да*, нужно говорить осторожно в связи с многозначностью и полифункциональностью последних. Только группа разделительных союзов представляет в этом отношении исключение: они служат формальным показателем разделения (взаимоисключения) между частями, без них предложение этот смысл теряет.

Проведенное сравнение параметров ЦН и сложносочиненных конструкций показало много общего в свойствах ПЕ, объединенных в «цепочку» и частей сочиненных конструкций, а именно: ориентация на левый контекст, автосемантизм первой части (ПЕ) и факультативность второй, однотипность частей (и ПЕ), свойство открытости ЦН и сочинительных конструкций (кроме конструкций с союзом *но*), отсутствие эксплицитного выражения смысловых связей (кроме группы конструкций с разделительными союзами).

Почти все эти свойства сохраняют и современные сложносочиненные предложения (если не считать четкой бинарности предложений с *а* как структурного признака и некоторых других особенностей).

Уже в письменных памятниках XI—XVII вв. начинает развиваться тенденция употребления лексических конкретизаторов [14] при сочинительном союзе, которые уточняют, квалифицируют четко и конкретно отношения между частями, исключая и подавляя побочные значения, которые могут вытекать из реального соотношения соединяемых частей (например, *толъко ѡбаче* с союзом *но* при противительных отношениях со значением препятствующего ограничения; *потому, поэтому* с союзами *но, а* при причинно-следственных отношениях). Вследствие этого семантика сочинительных конструкций получает эксплицитное выражение при помощи конкретизаторов. Сама же сочинительная конструкция с конкретизатором

[14] Ср.: Русская грамматика, т. II, с. 620.

становится необратимой, что сближает ее с подчинительными конструкциями.

Некоторые из конкретизаторов без сочинительного союза сами начинают выполнять роль союзного средства, например: упомянутые *толъко* и *ωбаче*, а также служебный элемент наречного происхождения *такоже*, четко маркирующий соединительно-отождествительные отношения между частями. Интересно отметить, что в памятниках *такоже* занимает позицию союза, начиная вторую часть: Князь великии Михаило поиде в Орду, *такоже* Петръ митрополитъ с ним же поиде вкупе к новому цесарю Озъбяку (Лет. Моск., л. 160); (в современных текстах *также* занимает не первое место во второй части предложения).

Указанная тенденция, наметившаяся в древних памятниках, оказалась перспективной. В процессе исторического развития многие слова и сочетания стали употребляться в качестве союзных средств, четко определяя значение сложносочиненного предложения, став эксплицитным формальным средством его определенного значения. Они получили название союзов дифференцированных значений [15].

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что развитие сочинительных конструкций шло от опоры на конкретное содержание к опоре на служебные средства, которые становятся более специализированными для обозначения конкретных типов семантико-синтаксических отношений (при помощи сочинительных союзов стало невозможным передавать некоторые (из указанных выше) отношений, которые целиком перешли к подчинению). Однако и в современном языке сочинительные союзы сохраняют свою многозначность и полифункциональность. Недаром в Русской грамматике они названы союзами недифференцированного значения [16].

---

[15] Там же, с. 629 и сл.
[16] Там же, с. 617 и сл.

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ЛЕТОПИСИ ГРАБЯНКИ

С. Е. Морозова

Многокомпонентные конструкции (МКК) уже давно привлекают внимание исследователей, им посвящены монографии, диссертации, статьи. При всей актуальности этой проблемы она решалась и решается в основном на материале современных языков, исторический синтаксис в этом плане оставался в тени. В. И. Борковский выдвинул проблему изучения многокомпонентных конструкций в историческом синтаксисе восточнославянских языков. Настоящая статья — первый

опыт исследования МКК в памятнике староукраинской письменности Летописи Грабянки [1].

В самом общем виде можно определить многокомпонентные конструкции как сложное синтаксическое целое, содержащее определенный объем информации, предназначенное для выполнения коммуникативного задания. В лингвистической литературе обнаруживается широкий круг терминов для их обозначения: сложные полипредикативные предложения [2], сложные предложения усложненного типа [3], многокомпонентные или полипредикативные сложноподчиненные предложения [4] и т. п. Все эти термины явствуют о различном подходе и различной методике исследования конструкций с последовательным подчинением, однородным соподчинением и неоднородным подчинением, не упущены из виду и конструкции с подчинительной и сочинительной связью [5]. При этом выдвигаются различные критерии дифференциации этих конструкций, но все исследователи единодушно причисляют к ним те, в составе которых не менее трех компонентов.

Принимая за основу это положение, уточним, что собой представляют компоненты МКК. По своей структуре они совпадают то с простым предложением, то с предикативной частью сложносочиненного или сложноподчиненного предложения, но таковыми не являются. Компоненты МКК связаны между собой тематически и находятся в определенных смысловых и грамматических отношениях друг с другом. Если вся МКК в целом представляет собой коммуникативную единицу, то информативная целостность ее создается и обеспечивается иерархическими семантическими и формальными связями, существующими между компонентами, которые принято называть предикативными единицами (ПЕ). На это название дает

---

[1] Лѣтопись Григорія Грябянки/Изд. Временною Комиссіею для разбора древнихъ актовъ. К., 1854.

[2] *Симулик М. В.* Семантико-синтаксические признаки предикативных единиц и структура сложного полипредикативного предложения в славянских языках. — ВЯ, 1976, № 4, с. 81—90.

[3] *Гаврилова Г. Ф.* Конструктивные признаки сложных предложений усложненного типа. — В кн.: Материалы IX и X конференций Северо-Кавказского зонального объединения кафедр русского языка. Изд. Ростовского ун-та, 1971, с. 124—133; *Калашникова Г. Ф.* Некоторые особенности сложных предложений усложненного типа. — Там же, с. 134—141.

[4] *Ганцовская Н. С.* К вопросу о глубине многокомпонентных сложноподчиненных предложений. — В кн.: Сб. научных трудов. Ярославль, 1976, вып. 158. Вопросы русского языка, с. 83—90; *Она же.* О структурных отношениях в полипредикативном сложноподчиненном предложении. — В кн.: Структура сложных полипредикативных предложений. Калинин, 1980, с. 3—11; *Ухапов Г. П.* О многомерности структуры полипредикативных сложноподчиненных предложений (к постановке проблемы). — Учен. зап. Калининского пед. ин-та, 1969, т. 66, ч. 1. Очерки по русскому языку, с. 177—198.

[5] *Щетнева В. И.* Структурно-семантические разновидности и группы сложных предложений с дифференцированно соподчиненной зависимой единицей. — В кн.: Структура сложных полипредикативных предложений. Калинин, 1980, с. 65—73; *Быков В. Б.* Трехкомпонентные сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью в русском литературном языке XVII века. АКД. М., 1982.

право то, что компонент лишен самостоятельной коммуникативной функции, но при этом несет в себе сообщение, относящееся к определенному временному и модальному плану.

Летопись Грабянки — памятник времени козацких войн на Украине, начавшихся под предводительством Богдана Хмельницкого, памятник времени, оживившего летописание на Украине; и хотя она содержит описание событий, происходивших на территории Украины с древнейших времен до начала XVIII в., отражены события преимущественно эпохи Хмельницкого.

Гадячский полковник Грабянко Григорий Иванович закончил свою Летопись в 1710 г., при написании ее он пользовался летописями, дневниками, официальными актами, преданиями и рассказами очевидцев, современников Богдана Хмельницкого. Если сравнить эту летопись с летописями старорусского периода, отличавшимися эпичностью изложения, бесстрастным описанием последовательных событий и распространением в них соответствующих синтаксических единиц — цепного нанизывания [6], то специфика Летописи Грабянки вырисовывается особенно зримо, что прежде всего связано с содержанием памятника. Описываемое в летописи бурное время битв, войн, частых перемен побуждает автора вникать в подробности событий, вызывает у него стремление раскрывать причинно-следственные связи, что, конечно, отразилось в языке данного письменного документа, в наличии осложненных, многокомпонентных конструкций.

Синтаксис Летописи — это преимущественно соединенные сочинительной союзной и бессоюзной связью сложные структуры (МКК, сложноподчиненные предложения, усложненные причастными и деепричастными оборотами и, в угоду традиции древней письменности, оборотом дательным самостоятельным). Эти синтаксические черты усиливают эмоциональную окрашенность и экспрессивность повествования.

В настоящей статье не представляется возможным дать исчерпывающую характеристику МКК Летописи Грабянки, включающую описание преимущественного использования и ограничений в употреблении придаточных с тем или иным значением, особенностей использования средств связи, анализа МКК с точки зрения актуального членения и т. п. Цель работы — показать состав наиболее типичных структурных схем МКК, выявленных в летописи, дать краткий анализ семантико-синтаксических связей между компонентами в приведенных примерах.

Для достижения объективного результата удобнее всего рассматривать связи и отношения в бинарных объединениях ПЕ, хотя ими нельзя ограничиться. Во-первых, потому что связи и отношения в МКК не тождественны связям и отношениям в бинарных конструкциях, и, во-вторых, исследуемый материал дает немало примеров

---

[6] *Ринберг В. Л.* Древнерусские сложные конструкции и их современные параллели. К., 1975; *Она же.* Конструкции связного текста в истории русского языка. АДД. М., 1981.

МКК, в которых семантико-синтаксические отношения в пределах МКК складываются между одной ПЕ и двумя или целым блоком неразрывно связанных между собой ПЕ.

Для анализа выбраны трехкомпонентные МКК только с подчинительной связью [7].

Последовательное подчинение: 1. (1) Но ляхи розумѣли, (2) яко би Козаки не умѣють звитяжства ужити, (3) понеже дотоль не идуть внутрь Полщи за Ляхами. (с. 48); 2. (1) Бысть же само Иванъ Виговскій, (2) иже еще на Жолтихъ Водахъ взять въ плѣнъ зъ Ляхами и зъ Воинствомъ Козацкимъ Ляховъ воюя, и добръ совѣтъ имъ подавая; (3) бѣ бо мужъ мудръ и въ писаніи искусенъ (с. 58). В этих МКК при выявлении семантико-синтаксических отношений в бинарных объединениях ПЕ второй компонент, занимающий позицию между первым и третьим, совмещает в себе функции придаточной части (по отношению к препозитивной главной) и главной (к постпозитивной придаточной). Таким образом, если представить эти МКК как цепь двукомпонентных сложноподчиненных предложений, то все они характеризуются постпозицией придаточной части. В позиции главной части сложноподчиненного предложения ПЕ относительно самостоятельны, автосемантичны, кроме изъяснительных конструкций, когда глагол создает неполноту ПЕ, например, *розумѣли* (ПЕ-1, 1.). В позиции придаточной части сложноподчиненного предложения все ПЕ выявляют зависимость от левого контекста, эксплицитно выраженную в подчинительных союзах: определительном *иже* (ПЕ-2, 2.), причины *понеже* (ПЕ-3, 1.), *бо* [8] (ПЕ-3, 2.).

Параллельное подчинение: 3. (1) Ихъ же аще и уменшися индѣ племя, (2) обаче тамо мужество оныхъ и владеніе не оскудѣваше; (3) ибо владущи Кіевомъ и иними Російскими нѣкіими странами, взимаху отъ нихъ данъ: бѣлчаніе кожи отъ всякого дому и по шелягу от плуга. (с. 13); 4. (1) Егда же, по смерти уже Сомковой, Тетера Гетманъ зъ силами Полскими и козацкими на него вооружися, (2) тогда, (3) донелѣже помощи отъ Бруховецкого надѣяшеся, (2) крѣпко онимъ сопротивляшеся. (с. 183) В этих и других подобных МКК в летописи представлена одна структурная модель: ПЕ-2 является главной частью с двумя неоднородными придаточными. Подчинительный союз в ПЕ-1, даже когда он не занимает позицию первого слова (пример 3), является выражением зависимости ПЕ-1 от ПЕ-2, их тесной связи, особенно в тех случаях, когда в ПЕ-2 есть соотносительное слово: *аще и—обаче, егдаже—тогда*. Отношения между ПЕ-1 и ПЕ-2 соответствуют типизированным семантико-синтаксическим отношениям сложноподчиненного предло-

---

[7] Цифрой в скобках — (1), (2) и т. д. — помечен порядковый номер следования ПЕ в пределах МКК в примерах; в тексте они обозначены ПЕ-1. ПЕ-2; цифрой с точкой указан номер примера.

[8] *Бо* — причинный союз не занимает место первого слова в придаточной части. Незакрепленная позиция союза в данной летописи — черта синтаксиса, свидетельствующая о том, что язык ее близок к современному (см. примеры 3, 10, где и другие подчинительные союзы не в начале ПЕ).

жения уступительного (пример 3) и времени (пример 4); создается бинарная структура с относительной семантико-синтаксической завершенностью, для которой структурно присоединение ПЕ-3 не обязательно. Даже в примере 4, где ПЕ-3 находится в интерпозиции к ПЕ-2, изъятие ПЕ-3 из контекста МКК не нарушило бы формальной целостности бинарного объединения ПЕ-1 ↔ ПЕ-2. Однако смысл ПЕ-3 нельзя понять без левого контекста, а следовательно, он необходим для ПЕ-3. Зависимость ПЕ-3 от ПЕ-2 выражена подчинительными союзами причины *ибо* (пример 3) и времени *донелѣже* (пример 4).

Для полноты информации, которую содержит трехкомпонентная конструкция в целом, столь же важны и необходимы все компоненты, сколь и различные типы связи для выражения разностепенных отношений.

Увеличение количества компонентов в пределах одной МКК создает условия образования разнообразных структурных типов. В Летописи Грабянки эта потенциальная возможность реализована в массе четырехкомпонентных конструкций, среди которых есть МКК только с подчинительной связью и МКК с подчинением и сочинением в своем составе. При подчинении отношения в бинарных объединениях ПЕ или частей соответствуют семантико-синтаксическим отношениям частей сложноподчиненного предложения и выявляют признаки различной степени структурной зависимости (как в трехкомпонентных конструкциях). Сочинительная связь более свободная. В отличие от подчинительной она как бы служит не соединению компонентов, а делению всей МКК на логически и семантически относительно самостоятельные части. Эти части представляют собой либо самостоятельную ПЕ, либо две или более ПЕ, выявляющие особенно тесную структурную связь и образующие блок, который целиком вступает в семантико-синтаксические отношения с отдельной ПЕ или другим блоком ПЕ, т. е. с другими частями МКК.

Для характеристики МКК недостаточно учета одних формально-грамматических признаков, особую роль приобретает семантика компонентов и синтаксических отношений в их объединениях [9], поэтому при анализе МКК необходимо учитывать логико-синтаксический и структурный уровни членения [10].

Четырехкомпонентные конструкции в Летописи Грабянки представлены рядом структурных типов: 1) последовательное подчинение (пример 5); 2) контаминация последовательного подчинения с однородным соподчинением и неоднородным подчинением (пример 6); 3) два сложноподчиненных предложения соединены сочинительной связью (пример 7); 4) блок (последовательное подчинение) соединен сочинительной связью с отдельной ПЕ (пример 8); 5) отдельная ПЕ

---

[9] Ср.: *Карпов А. И.* Поликомпонентные единства русской эмфатической речи (Учебное пособие). Тула, 1981.

[10] Ср.: *Валгина Н. С.* Синтаксис современного русского языка. М., 1973, с. 349—372.

присоединена к блоку (неоднородное подчинение или последовательное подчинение), но обнаруживает структурно-смысловую связь с одним компонентом блока (придаточной или главной частью) (пример 9); б) отдельная ПЕ является придаточной частью по отношению к главной, являющейся конструкцией с сочинением и подчинением (пример 10).

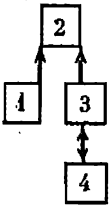
Приведем пример каждого из названных структурного типа с кратким анализом строения МКК [11].

5. (1) По многѣхъ же хитростяхъ военыихъ Хмелницкій окопа ихъ валомъ и стѣсни тако, (2) яко уже послѣдняя имъ приближашеся нужда, (3) ибо отъ рововъ своихъ Козаки велію тщету Ляхомъ и бѣду смертную творяху, (4) яко невозможно бѣ имъ и подпести главы. (с. 70).



Отношения ПЕ-1 ↔ ПЕ-2 соответствуют сложноподчиненному предложению образа действия, взаимная структурная зависимость компонентов эксплицитно выражена соотношением *тако—яко*; структурно-семантически несамостоятельны, зависят от левого контекста ПЕ-3 и ПЕ-4; значение причины в ПЕ-3 выражено специализированным союзом *ибо*; имплицитное значение следствия в ПЕ-4 не выражает многозначный союз *яко*.

6. (1) Вегда же имѣяше Хмелницкій три полки Козаковъ вѣрныхъ и три тисячи Татаръ, здравія его стрегущихъ, (2) Хана богато ударствова и отпусти восвояси, (3) ибо Хмелницкій тако обогатися вскорѣ, (4) елико Поляки многими лѣти богатства собирати не можаху. (с. 82).



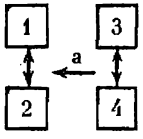
ПЕ-2 является главной частью по отношению к препозитивной придаточной времени ПЕ-1 с союзом *внегда* и постпозитивной придаточной причины ПЕ-3 с союзом *ибо*, являющейся также препозитивной главной частью сравнительного сложноподчиненного предложения ПЕ-3 ↔ ПЕ-4, где соотносительное слово *тако* создает синсемантизм этой ПЕ, а структурная взаимозависимость частей эксплицитно выражена соотношением *тако—елико*.

7. (1) Но между симъ, въ року 1621, егда Османъ, Царъ Турецкій, избивши на Цецорѣ Полскую силу, прійде въ годъ на Полскую землю зъ нещетными силами, (2) тогда Жикгимонтъ, Кроль Полскій, послалъ сина своего Владислава зъ Полскими войсками противу Турковъ; (3) а занеже далече болшія сили Турскія бяху паче

---

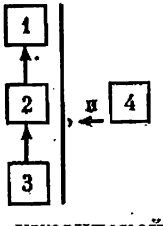
[11] При построении схемы структуры МКК используем обозначения: | (вертикальная линия) — показатель подчинительных отношений; — (горизонтальная) — сочинительных; → (стрелка) — показатель направленности зависимости одной ПЕ от другой.

Полскихъ, (4) того ради въ крѣпкомъ обстоянiи и тѣснотѣ Полское войско бѣ отъ Турковъ. (с. 26).



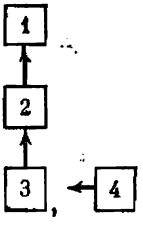
Две части в (в первой — речь идет о короле и его действиях, во второй — о ситуации, в которой оказалось войско) со значением противопоставления соединены союзом *а*; I часть — сложноподчиненное предложение времени с препозитивным придаточным, структурная зависимость частей выражена оппозицией союз / коррелят (*егда—тогда*); II часть — сложноподчиненное предложение причины, специализированный союз *занеже* коррелируется специализированным сочетанием *того ради*, однако постановка придаточной части в препозицию вносит в конструкцию значение реализованного условия.

8. (1) Якiе пакта Хмелницкiй поставивши взялъ Собѣского и Потоцкого въ замѣну и къ Коронному Гетману пойде зъ Полковниками, (2) где пріехавши Хмелницкiй Гетмана Коронного привитавши, зъ обу сторонъ присягою миръ утвердили, (3) которiй стоялъ, якъ не леду тилко до прійдочого лѣта, (4) и повернули Ляхи и Козаки въ домы свои здраво (с. 110—111).



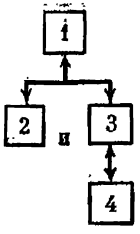
Две части: в первой повествуется о Хмельницком, установившем мир, и дана характеристика мира, вторая — о возвращении ляхов и козаков домой, что явилось следствием установленного мира. Союз *и* соединяет части (I часть — последовательное подчинение, II часть — отдельная ПЕ), выражающие причинно-следственные отношения. В ПЕ-2 для обозначения направления использован союз *где*, ибо в старо-украинской письменности отсутствует дифференциация союзов для обозначения места и направления.

9. Году 1666. (1) Дорошенко собралъ всѣхъ началниковъ своихъ в совѣтъ подъ Лисянкою (2) на которомъ совѣтѣ усовѣтовали послати пословъ своихъ кх Полскому Королю со прошенiемъ, (3) даби прежнiе постановленiя волностей Козацкихъ грамотою потвердилъ, — (4) что Король зъ охотою здѣлавши и пословъ обдаривши, въ войско къ Дорошенку отпустилъ. (с. 189—190).



Две части: I часть — последовательное подчинение. В придаточном определительном ПЕ-2 с союзом *которомъ* (относительное подчинение), определяемое слово *совѣтъ* повторяется, что делает ПЕ-2 структурно более независимой; II часть — присоединена ко всему блоку бессоюзной сочинительной связью, по ПЕ-4 зависит от ПЕ-3, так как значение объекта — местоимение *что* раскрыто содержанием ПЕ-3.

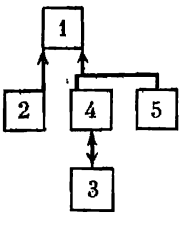
10. (1) Съ таковими вѣстми отъ Татаръ егда къ Хмелницкому Козаки возвратившася, (2) услишано то по всей Украинѣ и (3) радовахуся, (4) яко избавленiе Господне людемъ своимъ отъ Лядскiя неволи. (с. 41).



ПЕ-1 является придаточной частью времени с союзом *егда* по отношению к связанным сочинительной связью посредством союза *и* ПЕ-2 и ПЕ-3, из которых ПЕ-3 в свою очередь является главной частью бинарного объединения ПЕ-3 ↔ ПЕ-4 — сложноподчиненной пъзъяснительной конструкции.

Основные структурные типы Летописи Грабянки представлены в четырехкомпонентных МКК. Увеличение состава компонентов ведет в большинстве случаев к некоторому их варьированию, к увеличению количества последовательно подчиненных или соподчиненных, или неоднородно подчиненных ПЕ, увеличению количества семантических частей, увеличению уровней подчинения, однако в четырехкомпонентных МКК не представлен характерный для памятника структурный тип МКК с так называемым комплексным подчинением, отмеченный в конструкциях с большим числом компонентов [12]. Приведем пример:

11. (1) Еще же на прошеніе Хмелницкого онъ же Турчинъ повелѣ у Господара Волоского Василія Лупулѣ, (2) аще не изволитъ дружеско, (1) то и насилие дочь его сину Хмелницкому Тимошевѣ во жену взяти, завиствуючи тишинѣ въ Христіанствѣ, (3) ибо аще и подъ его владѣніемъ Волохи, (4) но подъ единимъ Господаремъ въ покои живучіе обфитовали: (5) къ тому же и Русь начала у воинскихъ дѣлехъ славно процвѣтати. (с. 85).



Основой структурной схемы данной МКК является соподчинение однородных и неоднородных придаточных: ПЕ-1 — главная часть, ПЕ-2 — интерпозитивная придаточная часть условная со специализированным союзом *аще*; посредством союза *ибо* присоединены однородные придаточные причины ПЕ-4 и ПЕ-5. При этом ПЕ-4 является частью блока — сложноподчиненного предложения уступительного. И хотя в контексте всей МКК основная смысловая нагрузка, т. е. значение причины, заключено в ПЕ-4, грамматическая целостность и структурная спаянность бинарного объединения ПЕ-3 ↔ ПЕ-4, проявляющаяся в препозиции придаточной части ПЕ-3 и оппозиции союз / коррелят (*аще и — но*), вызывает появление двух смежных подчинительных союзов *ибо аще*, которые выражают осложненный характер смысловой связи главной части с комплексным придаточным [13]. К тому же этот и подобные примеры свидетельствуют о том, что в более тесной смысловой связи могут быть компоненты, расположенные дистантно, а порядок следования ПЕ определяет характер грамматических отношений между ними.

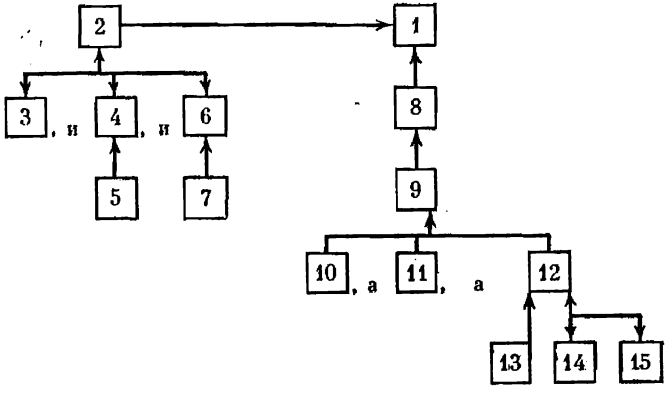
---

[12] Ср.: *Литвина З. Н.* Особенности подчинительной связи в многочленном сложном предложении с сочетанием двух союзов типа *что если*. — Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, 1968, № 292, с. 102—117.

[13] Ср.: *Клюсов Г. Н.* Комплексное подчинение в трехкомпонентном сложном предложении. — РЯШ, 1975, № 4, с. 71—74.

Следует отметить, что хотя статья содержит разбор типичных МКК с малым числом компонентов, в Летописи много примеров МКК с большим их числом. Приведем для образца пример конструкции с пятнадцатью компонентами, сопроводив его только схемой структуры.

12. (1) Но Ханъ (2) когда зрозумѣлъ памѣрепіе Козаковъ, хоча и побѣдителей, (3) же при слушныхъ кондиціяхъ, за непрестаннымъ прошеніемъ у великой пуждѣ будучихъ Ляховъ, памѣриваютъ зъ Ляхами ку згодѣ, и (4) что собѣлѣзнуютъ о будучомъ у облеженію помазанцу Божію своему Крулю, (5) яко о Христіянскому пану, (6) и что не памовили, (7) абы взявшихъ отъ нихъ Татаръ Козаки навсегда войску плату видали бы имъ зъ облеженя Кроля въ неволю, (1) до хитрости бѣсурманъ удался и упредивши Козаковъ началъ милостію отъ себе зъ Ляхами миръ составляти, (8) да продолжится война, (9) безъ которой имъ было не на руку (10) занеже чрезъ сію войну отъ Христіянства вельми въ скорби и въ ясиръ убогащалися, (11) а учинивши въ Полщи пустиню еще стали Ляховъ будто жичливими, (12) а Козаковъ поставили за немилосердныхъ, умишляючи, (13) яко песитій кровѣ Христіанской бѣсурманъ, (14) абы Козаковъ зъ Ляхами всеконечно примирити и съ полними силами воевати на Москву, (15) и тако бы опрочь добичей и ясиру отукать царство Казанское и Астраханское (с. 83).



Исследование различных типов структур МКК в Летописи Грабянки позволило определить некоторые общие закономерности этих конструкций, в частности, особенности МКК, отличающие их от бинарной сложной конструкции: 1) минимальный состав МКК — три ПЕ; 2) в МКК можно ввести посредством союза часть, состоящую из нескольких ПЕ или из МКК, которая вся целиком подчинена раскрытию отношений между ПЕ и этой частью, при этом проявляется структурно-семантическая слитность, единство компонентов части, выраженной бинарным сложноподчиненным предложением или МКК; 3) в МКК возможно объединение сочинительной связью (с союзом и без союза) не отдельных ПЕ, а конструкций, соответствующих сложноподчиненным предложениям или МКК;

4) в МКК подчиненная часть может относиться сразу к двум ПЕ, соединенным между собой сочинительной связью; 5) порядок следования ПЕ в МКК связан не с коммуникативным заданием, а с грамматическим — этим обусловлено дискретное расположение ПЕ [14].

[14] Ср.: *Гукова Л. Н.* Из истории усложненных предложений со ступенчатым подчинением. — В кн.: Синтаксические связи и отношения. Ростов н/Д, 1972, с. 114—126.

К ПРОБЛЕМЕ КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОЙ РЕЧИ И СВЯЗНОГО ТЕКСТА В ИСТОРИЧЕСКОМ СИНТАКСИСЕ

В. Л. Ринберг

За последние десятилетия проблематика текста получила особую популярность. Именно советское языкознание характеризует интерес исследователей к изучению таких сложных единиц, как синтаксическое целое (СЦ), или сверхфразовое единство (СЕ), присоединительные конструкции (ПК), древнее цепное нанизывание и др. В данной статье ставится задача представить конструкцию прямой речи (КПР) в кругу структур связного текста на всем протяжении ее исторического развития.

В русском языке КПР отличается особой устойчивостью. Характерно, что среди всех положительных качеств «посольских речей», которые передавались главным образом прямой речью, Д. С. Лихачев выделяет «устойчивость формы речей».[1] Действительно, современную структуру отделяет от КПР, зафиксированной в древней и старорусской письменности, всего несколько признаков: пунктуация, круг глаголов говорения, ввод с нулевым глаголом, гибкость-негибкость структуры (или подвижность ввода), а с развитием этого параметра связано оттачивание средств для выражения зависимости ввода.

1. Формирование пунктуационного режима КПР было весьма длительным (еще в XVIII в. наблюдались колебания [2]) и довольно осложненным, но происходило оно не в отрыве от всей истории русской пунктуации [3] и не в отрыве от тех сдвигов, которые произошли в самой структуре конструкции.

[1] *Лихачев Д. С.* Русский посольский обычай XI—XIII вв. — Ист. зап. АН СССР, 1946, № 18, с. 51.

[2] *Кодухов В. И.* Прямая и косвенная речь в современном русском языке. Л., 1957, с. 46—57; *Он же.* Способы передачи чужой речи в русском языке. — Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1955, т. 104, с. 116—117.

[3] См.: *Абакумов С. И.* Пунктуация в памятниках русской письменности XI—XVII вв. DD. М., 1941, с. 233; *Пещак М. М.* Стиль ділових документів XIV ст. К., 1979, с. 65—69.

2. Глаголы говорения составляют в истории КПР животворный источник ее самых существенных изменений. В древнерусском, как и в других индоевропейских языках, функционировал чрезвычайно узкий круг слов для введения прямой речи. Типичными были в языке старшей поры разные формы от *глаголати*, *речи* (*рещи*). И в старорусской письменности прослеживается значительный круг памятников, в которых преобладает традиционная группа verba dicendi (*глаголати*, *речи*), с перевесом в ту или другую сторону. Наряду с этим известны документы, где зафиксированы иные глаголы (*говорити*, *вопити* и пр.) при полном или почти полном отсутствии *глаголати*, *речи* [4].

Однако более активным, чем пополнение сферы глаголов говорения, был процесс накопления потенциальных элементов, ставших впоследствии источником для постепенного вовлечения в эту сферу слов, близких и не весьма близких к глаголам речи. Наращивание таких потенциалов осуществлялось в тавтологических фигурах, которыми сопровождались вводы КПР в языке старшего периода и позднейших веков. В старорусских памятниках выделяются две разные по перспективности тавтологические фигуры в вводах КПР. Одна характеризовалась дублированием традиционных слов говорения — *глаголати*, *речи* (1), в другой традиционный глагол сопровождался близкой по значению лексической единицей, которая дополняла и расширяла аспект передающей части (2): 1. . . . царь нашъ. . . на единаго разгнѣвался, таковое слово реклъ: Ныне, рече, сброилъ мя богъ от васъ (Письма Курб.). 2. Абие началъ шептати ему во ухо. . . и таково слово реклъ: И аще хощеши самодержецъ быти, не держи собѣ совѣтника ни единаго мудрѣйшаго собя (Письма Курб., 212).

Судя по нейтральной роли моделей первой группы в истории КПР и по тому, что глагол-повтор был в ряде случаев не лишен точек соприкосновения с лексической повторяемостью, практиковавшейся часто в разных сферах древнерусского и старорусского языка [5], можно с уверенностью считать, что использование этой тавтологической фигуры в документах русского средневековья осуществлялось главным образом по традиции.

Жизненной и перспективной была другая тавтологическая фигура: происходившее в ней усиление весомости глагола-дублета (он был по своей значимости насыщеннее обычного «глаголати») влекло за собой ослабление роли традиционного глагола, а затем его опущение. Показательны данные письменности: рядом с такими тавтологическими группами зафиксированы модели с одним глаголом говорения без традиционного штампа (*глаголати*, *речи*). Ср.: . . . губительнейшие же ласкатели вкупе со царемъ возопиша: Не подобает, рече, о епископе!. . .; 2. . . . клеветницы возопиша ца-

---

[4] См.: Путешествия русских послов XVI—XVII вв. М.—Л., 1954, с. 487; Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб., 1851, ч. I, с. 1620 и др.

[5] Ср.: модель КПР с пятикратным интерпозитивным *рече* (Письма Курб., с. 208).

реви: Се твои изменникъ самъ себѣ задалъ ядъ смертоносныи и умре (Письма Курб.).

Следовательно, перспективная тавтологическая группа оказалась реальным источником пополнения сферы глаголов говорения. С увеличением круга вводящих слов, которое сопровождалось нейтрализацией тавтологии, открылись и иные пути для умножения глаголов со значением речи и мысли (рост функциональной синонимии, увеличение полисемантических полей и т. п.). Исследователи [6] по праву отмечают в старорусской письменности более свободную амплитуду глаголов говорения, чем в документах старшего периода.

3. Не безучастны к изменениям древней КПР модели с нулевым глаголом в вводе: чем древнее памятники, тем реже наблюдается непосредственное включение прямой речи в авторский текст. В. И. Борковский [7] отмечает в «Берестяных грамотах» (XIII в.) лишь один случай с нулевым глаголом речи и указывает на обстоятельство в тексте, которое определило этот прием, необычный для письменного языка того времени.

В старорусской письменности модели с нулевым глаголом находились только на заре своего развития: помимо того, что введение чужого высказывания без глагола говорения было нечастым явлением, этот прием чаще определялся не спецификой ввода, а широким контекстом, а именно: в диалогических единствах либо в цитатах, где вводящее слово замещалось наречием *паки*. Наряду с этим прослеживаются изредка модели с нулевым глаголом высшего уровня, где отсутствие глагола говорения граничит с развивающейся сферой вводящих слов. Такая взаимосвязь подчеркнута контактным размещением частей и их семантическим наполнением. Например: Обаче же верою богу моему: болезнь твоя на главу твою да обратитца (Письма Ив. IV)

Свойство выполнять функцию вводящей части без глагола говорения приобреталось, как показывают наблюдения над текстами, не сразу: оно утверждалось в ходе совершенствования КПР и в соотношении с расширением круга глаголов речи. В этих двух сплетенных измерениях — обогащении сферы вводящих слов, с одной стороны, и убывании глаголов (появлении нулевого элемента), с другой, — было заложено единство противоположных тенденций, единство, которое стало одним из внутренних источников изменений структуры вообще.

4. С историей глаголов говорения действительно связана вся дальнейшая судьба ввода: с обогащением сферы глаголов речи ввод становился семантически более емким, возникли различные аспекты раскрытия ввода прямой речью. А это в свою очередь сопровождалось сдвигами в расположении основных компонентов, т. е. преобразованием негибкой в гибкую структуру и, что не менее важно,

---

[6] *Лопатина Л. Е.* Способы передачи чужой речи в рамках сложного предложения. — В кн.: Историческая грамматика русского языка. М., 1979, с. 425 и др.

[7] Палеографический и лингвистический анализ Новгородских берестяных грамот. М., 1955, с. 163.

грамматикализацией позиции ввода: в соответствии с местом, занимаемым авторским текстом, утвердились разные формы и степени зависимости ввода от чужой речи, что явно и последовательно прослеживается в современных моделях [8].

Древнюю структуру прямой речи отличало фиксированное расположение основных частей: постоянный ввод в препозиции, вводимая часть в постпозиции. Довольно устойчива эта особенность КПР и в старорусской письменности. Не исключены наряду с этим в литературе русского средневековья модели КПР с интерпозитивным и весьма редко постпозитивным вводом. Выделяются две группы моделей с интерпозитивным вводом — несамостоятельным, сопровождавшим препозитивную вводящую часть (1), самостоятельным, выполнявшим без чьей-либо опоры функцию вводящей части (2): 1. . . .азъ отвѣщалъ: Аще, молвлю, и добуду Грецкимъ умеющаго, або Латинским, но Словенскiи не будутъ умѣти (Письма Курб.). 2. Милостивъ буди намъ, вопияху, самодержче Московскiи, и прости намъ всего нашего зла и беззакония нашего. . . (Лет. каз., 158).

В отличие от группы моделей с несамостоятельным интерпозитивным вводом, представлявшей собой переходящее звено, вторая группа с самостоятельной вводящей частью в интерпозиции знаменовала собой начало сдвигов в фиксированном размещении составных компонентов структуры. Само же преобразование негибкой в гибкую структуру и следуемое за ним развитие разностепенной зависимости ввода подготавливалось в плоскости всех многообразных изменений КПР.

Отмеченные исторические изменения в КПР протекали, таким образом, во взаимосвязи и последовательности: все они — звенья одной цепи преобразований, прослеживаемых в старорусских письменных документах, где рядом с отжившими элементами зафиксированы перспективные единицы, обеспечившие совершенствование КПР и достижение ею того совершенного уровня, на каком она представлена в современном русском языке.

Оставляя в стороне изменения частного плана, как, например, грамматикализацию порядка слов ввода, согласно которой «сказуемое — подлежащее» стало впоследствии одним из средств выражения зависимости ввода (в интер- и постпозиции) от прямой речи, или проблему КПР с союзом *яко*, или вопрос о включенной прямой речи и др., обратимся к устойчивым параметрам КПР. Устойчивостью отмечены те, которые характеризуют в равной мере КПР как самостоятельную синтаксическую единицу в древнем и современном русском языке (при явной ступенчатости в развитии отдельных элементов структуры).

К таким параметрам относится: семантико-структурная двуплановость, неоднородная модальность, односторонняя связь, открыто-закрытое строение.

---

[8] Подробнее об этом см.: *Рінберг В. Л.* Конструкція прямої мови в системі складних структур (на матеріалі сучасної російської літературної мови). — Мовознавство, 1980, № 3, с. 36—37.

Семантико-структурная двуплановость составляет грамматическую основу КПР на всем протяжении ее истории. Складывается эта структура, как известно, из двух компонентов, неоднородных по своему содержанию и своему строению, но объединенных в одной сложной единице своеобразием этой синтаксемы: в одном из них (именуемой вводимой, или передаваемой частью, или чужой речью) передается высказывание от имени того лица, чья речь воспроизводится; в другом (именуемом вводом, или вводящей частью, или авторским текстом) содержится указание на передачу чужой речи и ряд комментариев, относящихся к воспроизведению чужого высказывания (принадлежность, манера, характер высказывания, обстоятельство реализации чужой речи). Тематическая неоднородность основных компонентов сопровождается неодинаковым строением каждого из них: ввод передается, как правило, повествовательным, а чужая речь — разными по цели высказывания предложениями.

Особенно подчеркивает семантико-структурную двуплановость КПР ее модальная неоднородность. Если учесть, что модальность предложений основана на субъективно-объективном отношении к действительности с точки зрения реальности и нереальности, то несовпадение действий предикативных центров КПР с реальным временем составляет один из аспектов неоднородной модальности всей структуры. Причем модальная неоднородность создается в одинаковой мере независимо от того, выражены ли предикаты одинаковыми или разными глагольными формами. И в том, и в другом случае действия, обозначенные сказуемыми ввода и вводимой части, совершаются неодновременно и чаще не одним лицом, следовательно, они во времени не совпадают с объективной реальностью.

Отличает модальную неоднородность КПР еще одна чрезвычайно важная особенность — независимость: формы времени и наклонения чужой речи не определяются ни содержанием, ни формальным обликом ввода и наоборот. Источником, обусловливающим формы предикатов в обеих частях КПР, является тема и целенаправленность сообщения. В литературе самостоятельность отмечена как «важный факт» модальности древнерусских моделей КПР [9].

По типу синтаксической связи, по так называемому лидирующему параметру любой сложной синтаксической единицы выделяются в КПР односторонние отношения между частями — автосемантичной вводимой и синсемантичной вводящей. Самостоятельность вводимой части прослеживается во всех аспектах — как в выборе форм (времени, наклонения, лица), так и в семантичности наполнения. Выбор каждой из названных форм определяется не вводом и не отношением автора к передаче чужой речи, а информацией и конкретной ситуацией. Обусловленность строения прямой речи конкретным воспроизведенным высказыванием становится особенно зримой в моделях КПР с нулевым глаголом говорения или с вводимой частью на иностранном языке при вводе на русском. Самостоятель-

[9] *Молотков А. И.* К истории синтаксических конструкций для передачи чужой речи в русском языке. — Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук, 1958, № 235, вып. 38, с. 39.

ность передаваемой части по праву констатируется исследователями как в древнерусской, так и в современной КПР.

Зависимость ввода от чужой речи особая: чужая речь раскрывает, дополняет не только вводящее слово, но и весь ввод, который представляется часто без нее семантически незавершенным. Зависимость эта разностепенная (более и менее тесная) и выражена по-разному (она бывает эксплицитной и имплицитной). Но при всех обстоятельствах односторонняя знсемантичность ввода воплощена в определенные грамматические средства, для учета которых необходимо исходить из научного понимания грамматической формы как совокупности всех элементов, способных выражать грамматическое значение. Сфера этих средств по своему многообразию довольно значительная: начиная от вводящего слова, выраженного переходным глаголом или соответствующим именем, непереходным глаголом или нулем, и кончая позицией ввода (в интер- и постпозиции) с его грамматикализованным порядком слов.

Я крикнул солнцу: «Погоди! послушай, златолобо, чем так, без дела заходить, ко мне на чай зашло бы!» (В. Маяковский); . . . а солнце: «Ладно, не горюй, смотри на вещи просто!». . (Он же); «Хорошо», — прошумел ему паровоз. И синий пакет на север повез (Н. Тихонов).

Выделяется в этой зависимости два неравных по происхождению слоя — старый, устойчивый, к которому относится односторонняя знсемантичность авторского текста; позднейший слой составляет градация в степенях зависимости, а также цепь средств для ее выражения. Судьба этих атрибутов связана, как было отмечено выше, с историей глаголов говорения и развитием гибкого строения КПР. Следовательно, односторонние отношения, вытекающие из сочетания в одной сложной единице зависимого с независимым компонентом органически вписываются в двуплановость КПР, как бы дополняя несовпадение ее двух составных частей, на всем историческом пути.

Завершает комплекс параметров КПР закрыто-открытое строение ее основных компонентов. По составу обе части обладают одинаковыми потенциалами: каждая из них может состоять из одного, двух и больше предложений. Вместе с тем одна часть (вводимая) характеризуется открытым строением, а другая (вводящая) — закрытым. Состав вводимой части из предложений, каждое из которых составлено по принципу замкнутой единицы, нисколько не препятствует открытому строению данного компонента, так как масштаб его (количество предложений в нем) определяется не структурой содержащихся в ней единиц, а объемом информации, передаваемой чужой речью. Ср.: «Я говорю, грозен наш народ, — раздельно повторил генерал, — красив и грозен. . . Лестно принадлежать к такой семье. . .» — Он собирался прибавить также, что. . . впервые у России на мир и на себя открылись удивленные очи. . . Но офицер буркнул что-то невпопад. . ., да кстати над самым ухом затрещал мотор. . . (Л. Леонов).

Сжатое высказывание генерала, оформленное чужой речью, могло быть дополнено всеми сведениями, какие он «собирался при-

бавить», но оно было прервано речевой ситуацией. Свойство вводимой части оформляться и завершаться соответственно изложенному в ней сообщению, за пределами влияния структуры — характеризует ее открытое строение. КПР с чужой речью, пересеченной экстралингвистическими мотивами, отметил в древней классической литературе и подчеркнул стилистическую окрашенность этого приема еще М. В. Ломоносов [10]. Следовательно, открытое строение характеризовало вводимую часть издавна, вероятнее, искони и относится к ее устойчивым параметрам. Подтверждается это положение древней и старорусской письменностью, где преобладают модели КПР с открытой чужой речью.

Другой компонент КПР (ввод) граничит с замкнутым строением независимо от того, выражен ли он сложным предложением или предложением усложненного типа, простым ли предложением или цепью предложений. Будучи замкнутой по своей природе, каждая из названных единиц сообщает эту же специфику всему вводу. Замкнутость ввода обусловлена, как и в аналогичных случаях, его синтаксическим профилем, т. е. структурой. К подтверждению замкнутости ввода имеет отношение и ее соприкосновение с гибкостью КПР: как известно, к единицам открытого строения неприменим «критерий гибкости-негибкости» [11].

Весь перечень параметров, составляющих индивидуальную характеристику КПР, выделяет ее как самостоятельную синтаксическую единицу в древнем и современном русском языке и служит основанием для отмежевания ее от сложного предложения (СП) на всем пути ее развития, с которым ее отождествляли и отождествляют в литературе.

При сопоставлении КПР с двучленным сложноподчиненным предложением выявляются глубинные расхождения: по составу (КПР из ввода и вводимой части, состоящей из предложений; СП из предикативных частей); по типу связи (односторонняя зависимость ввода от автосемантической чужой речи в КПР; разностепенная взаимозависимость предикативных частей в СП), по модальности (неоднородная модальность, основанная на независимых отношениях, как постоянный атрибут КПР; неоднородная модальность, включенная в сферу зависимых отношений СП — явление неабсолютное); по открытости и закрытости структуры (закрыто-открытое строение КПР; закрытое строение СП).

Наряду с этим выявлена в ходе сопоставительного анализа общность в кругу параметров КПР и других суперсинтаксем, в частности синтаксического целого (СЦ), или сверхфразового единства (СЕ), одной из разновидностей присоединительной конструкции, прослеживаемой в современной публицистике (ПКП) [12] и древнего цепного

---

[10] *Ломоносов М. В.* Собрание сочинений. М.; Л., 1952, т. 7, с. 362, § 304.

[11] *Белошапкова В. А.* Сложное предложение в современном русском языке. М., 1967, с. 100.

[12] *Ринберг В. Л.* Присоединительные конструкции в системе сложных синтаксических единиц. . . — В кн.: Единицы морфологии и синтаксиса в семантическом аспекте. Ростов н/Д, 1979, с. 100—101.

нанизывания (ЦН). Общность эта отражена в семантической емкости, в структуре (каждую из них отличает несовпадение с синтаксической основой сложного предложения), в типе связи, основанном на односторонних отношениях, в открытом незамкнутом строении одного из компонентов, в независимой модальной неоднородности и т. п. Все это составляет почву функционирующей в языке микросистемы глобальных единиц, среди которых КПР занимает надлежащее место.

Связь КПР с данной микросистемой в древности явно прослеживается по ее соотнесенности с древним цепным нанизыванием (ЦН). ЦН — это сложная единица, состоящая из простых, (реже) сложных предложений без выраженных между ними отношений [13] предложений, сочетающихся по способу нанизывания посредством начинательных союзов-плеоназмов (*и*, *а*, *же*). Семантику этой сложной единицы составляет последовательность описываемых событий, или следование одного действия за другим. Такое значение структуры выражено следованием одного предложения за другим и их фиксированным расположением (перестановка предложений исключается), модальной неоднородностью (реализация действий, обозначенных сказуемыми, в их последовательности и определяет несовпадение грамматического времени с объективным); односторонними отношениями (последующее нанизывающееся предложение тематически обусловлено предыдущими независимыми от него предложениями). И характеризуется эта структура незамкнутым строением (увеличение или сокращение текста зависело от объема информации) [14]. Ср.: В то же время пришелъ бяше блаженный и скоропослушьливый сынъ его Борисъ из Ростова. . . И тогда. . . же Владимиръ. . . призва к себѣ сына своего блаженнаго и скоропослушьливаго Бориса, давъ ему любимыя приятели своя и множество вой, и посла его противу безбожныхъ печенѣгъ. Боголюбивый же Борисъ падъ поклопися отцу своему. . . И тако отеческою молитвою вооружися и изыде с воинствомъ на ратныя. Ратнии же услышаша блаженнаго Бориса, идуща с воинствомь бѣгу ся яша. . . (К. с., 129—130). В этом примере древнего цепного нанизывания нетрудно выявить общность со структурой КПР. Выделяются при этом более устойчивые параметры и параметры как продукт исторических изменений. К первым относится: состав структур (и ЦН и КПР состоят из ряда предложений с невыраженными отношениями), незамкнутость строения, независимая неоднородная модальность. Ко вторым — односторонние отношения, причем тематическая обусловленность последующего предложения предыдущим, свойственная ЦН, — более ранний и менее очерченный тип связи, чем зависимость ввода от чужой речи; гибкость—негибкость строения: негибкость (фиксированное размещение частей) было в прошлом свойственно как ЦН,

---

[13] См.: *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Харьков, 1888, вып. 1—2, с. 124.

[14] См.: *Борковский В. И.* Исторические справки по синтаксису русского языка. — РЯШ, № 5, с. 11, 12.

так и древней структуре КПР. Превращение КПР из негибкой в гибкую структуру — результат исторических изменений всей структуры.

Отмеченный изоморфизм двух структур (ЦН и КПР) послужил первоначалом соединения и образования контаминационных синтаксических фигур, в которых прослеживается единый сплав моделей ЦН—КПР с их положительными (т. е. общими) и отрицательными (т. е. разными) параметрами. «Сплав» ЦН—КПР отличает нерасторжимая связь с произведениями малых форм — проповедями, причитаниями, молитвами и т. д.

Следовательно, органическая соотнесенность КПР с ЦН и организованные на этом основании контаминационные фигуры (ЦН—КПР) свидетельствуют о давней принадлежности КПР к микросистеме суперсинтаксем.

СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЧУЖОЙ РЕЧИ

(на материале судебных документов XVII в.)

Л. Е. Лопатина

Значительный интерес для изучения средств передачи чужой речи в русском языке XVII в. представляют собой памятники деловой письменности [1] и в особенности судебные записи расспросных речей. Язык этих документов отличается близостью к живой разговорной речи. Секретари суда, дьяки и господарские писцы, записывая показания, стремились к наиболее точному воспроизведению, это «диктовалось соображениями сыска» [2]. Кроме того, необходимо было четкое обозначение принадлежности речи, определение границ между чужой речью и вводящими ее авторскими словами. Для записи расспросных речей использовалась известная литературному письменному языку конструкция чужой речи, в свою очередь развивающаяся и приобретающая специфические черты при использовании ее в деловой письменности.

Конструкция чужой речи (КЧР) представляет собой соединение (союзное или бессоюзное) вводящих авторских слов и чужой речи. Авторские слова обычно выражены простым или сложным семантически незавершенным предложением с глаголом речи, требующим смыслового распространения. Чужая речь — текст разнообразной

---

[1] Большое внимание изучению синтаксиса памятников деловой письменности уделял в своих трудах В. И. Борковский. О важности изучения этих памятников см., например: *Борковский В. И.* Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения. М., 1968, с. 5.

[2] *Котков С. И.* К вопросу об истории московского говора и его источниках. — В кн.: Московская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968, с. 7.

структуры и размера. В составе КЧР происходит столкновение двух планов: плана ситуации речи и плана передачи речи. В результате определяется полнота передачи речи, степень ее близости к оригиналу, передача нейтральная или эмоционально-оценочная, формируются разные виды КЧР. Наиболее общие из них — это конструкция прямой речи — КПР (чужая речь дается здесь без каких-либо грамматических преобразований) и конструкция косвенной речи — ККР (чужая речь здесь подвергнута грамматическим преобразованиям).

Ассимиляция чужой речи авторским контекстом в КЧР не может быть полной: в ее составе всегда сохраняется противопоставление плана ситуации и плана передачи речи.

В рассмотренных нами расспросных речах встречаются КПР и ККР. Писцы при записи показаний стремились, как уже было отмечено, к максимальной близости и точности в их передаче. Чужая речь в составе КЧР обычно давалась с незначительными изменениями (в основном это были грамматические преобразования). Лишь изредка, при неоднократном повторении одних и тех же сведений, текст показаний сокращался. Иногда невольно проявлялось и субъективное отношение писца, передающего чужую речь, к ее содержанию.

Рассматриваемые тексты поддаются четкому членению на составляющие их единицы, равные законченным КЧР. Отдельным объектом, единицей нашего анализа является запись одного показания, имеющего вид развернутой КЧР. Такая запись обладает основными признаками текста [3]. Она характеризуется смысловой замкнутостью и целостностью, что проявляется в исчерпанности информации, заключенной в показании, а также четкими границами, которые совпадают с границами КЧР.

КЧР делится на две составляющие: авторские слова и чужую речь. Авторские слова рассмотренных текстов однотипны, они имеют форму простого предложения с названием говорящего (говорящих) и с глаголом речи, чаще всего с глаголом *сказать*. Наибольший интерес для анализа по своей структурной сложности и разнообразию содержания представляет часть текста, передающая чужую речь. Это законченный текст, включенный в состав текста КЧР, сохраняющий свойства текста ситуации речи и приобретающий новые черты в ситуации передачи речи.

Рассмотрим различные варианты строения текста в расспросных речах [4]. Привлекаемые ниже примеры являются наиболее показательными с точки зрения способов соединения частей текста: они демонстрируют структуру текстовых отрывков, особенности чужой речи, сохраненные и приобретенные в ситуации передачи речи.

---

[3] См., например: *Кожевникова К.* Об аспектах связности в тексте как целом. — В кн.: Синтаксис текста. М., 1979, с. 66.

[4] Пользуемся изданием «Московская деловая и бытовая письменность XVII века» (М., 1968).

І А Васка Алеѳѣев смотря той тетратки сказал ⋁ (1) что писмо ево рѳка // (2) а писалъ онъ Петрѳшке Поливановѳ съ ево Петрѳшкиныхъ словъ по евѡ веленью во РПД м годѳ после свтлые ндли вскоре, // (3) а Петрѳшка де заставливал тое тетратку писать пришед из гостеи / какъ онъ был в гостях за Ѳедоровою женою Зыкова у боярина у Кирилы Полѳехтовича Нарышкина // (4) и какъ де дошло до тои рѣчи / что писать нелзя / и онъ де Васка ему Петрѳшке говорил ⋁ что онъ писать не станетъ а скажет про то Ѳедорѳ Зыкову / и Петрѳшка де тое тетратку у него вырвал // (5) и с того времяни и по се число / гдѣ онъ еѣ держал и что по нем дѣлалъ / того онъ Васка не вѣдаетъ // (6) а онъ де Васка про тое тетратку Ѳедору Зыкову и своеи братье никому не сказывал, // (7) а опричь де того писма / ему Петрѳшке и себѣ и іному никому такихъ и іныхъ воровскихъ писем не списывал // (8) а Петрѳшка де / у кого тому писму учился / про то онъ скажетъ самъ І (V 7 д, л. 314—315).

Приведенный текст строится как развернутая КЧР. Здесь мы имеем дело с союзной конструкцией косвенной речи, чужая речь подвергнута в ней соответствующим грамматическим преобразованиям.

Текст чужой речи делится на текстовые отрывки с изменяющимся предметом речи и с новой информацией, т. е. с новой сюжетной линией [5]. Между текстовыми отрывками обязателен перерыв в течении событий, о которых идет речь, т. е. события, действия передаются в соседних текстовых отрывках изолированно (для наглядности отрывки пронумерованы, цифры вставлены в текст). Каждый текстовый отрывок содержит в себе тему (исходную коммуникативную часть сообщения) и рему (основное коммуникативное содержание сообщения, чаще всего новое, впервые сообщаемое в данном показании или вступающее в противоречие с предыдущими показаниями).

Текстовые отрывки равноправны, т. е. они в одинаковой степени подчинены авторским словам и между ними отсутствуют какие-либо иерархические отношения. Текстовые отрывки соединены по принципу цепочечного нанизывания при помощи союзов *а*, *и*.

Между авторскими словами и чужой речью существует связь, выраженная союзом *что*, который употреблен лишь в начале первого текстового отрывка и не повторяется в последующих. Дополнительным показателем чужой речи, знаком ее принадлежности к особому плану высказывания, является частица *де*, употребляемая здесь довольно последовательно. Частица объединяет весь текст чужой речи и четко отграничивает ее от авторской.

Текстовые отрывки в приведенном тексте совпадают по форме с простыми или сложными предложениями. Особенно сложную структуру имеет четвертый отрывок. Здесь группа темы представляет собой два однородных придаточных времени, первое из которых

[5] Текстовые отрывки в нашем понимании здесь близки сверхфразовым единствам в понимании Е. А. Реферовской. Ср.: «. . .сверхфразовое единство содержит высказывание, представляющее собой объективно ограниченную микротему целиком. . .» (*Реферовская Е. А.* Лингвистические исследования структуры текста. Л., 1983, с. 84).

вводится составным союзом *и как* (соединением цепочечного союза *и* и подчинительного *как*). Каждое из однородных предложений имеет свое придаточное изъяснительное, причем второе является конструкцией «вторичной чужой речи», между собой придаточные соединены цепочечной связью с союзом *и*. Группа ремы (нового) выражена главным предложением сложноподчиненного, присоединяемым союзом *и*.

Частица *де* употребляется обычно в начале текстового отрывка, т. е. в начале темы (после первого значащего слова); если тема выражена двумя однородными предложениями, *де* употреблено дважды, в текстовом отрывке сложной структуры частица употребляется и в начале ремы. Заметим, однако, что, несмотря на достаточно последовательное употребление частицы *де*, она не употребляется в оборотах и составных частях предложения, в которых уточняется, раскрывается содержание темы или ремы.

Условно обозначим границы между составными частями, на которые делится данный текст: I — граница конструкции чужой речи; ⋁ — граница между авторской и чужой речью; // —между текстовыми отрывками; / — между предложениями и между составными частями сложного предложения; ⋁ — граница между «первичной и вторичной» чужой речью. Пользуясь этими обозначениями, представим данный текст схематически, сохраняя строевые компоненты текста: частицу *де*, союзы и союзные слова, служащие для соединения компонентов текста, не меньших, чем составная часть сложного предложения.

Схема:

I ⋁ что / / а / / а де / как / / и какъ де / что / и де ⋀ что /

1 2 3 4

и де / / и / где / того / / а де / / а де / / а де / у кого / про то I

5 6 7 8

II

И мастерица Даря Ламанова в роспросе сказала ⋁ (1) как гсдрь пошел с Москвы в троецкои ѡсеннеи обѣздъ / и к неи де Даре приходила в Верхъ ѡктября въ Sм числѣ в суботу ѕоловка еѣ Тимохина жена Бахарева Матрепка и стоѧла с нею 8 пижнеи светлицы / да стояв у тои светлицы взяла еѣ Матрепку ѡпа Даря к себѣ в верхную светлицу и потчивавъ еѣ медом ѡтпустила на подворе // (2) а как де та еѣ ѕоловка была у неи в светлице и то де видели подруги еѣ мастерицы Иванова жена Снавидова да Степанида ѡрапка да светличнои сторож Мишка Григорьев да портомоннои сторож Мишка Семенов // (3) а которые де гсдрвых дѣланых скатертеи скатертные ѡстатки дала ѡна сторожом / и тѣ ѡстатки ни к чему не пригодятца. // (4) а на црцынъ де след песку ѡна Дарья не сыпывала и такова слова подруге своеи Ѳвдоте Ярышкине не говаривала // (5) а что на неѣ ж Дарью извещали подруга ж еѣ Марья Снавидова да Степанида арапка ⋀ какъ бутто ѡни еи говорили про светлишную про-

пажу гсдрских скатертей и ѡна имъ сказала ⋀ падобе де ѳходит црцу / а иные де ей дешевы / и ѡна де Даря такова слова подругам своим не говаривала // (6) а говорила де ѡна Даря тѣм своим подругам Маре Снавидове да Степаниде арапке про светлишную пропажу ⋀ толко б де еѣ Дарю гсдриа црца пожаловала а иные де ей не дороги // (7) а к серпуховитину де к Ивану Соимапову покрывся гсдрским полотном за Москву реку пачеват не ѣзживала (V, № 16, л. 4).

Схема:

I ⋁ как / и де / да / / а как де / и де / / а которые де / и / /
1 2 3

а де / / а что ⋀ как бутто ⋀ де / а де / и де / /
4 5

а де ⋀ де / а де / / а де I
6 7

Текст косвенной речи в соответствии с различными сюжетными линиями, имеющими свою тему, делится на семь текстовых отрывков. Первые три и пятый отрывки строятся как сложноподчиненные предложения, в которых придаточное с союзами *как*, *а как*, *а которые*, *а что* выражают тему, а главные предложения — рему, причем между темой и ремой обозначена четкая граница при помощи союза *и*.

В этом тексте, как и в каждом текстовом отрывке, употребляется частица *де*, иногда и неоднократно. Употребление частицы обусловлено также сложным построением текста — совмещением в нем различных планов речи. Так, в пятом отрывке вводится «вторичная» чужая речь, в которую в свою очередь вводится подчиненная ей чужая речь. Характерно, что «вторичная» чужая речь вводится союзом *как будто*, употребление которого создает впечатление ассимилированной (видоизмененной) и сокращенной по содержанию речи. Употребление же частицы *де* сигнализирует близость к оригиналу, точность в передаче чужой речи.

III

И послыша то мастерица Даря Ламанова ѳчела вишитца и плакат. . . да ѳчела сказывать как у неи с тою жонкою с Настькою дѣлалос ⋁ помнишъ де ты сама / какъ мнѣ про тебя сказала мастерица Овдотя Арышкина / и а де по еѣ скаске к тебѣ пришла и ворот чорной своеи рубашки ѡтодравъ к тебѣ принесла / да с тем же воротом принесла к тебѣ соль и мыло / и ты меня спроспла ⋀ прямое ли имя Овдотя и я тебѣ сказала ⋀ что прямое / и ты в тѣ поры тои моеи рубашки ворот на ѡшостке ѳ печи сожгла и на сол и на мыло наговорила / а как наговорила / и ты велѣла мнѣ тот пепел сыпат на гсдрьскои слѣд / куда гсдрь и гсдрни црца и ихъ црсские дѣти и ближние люди хотят ⋀ и тебѣ де в том ѡт гсдря и ѡт црцы кручины никакие не бѳдет / а ближние люди ѳчнут любити / а мыломъ велѣла ты мнѣ умыватца с мужем / а сол велѣла давати ему ж в пите

и в естве ⋀ так де ☿ мужа моево серцо и ревность отойдет и до меня будет добръ (V, № 16, лл. 16—17).

Схема: I / да / как ⋁ де / какъ / и де / да / и⋀ли и ⋀ что / и / а как / и / куда ⋀ и де / а / а / а ⋀ де I

Данный текст оформлен как бессоюзная КПР. Употребление здесь КПР создает эффект буквальной, точной передачи живой речи. В чужую «первичную» речь неоднократно вводится «вторичная» чужая речь, имеющая вид прямой или косвенной речи. В некоторых случаях единственным показателем этой «вторичной» чужой речи является частица *де*.

Текст чужой речи не делится на текстовые отрывки, так как в нем развивается одна сюжетная линия, текст этот состоит из ряда предложений, передающих непрерывную последовательность действий и соединенных цепочечной связью.

Частица *де* употребляется в начале текста чужой речи (в двух первых предложениях) и затем вводится только как показатель «вторичной» чужой речи. Употребление частицы *де* лишь в начале прямой речи объясняется смысловой однородностью текста; кроме того, противопоставление двух планов речи, авторской и чужой, а также единство всего текста чужой речи достаточно отчетливо выражено грамматическими формами прямой речи.

Таким образом, тексты расспросных речей представляют собой по преимуществу КЧР, чаще это ККР, реже КПР. Структурное оформление тех и других конструкций принципиально не отличается: в них используются глаголы речи в составе авторских слов, союзы и частица *де* в составе передаваемой чужой речи. В КПР — чужая речь максимально близка к оригиналу и лишена грамматических преобразований, в ККР — чужая речь дана с различной степенью ассимиляции авторским контекстом, подвергнута грамматическим преобразованиям.

В тех и других конструкциях текст чужой речи представляет собой открытый ряд простых или сложных предложений. Если в тексте несколько сюжетных линий, прерывистая передача событий, он делится на текстовые отрывки. Текстовый отрывок включает в себя одно (простое или сложное) предложение или группу предложений. Связь текстовых отрывков преимущественно цепочечная с соединительными союзами *и*, *а*, *да*.

Внутри текстового отрывка используются разнообразные виды связи: сочинительная и подчинительная — между составными частями сложного предложения, цепочечная — между предложениями.

Текстовый отрывок может быть равен предложению, в этом случае тема и рема выражена различными членами предложения. Но часто структура группы темы и особенно ремы имеет сложный характер, включает в себя целые ряды предложений, соединенные между собой цепочечной, сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. Граница между группами темы и ремы в большинстве случаев формально не выражена — это граница между членами предложения, или членами составной части сложного предложения.

Если граница между темой и ремой совпадает с границей между придаточным и главным предложением сложноподчиненного предложения, то между ними появляется союз *и*. Именно в этой специфической ситуации возникают «сложные подчинительные союзы» *а как. . . и, а что. . . и*. См., например, тексты I, II.

Часть *и* в этих сложных союзах факультативна. Например: *А что* де он Давыд написал в челобитной что днеи з десят на сѣзжеи двор не прихаживал он де Давыд на Козе болоте с подячим Новые чети ѳбил мѫжика и за то де онъ сидѣл в Новои чети идли 3 двѣ (V, 6 б, л. 59); . . .извещали гсдрю црю. . . мастерицы. . . *какъ* гсдрь црь и великиі кнзь Михаило Федорович всеа Рѳсиі былъ в троетъцкомъ осеннем обѣзде без него гсдрꙗ приходила в Верхъ к мастерице Дарье Ламапове невѣдомо какаꙗ жонка (V, 16, л. 1).

В последнем примере нет и соединительного союза перед *какъ*, поскольку здесь начало текста чужой речи. Таким образом, сложная форма подчинительных союзов типа *а как. . . и* факультативна и целиком зависит от определенной текстовой ситуации: придаточное — тема находится в препозиции к главному предложению — реме, текстовый отрывок, включающий в свой состав сложноподчиненное предложение, соединяется с предшествующим текстом цепочечным союзом *а*.

Представляется, что такой же характер носит разграничение темы и ремы в тех случаях, когда тема выражена деепричастным оборотом или второстепенным сказуемым. Например: и онъ де Кондратеи *сыскав* что было в том подголовке в двѳ мешках денегъ сто рѳблев да шприики да двѣ ошивки и инѳю мѣлкую рѳхледь *и* велѣл де ѳ нег сковат рѳки и ноги и чепь на него положит (V, 8г, л. 20).

Специфической чертой текста в составе конструкции чужой речи является употребление частицы *де*. В записях расспросных речей она употребляется особенно часто. Именно частица *де* прежде всего является знаком столкновения двух планов речи: ситуации речи и ситуации передачи речи. Частица используется как показатель чужой речи, а также для выражения прагматических компонентов текста (отношения писца к содержанию передаваемой речи).

Употребление частицы *де* в качестве показателя чужой речи факультативно. Однако существуют определенные закономерности в ее использовании. Частица *де*, как правило, употребляется для ввода чужой речи при отсутствии других формальных средств (союзов). Например: Аоопка Осипов. . . сказал пришли *де* к немѳ в ызбѳ стрелцы от обѣзжева и взяв ево привели к обѣзжемѳ. . . (V, 4 б, л. 43); обѣзжеи голова Тимоеѣи Реткин распрашиван, А в роспросе сказал авгѳста *де* в I м числѣ в обѣзде своем ѣздил поѳтрѳ и после обѣда осматривал караѳлов и дымѳ. . . (V, № 5 д, л. 69).

В редких случаях *де* встречается и наряду с союзом *что*. Например: и тутo ж стоячи у пытки полач Васка Микпеоров сказал *что-де* ѡнъ тоѣ постелницѳ ѕпает подлинно (V, № 17, л. 14). А Сенка Евскои с Пронкою на очноп ставке сказал *что де* ево Сенку он Пронка клеплет напрасно (V, № 19, л. 8).

При вводе «вторичной» чужой речи в тексте показания употребляется преимущественно частица. Ее использование здесь настолько характерно, что бывает достаточным и без вводящего глагола речи. См., например, текст III и сл.: і мнѣ он ѵчинился силен печатат не дал ѵ нас *де* свои обѣзже (V, 5б, л. 48).

Частица *де* встречается лишь в повествовательных предложениях; в побудительных (при союзе *чтоб*) и, как правило, при косвенных вопросах она не употребляется. Например: І ѡкольничеі Василеи Иванович Стрешневъ да дяк Суряшнъ Тороканов роспрашивали про то ж дѣло светлишного и портомоиного сторожеи в светлицу к Даре Ламанове какая жошка приходила ли и будет приходила и которого числа приходила и тоѣ ѡпп жонку в рожеи знают ли и мастерица Даря Ламанова какие скатертные ѡстатки имъ давала ли и для чего давала (V, № 16, л. 10).

Отношение автора к передаваемой речи проявляется в определенной организации записываемого текста, в членении его на текстовые отрывки, нередко сопровождающемся выделением таких отрывков с помощью частицы *де*. Частица употребляется обычно в начале отрывка (после первого значащего слова темы). При сложной структуре текстового отрывка частица может повторяться и в начале ремы. См., например, текст II, отрывки 1, 2, 5: соответственно частица не употребляется в различного рода вводных оборотах и попутных замечаниях, лишенных смыслового выделения. Например: а какъ *де* онъ Кондратеи приѣхал из олеѯинскои дрвни в шешнем во РПЕ м годѵ перед Покровом прсвтые бдцы а в которомъ числе тог не ѵпомнит и в то де время перед Покровомъ ж тот ево члвкъ Ивашко в Китае городе Николаѧ чюдотворца что словет Красные колокола в црквь ходил воровски ночью (V, 8г).

Кроме функции показателя чужой речи, частица *де* может выражать неодобрительную оценку этой речи. В таком значении частица *де* последовательно употребляется при словах «опаспого» содержания. Писец тем самым подчеркивает и свою непричастность к сказанному и осуждение сказанного. Так обстоит дело, например, с наиболее крамольными словами, приписываемыми обвиняемой в документе № 16. Несмотря на неоднократный повтор их в показаниях, они неизменно даются с частицей *де*: . . . и в тѣ де поры говорили еи Даре про светлишнѵю пропажу гсдрьскихъ дѣланых скатертеи тѣ же подруги еѣ мастерицы Марѳа Снавидова да Степанида арапка и она де имъ сказала. толко бъ *де* мнѣ црцу ѵходить а иные де мне дешевы (V, № 16, л. 1—2); и Дарья де Ламанова. говорила лпше б *де* мшѣ уходить црцу а онн еи не дороги (V, № 16, л. 6).

Рассмотренный нами материал свидетельствует о наличии достаточно четких (хотя и допускающих в ряде случаев вариативность) норм построения конструкций чужой речи в деловой письменности XVII в. Заимствуя некоторые черты народно-разговорной разновидности литературного языка, деловая речь обогащалась экспрессивно-выразительными средствами. Это способствовало, по-видимому, вовлечению ее в процессы дальнейшего становления общерусского литературного языка.

СЛУЖЕБНОЕ СЛОВО *ДАК* В СЕВЕРНОРУССКИХ ГОВОРАХ

М. Н. Преображенская

В статье рассматривается вопрос о функционировании служебного слова *дак* в русских говорах Севера; при этом особое внимание уделяется случаям, когда *дак* выступает как последнее слово, завершающее синтаксические конструкции со сложной (полипредикативной) структурой. В качестве материала используем расшифровки магнитофонных записей, сделанных в Вологодской и Архангельской областях Р. Ф. Пауфошимой, Л. Л. Касаткиным, Ю. С. Азарх и автором статьи. Примеры в статье даются в орфографической записи, указаны только обозначения пауз в потоке речи (вертикальные черты) [1].

Севернорусское *дак* неоднократно привлекало внимание исследователей [2]. Так, А. Б. Шапиро считает *дак* выделительно-усилительной частицей, близкой по значению к *ведь*, употребляемой в начале, в середине и в конце предложения, в последнем случае — в бессоюзном сложном предложении (с. 249—251). В. И. Трубинский считает *дак* коррелятом, который в соотнесении с постпозитивными членами создает в говоре особую модель синтаксической конструкции (с. 64). Две статьи посвящены *дак* в говоре д. Акчим Красновишерского р-на Пермской обл. К. А. Федорова рассматривает *дак* в конечной позиции как «своеобразный постпозитивный союз», оформляющий причинные, условные или временные связи между частями сложной конструкции (с. 77—87); В. В. Мерлин характеризует *дак* в позиции, замыкающей предложение, как показатель ремы при субъективном (по В. Матезиусу) порядке слов, при этом «*дак* влечет за собой пустую позицию, которую должно занять первое предложение. . . слушающий должен сам восстановить объективный порядок, в котором должны были явиться предложения» (с. 88—97).

В целом, дополняя друг друга, эти различные определения синтаксического статуса слова *дак* отражают с разных сторон особенности его функционирования в диалектной речи, однако не проясняют их в достаточной мере, по-видимому, в связи с тем, что указанные квалификации ограничены стремлением осмыслить диалектное явление в аспекте принципов синтаксической классификации современного русского литературного языка. Эта классификация может «не покрывать» некоторые факты диалектной речи, так как она отра-

---

[1] Большинство цитируемых здесь отрывков текстов воспроизведены в фонетической транскрипции в кн.: *Пауфошима Р. Ф.* Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983. В скобках — шифр хранения.

[2] См.: *Шапиро А. Б.* Очерки по синтаксису русских народных говоров. М., 1952; *Трубинский В. И.* Об участии постпозитивной частицы *то* в построении сложного предложения (по материалам Пинежских говоров). — В кн.: Северновеликорусские говоры. Л., 1970. Вып. I; *Федорова К. А.* К вопросу о роли частицы *дак* в конце предложения. — Учен. зап. Пермского ун-та им. А. М. Горького, 1965, т. 137, вып. 1; *Мерлин В. В.* Частица *дак* как средство актуального членения. — В кн.: Живое слово русского Прикамья. Пермь, 1978.

жает систему нормированного типа языка. В частности, в потоке устной речи часто нельзя четко провести членение текста на простые и сложные предложения и определить границы сложных синтаксических конструкций. В связи с этим мы считаем продуктивным использовать понятие и термин «полипредикативное высказывание» (ППВ) с тем содержанием, которое в это понятие вкладывается коллективом авторов, изучающих русскую разговорную литературную речь: «Две и более предикативные конструкции с помощью таких средств, как союзы и союзные слова, интонация, порядок следования предикативных конструкций, соотношение видо-временны́х форм предикативных конструкций и пр., могут быть связаны в одну грамматическую (синтаксическую) единицу — полипредикативное высказывание. . .» [3].

В рассмотренных выше работах о *дак* выделены три позиции для этого слова в пределах предикативной единицы (ПЕ): начала, середины и конца ПЕ. Необходимо учитывать также позицию самой ПЕ с *дак* в пределах ППВ; такая ПЕ в принципе может начинать ППВ, быть не первой и быть последней. В случаях, когда ПЕ с *дак* является не первой (точнее, не одиночной), она может входить в состав бинарного объединения ПЕ (сложное предложение), а может — повторяясь в составе ряда ПЕ — быть элементом структурной связи в полипредикативной конструкции.

Представим в таблице схему синтаксических позиций для *дак* в рамках ППВ и рассмотрим вопрос о функционировании этого слова в пределах очерченной схемы позиций.

Рассмотрим функции слова *дак* в этих позициях.

I (1), II А (1), III А (1). В соответствующих этим позициям рубриках мы поставили знак «минус» на том основании, что в абсолютном начале текста *дак* не употребляется. В пределах же текста, после паузы, *дак* может начинать собой, точнее, вводить новый отрывок (или реплику при диалоге). Однако при этом всегда имеется контекстная смысловая связь вводимого элемента с предшествующим содержанием (аргумент, следствие, итог и пр.): не оставь говорит моих детей // *Дак* я и щас не забыла (А-575). В литературном разговорном языке в аналогичной функции может выступать *так* [4].

I (2). В разобранной выше литературе вопроса эта позиция (середина простого предложения) хотя и названа как возможная для слова *дак*, по, по всей вероятности, употребление *дак* здесь ограничено случаями, когда конструкция находится как бы «на грани» простого и сложного предложения. Чаще других здесь наблюдается так называемый именительный темы [5]. Например: Вот мы двое / я *дак* вон на койке [сплю] а вот у меня парень мой на раскла-

---

[3] *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981, с. 227.

[4] См.: Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова, М., 1939, т. III, с. 639 (*так* — значение 9).

[5] А. Б. Шапиро отмечает, что значение отношения между первой и второй частями здесь может быть сведено к формуле «что касается того, то. . .» (указ. соч., с. 250).

		1	2	3							
I	В рамках отдельных ПЕ	—	+	+							
		А			Б						
		1	2	3	1	2	3				
II	В рамках бинарных соединений ПЕ	—	—	—	+	—	+				
		А			Б			В			...
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	
III	В рамках многокомпонентных соединений ПЕ	—	—	—	+	—	+	+	—	+	

Примечания: 1) А — первая ПЕ в составе бинарных и полипредикативных конструкций; Б — вторая ПЕ в составе бинарных и полипредикативных конструкций; В — третья ПЕ в составе полипредикативных конструкций (в принципе количество ПЕ здесь не ограничено, но более трех наблюдатели не зафиксировали); 2) обозначение позиций: 1 — начало ПЕ; 2 — середина ПЕ; 3 — конец ПЕ.

душке (А-800). Иван-от *дак* знает; где сельсовет // *дък* от мы тут учились в школе (А-472); А дети // *дак* таких и умных нет (А-575); сей год / *дък* я и не бывала (А-747).

I (3). В этой позиции (конца простого предложения) А. Б. Шапиро и К. А. Федорова определяют *дак* как усилительно-заключительную частицу, придающую категорический характер высказыванию. К. А. Федорова обращает при этом внимание на редкое употребление конечного *дак* в простом предложении (с. 80). Приведенные указанными авторами примеры и их квалификацию, по-видимому, следует поставить под сомнение, так как в иллюстрациях, видимо, приводятся только такие ПЕ с *дак* на конце, которые замыкают сложные предложения или ППВ, но представлены без предшествующего им текста (ср. анализ *дак* в позиции II В (3). Таким образом, мы приходим к выводу, что функционирование *дак* нельзя представить себе ограниченным рамками простого предложения. Включение этого слова в текст связано с построением сложной синтаксической конструкции.

II Б (1). Это позиция аналогичная той, которую в сложноподчиненных предложениях литературного русского языка занимает коррелят *так*, соотнесенный с союзами *если*, *когда*, *как* и др. В говорах *дак* чаще выступает при отсутствии союза в предшествующем тексте. При этом в говорах, как и в литературном языке, образуются сложные синтаксические конструкции, обладающие смысло-

вой законченностью. Например: Не любой *дак* отворотись / а любой *дак* поклонись; велит *дак* води / а не велит *дък* и не води (А-747); тяжело метать сено в стога? / — на сухо-то сено *дък* хорошо (А-644); Поднялся ветер / *дак* вот с головы фату рвало вот как (А-690).

II Б (3). Это та самая «экзотическая» позиция, в которой употребление *дак* воспринимается носителями русского литературного языка как нечто необычное. Современному русскому языку не свойственно употребление конечных служебных формантов ни на морфологическом, ни на синтаксическом уровне [6]. На этом факте строится прием нарочитого выделения некоторых союзов в непринужденной разговорной литературной речи путем постановки их в конец высказывания, например: . . .надо приготовить, придут они *если* [7]. Корреляты же в конце сложных конструкций в русском языке ни в каком стиле недопустимы. Приведем несколько примеров из статьи К. А. Федоровой: Ой как поги / че-ко пристали / постояла *дак*; уш он не пахал / лошади нед *дак*; А сепаратор мы первые купили / дак фся деревня к нам ходили / толк-от узнали *дак*; Откусишь язык-то / падеж *дак*; Стружог дак стружи // мастер *дак*; Потом смолой иё (лодку) мажут / у ково езъ *дак*; . . .стала бы косить / могла бы *дак*; оботру (пол) приду *дак*; . . .потом гребем граблями / потсохнед *дак*. Примеры с *дак*, замыкающим ППВ: А эта женщина-то и говорит / хозяйка // — цыган / не знаешь ли чего? У нас лошадь потерялась *дак*. . . (А-873); Мы жили худо / отец-от помер / отец-от катаники у нас катал / все это отдали / продали / пятеро детей *дак* // (А-575).

В наших материалах, как и в примерах других исследователей, не отмечены случаи одновременного употребления конечного *дак* и союзов в первой части сложных конструкций. Представляется, что это не случайное явление: синтаксическая функция *дак* в рассматриваемой позиции принципиально отличается от функции этого слова в позиции II Б (1), где можно говорить об аналогичном статусе *дак* и коррелята *так* общерусского языка. Здесь же мы имеем дело с особым формантом, с помощью которого строятся сложные конструкции с широким кругом семантико-синтаксических отношений обстоятельственного характера между частями, и при этом имеет место реверсивный ход мысли, т. е. ПЕ с замыкающим *дак* не делает конструкцию законченной в смысловом отношении, она требует обязательного обращения к левому контексту.

III Б (1), III В (1). Это позиции, в которых ряд элементов текста, включенных в ППВ с помощью повторяющегося начального *дак*, синтаксически отнесен к одному и тому же фрагменту предшествующего текста. Однако в семантико-синтаксическом плане эти элементы могут выражать различные аспекты связи. Например: Ну что / приехали позарники / а цего зделают как // Перекидыват этот // / огонь / Еще хорошо руцей есть / был // *Дак* со станции машину привезли / *дак* заливали эти-те / негорящие / дома / еще / чтоб эти-те не загорели (А-690); (описание того, как сами делали глиняную

---

[6] Ср., например, лат. *que*, др.-рус. *ради*, *для*, которые примыкали к слову справа.
[7] Русская грамматика, т. II. Синтаксис. М., 1980, § 2172, с. 209.

посуду. И в результате) *дак* были горшки ли / ставки / *дак* хоть кидай не лопались (А-702); Три года служил в Кронштате / *дак* полтора года / *дак* и и дома не бывал (А-575).

Представляется важным отметить способность *дак* выступать как повторяющийся служебный элемент ППВ. Если в позиции II Б (1) синтаксическая функция *дак* может квалифицироваться как аналогичная функции коррелята *так* в общерусском языке, то в рассматриваемой позиции *дак* обладает отсутствующей у *так* способностью присоединять не одну, а ряд ПЕ, коррелирующих по смыслу с предшествующим текстом.

III Б (3), III В (3). В этих позициях *дак* выступает как повторяющийся в некотором ряду ПЕ формант, замыкающий каждую из ПЕ ряда. Например: . . .я внизу жила / эта вот сын-от был в армии *дък*/ топить та две комнаты-то большы *дък* (А-644). Обе ПЕ, оканчивающиеся на *дак*, соотнесены по смыслу с первой ПЕ, т. е. они объясняют с разных сторон, вследствие чего мать жила внизу (когда сын был в армии не было смысла отапливать весь дом). Слово *дак* в обоих случаях, как и в «экзотической» позиции II В (3), замыкает ПЕ, для понимания смысла присоединения которых необходимо обратиться к левому контексту. Сам же этот левый контекст автосемантичен и не предусматривает обязательности поясняющего продолжения.

Проведенный анализ показывает: 1) слово *дак* функционирует как элемент синтаксической связи, объединяющий ПЕ в сложные синтаксические конструкции. Следовательно, в пределах отдельно взятых ПЕ синтаксические функции слова *дак* обнаружены быть не могут; 2) содержание ПЕ, в состав которой включено *дак*, всегда ориентировано на смысловую связь с содержанием предшествующего (левого) контекста. Вследствие этого текст не может начинаться с ПЕ, в состав которой включено *дак*; 3) синтаксическая функция *дак* и коррелята *так* литературного языка аналогичны в позициях I А (2) и II Б (1); в позициях I А (3), II Б (3) и III В (3) функционирование *дак* в говорах не имеет аналогов в русском литературном языке; 4) повторы *дак* в пределах ППВ (как в начальной позиции в составе ПЕ, так и в замыкающей ПЕ позиции) не имеют аналогов в литературном языке.

Рассмотрим некоторые особенности функционирования конструкций с *дак* в пределах связного текста, т. е. во взаимодействии между собой и с некоторыми другими видами диалектных синтаксических конструкций.

Были вот такие кумушки / куклы из тряпок // Да вот / делали / если у меня была б девушка / так я и сделала // А вот были у меня мальчики / была деревянная (тележка) вон из чурок эти сделали / да заробельки да гармошка была / да коник был / вот как мальчики были / да молоток да // А если девочек у меня не было *дак* / а у кого девочки *дак* из тряпок куклы // У меня вот внучки приезжают / так из тряпок кукол много наделанных и зыбочка вот экая сплетенная есть / играют *дак* / вот как в деревне // (А-800); он воть ездил / застал ещо жывова *дък* / *дък* говорит извинялся (А-474); . . . экой вот дом состропли / мы с мужем-то сошлись / у меня-то

никого не было / да и у него-то из тех родителей никого не было / тоже семь лет служил *дак* // Всё сам / всё сам от первого бревна / всё сами нарубили / срубили да всё сделали // *Дак* какой-то выряд несчастный был / платья / костюмчики / и то продала // зонтичек / так полушалочки были все продали / *дак* строились-то // (А-575).

В тексте А-800 перед нами случай, когда в пределах одного ППВ *дак* выступает и в функции замыкающего сложную конструкцию служебного слова, и в функции, аналогичной корреляту *так* в литературном языке (в последней функции в этом же тексте зафиксировано также и *так*). В тексте А-474 построение двух синтаксических моделей с *дак* привело к «столкновению» и повтору этого слова. В тексте А-575 первое употребление *дак* — замыкающее, а второе и третье — аналогично *так* разговорного языка, когда *так* выступает в качестве своего рода начинательной частицы, близкой по значению к *ведь*. Таким образом, в пределах одного текста с помощью *дак* могут быть построены конструкции по различным синтаксическим моделям, причем *дак* может быть в позициях, аналогичных некоторым позициям *так* в литературном языке (и наряду с *так*), но *так* замыкающего в говоре, по-видимому, быть не может. Это позволяет выделить особую, специфичную для диалекта, синтаксическую позицию, в которой *дак* выступает как служебное слово, замыкающее сложные синтаксические конструкции с бинарной и полипредикативной структурой. Поэтому в рамках понятий, релевантных для современного литературного синтаксиса, адекватная квалификация диалектных синтаксических конструкций с замыкающим *дак* оказывается невозможной.

Следует отметить, что *дак*, выступая в части тех же позиций, в которых возможно употребить *так* в общерусском языке, дает повод отнести его к варианту *так* фонетического уровня в восточнославянском аспекте (ср. *та* [8] в значении союзов *да*, *и* в украинском языке и начинательную частицу *дык* в белорусском языке [9]). Однако общеславянское слово *так* в общерусском языке (в том числе — и в изучаемых нами говорах) выступает как наречие, входит в словообразовательный ряд *такой*, *потакать*, *так как*, функционирует в качестве члена предложения; *дак* же известно в севернорусских говорах как служебное слово, выступающее только в описанных выше синтаксических позициях. Это дает основание искать объяснений появления замыкающего *дак* в русских говорах в пределах синтаксического уровня языка.

Может быть, уместно вспомнить, что севернорусские говоры долгое время развивались в тесном контакте с речью нерусских жителей Севера Европейской части СССР и Сибири. Хотя в задачу этой статьи не входит сравнительно—типологический анализ синтаксического строя русского и нерусских (в основном финно-угорских и тюркских) языков, бытующих на Севере, все же, установив «экзо-

[8] *Толстая С. М.* Союз (частица) *да* в Полесских говорах. — Нови сад: Матица српска, 1984. Кн. XXVIII.

[9] *Киселев И. А.* Частицы в современных восточнославянских языках. Минск, 1976, с. 136, 137.

тичность» для русского языка замыкающей позиции одного из служебных слов, считаем необходимым указать на некоторые такие факты финно-угорских и тюркских языков, которые нельзя обойти при рассмотрении истоков интересующей нас черты в русской диалектной речи. К. Е. Майтинская пишет: «. . . финно-угорские языки относятся к послеложным языкам. . . . В марийском, удмуртском, коми, хантыйском языках распространены союзы, замыкающие присоединяемую часть сложного предложения». В языке коми «союз *да* выступает как средство подчинительной связи, выражающее временно́е и причинное отношения, и стоит в конце придаточного предложения. . . все случаи расположения союзов в конце одного из компонентов сложного предложения объяснимы. . . на материале самих финно-угорских языков. Тем не менее примечательно, что соответствующие союзы встречаются только в восточном ареале финно-угорских языков. . . это наводит на размышление, что формирование вышеописанной структуры сложного предложения интенсифицировалось в результате контактирования с тюркскими языками, в которых также распространены сложные предложения, характеризующиеся союзами, занимающими замыкающее место. . .» [10].

В тюркских же языках служебное слово *да* имеет очень широкое употребление, оно «прошло этапы развития: частица — сочинительный союз — подчинительный союз. Переход частицы *да* в союз осуществлялся постепенно. . . приобретая новые качества, она продолжала примыкать к концу предложения» [11]. Например, в якутском языке служебное слово *да* «ставится сразу после слова, к которому относится, используясь и как частица и тогда, когда имеют место не только сочинительные, но и подчинительные отношения» [12].

Для нашей цели — постановки вопроса о взаимодействии в данном звене синтаксической системы русских диалектов с иноязычными синтаксическими системами — приведенных данных, по-видимому, достаточно. Однако речь идет не о *да*, а о *дак* и можно ли считать, что сказанное о *да* в нерусских языках Севера может иметь отношение к судьбе *дак*?

Обратим внимание на то, что в русских говорах Севера распространено не только замыкающее *дак*, но и замыкающее *да* в конструкциях с перечислением однородных элементов: Я все Марью брала *да* / Дарью брала *да* / тут Денисовну *да* // (А-593). С другой стороны, можно привести примеры употребления *да* в синтаксической позиции, присущей *дак*, замыкающему сложные синтаксические конструкции с подчинительной связью: Мамы-то нету дома-ти / *дък* здала книги сходила *ды* (А-472); Он был у меня один / а нас у отца у матери было четверо *да* / (А-582). По наблюдениям В. К. Богораза, в русском наречии Колымы «союз *дак* или *да* ставится для обозначе-

---

[10] *Майтинская К. Е.* Служебные слова в финно-угорских языках. М., 1982, с. 88, 89, 155.

[11] *Серебренников Б. А., Гаджиева Н. З.* Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Баку, 1979, с. 295.

[12] *Широкобокова Н. Н.* Частица и союз *да* в якутском языке. — В кн.: Сложное предложение в языках разных систем. Новосибирск, 1977, с. 92.

ния условности придаточного предложения», причем «ставится в конце придаточного предложения, которое следует за главным» [13].

Представляется реальным предположение, что местные жители, осваивая русский язык, сохраняли модель употребления замыкающего союза *да* при выражении как сочинительных, так и подчинительных семантико-синтаксических отношений и одновременно усваивали русскую модель с коррелятом *так* в начале второй части подчинительных конструкций. Это могло привести к обобщению *дак* как форманта подчинения. Модель с замыкающим служебным словом продолжала работать и для *дак* (при подчинении), и для *да* (при сочинении). Смешению *да* и *дак* в условиях восприятия нерусскими русского языка могло способствовать также и то, что фразовое ударение в севернорусских говорах, в отличие от литературной нормы, характеризуется усилением начала и ослаблением конца высказывания, и вследствие этого в слабой фразовой позиции конечное *дак* может терять *к* и звучать как *да* [14].

Следует заметить также, что наше понимание диалектной конструкции с *дак* замыкающим несовместимо с квалификацией *дак* как формального показателя особого логико-грамматического уровня языка, вводящего рему (В. В. Мерлин, с. 97). Напомним в связи с этим замечание В. Матезиуса: «Средства, удовлетворяющие потребностям выражения объективного и субъективного порядков при актуальном членении предложения, почти в каждом языке различны. . .» [15]. В случаях с *дак* замыкающим мы имеем дело с особой синтаксической конструкцией, которой нет аналога в литературном русском языке, но которая обычна для синтаксической системы тех диалектов, где она бытует.

При изучении диалектной речи надо быть готовым к тому, что могут встретиться факты, которые в принципе нельзя рассматривать как элемент, входящий в соответственное явление русского диалектного языка. Одним из подобных фактов русского диалектного синтаксиса нам и представляется модель построения сложных синтаксических конструкций с замыкающим *дак*.

---

[13] *Богораз В. К.* Областной словарь колымского русского наречия. — Сб. ОРЯС, 1901, т. XVIII, № 4, с. 14.

[14] *Пауфошима Р. Ф.* Указ. соч., с. 18.

[15] *Матезиус В.* О так называемом актуальном членении предложения. — В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 245.

«ДАТЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ» КАК ВЫСОКИЙ СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. М. Сабенина

Конструкция «дательный самостоятельный» (ДС) — своеобразное явление русского литературного языка XI—XVII вв.[1] Она образовалась соединением дат. п. имени с дат. п. любой формы причастия (краткой, полной, действительной, страдательной, наст. вр., прош. вр.): таче *сѣдѣшема има* начать жена простирати к немоу бесѣдоу многоу (Ж. Феод. Печ., л. 32); *князю* тако *повелѣвъшю* (Там же, л. 27); *имъ . . .* въ оужасѣ *лежащимъ* на земли (Син. пат., л. 146); *Крещену* же *Володимеру*, предаша ему вѣру крестеяньску (Лет. Тр., с. 110); *пушкарем* же по них *стрелившим* (Пов. о прихожении, л. 21 об.); И *зделаным бывшим* вскоре многим *туром* (Казанск. ист., л. 185 об.—186).

Необычность конструкции привлекала внимание многих исследователей начиная с М. В. Ломоносова. Несмотря на это, в трудах по историческому синтаксису до настоящего времени отсутствует четкая грамматическая квалификация оборота.

Задача статьи — раскрыть сущность ДС и определить его место в грамматической системе русского языка донационального периода.

Письменные источники свидетельствуют о следующих характеризующих оборот признаках.

1. Основная сфера употребления ДС — памятники церковнославянской письменности. Церковнославянский, или старославянский язык русской редакции, был высокой разновидностью литературного языка, получившей широкое распространение в церковном обиходе, а также в сфере образования и культуры. На нем велось богослужение, на нем написана вся церковная литература, научные труды, многие публицистические и исторические произведения.

В соответствии с литературными нормами того времени считалось недопустимым использовать церковнославянский язык при описании явлений и событий повседневной жизни человека, всего обыденного и земного. Этим целям служил древнерусский язык. Пишущие хорошо осознавали разницу между церковнославянским и древнерусским языками и пользовались ими избирательно. Даже в рамках одного произведения можно найти отрывки, написанные и по-церковнославянски, и по-древнерусски. В первых речь шла обычно о вечном, абстрактном, небесном, вызывающем удивление и восторг, во вторых — о конкретных явлениях реального мира. Несмотря на близкое родство церковнославянского и древнерусского языков,

---

[1] Под термином «литературный язык» понимается язык религиозно-философской, исторической, научной и художественно-повествовательной литературы.

каждому из них были присущи отличительные особенности — лексические, фонетические, морфологические и синтаксические.

ДС следует считать синтаксическим церковнославянизмом, одним из элементов высокого стиля изложения. Народно-разговорному языку ДС не был свойствен. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что древнерусские авторы тщательно избегали употреблять его в прямой речи. В памятниках письменности, отразивших в той или иной степени разговорный язык, он почти не встречается. Так, по наблюдениям В. И. Борковского, его совсем нет в берестяных грамотах[2]. Отсутствует он и в «Слове о полку Игореве». В письмах-грамотках XVII в. он зарегистрирован всего один раз: оставльшей матери ихъ (Грамотки, с. 13). Такие единичные употребления ДС в памятниках народно-разговорного языка, равно как и следы ДС, обнаруженные в некоторых русских говорах,[3] не опровергают высказанного выше соображения о книжном характере оборота. Они свидетельствуют лишь о том, что церковнославянский язык, будучи прежде всего языком церкви, оказывал определенное влияние не только на письменный русский язык, но и на разговорную речь. Некоторые церковнославянизмы, в том числе ДС, часто употреблявшиеся в процессе богослужения, могли проникнуть в речевой обиход самых разных слоев населения, включая и сельское.

2. ДС не является особым типом предложения. У него отсутствует важнейший типологический признак предложения — собственная семантика структурной схемы [4].

Конструкции, построенные по схеме «дат. п. имени+дат. п. причастия», имеют различные значения. Так, конструкция *Князю спящу* выражает «отношение между субъектом и его предикативным признаком — процессуальным состоянием» [5]; конструкция *емѫ соущѫ игоуменоу* — «отношение между субъектом и его предметно представленным предикативным признаком»; конструкция *Мразу люту сущу* — «отношение между субъектом и его предикативным признаком — свойством или качеством» и т. д. Каждое из этих значений ДС — это значение определенного типа предложения: первый пример передает значение предложения *Князь спить*; второй пример — значение предложения *Онъ игоуменъ*; третий пример — значение предложения *Мразъ лютъ*. Таким образом, ДС выражает значения различных типов предложений. Иными словами, ДС —

---

[2] *Борковский В. И.* Два синтаксических этюда. — Славянска филология, София, 1963, т. III, с. 252.

[3] См.: *Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1965, с. 486; *Кузьмина И. Б.* и *Немченко Е. В.* О некоторых синтаксических явлениях в говорах юго-западных и центральных областей к западу от Москвы. — Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР, 1956, № 10, с. 120.

[4] О комплексе признаков, по которым определяется предложение как самостоятельная синтаксическая структура, см.: Русская грамматика, т. II. Синтаксис. М.: Наука, 1980, с. 83—92.

[5] Здесь и далее значения ДС, соответствующие значениям определенных типов предложений, функционирующих в современном русском языке, даются по «Русской грамматике»-80.

www.ruslang.ru

это не самостоятельный тип предложения, а особая форма функционирования определенных типов предложений, их своеобразная реализация в литературном языке. Можно было написать *Князь спитъ* и *Князю спящу*; *Онъ игоуменъ* и *емѫ соущу игоуменоу*; *Мразъ лютъ* и *Мразу люту соущу*. Смысл сообщаемого от этого не менялся.

В ДС превращались двукомпонентные предложения как глагольные, так и неглагольные. Так, форма ДС была обычной для глагольных предложений типа *Человѣкъ идеть*; *Вѣтръ вѣеть*: тачє пакы дъждю преставъшю (Ж. Феод. Печ., л. 54); и пришедшю отроку моему къ нимъ (Лет. Тр., с. 180); и еще ему дышущу (Лет. Устюж., л. 77); Растаявшу снѣгу и тихо вѣющу вѣтру (Пов. Кат.-Рост., с. 588). Образовалась форма ДС у таких предложений следующим образом: имя ставилось в дат. п., а глагол трансформировался в причастие, которое уподоблялось имени в роде, числе и падеже: *Вѣтръ вѣеть* → *Вѣтру вѣющу*.

Легко видоизменялись в ДС неглагольные предложения таких типов, как *Отецъ кузнець*; *Хлѣбъ дорогъ* (*-ой*); *Градъ пограбленъ*; *Сынъ въ печали*; *Землѧ далече*: преподобьноуоумоу оцю нашємоу стефаноу е҃иархоу тъгда соущю. послѣже игоуменоу соущоу того манастыр҃ (Ж. Феод. Печ., л. 42); нощи бо соущи тьмьнѣ (Там же, л. 55); хлѣбомъ же тѣмъ и҃здрѣ҃заномъ соущемъ (Там же, л. 51); вѣтру велику и злу бывшу (Хож. Аф. Ник., л. 392); И тако городку сему отъ Поляковъ взяту бывшю (Пов. Кат.-Рост., с. 595); и соущю ми въ недомыслѣ (Син. пат., л. 112); Князю же Герденю со своими князи не бывшу дома (Лет. Моск., л. 184 об.).

Отмечена форма ДС и у таких типов двукомпонентных предложений, как *Много хлѣба*; *Гривна золота*; *Нѣтъ воды*; *Зелья не достало*: избранома же сущима двѣма или тріемъ (АИ, т. I, № 19, с. 37); не сѫщю старѣишинѣ разбойникомъ (Син. пат., л. 114); не сущу уже времени (Прение, с. 141); и свинцу и зелью пищалному недоставшу (Сказ. Авр. Пал., л. 188 об.).

Форма ДС была свойственна также однокомпонентным предложениям именного типа, таким, как *Мразъ*; *Дъжгь*: и зноѫ бывъшю (Син. пат., л. 177 об.—178); уже бо вѣснѣ сущи (Лет. Моск., л. 208); и бывъшу бою межю ими (Там же, л. 310 об); и малу молчанію бывшу (Лет. Каз., с. 385).

Неглагольные предложения трансформировались в ДС с помощью причастий от глагола *быти — сущий, бывший*.

В семантическом отношении все трансформируемые в ДС предложения сходны — в них выражаются отношения между субъектом и его предикативным признаком. В зависимости от типа предложения предикативный признак мог конкретизироваться как действие или процессуальное состояние (*Человѣкъ идеть*; *Мы радуемся*; *Сынъ въ печали*; *Зелья не достало*), свойство или качество (*Дѣвица добра*; *Хлѣбъ дорогъ*; *Землѧ далече*; *Грамота без печати*), состояние, являющееся результатом действия (*Градъ пограбленъ*), существование в некотором количестве (*Много хлѣба*; *Гривна золота*). Предикативный признак мог быть представлен предметно: *Отецъ кузнець*; *Илья новгородець*. В именных однокомпонентных предложениях типа

Мразъ; *Дъжгь* и в двукомпонентных предложениях типа *Нѣтъ воды* выражалось соответственно существование, наличие субъекта, либо его несуществование или отсутствие. Таким образом, любое предложение, в котором реализовался один из приведенных выше семантических планов, могло быть употреблено в литературном языке в форме ДС.

3. Трансформация предложения в оборот ДС не зависела от его назначения (функции). Как в ранних, так и в поздних памятниках форма ДС наблюдается у предложений, выполняющих функцию самостоятельного сообщения: [6] *Въсходѧщемъ намъ. ѡт сѣмѧ геѳсимани.* въ сѣни горѣ елиопьстѣ. манастырь ѥсть ав'ва аврамиа. въ семь бѣ игоуменъ авва иоанъ кузнкѣнинъ. . . (Син. пат., л. 134 об); въ то же время оць ѥго житию конець приѧтъ. *Соущю же тъгда бжьствьномоу ѳеѡдосию .ГГ. лѣт. ѡтполѣ* же начатъ на троуды паче подвижьнѣи бывати (Усп. сб., л. 28 а); *И пятнадесять лѣтъ страдавшу ему въ пустыни*, едва сподобяся мантию и прощение пріяти (Письма Ив. IV, л. 170); И рече Владимер: «то гдѣ возму крещение?» Они же рѣша: «гдѣ ти любо». *И минувшу лѣту.* В лѣто 6496. . . (Лет. Устюж., л. 64 об.); Сущее. *Достигшу же ему, государю, вифлянския земля.* Слышавше же сие жители вифлянские земли. . . (Пов. о прихожении, л. 2 об.); *180-го году ноября в 27 день уготовлену бывшу мосту.* Он же боярин и воевода Иван Богданович Милославской взем со священники икону божия матере и вооружился в ратную збрую. . . и с молебным пением повеле ити во град Астарахань (Лет. сказ., л. 94 об.).

Форму ДС могли принимать предложения, выполняющие функцию главной части сложного предложения: *симъ же оужасъшемъ сѧ.* ꙗко же отроци съпрьва ѡтметахоу сѧ (Син. пат., л. 147—147 об.); *Болѧриноу нѣкоѥмѹ въ гнѣвѣ велицѣ соущѹ ѡт кнѧза*, ꙗко мъноѕи приходѧще глахоу ѥмоу. . . (Ж. Феод. Печ., л. 65): *не могшимъ же имъ что успѣти противу Кыеву*, бѣ бо изъхитилъ Изяславъ лодьѣ дивно (Лет. Тр., с 231); *И тако не смѣвшим имъ зборовати без него*, зане молва будеть в людех велика (Лет. Моск., л. 358); *Богу вѣдущу*, съ коликимъ рыданіемъ преже писахъ вашей любви (АИ, т. I, № 34, с. 65); *Мнящимъ мноземъ*, яко уже предани суть богом во уста мечю (Сказ. Авр. Пал., л. 162 об.).

Широко представлена в памятниках форма ДС у предложений, выполняющих функции разнообразных придаточных предложений: *и копаѫщю ми* обрѣтохъ тѣло ѥго лежаще (Син. пат., л. 64. об.); *и оударивъшю въ врата до м'ногa часа*, не повелѣ старьць ѡтврести ѥмоу (Там же, л. 92—92 об); *Идоуштѫ ти въ сѣи храмъ.* помысли

---

[6] В древнерусских и старорусских текстах во многих случаях затруднительно, а иногда и невозможно определить степень самостоятельности той или иной синтаксической единицы. Простое предложение рассматриваем как самостоятельную единицу сообщения в тех случаях, когда в его отношениях с окружающими сообщающими единицами не обнаруживаются сочинительные или подчинительные связи.

еда кого прогнѣвалъ ѥси въ коѥмь дѣлѣ (Изб. 1076 г., л. 54 об.); Θєѡдосии. . . аще и коли къде отъходы пороучаше томоу братию. . . ꙗко же *старѣишю томоу соущю всѣхъ* (Ж. Феод. Печ., л. 41); не трьплю бо слышати *отъ вьсѣхъ оукаряємоу ти соущю* (Там же, л. 29); Бысть пожаръ Кыевѣ городе, *яко погорѣвшю ему мало не всему* (Лет. Тр., с. 208); *Егда же дню наставшу*, собирахуся везде к тем хартиям народи (Лет. 1619—1691 гг., л. 696 об.); литовские люди. . . запасы многие в тот острог ввезоша, *яко никому же им возбраняющу* (Сказ. Авр. Пал., л. 196 об.); Послѣ же сынове, и сами вѣсте, *что тому Сидору отбѣгшу* (АИ, т. I, с. 113); *Богу же поспѣшествующу*, путное шествие мирно проиде (Пов. Кат.-Рост., с. 592—593).

Итак, любое предложение, независимо от того, является оно самостоятельным сообщением или частью сложного предложения, в русском литературном языке XI—XVII вв. могло принимать форму ДС.

Утверждение, что ДС является своеобразной заменой придаточного предложения в эпоху неразвитости сложноподчиненного предложения [7], следует считать необоснованным. ДС мог уже в самых ранних памятниках в равной степени употребляться в позиции самостоятельного предложения и главного и придаточного. Нередко в форму ДС облекались целые сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. Ср.: Ѡпѣмъ мнѩщемъ ꙗко братии полоунощьноѥ пѣниѥ съвьрьшающемъ (Ж. Феод. Печ., л. 46); Свитающу дни, а Мъстиславу еще лежащу (Лет. Моск., л. 50 об.); и до поставления града за 5 лет царю нашему того лета умершу, и месту тому пусту сущу (Казанск. ист., л. 86 об.).

На основании приведенных данных можно заключить, что оборот ДС являлся особой формой функционирования предложения как простого, так и сложного в литературном языке. Это был высокий стилистический вариант предложения. Русские книжники использовали его при описании важнейших событий, явлений исторического, политического и религиозного планов. Особенности его употребления зависели от индивидуальных склонностей автора. Одни авторы любили использовать сплошные ряды ДС, почти полностью отказываясь от предложений иной грамматической структуры. См., например, отрывок из «Жития Феодосия Печерского»: И такоже въшьдъшема въ црквь. и бывъши молитвѣ сѣдоста и блаженомоу Θеодосию начьнъшю глати томоу отъ стыихъ кънигъ. и много оуказавъшю ємоу ѡ любъви брата. и ономоу пакы многѹ випоу износящю на брата своѥго. и того ради не хотящю томѹ съ тѣмь мира сътворити (Ж. Феод. Печ., л. 59).

Другие авторы, напротив, предпочитали вводить оборот ДС в качестве отдельных вставок в текст, написанный предложениями со стилистически нейтральной структурой. Это позволяло им не только избежать однообразия обычного изложения, но и что-то выделить в описываемом, обратить на что-то внимание читающего. Ср.: Бориса же убивше оканьнии, увертѣвше в шатеръ, възложивше на кола,

---

[7] См. работы Л. В. Перегонцевой-Граве, М. А. Соколовой, Э. И. Коротаевой, В. П. Воробьева и нек. др.

повезоша *и еще дышющу ему* (Лет. Тр., с. 123); И пришед къ двору княжу и избиша сторожи дворные, *а князю спящу* (Лет. Моск., л. 102); И осудиша ихъ в затокъ со очеи царевых, а смерти их не осудиша царева ради родства; *отцу же ихъ в Литвѣ умершу* (Лет. Пск. I, л. 740).

Особенно часто ДС употреблялся для ввода прямой речи: *и оному рекоущу* бъ да блгословить та брате (Ж. Феод. Печ., л. 48); *оному глаголющу ко мнѣ*: «удариша в било», *мнѣ же рекущю*: «прокопахъ уже» (Лет. Тр., с. 167); *Тако жъ апостолу Павлу вопіющу*: Блюдите ны, блюдите злы дѣлателя (Письма Ив. IV, л. 141 об.).

Формой ДС нередко выделялась косвенная речь: глаше нек'то старець. *тако нѣкогда сѣдящю ми въ клѣти моеи* . . . видѣхъ вълѣзоуща отрока (Спп. пат., л. 111 об.).

С помощью ДС обычно подчеркивалось также все то, что исходило от бога, т. е. воля всевышнего: то же (ключарь) забы повѣдати. *бж тако оустроивъшю* (Спп. пат., л. 171); Половци же не очютиша их, *богу сохранщу ихъ* (Лет. Моск., л. 16); Се бо Володимерци прославленп богомь по всеи земьли за ихъ правду, *богови имъ помогающю* (Лет. Тр., с. 260); *Богу же попустившу грех ради нашых*, и сего ради охрабрившяся на нас врази (Сказ. Авр. Пал., л. 78).

Не менее часто форма ДС использовалась для указания на время свершения описываемого: Се же бысть *исходящу лѣту 6604* (Лет. Тр., с. 184); Веснѣ же приспѣвши (Там же, с. 90); *Уже вшедшу солнцю* князь великы встав повелѣ заутреню пети (Лет. Моск., л. 366); *Малу же времени минувшу*, разболѣся сей храбрый и разсмотрителный воевода (Пов. Кат.-Рост., с. 600); И уже дни суботному мимошедшу (Каз. ист., с. 147).

Многие из этих ДС, получивших широкое распространение в церковнославянской письменности, постепенно утратили свою высокую стилистическую окраску и, став штампами, начали употребляться независимо от смысловой направленности изображаемого. Такие обороты, как *богу помогающу*, *богу изволившу*, *богу сохранщу*, *дню наставшу*, *времени минувшу* и т. п., можно встретить в отрывках как с церковным, так и светским содержанием.

Употребление ДС характерно для литературного языка XI—XVII вв. Встречается он в произведениях высокого жанра у поэтов и писателей XVIII и даже XIX в. (М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин, М. М. Херасков, А. Н. Радищев, Н. И. Гнедич, В. А. Жуковский, А. Х. Востоков и нек. др.).

До нашего времени ДС не сохранился. Причины его отмирания были, по-видимому, следующие: 1) сближение литературного языка с разговорным, которому он не был свойствен; 2) утрата причастием глагольной функции. Как известно, в древнерусском языке причастие могло заменять собою в предложении глагол. Можно было сказать *Къпязь ведучи вои* и *Къпязь ведеть вои*; *Печенези сотворивше мир* и *Печенези сотвориша мир*. Ср.: Въ то же веремя Изяславичь Мьстиславъ, ведучи въ помочь отцю своем Угры, и слыша Володимеръ Галичьскый, оже, . . (Лет. Ипат., с. 65); Игорь къ Дону вои ведеть

(Сл. о плк. Иг., с. 12); Придоша Печенѣзи первое на Роускоую землю и сотворивше миръ со Игорем (Лет. Лавр., 1, с. 42). В другом месте Лаврентьевской летописи на месте формы *сотворивше* в последнем предложении находим глагол *сотвориша* (Там же, сноска). Именно благодаря этой особенности древнерусского языка оборот ДС получил в нем широкое распространение. Позднее, когда причастие перестало употребляться в функции глагола, оборот ДС в русском языке лишился почвы, питавшей его. Он стал «странным и необъяснимым капризом языка»[8]. Это в значительной степени и обусловило его исчезновение.

Исследователи (см. выше), рассматривающие ДС как средство выражения гипотактических отношений в языке, связывают его утрату с формированием и совершенствованием сложноподчиненного предложения в русском языке. Согласно этой теории, ДС был вытеснен сформировавшимся придаточным предложением. В качестве доказательства разрушающего воздействия придаточных предложений на оборот ДС сторонники этой теории приводят обороты с подчинительными союзами типа *Внегда ему чтущу*, которые получили широкое распространение в позднейших памятниках.

С этими положениями нельзя согласиться. Во-первых, ДС не был заменой только придаточного предложения. Как отмечено выше, он мог употребляться и на месте самостоятельного предложения, и на месте главного. Во-вторых, конструкции с подчинительными союзами типа *Внегда ему чтущу* ни в коей мере не свидетельствуют о вытеснении ДС придаточным предложением. Во всех аналогичных случаях ДС лишь отражает форму лежащего в его основе предложения. Если авторы ранних памятников, когда придаточные предложения еще окончательно не оформились, строили ДС, служащие для выражения подчинительных отношений, на базе обычных простых предложений, то авторы позднейших актов строили такие же ДС уже на базе сформировавшихся придаточных предложений. Поэтому на месте конструкции *Ему чтущу*, выражавшей временно́е отношение, в документах конца XVI—XVII в. как правило, появляется конструкция *Внегда ему чтущу*. Обороты без подчинительных союзов употреблялись в то время редко, по-видимому, по традиции.

По вопросу о происхождении ДС нет единого мнения. С нашей точки зрения оборот был создан Кириллом и Мефодием в процессе перевода богослужебных книг с древнегреческого языка на славянский. В древнеболгарском говоре населения города Солуни, легшем в основу кирилло-мефодиевских переводов, по-видимому, не было средства для передачи греческого оборота «родительный самостоятельный». Братья не перенесли механически родительный самостоятельный в переводы богослужебных книг, что говорит о их высоком переводческом мастерстве, а создали свой славянский независимый падеж — дательный.

---

[8] *Белорусов И.* Дательный самостоятельный падеж в памятниках церковнославянской и древнерусской письменности. — РФВ, 1899, т. 41, № 1—2, с. 72.

Замена род. п. дательным не была случайной. Форма дат. п. в старославянском языке широко употреблялась в значении субъекта разнообразных состояний как внешних, так и внутренних. Ср.: измѣниша сѧ лица *вьсѣмъ*; *онема* же отврѣсте сѧ очи; къ вечероу бо бѣаше *дьни*; мльчати *немоу* нужда бѣаше; и по истинѣ чоудити *ми* сѧ и т. д.[9] Можно сказать, что субъектное значение было основным у дат. п.

Род. п. чаще всего выражал объект. Его значение было близко значению вин. п. Об этом свидетельствует в частности, тот факт, что форма род. п. стала использоваться для обозначения вин. п. одушевленных существительных (*оузьрѣ Исуса*). О семантической близости этих падежей говорят также многочисленные случаи колебаний в употреблении род. и вин. падежей, наблюдаемые в старославянских памятниках. Ср.: да брашьно (брашьна) коупѭть; приѭтъ хлѣбъ (хлѣба); побѣдихъ вьсь миръ (вьсего мира) и т. п.[10] Ср. также мену род. и вин. падежей при одних и тех же переходных глаголах с отрицанием и без отрицания: *вьзѧша єлѣи* — *не вьзѧша єлѣа*.

Что касается причастной формы предиката, то она была обычной для старославянского языка. Изобретенная Кириллом и Мефодием конструкция, таким образом, не противоречила нормам древнеславянского грамматического строя.

В древнерусский литературный язык оборот ДС пришел из старославянского языка через церковную литературу. Процесс приживания его на русской почве прошел очевидно легко: старославянский и древнерусский языки были родственными и в грамматическом отношении мало отличались друг от друга. Сфера употребления оборота в новой речевой стихии существенно изменилась по сравнению с традиционной. ДС стал функционировать самостоятельно — не только в тех позициях, в которых он встречается в первых переводах с греческого[11]. Потеряв связь с греческим родительным самостоятельным, оборот ДС превратился в высокое стилистическое средство.

[9] См.: *Ходова К. И.* Простое предложение в старославянском языке. М., 1980.
[10] См.: *Ходова К. И.* Система падежей старославянского языка. М., 1963.
[11] См.: *Белорусов И.* Указ. соч.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ «СТИХИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ» В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

В. И. Собинникова

Однокомпонентные безличные предложения содержат один главный член, соответствующий сказуемому, который может быть выражен глаголом и безлично-предикативным словом со связкой, в том

числе нулевой. В таких предложениях наблюдается отсутствие не только «синтаксической направленности предикативного члена на предмет-подлежащее», но и отнесенности предикативного признака к «косвенному субъекту». В однокомпонентных глагольных предложениях употребляются преимущественно глаголы, называющие явления природы и окружающей среды [1]. Такие предложения «встречаются в древнерусском языке редко» [2].

Объектом нашего внимания являются безличные предложения, обозначающие стихийные явления природы, в которых главный член (сказуемое) выражен глаголом и безлично-предикативным словом со связкой.

Исследователи отмечали соотносительность двух категорий: глагола и безлично-предикативных слов [3]. В числе семантических групп, в которых отмечается соотносительность глаголов и безлично-предикативных слов, указываются слова, обозначающие состояние природы.

В свете указанных положений рассмотрим языковой материал, привлекаемый нами из славянских языков, обращая внимание на возможную соотносительность безличных предложений с глаголами и безлично-предикативными словами, а также синонимичность безличных предложений и личных двусоставных и др.

1. Однокомпонентные безличные предложения образовались с участием глаголов и безлично-предикативных слов, имеющих основу *вѣтр-* (корень *вѣ*, суф. *-тр*ъ): *ветреть — ветрено*. В старорусском языке отмечен глагол *вѣтрити* в личном употреблении (11) [4]. В современном русском языке глагол *ветреть* получил безличное значение и наряду с ним употребляется просторечный глагол *ветренеть*: На дворе *ветренеет* (12). Отметим также: На дворе *ветрено* (12).

В народных говорах зафиксированы приставочные образования — *заветрить, заветреть* (10). Укажем в Стрелецком Белгородской обл. Заветрила! 'Начался ветер'. Украинскому известны в безличном употреблении глаголы вітріти, завітріти, завітрювати: Завітрювало з нордосту; Потемніло, завітрило, закрутила курява (14). Глагол завітрило переводится с украинского языка на русский как 'заветрило, подул ветер' (14).

Безлично-предикативные слова образуют однокомпонентные предложения в сочетании со связкой. Способность сочетаться с различными связками создает возможности для передачи различных значений протекания и становления действия и состояния: *ветрено, было ветрено, будет ветрено, становится ветрено, стало ветрено, становится ветреннее* (становление состояния помогает передать

[1] Ср.: Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение/Под ред. акад. В. И. Борковского. М., 1978, с. 230 (раздел подготовлен В. Л. Георгиевой).

[2] *Борковский В. И.* Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. М., 1968, с. 134.

[3] Ср.: *Виноградов В. В.* Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1972, с. 324.

[4] Цифра в скобках указывает на порядковый номер списка использованных словарей (список словарей дан в конце статьи).

и сравнительная степень). Все это создает преимущества безлично-предикативных слов сравнительно с глаголами, что, возможно, объясняет широкое использование безлично-предикативных слов в славянских языках. Украинскому языку известно слово *вітряно* (14), беллорусскому — *ветрана* (9), польскому — jest wietrano. Отметим в польском языке: Zmrok pada, wietrzyk wije; ciemno, wietrzno, ponuro (A. Mickiewicz, Lilijé). Безлично-предикативные слова употребляются в словенском языке: wietrownie ye (8); в сербохорватском — *ветровито* (4), в болгарском — *ветровито* (5).

В кругу соотношений безлично-предикативных слов и глаголов образуется синонимия: *ветреет* — становится ветрено, *ветренее*. Синонимичным является и двусоставное предложение — подул ветер.

2. Безличные однокомпонентные предложения, передающие стихийные действия природы, образуются с глаголом *греметь* и некоторыми приставочными глаголами, имеющими тот же корень. В русском языке: *Гремит, гремело*, безл. (о звуках грома). — Страсть как гремит! — повторил мальчик, почесывая руку. — А отчего это гремит, Тереитий? (Чехов, День за городом) (12). Приведем еще примеры: — Страсти-то, страсти господни! Гремит и гремит, и конца не слыхать (Чехов, Степь); Где-то гремело (С. Баруздин, Само собой). С тем же корнем образуется глагол *погромыхивать*: Над головой погромыхивало, урчало, — душно, сил нет (Ф. Абрамов, Пряслины).

В. И. Борковский, ссылаясь на памятники позднего древнерусского периода, обращает внимание на то, что глагол *греметь* в них не упоминается в безличном значении. В славянских языках отсутствует безлично-предикативное слово, соответствующее глаголу *гремит*, и обычно с этим глаголом (и другими производными) соотносится предикативное сочетание *гром гремит*. Приведем пример из замечательной думы К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака»: Ревела буря, дождь шумел; во мраке молнии летали; беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали».

В то же время безличные глаголы со значением 'греметь' довольно употребительны в славянских языках. В белорусском языке находим *грымець* (о громе), в украинском — *гриміти* 'греметь'. Отметим: Ох, як гриміло! Ото була музика, ото Бах! Чи що давно не чув грому в степах, чи тіе і ночі справді гриміло яко падтужно тільки и, разуміе те. . . ні, не передати того словами (О. Гончар, Твоя зоря). В украинском языке со значением 'греметь' употребляется и глагол *гуркотіти*, и предикативное сочетание *грім гуркоче* (14).

Глаголы со значением 'греметь', имеющие общий корень *grъm* с чередованием гласных -**grъm*- (17), наблюдаются также в польском, чешском, болгарском, македонском, сербохорватском, словенском языках. Обращает на себя внимание то, что в словарях при переводе на русский язык с других славянских языков обычно предлагается сочетание *гром гремит*: польское — grzmi (3); чешское — hřmi (6); македонское — *грми* (13) — 'гром гремит'. При переводе с русского языка на другие славянские языки также выделяется сочетание *гром гремит*, которое толкуется безличными глаголами: гром гремит —

словенское — grmi (8), сербохорватское — *грми* (4). Данные перевода, следовательно, позволяют установить эквивалентность безличного глагола и предикативного сочетания. Синонимичным предикативному сочетанию и глаголу в безличном значении может быть и существительное *гром* в номинативном предложении: Гром. . . У нас он, пожалуй, такой же (В. Песков, Живая вода).

3. В русском языке мы не отметили глагола с безличным значением, соответствующего сочетанию существительного *молния* с глаголом существования. Обычно функционируют предикативные сочетания слова *молния* с различными глаголами (*сверкает, полыхает, блистает, летает*): Вдруг блеснула молния, и над деревней разразился резкий удар грома (Гончаров, Обрыв). В сочетании с глаголом *бли́скать* слово *молния* встречается в народных говорах: Молонья блискае(т). — Смол., Псков., курск., Орл., Нижне-Дон (10). При этом в народных говорах со значением 'молния' употребляются различные словообразовательные варианты существительных, соотносительных с глаголом *бли́ска́ть*: *блиска́ви́ца, блескави́ца, блискави́ца*; *блиска́вка, бли́скавка* (10). — Знать, гроза будет — блискалка так и блискает. — Смол., 1914 (10).

В украинском языке значение 'молния' также передается словами *блискави́ця, бли́скавка* и употребляется сочетание *блискавка блискае* (14). В то же время в украинском языке с тем же корнем употребляется и безличный глагол *зблеснуть*: А в цей час, опісля хвилинного затишшя зблеснуло зовсім поручи і так сліпучо, що інга затулила руками очі (Ю. Збанацький, Хвили); Збліснуло в хмарах, і небо грізно просто над ними розрядилось потужним гуркотом (О. Гончар, Твоя зоря). Интересно, что в переводе на русский язык употребляется безличная конструкция со словом *молния*, выраженная творительным орудийным, которая не является однокомпонентной: Сверкнуло ломаной молнией, и небо прямо над нами разрядилось мощным раскатом (авториз. пер. К. Григорьева. — Роман-газета, 1961, № 16, с. 10).

Слова *бліскавіца, бліскаўка* — обл. — известны белорусскому языку: Бліснула маланка 'блеснула молния' (1).

В то же время значение 'блеснула молния' передается в некоторых славянских языках безличной формой глагола: словенское — zabliskalo seje (8); чешское — zablesklo se (6); польское — błyskać się безл. (3); в разговорной польской речи łyskać się (по сообщению М. Ф. Мендонь).

Со значением 'сверкать' (о молнии) употребляются и другие глаголы. В болгарском языке с данным значением известен глагол *святка се* — безл. 'сверкать' (о молнии); также *сетна се*, соверш., безл. 'сверкнула молния' (16); *светка́вица* — молния (2). М. Г. Рожновская указывает примеры с безличным глаголом *святка се* и др. в болгарском языке: Задушно беше, святкаше се (И. Йовков); Засветка, затрещаха небесата (Еллин-Пеллин) [5].

[5] *Рожновская М. Г.* Безличные предложения в современном болгарском языке. — В сб.: Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959, с. 392.

В македонском языке известны слова *светка* 'сверкать' (о молнии), *светкавица* 'молния' (13); в сербохорватском языке — *севати* 'сверкать', *севнути* 'сверкнуть', возможно также сочетание предикативного вида Муња је севнула (4) — 'Молния сверкнула'.

В украинском языке безличное употребление получили глаголы *палахкотіти*, *палахтіти*: У небі весь час палахкотіло (Ю. Збанацький, Хвили). В русском языке слово *полыхать* возможно в безличном употреблении со значением 'пылать': Вишь полыхает, — сказал один, — это, господа, в Москве пожар (Л. Толстой, Война и мир); в сочетании со словом *молния* находим — молния полыхает (12).

Таким образом, в славянских языках наблюдаются различные глаголы в безличной форме со значением 'сверкает молния'. Путь их образования — отвлечение действия от производителя действия.

4. В однокомпонентных безличных предложениях может функционировать глагол *дуть* со значением 'существовать сильному ветру': Под дверь дуло, на порожке нарастала белая наледь (И. Ракша, Весь белый свет). В сочетании с существительным *ветер* глагол *дуть* обозначает сильное, порывистое движение воздуха. С тем же корнем возможны и приставочные образования. Отметим в народных говорах: Задуло надолго (Стрелецкое, Белгородской обл.).

Глаголы в безличном употреблении с данным значением наблюдаются и в других славянских языках: белорусское — *дзьме* (9); украинское — *дує* (14); польское — dmucha (7); словенское — vleče (8); чешское — fouka (6).

С безличным глаголом *дуть* синонимичными являются сочетания предикативного характера: *ветер дует*, *ветер носится*, *ветер гуляет*: Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет (Пушкин, Сказка о царе Салтане) (12). Соотносительные с глаголом безлично-предикативные слова отсутствуют. Безличный характер глагола образуется также путем отвлечения действия от производителя действия.

Любопытно, что переходные глаголы *сдуть*, *сдувать* могли сочетаться с творительным средства, образованным от слова *ветер*, и винительным прямого объекта: ветром сдуло кепку. В таком случае предложение не имеет однокомпонентной структуры, и только отвлечение от объекта, на который направлено действие, а также и от творительного средства образует безличность предложения, например: Где здувало, а где намело (Воронежское просторечие).

Если обратиться к истории образования таких предложений, то можно утверждать, что отвлечение от объекта и средства действия является новым процессом в развитии безличности предложения. Ему предшествовало образование безличных предложений с прямым объектом действия, как более ранних, и предложений, образованных на их основе с осложняющим указанием на средство действия. В. Л. Георгиева утверждает, что осложнение безличных конструкций винительным падежом имени «фиксируется материалами не позже XIV в. (Новг. I л. по Синодальному списку)», появление же компонента, имеющего значение средства или причины действия, — «факт языка только XV—XVII вв.», т. е. относится к тому времени,

когда «безличные предложения без этого члена уже функционировали в языке» [6].

5. Однокомпонентные предложения могут быть образованы с переходным глаголом *мести*, который выступает как безличный. В этом случае он теряет переходность. Например: Ишь метет! Все глаза запорошило (Чехов, Горе); Ночью была метель, я несколько раз выходил на двор — все метет и метет (Пришвин, Солнцеворот) (12). В то же время наблюдаются и предикативные сочетания *метель метет*, *метелица метет*.

Глагол в безличной форме, эквивалентный глаголу *метет*, существует и в других славянских языках: белорусское — *мяце* (9), украинское — *мете* (14); Цілу ніч мете, крутить, вие, а на ранок глядь! — вгляглося. . . (Гончар, Твоя зара); словенское — mete (8); македонское — *мете* (13). В польском языке отметим: Jest zamieć; mete zawirucha (7).

Образование безличного значения глагола в этом случае осуществляется путем отвлечения действия от его производителя и объекта: Ветер метет снег — метет снег — метет. В то же время возможно образование трехкомпонентной конструкции безличного характера типа — Ветром метет снег. С тем же корнем наблюдаются и приставочные образования глаголов, которые выступают в однокомпонентных и трехкомпонентных конструкциях: . . .А здесь бывает на сажень наметет (С. Антонов, Лена) (12); Низкие тюремные постройки замело снегом (Г. Марков, Строговы).

Однокомпонентные и трехкомпонентные конструкции дают возможность передать различную информацию.

6. Только для русского языка характерно употребление в безличном значении глагола *вьюжить* и соотносительного с ним безлично-предикативного слова *вьюжно*. Глагол *вьюжить* в «Словаре современного русского литературного языка» имеет помету «областное» (12). Наряду с глаголом *вьюжить* указывается и слово *вьюжно*: Вьюжно? Метет! (Н. Н. Златовратский, Крестьяне-присяжные) (12). Глагол *вьюжить* зафиксирован в русских народных говорах: калужских, владимирских, вятских, тобольских: Всю ночь вьюжило, совсем занесло. Вят. (10). Он образован от слова *вьюга*, которое является собственно русским. В свою очередь слово *вьюга* образовано от глагола *вьять* с суф. *-уга* (17). Интересно, что народные говоры сохраняют глаголы *вьяить*, *вьять* и образованные от них существительные *вьяга* 'вьюга', *вьялица* 'вьюга' (10).

В других славянских языках эквивалентным для слова *вьюга* являются: *веялица* — болгарское (2), *вејавица*, *виулица* — македонское (13), вејавица — сербохорватское (4), zawieya — польское (7). Слово *завіруха* употребляется в украинском и белорусском языках, кроме того, известно функционирование *завія* в украинском языке, *завея* — в белорусском.

---

[6] См.: Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение, с. 238—239.

С глаголом *вьюжить* соотносительны предикативные сочетания со словом *вьюга* и глагола со значением существования: вьюга поднимается, бушует, шумит, злится. В украинском языке — *поднялись завія*, в польском языке — Panuje zawieja.

7. Относительно новым в безличном функционировании является глагол *штормить*, образованный от существительного *шторм*, заимствованного из голландского языка в Петровскую эпоху (17): Всю ночь штормило (В. Песков, Город на сваях); На море штормило (С. Дангулов, Кузнецкий мост); Когда штормит, волны плещутся у самых наших стен (В. Попов, И это называется будни). Этот глагол употребляется и в украинском языке: Ще не штормить, а так собі зюйд-вест (В. С. Кучер) (14). Безличное значение образовалось посредством отвлечения действия от его производителя: море штормило — штормило. Однокомпонентное предложение соотносительно с предикативным сочетанием, включающим слово *шторм*: начался шторм. В других славянских языках используются соответствующие предикативные сочетания: в польском языке jest sztorm (7); в словенском — ye morski vihar (8); в болгарском — *силна буря в морето* (5). Видимо, глагол *штормить* не получил широкого распространения в славянских языках.

Приведенными примерами не исчерпывается группа предложений, обозначающих стихийные явления природы. Можно предположить, что круг этих предложений продолжает расширяться. Следует, однако, отметить, что для выявления безличного значения глаголов данных однокомпонентных предложений необходим широкий контекст или указание на ситуацию. Приведем еще некоторые примеры таких предложений: А кругом тает, развезло, машины не ходят сюда, грязь по колено, (И. Ракша, Хозяин); Плыви, куда несет (Ф. Абрамов, Пряслины); А тут налетела буря, вырвала из рук весло — и закружило, завертело как щепку (Там же); Беспременно где-нибудь ударило (Чехов, Степь); Была глухая ночь, во всем квартале кружило и вьюжило (Ю. Бондарев, Выбор); Дош. Навислъ. Прямъ дош идет (Из воронежского просторечия); в украинском языке: і шумить, и гуде, дрібний дощик иде (из народной песни); в белорусском языке: У твар бі*ў* судзёпы вецер. Курэла (І. Мележ, У завіруху) — курэць 'подниматься столбом' (о метели).

На основе наших наблюдений можно сделать краткие выводы:

1. Развитие безличных предложений однокомпонентной структуры со значением «стихийные явления природы» отличается неравномерностью в славянских языках. Принимая при анализе за исходный русский язык, мы отметили, что из 7 семантических групп 5 имеют соответствующие глаголы в тех или других славянских языках: *ветреть*, *греметь*, *дуть*, *мести*, *штормить*. Глагол *вьюжить* характерен только для русского языка. С другой стороны, в русском языке отсутствует глагол в безличной форме со значением 'сверкает молния', за исключением употребления в неоднокомпонентных конструкциях.

2. Однокомпонентным предложениям с безличным употреблением глагола соответствуют эквивалентные или синонимичные конструк-

ции: а) однокомпонентные предложения с безлично-предикативными словами: *ветреет—ветрено*; *вьюжит—вьюжно*; б) номинативные предложения: *ветреет—ветер*; *гремит—гром*; *метет—метель*; *вьюжит—вьюга*; *штормит—шторм*; в) двусоставные предложения с подлежащим, выраженным существительным того же корня, который имеет глагол в безличной форме: *ветрело—был ветер*; *гремело—был гром*; *мело—была метель*; *вьюжило—была вьюга*; *штормило—был шторм*.

В некоторых случаях глагол и существительное образуют тавтологические сочетания: *ветер веет*; *метель метет*; *гром гремит*.

3. Сопоставление русского языка с другими славянскими языками, а также переводы словарных единиц с одного языка на другой позволяют выявить эквивалентные и синонимические конструкции в пределах того или другого языка.

4. По сравнению с древнерусским и старорусским языком состав однокомпонентных предложений в период развития национального языка обогатился. Употребительны они и в других славянских языках.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белорусско-русский словарь/Под ред. К. К. Крапивы. М., 1962.
2. *Бернштейн С. Б.* Болгарско-русский словарь. М., 1953.
3. Большой польско-русский словарь. М.; Варшава, 1967.
4. *Иванович С., Петранович И.* Русско-сербохорватский словарь. М., 1976.
5. *Кара-Иванов И. Г.* Русско-болгарский словарь/Под ред. С. Б. Бернштейна. М., 1944.
6. *Копецкий Л. В.* Русско-чешский словарь. Прага, 1937.
7. Большой русско-польский словарь. М.; Варшава, 1970.
8. *Претнар Я.* Русско-словенский словарь. Любляна, 1973.
9. Русско-белорусский словарь/Под ред. Я. Коласа, К. Крапивы, П. Глебки. М., 1953.
10. Словарь русских народных говоров/Под ред. Ф. П. Филина. Вып. 3, М.; Л. 1968; Вып. 4, Л., 1969; Вып. 6. Л., 1970; Вып. 7, Л., 1972; Вып. 9, Л., 1972.
11. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 2, М., 1975; Вып. 9, М., 1982.
12. Словарь современного русского литературного языка АН СССР: В 17-ти т. М., 1950—1960.
13. *Толовский Д., Илич-Свитыч В. М.* Македонско-русский словарь/Под ред. Н. И. Толстого. М., 1963.
14. Украинско-русский словарь/Под ред. И. Н. Кравченко. В 6-ти т. К., 1953—1963.
15. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964—1973.
16. *Чукалов С.* Болгарско-русский словарь. София, 1957.
17. *Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В.* Этимологический словарь русского языка. М., 1971.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТОИМЕНИЙ *ЧЬТО (ЧТО)*, *КЫИ* И ИХ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Л. А. Владимирова

Задача предлагаемой статьи показать, какие значения для местоимений *кыи* и *чьто* в определенной функции были характерны, какими языковыми средствами выражения эти значения могли передаваться в древнерусском языке и, кроме того, — ввести в научный оборот материал одного из древнейших рукописных источников.

Лингвистический анализ текста Мстиславова евангелия 1115—1117 гг. (ГИМ, Син. собр., № 1203, далее Мст.) позволяет заключить, что в Мст. — «одном из самых выдающихся памятников письменности» [1] — отражен целый ряд языковых явлений древнейшей поры. И тот факт, что эти явления зафиксированы в древнерусской рукописи [2] уже на рубеже XI—XII вв., несомненно представляется важным для исследователей.

В статье на материале Мст. прослеживаются функциональные и семантические особенности употребления местоимений *чьто* (*что*) и *кыи*. Одновременно рассматриваются также их синтаксические эквиваленты, встретившиеся в этом рукописном памятнике. Данные Мст. сопоставляются с памятниками старославянского языка — Мариинским, Зографским евангелиями (далее Мар., Зогр.), Саввиной книгой (далее Сав).

В литературно-письменном языке древнейшего периода местоимения *кыи* и *чьто* относились к разряду вопросительных.

Местоимение *кыи* изменялось по родам, числам и падежам, причем имело падежные формы разного образования: одни от основы *koje-*, другие — по типу сложных форм прилагательных: тв. п. ед. ч. *кыимь*; род. п. мн. ч. — *кыих* и др.[3]

В отличие от местоимения *кыи* местоимение *чьто*, не изменявшееся по родам и числам, имело только падежные формы с окончаниями ед. ч. ср. р.

В языке Мст. широко представлено употребление местоимения *чьто* в функции общего вопроса о предмете, явлении, действии или вопроса косвенного — 'что' [4] (соответствует греч. τί): гла ѥмоу пилатъ чьто ѥсть истина. 151г18—19 И. XVIII 38.

Значительно реже встречается в Мст. местоимение *чьто* с причинно-целевым значением. Как правило, эти значения наблюдаются

---

[1] *Карский Е. Ф.* Особенности письма и языка Мстиславова евангелия. — РФВ, 1895, т. XXIV, вып. 4, с. 189.

[2] См.: Апракос Мстислава Великого/Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова/Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983.

[3] См.: *Селищев А. М.* Старославянский язык. М., 1952, ч. II, с. 120.

[4] Примеры в статье даны выборочно.

в тех случаях, когда вопросительное местоимение относится к глагольной форме сказуемого: бѣахоу же нѣкотории отъ книжьникъ тоу сѣдѧще. и помышлѧахѫ въ сръдцихъ своихъ. что съ тако глѥть зълоу рѣчь. 125б24—125в3 М. II 7; тъгда архиерѣи растьрза ризы своѧ глаголѧ ѩко хоулоу рече. что еще требоуѥмъ съвѣдѣтель се ѩзыкъ слышасте хѫлѫ ѥго. 144б1—6 Мт. XXVI 65; и пристрашьнамъ же бывъшамъ имъ и поклоньшемъ лица на землю рекоста к нимъ чьто ищете живааго съ мьртвыими. 207г23—208а3 Л. XXIV 5.

Значение причины характерно также в Мст. для предложно-местоименного сочетания в винительном падеже *по чьто* (греч. διὰ τί), которое представлено в памятнике большим количеством примеров: кто отъ васъ обличаѥть мѧ о грѣсѣ. аще истиноу глю по чьто вы не ѥмлете веры мънѣ. 16а1—4 И.VIII 46; и по чьто не възда моѥго сребра коупьцемъ. и азъ пришьдъ съ приплодъкъмь истѧзалъ ѥ быхъ. 94а15—16 Л.XIX 23; придоша же слоугы къ архиерѣомъ и фарисѣомъ. и рекоша имъ тѣ. по что не приведосте ѥго. 26в11—14 И. VII 45; и пристѫпльше оученици ѥго рекоша ѥмоу. по что притъчами глѥши имъ. 38б3—6 Мт. XIII 10. Значение причины у предлога *по* в сочетании с вин. над. отмечал Л. П. Якубинский [5].

Гораздо реже данное сочетание контаминирует в себе два значения цели и причины: и ръпътаахоу книжьници ихъ и фарисеи къ оученикомъ глюще. по что съ мытари и грѣшьникы ѩсте и пиѥте. 76в9—13 Л. V 30; аще кто вы въпрашаѥть по что отрѣшаѥта ѥ. тако речета ѥмоу ѩко гь ѥго трѣбоуѥть. 95а2—5 Л.XIX 31. Возможно, данные примеры можно отнести к тем фактам языка, о которых Л. П. Якубинский писал: «развитие понятия причины неизбежно проходит через этап нерасчлененного понятия «причины—цели» или вернее (сперва!) «цели—причины» [6]. В тех случаях, когда для местоимения *чьто* и предложно-местоименного сочетания *по чьто* общим становится значение 'почему' или 'зачем', обусловленное их наречной функцией, о них можно говорить как о семантических эквивалентах. В Мст. есть очень интересный пример (к сожалению, он единственный), в котором предложно-местоименное сочетание *по чьто* со значением 'почему' как бы повторяет уже употребленное идентичное значение, что в предложении подчеркивается соединительным союзом *и*: и рече имъ что съмоущени ѥсте и по чьто помышлениꙗ въходать въ сръдца ваша. 209а25—209б3 Л.XXIV 38.

Предложно-местоименное сочетание *по чьто* (Мст.) соответствует в параллельном греческом тексте также предложно-местоименному сочетанию διὰ τί, передающему значение 'почему', 'отчего' [7]. В этот же ряд семантических эквивалентов можно включить сочетание *чьто ѩко*. В Материалах И. И. Срезневского для данного сочетания указаны значения 'отчего', 'по какой причине' (Срезн. Матер. III 1578). В Мст. сочетание *чьто ѩко*, как и предложно-местоименное сочетание *по чьто*, в предложении употребляется, как

[5] *Якубинский Л. П.* История древнерусского языка. М., 1953, с. 256.
[6] Там же, с. 262.
[7] *Дворецкий И. Х.* Древнегреческо-русский словарь. М., 1958, т. I, с. 362.

правило, в наречной функции: и рече к нима. чьто ѩко искаста мене. не вѣста ли ѩко въ тѣхъ ѩже соуть оца моѥго достоить ми быти. 183а20—25 Л. II 49; и книжьници и фарисеи видѣвъше и ѩдоущь съ мытари и грѣшьникы. глаахоу же оученикомъ ѥго что ѩко съ мытари и грѣшьникы оучитель вашь ѩсть и пиѥть. 125г16—22 М.II 16. В Зогр. в этом же чтении использовано сочетание *по чьто*. В чтении от Мт.IX 11 в Мст. в аналогичном контексте вместо сочетания *что ѩко* употреблен его семантический эквивалент *по чьто*: и видѣвъше фарисѣи глаша оученикомъ ѥго. по чьто съ мытари и съ грѣшьникы ѩсть оучитель вашь. 38в2—5. В параллельном греческом тексте и сочетанию *чьто ѩко*, и сочетанию *по чьто* соответствует предложно-местоименное сочетание διὰ τί.

К семантическому ряду сочетаний со значениями 'почему', 'отчего' можно отнести также предложно-местоименное сочетание *чьсо ради*, которое в предложении тоже выступает как самостоятельная лексико-семантическая единица: чьсо ради муро се не продано бысть на трьхъ сътѣхъ сребрьникъ. и дано нищимъ. 130б15—18 И.XII 5. Сочетание *чьсо ради*, как и сочетания *по чьто* и *чьто ѩко*, в параллельном греческом тексте соответствует сочетанию διὰ τί.

Таким образом, для вопросительного местоимения *чьто* (*что*) [8] в Мст. семантическими эквивалентами могут быть сочетания *по чьто*, *чьто ѩко* и *чьсо ради* в тех случаях когда для всех них общими значениями являются значения 'почему', 'отчего' или 'зачем'.

Материал рукописи Мст. свидетельствует, что в литературно-письменном языке начала XII в. уже сложилась система относительных местоимений [9], что и подтверждается достаточно широким употреблением их в рукописи.

Местоимение *чьто*, утратив значение собственно вопроса, в предложении может выступать в функции объекта со значением неопределенности: по томь же ѩсъ обрѣте и въ цркви. и рече ѥмоу. се цѣлъ ѥси и томѫ не съгрѣшаи. да не горе ти что боудеть. 12а17—21 И.V 14; и фарисѣи глаахоу ѥмоу. вижь что творать оученици твои въ соуботы ѥго же не достоить. 124а14—18 М.II 24. В последнем примере форму косвенного падежа от относительного местоимения ср. р. ѥже — ѥго же — можно считать синтаксическим эквивалентом местоименной формы *что*, так как обе местоименные формы в данной конструкции являются относительными и выступают в функции второстепенного члена предложения — дополнения. Местоименная форма ѥго же, соотносясь с местоименной формой *что*, как бы подчеркивает относительное значение последней.

Вопросительное местоимение *кыи* по сравнению с вопросительным местоимением *чьто* в Мст. встречается значительно реже [10].

[8] Неизменяемость местоимения *чьто* (*что*) по родам и числам, возможно, и обусловила его грамматическую — наречную — функцию в предложении.

[9] См.: *Владимирова Л. А.* Синтаксические функции относительных местоимений в древнерусском языке (на материале Мстиславова евангелия XII в.). АКД. М., 1980.

[10] Об употреблении данного местоимения в памятниках старославянского языка см.: *Александров Ф.* О значениях и функциях местоимений *который*, *иже* и

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что местоимение *кыи* (*каѧ*, *коѥ*) с собственно вопросительным значением встречается гораздо чаще (почти в два раза) в исходной форме — форме им. п.: кыи отъ обою сътвори волю очю. 49в6—8 Мт.XXI 31; кыи оубо болии възлежаи ли или слоужаи. не възлежаи ли 118г25—119а4 Л.XXII 26—27. В этом же тексте Зогр. вопросительному местоимению *кыи* соответствует местоимение *которы*. В косвенных падежах местоимение *кыи* вопросительное значение сохраняет значительно реже: въпрашааше же годины отъ нихъ въ кыи часъ лѫче ѥмоу бысть. рѣша же ѥмоу ꙗко въчера въ годиноу семоу остави и огнь. 10а6—10 И. IV 52; аще ли хощеши вълѣсти въ жизнь съблюди заповѣдь глѥмоу. кыѧ. 56а6—9 Мт. XIX 17—18; отъвѣща имъ ісъ. многа дѣла добраꙗвихъ вамъ отъ оца моѥго. за коѥ дѣло каменіѥ на мѧ мещете 18в7—11 И.X 32; ц(с)ре земьнии отъ кыихъ дани прииѥмлють. ил. кинсъ. отъ своихъ ли сновъ или отъ щюждиихъ. 50б5—9 Мт. XVII25. Следует заметить, что нередко вопросительная семантика местоимения *кыи* (*каѧ*, *коѥ*) обусловливается лексическими средствами предложения: семантикой конструкции родительного разделительного и глаголами говорения; соседствующим вопросительным местоимением и вопросительно-указательными частицами.

Как показывает наш материал, вопросительное местоимение *кыи* аналогично рассмотренному выше местоимению *чьто*, может иметь семантико-синтаксический эквивалент. Этим эквивалентом является вопросительное местоимение *чьто*. Обратимся к примерам: отъвѣщаша же иоудѣи и рекоша ѥмоу коѥ знаменіѥ ꙗвлаѥши намъ. ꙗко си твориши. 5б23—5в1 И.II 18; рѣша же ѥмѫ коѥ оубо ты твориши знаменіѥ. да видимъ и вѣроу имемъ тебѣ. что дѣлаѥши. 10б7—11 И.VI 30. Ср.: они же рекоша что еще требоуѥмъ послоушьства сами бо слышахомъ отъ оустъ ѥго. 121в11—15 Л.XXII 71; онъ же рече к нимъ что бо сътвори зъло. ничесо же достоино съмьрти обрѣтохъ о нѥмь показаны и оубо отъпоущю и. 121б24—121в4 Л.XXIII 22.

О равнозначности (семантической эквивалентности) вопросительных местоимений *коѥ* (ср. р. от *кыи*) и *чьто* свидетельствует вопросительное местоимение τί в параллельном греческом тексте как для местоимения *чьто*, так и для местоимения *коѥ*. Сюда же относим и следующий пример: аще любите любѧщаѧ вы. коую мьздоу имате. не и мытаре ли тако же творѧть. и аще цѣлоуѥте дроугы ваша что лихо творите. не и мытаре ли тако творѧть. 29г5—11 Мт.V 46—47.

Местоимение *кыи* (*каѧ*, *коѥ*) в форме косвенных падежей, как правило, употребляется в относительном значении в функции определения [11]: или кыи ц(с)рь идыи къ иномоу ц(с)рю сънити сѧ на брань. не сѣдъ ли преже съвѣщаѥть аще силыпъ ѥсть. 90в4—8Л.XIV 31; и ти начаша искати въ себѣ кыи оубо бѫдеть отъ нихъ хотѧи

кыи в основных памятниках древнеболгарского языка. — В кн.: Славистичен сборник, т. I. Езикознание. София, 1958, с. 155—163.

[11] По-видимому, изменяемость местоимения *кыи* по родам, числам и падежам обусловила его определительную функцию.

сътворити се. бысть же пьрѣ въ нихъ кыи мьнит сѧ быти ихъ болии. 118г15—19 Л.XXII 23—24. Ср. Зогр.: і ти начѧсѧ искати вь себѣ. которы оубо бѫдеть отъ нихъ. хотѧі сътворити се. Бы(с) же і пьрѣ вь нихъ. которы мьнить ти сѧ іхъ быти болии. Данный контекст из Мар. подтверждает мнение о функциональной эквивалентности в структуре предложения местоимений *кыи* и *которыи*: і ти начѧсѧ искати вь себѣ. которы оубо бѫдеть отъ нихъ. хотѧи сътворити се. бысть же и пьрѣ вь нихъ кыи мънитъ сѧ быти болеи, то же вѣдите ꙗко аще бы вѣдѣлъ господинъ въ коую стражю гꙋ вашь придеть. бъдѣлъ бы оубо и не бы оставилъ подъкопати клѣти своѥ. 53а15—20 Мт.XXIV 43; отъвѣщавъ же іс̄ъ рече имъ въпрошю вы и азъ ѥдиного словесе ѥже аще речете мнѣ. и азъ вамъ реку коюю властию се творю. 49б1—5 Мт.XXI 24.

В этой же функции — определения, как синтаксический эквивалент местоимения *кыи*, может употребляться местоимение *чьто* в относительном значении: игемонъ же рече что бо зъло сътвори. они же излиха въпиꙗхѫ глюще распатъ да боудеть. 153б14—17 Мт.XXVII 23; пилатъ же глаꙗше что оубо сътвори зло. они же паче възъпиша распьни и. 116а24—116б2 М.XV 14.

Рукопись Мст. предоставляет исследователям убедительные данные, подтверждающие мнение об употреблении местоимения *кыи* в относительном значении. Мы имеем в виду те случаи, когда относительное местоимение *кыи* в аналогичной конструкции заменяется относительным местоимением *иже* (ꙗже, ѥже) в соответствующей падежной форме. К сожалению, эти случаи в Мст. единичны, но они очень ценны: ꙗко аще бы вѣдѣлъ гꙋ̄ъ храмины въ кыи часъ тать придеть бъделъ оубо бы. и не далъ бы подъкопати домоу своѥго. 97а5—7 Л. XII 39. Ср.: и вы боудѣте готови. ꙗко въ нь же часъ не мьните. снъ̄ чл(о)вчь придеть 97а10—12 Л. XII 40 Мар. (Сав.): і вы оубо бѫдѣте готови. ѣко вь ньже часъ не мьните снъ̄ члскы придеть, бъдите оубо ꙗко не вѣсте въ кыи часъ гꙋ̄ъ вашь придеть. 53а13—15 Мт. XXIV 42. Ср.: сего ради и вы боудѣте готови. ꙗко въ нь же часъ не мьните снъ̄ чл(о)вчь придеть. 53а21—23 Мт. XXIV 44. Зогр.: і вы бѫдѣте готови· ѣко въ ньже не мните часъ· снъ̄ чскы придеть. Мар. (Сав.): сего ради и вы бѫдѣте готови. ѣко вь ньже не мьните часъ. сн чскы придеть. Возможность взаимозаменяемости в структуре предложения относительных местоимений *кыи* и *иже* в функциональном плане подтверждает и их синтаксическую эквивалентность.

Рассмотренный материал Мст. дает основание видеть, что в литературно-письменном языке древнейшего периода для передачи одного и того же значения имелись различные лексико-семантические средства выражения. Так, для передачи причинно-целевых значений использовались вопросительное местоимение *чьто(что)* и сочетания *по чьто*, *чьто ꙗко* и *чьсо ради*.

Для вопросительного местоимения *кыи* семантическим эквивалентом могли быть вопросительные местоимения *которыи*, *чьто*,

а для местоимения *кыи* в относительном значении — относительные местоимения *которыи*, *иже*, либо местоимение *чьто* в относительном значении.

Выявление лексико-семантической и синтаксической однозначности у местоименной формы (*чьто*; *кыи*) и предложно-местоименного сочетания (*по чьто*, *чьто ради*, *чьсо ради*, *въ нь же*) помогает обнаруживать в языке первых рукописных книг функционально устойчивые сочетания, что представляется одним из непростых вопросов как в эдиционной практике (например, при составлении словоуказателей к древнерусским памятникам письменности), так и в практике исторической лексикологии и лексикографии. В целом же изучение функционально-семантических категорий языка в историческом аспекте можно считать одной из важнейших задач современной исторической русистики.

СИНОНИМИЧНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ В РУССКИХ ПАМЯТНИКАХ ПИСЬМЕННОСТИ XV—XVII ВВ.

В. К. Сорокина

Предметом анализа в статье являются словосочетания со значением пространственного приближения, состоящие из глаголов движения и предложно-падежных форм «*в*+ВП» и «*на*+ВП» имени существительного, которые в старорусских письменных памятниках XV—XVII вв. выступают как синтаксические синонимы.

Задача настоящего исследования — выявить лексические условия употребления синонимичных словосочетаний указанных моделей, проследить фиксируемые в памятниках случаи взаимозамещений предлогов *в* и *на* при ВП имен существительных определенных лексико-семантических групп.

Поскольку в литературе существуют значительные разногласия в понимании терминов «синтаксический синоним», «синтаксический вариант», «синтаксический дублет», а также в связи с тем, что данный вопрос в статье специально не рассматривается, мы будем оперировать следующими терминами: «синтаксические синонимы», «синонимичные словосочетания (конструкции, предложно-падежные формы»), случаи «взаимозамещений» [1] и «колебаний» в употреблении предлогов *в* и *на* с ВП имен существительных.

---

[1] Под взаимозамещением форм, конструкций (предлогов) понимается вслед за Н. Ю. Шведовой «предопределенная общностью их грамматического значения (семантики) способность быть употребленными в идентичных функциях» (см.: *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966, с. 6—7).

В изученных нами старорусских памятниках XV—XVII вв. наблюдаются случаи взаимозамещений предлогов *в* и *на* при ВП существительных в локальных словосочетаниях. Причину этих взаимозамещений Д. С. Станишева видит в семантической близости указанных предлогов: «Предлог *на* по своим синтаксико-семантическим возможностям, а также по своей продуктивности может сравниться в истории русского языка только с *в*. Их семантическая смежность и близость являются причиной того, что секторы их употребления совпадают» [2].

Синонимия словосочетаний двух моделей — «глагол движения+предлог *в*+ВП имени» и «глагол движения+предлог *на*+ВП имени» обусловлена, по-видимому, во-первых, принадлежностью стержневого компонента-глагола к одному лексико-грамматическому разряду слов, а во-вторых, сходными синтаксико-семантическими признаками конструкций «*в*+ВП имени» и «*на*+ВП имени». К этим признакам Д. С. Станишева относит указание на «обстоятельственно-локальную характеристику» действий и на «локально-финальную направленность» [3] их.

Использование в письменных памятниках словосочетаний указанных моделей в качестве синтаксических синонимов наблюдалось в определенных лексических условиях.

Сравним лексические условия употребления синонимичных (разноструктурных, но выражающих идентичные синтаксические отношения) словосочетаний, состоящих из глаголов движения и предложно-падежных форм *в*+ВП и *на*+ВП имени в старорусских памятниках XV—XVII вв., сосредоточив в основном внимание на лексическом значении припредложных имен.

Оба предлога *в* и *на* участвуют в синонимичных заменах в рассматриваемых словосочетаниях, в зависимом компоненте которых представлены имена существительные следующих лексико-семантических разрядов: 1) нарицательные и собственные существительные, обозначающие открытые пространства в природе и географические зоны (участки земного рельефа, большие территории, водоемы), 2) существительные со значением ограниченных территорий вместе с жилыми, административными и хозяйственными постройками, 3) существительные-названия транспортных средств передвижения.

Ниже приведены примеры синонимичных словосочетаний указанных моделей с именами существительными отмеченных выше лексико-семантических групп в роли подчиненного члена.

1) С существительными-наименованиями больших территориальных массивов, участков земного рельефа, водоемов — таких, как *земля* (земельные участки), *поле*, *остров*, *гора*, *река*, *озеро*, *море* и др.: *посылаешь въ* чюждую *землю* армату великую христіянскую подъ чюжія грады (Письма Курб., с. 150) — А Государю и бояромъ...

[2] *Станишева Д. С.* Винительный падеж в восточнославянских языках. София, 1966, с. 101—102. — Заметим, что для языка XIX в. Н. И. Греч отмечал несвойственное древнерусскому языку разграничение сфер употребления предлогов *в* и *на*, см.: *Греч Н. И.* Практическая русская грамматика. СПб., 1834, с. 301—303; *Он же.* Чтения о русском языке. СПб., 1840, ч. II, с. 206—207.

[3] *Станишева Д. С.* Указ. соч., с. 237.

по ищеину челобитью, судій, *на землю не посылати* (Суд. Ив. IV, с. 253); и сколь людно недругъ ихъ *въ полѣ можетъ выити* (Уч. и хитр. ратн. стр., с. 33) — *Выедем*, брате, *на* чистое *поле* (Сл. о Кулик. битве, с. 36); и *пріидохомъ во островъ Хіосъ*, и пристахомъ тутъ (Пут. Зосимы, с. 63) — Маія въ 30 день *пришли* мы, со всѣми ратными людми *на Енатаевъ островъ* (Рус. гр. 1614 г. — АИ, т. III, № 281); на правую сторону идти въ Селунь и *во святую гору* (Пут. моск. купцов, с. 137) — *идти* высоко *на гору*, лѣствица каменная, 13 ступеней (Там же, с. 139); *и прииде в гору*, со ученики пребывая (Аввакум, Письма, с. 250) — И како ‹Инсусъ Христосъ› *пріиде* от Іордана *на гору*, пдѣже постился 40 дней (Пут. Гогары, с. 119).

Как видно из приведенных выше примеров, древнерусские словосочетания типа *идти в гору* часто обозначали общее направление движения — движение на поверхность возвышающегося природного объекта и семантически сближались со словосочетаниями типа *идти на поле*. Одноструктурные единицы современного русского языка (идти в гору) указывают на движение 'вверх по наклонной плоскости'. В этом значении в памятниках использовалась также конструкция *идти на гору*, о чем свидетельствует второй пример из «Путешествий московских купцов» (XVII в.). В исследованных старорусских памятниках XV—XVII вв. как количественно преобладающая предложно-падежная форма этих существительных в обоих значениях выступает форма с предлогом *на* (*идти на гору*).

Характер синтаксических отношений в глагольных словосочетаниях с конструкцией «*в*+ВП» существительных—названий водоемов в большой мере определялся лексическим значением стержневого компонента. Так, при глаголах движения субъекта конструкция «*в*+ВП» семантически сближалась с предложно-падежной формой «*на*+ВП» существительного, обозначающего водное пространство, в район которого (на поверхность, а не вглубь) направлено движение. Функциональная и семантическая близость этих словосочетаний проявлялась в параллельном использовании их при обозначении однопланових синтаксических отношений: И *въехали есмя въ Бузан рѣку* (Хож. Аф. Ник., л. 369 об.) — Таже. . . *поехал на Лену* (Аввакум, Житие, с. 69); и *пошла* та юдоль подъ лавру святаго Саввы освященнаго и *въ Содомское море* (Пут. моск. купцов, с. 146) — Месяца Мая *поидохомъ на Черное море*, изъ Константинограда (Пут. Зосимы, с. 67); а в ладогу ва(м) слати ѡсетрепики по стары(м) грамота(м) по кр(с)тны(м) (Новг. гр. XV в. — Шахм, О языке, № 30) — и *сослаша* его *на Бѣлоезеро* въ Кирпловъ монастырь (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 715). Конструкции «*в*+ВП» существительных — наименований водных бассейнов в старорусских памятниках XV—XVII вв. значительно уступали по частоте употребления синонимичным предложно-падежным формам «*на*+ВП».

2) С существительными, обозначающими ограниченные территории вместе с жилыми, административными и хозяйственными строениями: Поляцы же *поидоша во своя станы* (Пов. Кат.-Рост., с. 598) — Ростriга съ воинствомъ *поиде на свои станы* (Там же, с. 573); и *поидоша во царскій дворъ* къ Ростригѣ (Сказ. о Гр. Отре-

пьеве, с. 748) — И старец *пошел на задней двор* (Сказ. про Бову, с. 464). В изучаемых конструкциях с лексемой *двор* чаще выступает предлог *на*.

3) С существительными — названиями транспортных средств передвижения — таких, как *корабль*, *судно* и др.: и *внидохъ* же *в корабль* из Добыля града по Велика дни за 3 месяци, бесерьменьскаго говѣйна (Хож. Аф. Ник., л. 391) — Паки *взыдоша на корабль* свой отъидоша въ море (Пут. Зосимы, с. 67); изъ большихъ кораблей *садятся въ* малые *суда* и *въ карбасы* (Пут. моск. купцов, с. 138) — И за сие меня Василей Петрович Шереметев, пловучи Волгою в Казань на воеводство, *взяв на судно*. . . (Аввакум, Житие, с. 62).

Взаимозамены предлогов *в* и *на* наблюдаются в структуре анализируемых словосочетаний, в которых в роли подчиненного члена выступают лексемы *путь*, *место*, а также крайне редко, единично — существительные — названия предметов с объемным измерением: жилые, хозяйственные и административные постройки, предметы быта, обладающие внутренней полостью (*дом*, *монастырь*, *погреб* и др.). В последнем случае предлог *на* может утрачивать свой основной семантический признак, связанный с понятием плоскости, поверхности и приобретает значение, свойственное предлогу *в*, «внутрь» объекта: . . .подъ алтаремъ, *сойти* аки *въ погребъ* по лѣствицѣ (Пут. моск. купцов, с. 148) — а *на погреб* и без звону в полночь *готовы ходить* (Сатиры о пьянстве, с. 122).

В памятниках в составе словосочетаний со значением пространственного приближения наблюдается параллельное употребление предложно-падежных форм «*в*+ВП» и «*на*+ВП», которые образованы от названий стран, административных областей, состоящих из двух слов, типа *Литовская земля*, *Российское государство*, *Московское царство* и др. Такие словосочетания представляли особенность древнерусского языка и могли иметь два значения: 1) движение по направлению к определенной территории без вхождения в ее пределы и 2) вторжение в страну, вступление на территорию: 1) *идут* Хинове *в Руськую землю* (Сл. о Кулик. битве, с. 36) — *Уныша* бо паремъ их хотение и похвала *на Рускую землю ходити*, веселие их пониче (Там же, с. 40); *изыде* изъ Російского государьства *въ Литовскую землю* чернецъ. . . Гриша Отрепьевъ (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 718) — И оттуду *шелъ на Литовскую землю* (Пут. Гогары, с. 120); 2) Старцы-жъ Саввина монастыря. . . *пріидоша въ Московское царство* (Пут. моск. купцов, с. 145) — Росстрига, . . . аки вепрь изъ дубравы многодревныя *на Московское государство* со многими людми Полскими и Литовскими. . . погама *наскочи* (Ст. о Смуте, с. 1289). Данные словосочетания были близки друг другу в смысловом отношении. Основой такого сближения являлось, следует полагать, семантическое сходство имен существительных, представленных в зависимом компоненте (в семантике существительных преобладает идея площади, большого, но ограниченного пространства). Предлог *в* в этих словосочетаниях получает значение, присущее предлогу *на*. В памятниках исследуемого периода словосочетания с предложно-падежной формой «*в*+ВП» существительных — сложных названий

стран и территорий значительно преобладают над синонимичными словосочетаниями с предлогом *на*. Исключение составляет конструкция *на Русскую землю*, которая, как и предложно-падежная форма *на Русь*, почти постоянно встречается при глаголах движения.

Колебания в употреблении предлогов *в* и *на* крайне редко наблюдаются в словосочетаниях, зависимый член которых выражен собственным существительным—однословным наименованием страны: Уже нам, братие, . . . *в Русь* ратью *не ходити* (Сл. о Кулик. битве, с. 40) — А *иду я на Русь*, кетьмышьтыръ именъ, уручь тутъ тым (Хож. Аф. Ник., л. 380); И въ то же время прилучишася туто же исъ темницы Російского государьства дѣти боярскіе разбойницы и грабители и *пригнаша въ Литву* (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 721) — и *поступиша на* поганую *Литву* и побивающе ихъ по улицамъ (Там же, с. 748—749).

В текстах изученных памятников предлог *на* мог употребляться синонимично предлогу *в* в словосочетаниях с глаголами движения при зависимом члене, выраженном лексемой *город* и собственными именами существительными—названиями городов: и о томъ *посылати въ городы* къ воеводамъ. . . государевы грамоты (Улож. 1649 г., с. 15) — А *послал на* всѣ свои *грады* прямыя судьи (Пересветов, с. 73); Ростriга же той *приде во* царствующій *градъ* (Пов. Кат.-Рост., с. 578) — царевичь Дмитрѣй со множествомъ воинъ *на* Сѣверныя *грады приде* (Там же, с. 567).

В древнерусском языке, как утверждают исследователи, и в частности Д. С. Станишева, на фоне преимущественного употребления предлога *в* с существительными — названиями городов проявлялась тенденция к распределению предлогов *в* и *на* по принадлежности существительного к мужскому или женскому роду: ездити *в Псков*, *в Новгород*, но *на Рязань*, *на Тферь* и т. д.[4] Наши наблюдения над материалом старорусских памятников XV—XVII вв. в основном подтверждают это мнение, но имеются и противоречащие факты. Так, при существительных — названиях городов мужского рода отмечены примеры с предлогом *на* (1), и, хотя и редко, — примеры с предлогом *в* при названиях городов женского рода (2): 1) Безбожный царь Батый. . . *приде на град Суздаль* и *Владимер* (Пов. о раз. Ряз., с. 13); царь Василей. . . *посла на Углечь* болярина князя Ивана Михайловича Воротынсково (Пов. Кат.-Рост., с. 583); И изъ Кесаріи *пошелъ на Едесъ* (Пут. Гогары, с. 112); 2) И оттолѣ *поидохъ во градъ Яффу* (Путешествие Зосимы, с. 67); *Посылали есмя въ Оршу*, съ посланцомъ своимъ грамоту (Смол. гр. 1580 г. — АИ, т. I, № 206); и *поиде въ Колугу* и тамо утвердися пребывати (Пов. Кат.-Рост., с. 602); Въ лѣто 7090. . . Царь и Великій Князь Иванъ Васильевичь, всея Руссіи *послалъ* съ Москвы въ Царьградъ и *во Антиохію*, и *во Александрію*. . . ‹милостину довольну› (Пут. моск. купцов, с. 137); ‹и *повелѣ*› . . . *сослати* его *во градъ Старицу* (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 732).

---

[4] Там же.

Для русского языка XV—XVII вв., судя по показаниям памятников письменности, по-видимому, типичным было употребление предлога *в* с существительными — названиями городов мужского рода и предлога *на* с наименованиями городов женского рода, что демонстрирует пример из Моск. гр. 1611 г.: атаманы и казаки. . . *хотятъ итти* по городомъ *въ Ярославль* и *на Вологду* и въ иные городы (АЮБ, т. II, № 191). В ряде случаев наблюдалось недифференцированное функционирование указанных предлогов при существительных — названиях городов как мужского, так и женского рода в одном памятнике и даже в одном контексте: И какъ *придутъ* Нагайскіе гости *в Казань* и *въ Свіяжской* и учнутъ лошади продавати. . ., тѣ лошади велятъ пятнати своимъ пятномъ Троецкимъ (Моск. гр. 1575 г. — АИ, т. I, № 194); и Московского государьства торговые люди *ѣздятъ* къ вамъ . . . *въ Дорогобужъ*, . . . для своихъ торговыхъ промысловъ, также, как и ваши купецкіе люди пріѣзжаютъ въ Вязму съ своими товары и торгуютъ поволно (Вязем. гр. 1624 г. — Там же, т. III, № 131); Изъ Казани *пошелъ въ Астрахань*, изъ Астрахани *пошелъ*. . . *на градъ Тифлисъ* (Пут. Гогары, с. 111); А изъ Ардагана *шелъ на Карсъ*, а изъ Карса *на Ерзерумъ*, а изъ Ерзерума *шелъ на Севастію* (Там же, с. 112); И оттуду *шелъ* на Литовскую землю, *на* первый *градъ на Каменницу Подольскую*, а изъ Каменницы *шелъ на Баръ*, а изъ Бары *пришелъ во градъ Вилницу* (Там же, с. 120).

Взаимозамещение обоих предлогов отмечено с наименованиями городов женского рода — таких, как *Москва*, *Казань*, *Тула*, *Кострома*, а также — с названием города мужского рода *Дамаск*: А изъ Литвы же по вся дни *пріѣзжаху въ Москву* Поляки (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 738—739) — Они же посланицы. . . *пріидоша на Москву* (Там же, с. 730); и повелѣ митрополита *сослати въ Казань* (Там же, с. 740) — Есть ли хотѣти Казанского царства добывати, ино. . . *послати* войско *на Казань* (Пересветов, с. 67); той же ложный царевичь пріиде исъ Путимля града *во градъ Тулу* со множествомъ вой (Пов. Кат.-Рост., с. 585) — И въ третій день послѣ того, *поидоша* къ нему, ко Гришѣ, . . . всякихъ чиновъ люди *на Тулу* (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 730); *Пріидошя* же тогда. . . вси православныя христіяне *во градъ*, глаголемый Кострома, къ Михаилу Феодоровичю (Ст. о Смуте, с. 1319) — И с Колязина *поидохъ на Углечь*, с Углеча *на Кострому* ко князю Александру, с ыною грамотою (Хож. Аф. Ник., л. 369 об.); И оттолѣ *идти въ Дамаскъ градъ* (Пут. моск. купцов, с. 137) — Сухимъ путемъ *ходятъ на Дамаскъ градъ* (Там же).

В изученных памятниках зафиксированы примеры синонимичного употребления предложно-падежных форм «*в*+ВП» и «*на*+ВП», образованных от лексем *служба* и *война*: и тѣмъ служилымъ людемъ. . . па государеву службу велѣти посылати. . . дѣтей своихъ. . . и племянниковъ и впучатъ безпомѣстныхъ, которые *в государеву службу поспѣли*, въ восмьнатцать лѣтъ (Улож. 1649 г., с. 17) — а *на службу* они *не поѣдутъ*, а *пошлютъ* въ свое место *на службу* дѣтей своихъ (Там же, с. 51); и они помысля мы *поидемъ въ войну*, и тамъ

нам̀ того нѣзакажутъ (Уч. и хитр. ратн. стр., с. 28) — Отнеле же отошли, *поехали на войну* (Аввакум, Житие, с. 82).

Итак, как показал проведенный анализ, в старорусских памятниках XV—XVII вв. наблюдается параллельное употребление синонимичных словосочетаний со значением пространственного приближения, включающих в свой состав глаголы движения и предложно-падежные формы «*в*+ВП» и «*на*+ВП» имен существительных различных рассмотренных выше лексико-семантических групп.

В памятниках письменности исследуемого периода колебания в употреблении предлогов *в* и *на* с ВП существительных отмечаются даже в тех случаях, когда семантика существительного должна была препятствовать использованию одного из двух предлогов. Имеются в виду случаи взаимозамещений указанных предлогов при ВП существительных, в значении которых присутствует семантический признак плоскости, поверхности (*земля*, *поле*, *остров* и др.), а также существительных — названий предметов, обладающих объемом (*дом*, *монастырь*, *погреб* и др.).

Колебания в употреблении предлогов *в* и *на* с ВП существительных в словосочетаниях локального значения, обусловленные факторами лексического порядка (*в дом — на дом*, *в остров — на остров*, *в службу — на службу* и др.), исследователи отмечают в языке XVIII—XIX вв., причем предлог *в* был распространен шире, чем *на*, использовался чаще вместо *на* (в современном русском языке мы видим обратное явление) [5].

Синонимия предложно-падежных форм, параллельное употребление первообразных предлогов в одинаковом значении и адекватных позициях, наблюдаемые в древнерусских памятниках письменности, в лингвистической литературе объясняются «многофункциональностью падежных форм и предлогов», «нерасчлененностью функций падежей» [6], а также «большой свободой употребления древнерусских предлогов, отсутствием у них закрепленности за каким-то определенным, более или менее узким кругом позиций», что является следствием «относительной самостоятельности их семантики» [7].

В истории развития словосочетаний со значением направления действия с предлогами *в* и *на*, по существующему в науке мнению, происходит дифференциация функций этих предлогов (*в* специализируется для выражения направления движения внутрь, в пределы предмета, *на* — на поверхность предмета), а также закрепление каждого из указанных предлогов за определенными лексико-семантическими группами имен существительных и отдельными словами внутри этих групп. Данные процессы не завершены и в настоящее время. «Современные различия *в* и *на*, — замечает Л. А. Булаховский, — еще не до конца могут считаться мотивированными, но,

---

[5] См.: Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в системе словосочетаний. М., 1964, с. 77, 83, 85, 88.

[6] Там же, с. 8, 77.

[7] См., например: *Гаспаров Б. М.* Структурно-семантические особенности предлогов в древнерусском языке. АКД. М., 1965, с. 15.

сравнительно со старинным языком, колебаний меньше»[8]. Несмотря на то, что в научной литературе неоднократно ставился вопрос об уточнении функций предлогов *в* и *на*, в современном русском литературном языке до сих пор отсутствуют четкие дифференцирующие правила их употребления, что вызывает затруднения в выборе указанных предлогов для словосочетаний локального значения[9].

[8] *Булаховский Л. А.* Курс русского литературного языка (исторический комментарий). К., 1958, т. 2, с. 313.

[9] См., например: *Хераскова Е.* Изучение употребления предлогов *в* и *на* при обозначении места и направления действия — РЯНШ, № 2, 1962.

О ВАРИАТИВНОСТИ ФОРМ ОБЪЕКТА В ПАМЯТНИКАХ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XV—XVII ВВ.

В. Ф. Харпалева

Понятие вариативности языковых явлений при исследовании различных уровней языка (фонетика, морфология, синтаксис) в последнее время широко используется в работах по современному русскому языку. В области же истории языка, в частности, исторического синтаксиса эта проблематика разработана недостаточно. Так, при исследовании управляемых глаголов падежных форм обычно рассматриваются отдельные факты вариативных чередований тех или иных конструкций с объектным значением[1]. В данной статье мы стремились представить общую схему и основные особенности вариативных чередований форм объекта на материале памятников русской письменности XV—XVII вв.

Рассматриваются бинарные словосочетания с объектным значением, т. е. конструкции, в которых стержневое и зависимое от него слова связаны по типу управления. Понятие вариативности форм (в самом общем виде) предполагает наличие в системе языка нескольких структурных средств для выражения одного значения: «Наличие более или менее формальных модификаций в рамках определенной лексемы, словоформы или синтаксической конструкции, не связанных с изменениями основного значения этих единиц, и создает их варьирование»[2]. Частым случаем такого варьирования является вариативное управление глаголов в объектных конструкциях. Как и в современном русском языке, в памятниках исследуемого периода ряд глаголов мог управлять несколькими падежами объекта с одним

[1] См., например: Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. М., 1978, с. 345—355.

[2] Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 215.

значением. Ср.: «В системе подчинительных связей слов выделяются вариативные связи, т. е. такие взаимозамещающиеся связи, которые выражают одни и те же отношения разными формальными средствами» [3].

Как показывают исследования, основные типы вариативных чередований в объектных словосочетаниях в языке памятников XV—XVII вв. те же, что и в современном русском языке. Однако они имели свои особенности. Выделяются три типа чередований: вариативное беспредложное, вариативное беспредложно-предложное и вариативное предложно-предложное управление.

I. В вариативном беспредложном управлении, как представляется, следует различать явления двух типов. (При исследовании исторического синтаксиса они иногда описываются недифференцированно).

1. Чередование падежных форм в одной синтаксической позиции на основе общности какого-либо морфологического или синтаксического явления. Чередования этого рода охватывают широкий круг глаголов независимо от их лексического наполнения.

2. Варьирование падежных форм в объектных словосочетаниях при отдельных глаголах (конкретных лексемах) или группах глаголов (сходных по семантике).

К 1-му типу относятся такие явления, как, например: а) чередование падежных форм, связанное с наличием в языке архаических форм именительного падежа объекта вместо винительного, б) дублирование падежных форм, обусловленное несформированностью категории одушевленности—неодушевленности существительных, в) вариативное употребление форм объекта в отрицательных конструкциях и т. д.

а) Параллельное употребление в памятниках форм именительного (на месте винительного) и форм винительного падежа (при господстве винительного) создает условия для чередования беспредложных форм: именительный—винительный падежи объекта в одной позиции. Ср. немотивированное употребление именительного и винительного падежей в одной синтаксической функции в пределах одного контекста: . . . ему въ Русском государствѣ во всемъ *воля* ихъ *творити* и вѣру ихъ ввести (Статьи о Смуте, с. 1292); А кто вытравитъ какой хлѣб или пожню, и тотъ хлѣбъ и *пожня платити* тому (Суд. Ив. IV, с. 257). Ср. также противопоставление именительного и винительного падежей при глаголе *творити*: *воля* их *творити* (Статьи о Смуте, с. 1292); *кормлю твори* (Домострой, с. 7). Примеры чередований именительного и винительного падежей одного и того же объекта в одном памятнике: *клятву чинятъ* (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 50); *клятва преступити* (Там же, с. 51).

б) В варьировании родительного—винительного падежей объекта значительное место занимает чередование падежных форм, связанное с несформированностью категории одушевленности—неодушевленности в описываемый период истории русского языка. Наряду

[3] Русская грамматика, т. II. Синтаксис. М.: Наука, 1980 с. 22.

с формами родительного падежа, закрепившимися впоследствии в качестве единственных для обозначения имен лиц в винительном падеже, в старорусских памятниках еще нередки старые формы винительного падежа. Конструкции типа: прегордые *враги покори* (Статьи о Смуте, с. 1274). Однако господствующими в этой позиции для обозначения имен лиц являются формы родительного падежа. Наличие в памятниках форм с одним значением создает условия для их немотивированного чередования в одном контексте: по томѫ и *люди держати. . .* и *людеи* ѡдѣвати (Домострой, с. 26); и *даетъ* ему многие *люди*, и *желмырянъ*, и *Литвы*, и *Ляховъ* и *Угрянъ* (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 723).

В последующей истории языка описанные выше чередования были утрачены в связи с выходом из употребления одного из вариантов объекта: формы именительного падежа для обозначения имен лиц и формы именительного падежа объекта на месте винительного.

в) Беспредложное чередование родительного—винительного падежей объекта наблюдается также в отрицательных конструкциях русского языка. В исследуемых памятниках последовательно употребляются формы родительного падежа при отрицании, случаи вин. падежа единичны, например: ему же *начало не знает* (Сатиры о пьянстве, с. 81); А хто *не дастъ погонные* (Суд. Фед. Ив. 1589 г., с. 56). Родительный падеж при отрицании абсолютно преобладает в памятниках. Конструкции типа: в чем есте *воли* моея *не творили* (Пересветов, с. 83): Ср. немотивированное чередование родительного и винительного падежей в отрицательных конструкциях в одном контексте: И *прощение* грѣховъ ѡт него *не требѫ*; *не разсѫжаем* своих *грѣховъ* (Домострой, с. 23).

В литературном языке XIX в., по наблюдениям Булаховского, случаи употребления винительного падежа при отрицании отмечаются главным образом в стихотворной речи и преимущественно в первой половине XIX в.[4] Хотя в грамматиках того времени предписывается всегда употреблять при отрицании родительный падеж, однако, как отмечает Булаховский, литературная практика категоричности этого указания не подтверждает. Как свидетельствует академическая грамматика, «единая старая норма обязательного род. п. при глаголах с отрицанием в современном языке под влиянием разговорной речи не выдерживается; во многих случаях употребление вин. п. не только предпочитается, но и является единственно правильным» [5].

2. Беспредложное варьирование падежных форм в объектных словосочетаниях наблюдается при некоторых глаголах, имеющих объекты в родительном и винительном падежах. Сюда относятся такие глаголы, как *ждать*, *есть*, *пить* (*изпить*, *допить*), *иметь*, *посмотреть*, *чинить*, *смотрити*, *слушать*, *достигнути*, *искать*, *дать* (*давать*) и др. Ср. чередование объектов в одной позиции:

---

[4] См. *Булаховский Л. А.* Русский литературный язык первой половины XIX в. М., 1954, с. 349.

[5] Русская грамматика, т. II, с. 416.

А как ему *салдатовъ смотрити* (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 40); и имъ надобно свои *запасы* гораздо *разсмотрити* (Там же, с. 33); И *достигнув* благодатию божиею *града* Киева (Пут. Зосимы, с. 60); потщахся *достигнути* славный *градъ* Киевъ (Там же, с. 60); Жни баба пшеницу *жди пироги* (Пословицы XVII в., л. 342); *ждалъ* дѣдъ *внучки* (Там же, л. 343); *хлѣбъ* соль *ѣжь*, а правду говори (Там же, л. 375 об.); *ѣсть калача* не сидѣть на печи (Там же, л. 381). Ср. также примеры употребления род. и вин. падежей при одном глаголе в одном предложении: *пил. . . зелие*, а ты. . . *испѣй воды* (Пут. моск. купцов, с. 150); 2) *оборонения* и *дружбу* у иных людей *искать* учали (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 36).

Вариативное беспредложное управление в других падежах (кроме описанного в род.—вин. падежах) наблюдается у отдельных глаголов. Например: 1) винительный—дательный падежи: и *вопросиша его* (Пут. моск. купцов, с. 147); *спроси ему* (Домострой, с. 33); 2) дательный—родительный: *чему* они *навыкаютъ* (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 31); *навыкъ* тѣхъ внѣшнихъ *наукъ* во языцѣ Римскомъ (Письма, Курб., с. 417); 3) винительный—творительный: многие *царства обладал* (Пересветов, с. 66); Велможи греческия. . . *царством обладали* (Там же, с. 63).

II. В вариативном беспредложно-предложном чередовании падежных форм объекта можно выделить два типа чередований:

1. В одной синтаксической позиции могут употребляться объекты с предлогом и без предлога в одном и том же падеже.

2. В позиции объекта чередуются с одним значением формы с предлогом и без предлога в разных падежах.

Приведем примеры 1-го типа чередований: *Отступите отъ* православныя *вѣры* (Пут. моск. купцов, с. 149); И он, устрашася, *отступился* мне *девицы* (Аввакум, Житие, с. 61); . . . я *тебѣ написалъ* и указалъ о Люторе (Письма, Курб., с. 444); *пишеши ко мне* (Там же, с. 427); яко же Авенпръ *на подружие посягну* господина своего, тако же убо ты отъ Бога данные *грады* и *села посягая* (Письма Ив. IV, л. 131—132 об.).

Среди чередований 2-го типа значительное место занимают чередования, связанные с недифференцированностью форм прямого и косвенного объекта в винительном падеже (в исследуемых памятниках). При глаголах речи, мысли, чувства: *сказати*, *глаголати*, *молвити*, *мыслити*, *знати*, *ведати* и др. употребляется беспредложный вин. падеж для выражения значения делиберативного объекта: А только всѣ их *дела сказати* (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 51). Наряду с беспредложными формами винительного косвенного объекта в рассматриваемых памятниках употребляются в данной позиции при тех же глаголах объекты в предложном падеже с предлогом *о* и в винительном падеже с предлогом *про*: И аще кто восхощет *о смятении* Российския земли широко и пространно *увѣдати* (Ст. о Смуте, с. 1313); *повѣдаша про еретика* (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 734). Ср. употребление параллельных вариантов — вин. пад.—предл. пад.+предлог *о* — вин. пад.+предлог *про* при глаголе говорить: В водѣ глядитъ, а *беду говоритъ* (Пословицы XVII в., л. 332); и

о чемъ великие послы ваши, паны рада, *говорить* отставили (Вязем. гр. 1624 г. — АИ, т. III, № 131); Мы *про людей говорили* (Сатиры о пьянстве, с. 77).

В качестве чередований 2-го типа можно отметить употребление объектных форм при глаголах (и глагольных формах) эмоционального действия — *радоваться, дивиться, хвалиться* и др. Например: *Радъ* скомрахъ ѡ своихъ *домрахъ* (Пословицы XVII в., л. 367); *Не рада* баба *повою — рада упокою* (Там же, л. 358 об.); *Радовахуся* всякому *злодейству* (Ст. о Смуте, с. 1314); И вси начаша *дивитись о красотѣ* лица его (Пут. моск. купцов, с. 150); и начахомъ *дивитесь* христову *человеколюбию* (Там же, с. 141); и пыпѣ грѣки *хвалятся* государевымъ *царством* (Пересветов, с. 77); а самъ *хвалится* на Сраципские *цари* (Пут. Зосимы, с. 61).

III. Вариативное предложно-предложное управление.

В памятниках XV—XVII вв. падежные формы могут выступать в одной и той же объектной позиции с разными предлогами в разных падежах. В исследованных материалах можно отметить следующие случаи варьирования предложно-падежных форм с одинаковым значением:

твор. пад.—дат. пад. — *с—к*: *бесѣдовати* со благочестивыми *мужми* (Письма, Курб., с. 447); *бесѣдовалъ къ Мариѣ Египтянынѣ* (Пут. Зосимы, с. 60); и сего ради *ко царю* Василию. . . *бесѣдоваше* (Ст. о Смуте, с. 1311);

предл. пад.—вин. пад. — *о—про*: и *о томъ* пространно *напишу* во второй части конского учения (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 40); И то полно промежь усобныя или жилецкия войны *про которые* мочно и пространѣе *писати* (Там же, с. 25); И аще кто восхощетъ *о смятении* Российския земли широко и пространно *увѣдати* (Ст. о Смуте, с. 1313); *про* то *дѣло вѣдаютъ* (Улож. 1649 г., с. 56);

твор. пад.—род. пад. — *о—у*: и *с кѣм* опъ *спрашивался* (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 19); и у *того спросити* (Там же, с. 19);

предл. пад.—вин. пад. — *о—на*: и *умышляют* съ Юрьемъ Мнишком *о кровопролитии* християнскомъ (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 736); и нача *умышляти* злыми своими помыслы и лукавыми обычаи *на царский род* (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 714—715);

предл. пад.—вин. пад. — *на—на*: *на них сказати* (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 53); и *на комъ* онъ *скажетъ* на шуйских посадцк хъ людей безкабалной свой взятокъ (Суздр. гр. 1646 г., — АЮБ, т. I, № 55);

род. пад.—дат. пад. — *до—къ*: прозбы мои *простираю до вас* (Письма. Курб., с. 420); моление братское *къ вашей милости простираю* (Там же, с. 417—418);

вин. пад.—вин. пад. — *на—в*: *преложихъ* ю *на. . . языкъ* словенскии (Письма, Курб., с. 412); . . . Клапяюще чины грамматические и *прелагающие въ* польскую *барбарию* и въ нашь языкъ праведны (Там же, с. 420).

Употребление вариантов падежных форм объекта в одних случаях является немотивированным, другие варианты семантически или стилистически маркированы. Так, например, противопоставле-

ние объекта, подвергаемого воздействию в неполном объеме, и объекта, подвергаемого воздействию в целом, наблюдается в чередовании объектов в род. и вин. падеже: *изпив вина* (Сатиры о пьянстве, с. 84); пиво да *вино допьем* (Там же, с. 123). Семантическими оттенками отличаются объекты в следующем предложно-беспредложном чередовании форм род. пад. с предлогами *от—из*: А въ большой церкви 12 столбовъ *изсѣчени от единаго камени* (Пут. моск. кущов, с. 153); а ясли, гдѣ родился Христосъ, *изсѣчены изъ камени*, мрамора бѣлого (Там же, с. 148). Оппозиция различных предложно-падежных форм объекта может выполнять стилистическую функцию. Так, например, употребление объектных форм с предлогом *о* при изъяснительных глаголах характерно для произведений и контекстов с книжным характером языка, а с предлогом *про* — для разговорной речи. Ср. в этом плане следующие конструкции: И аще кто восхощетъ *о смятении* Российския земли широко и пространно *увѣдати* (Ст. о Смуте, с. 1313); *про* ту его *измѣну вѣдали* ли (Уложение 1649 г., с. 56).

Таким образом, соотношение внутри рядов чередующихся объектов может быть различным. В большинстве же случаев при вариативном чередовании объекты в разных падежах имеют одно и то же значение и чаще всего стилистически нейтральны, т. е. они являются дублетами.

От вариативного управления, при котором наблюдается варьирование падежей как заместителей одной и той же валентности глагола, следует отличать случаи реализации различных падежных форм (в парадигматическом плане) как выражение различных сочетательных потенций глагола. В этих случаях объекты имеют различное значение, ср.: не *смѣемъ* своего *изъяну* отомстити (Рус. гр. 1614 г. — АИ, т. III, № 22); а *недругу мстити* (Улож. 1649 г., с. 54); *учиниша миръ* (Ст. о Смуте, с. 1280); *учинили над царем—градом* (Пов. об азов. взятии, с. 70); . . . *возводит*. . . измѣнное *слово* (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 715—716); *возводя на* великихъ и славныхъ царскихъ *бояръ* (Там же, с. 715—716).

Различные валентности глагола *взыскать* реализуются в следующих конструкциях: А которой ищея *взыщетъ* бою и грабежу (Суд. Ив. IV, 201); *Взыщетъ* бояринъ на *бояринѣ* (Там же, 252).

Вариативный ряд чередующихся в одной семантической позиции объектов обычно имеет в исследованных памятниках 2 члена, в редких случаях — 3. (Например — чередование объектов при глаголах изъяснительной семантики: винительный беспредложный—предложный с предлогом *о*—винительный с предлогом *про* (см. об этом выше).

Выбор той или иной формы объекта в некоторых случаях обусловливается семантикой глагола, например, при глаголе *испить* употребляется родительный падеж объекта, при глаголе *допить* — винительный падеж. Однако в большинстве случаев нам не удалось выявить каких-либо особых дистрибуционных условий для предпочтительности того или иного варианта объекта.

Как показывают исследования, в беспредложных конструкциях

наиболее распространено варьирование форм объекта в родительном—винительном падежах, реже вступает в вариативные чередования с другими формами объекта творительный и дательный падежи, в единичных случаях — именительный падеж. В беспредложно-предложном и предложно-предложном вариативном управлении представлены все косвенные падежи объекта: род., дат., твор., вин., предл. По сравнению с современным русским языком в материале исследованных памятников больше типов беспредложного вариативного чередования.

Выше намечены основные типы вариативных чередований падежных форм объекта в памятниках XV—XVII вв. Однако вопрос о вариативности объекта (объектного словосочетания) можно рассматривать и в ином (более широком) аспекте:— в плане способов выражения объектного значения в системе языка. Одно и то же объектное значение может передаваться в памятниках в различной форме — падежной (сочетание глагола и объекта) и непадежной (сочетание глагола и инфинитива, глаголом в абсолютивном употреблении и т. д.). Так, к подобного рода явлениям относится, например, употребление словосочетаний глагол+объект на месте некоторых глаголов со значением эмоционального, волевого действия. Конструкции типа: *мечты твориши* (=*мечтаешь*) (Сатиры о пьянстве, с. 87); аки сатана *мечты творитъ* (Пов. о Рос. царстве, с. 201); *зрение содеваю* (=*смотрю*) (Сатиры о пьянстве, с. 85); *учиня прощание* (Пов. об азов. взятии, с. 73); Посем и *с Фетиниею* тем же образом *простился* (Аввакум, Житие, с. 115). Ср. также употребление словосочетания глагола сотворить с инфинитивом: отъ царствующего града *отгнати сотвори* (Ст. о Смуте, с. 1304); *чародействовати сотвори* (Письма, Курб., с. 387).

Подобные словосочетания (синонимичные глаголу) обычно состоят из глагола и существительного с абстрактной семантикой. Словосочетания с конкретными существительными не могут иметь вариантов в форме глагола, т. е. глагол и конкретное существительное нельзя трансформировать в глагол с тем же значением (ср.: *убийство чинить — убивать, помогательство чинити — помогати* и т. д.), но нельзя трансформировать в глагол: *учинити ворота, учинити дороги.*

В некоторых случаях вариантом глагольного объектного словосочетания является отглагольное существительное с тем же значением. Так, например, в исследованных материалах представлены объектные словосочетания *гнать на кого, волочить кого*: бо онъ *ни на кого* такъ *не гнѣваетца*, яко на правоверных; и *ни на кого* такъ *не гонитъ* (Письма Курь., с. 446); подьячей *волочилъ кого* (Улож. 1649 г., с. 27). В современном русском языке данным словосочетаниям соответствуют существительные *гонение, волокита.* Соотносительное с глагольным именное словосочетание «*гонение к тебе*» отмечено и в памятниках, ср.: аще бы наше *къ тебе гонение было* (Письма Ив. IV, л. 173). В следующей конструкции синонимичные формы — глагольная и именная — *гонение—гонити* употребляются в одном контексте: *Гонения* жъ *на люди* воскладаете: вы ли убо съ попомъ и со

Алексѣемъ *не гонили* (Письма Ив. IV, л. 169). Другой характер имеет явление, когда в качестве варианта к словосочетанию с объектным значением выступает существительное, употребляющееся без глагола. Тенденция языка к «экономии усилий», являющаяся причиной различного рода эллипсисов в синтаксических конструкциях, приводит иногда к явлению синтаксического опрощения в структуре объектного словосочетания. Так, например, широко распространенное в деловой письменности XV—XVII вв. словосочетание *бить челом* в результате частого употребления для краткости иногда функционирует без глагола, например: и все бояря после ево *челом да челом*: «протопоп, благослови и молись о нас!» (Аввакум, Житие, с. 63); Егда ж прпехал, с нами яко лпс: *челом* да «здорово» (Там же, с. 64); Вставше, богу помолясь, да и мпе *челом* (Там же, с. 117).

Имплицитно могут быть выражены объектные отношения некоторыми глаголами, которые обозначают действие, направленное на один единственный (определенный) предмет, включаемый в значение непереходного глагола. Ср., например: всѣх хрпстпан *потурчу* (Пут. моск. купцов, с. 149). Включение семантики объекта в глагол наблюдается также в памятниках в синонимичных глаголах *изоброчить*, *пооброчить*, ср.: чѣмъ онѣ васъ *изоброчат*! (Новг. гр. 1573 г. — АИ, т. I, № 185); чѣмъ пхъ *пооброчатъ* (Моск. гр. 1578 г. — АИ, т. I, № 202). Ср. также: *оброку платитъ* (Моск. гр. 1605 г., т. I, № 41, III).

Приведенные выше факты различных способов выражения одного и того же объектного значения в системе языка не исчерпывают всего многообразия данного явления и должны быть объектом специального исследования. Таким образом, вопрос о вариативности форм объекта (объектного словосочетания) можно рассматривать в двух аспектах: в плане вариативных чередований падежных форм объекта, а также в плане различных способов выражения объектного значения в системе языка. В обоих случаях мы имеем дело с соотносительными формами, диапазон отношений между которыми колеблется от полной дублетности до стилистически или семантически маркированных членов ряда (различные оттенки синонимии). Наличие в языке семантически соотнесенных, но стилистически или формально различающихся форм объекта создает базу для функциональной синонимии. Исследование вариативности форм, выражающих объектное значение, является частным вопросом в решении сложной проблемы формирования русского литературного языка и его норм.

АТРИБУТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕН ДЕЙСТВИЯ В СТАРОРУССКИХ ПАМЯТНИКАХ

Н. Т. Шелихова

Онтологическая категория количества связана с явлениями двух типов: количественной характеристикой отдельно существующих единиц (в разных соотношениях) и количественной характеристикой таких явлений (и предметов), которые не связаны с идеей счета (ср. признак, качество, действие), но для которых характерны количественные изменения в пределах данного качества, связанные с интенсивностью, степенью проявления своей сущности [1]. Количественные связи явлений и предметов реального мира отражены в языке разными способами: морфологической категорией числа, особой частью речи — числительными, средствами словообразования, лексики и синтаксиса. Единицы, относящиеся к разным уровням языка, отражают одно понятийное содержание, связанное с категорией количества. Каждая из них имеет свое особое семантическое содержание и назначение. Часть речи числительные и морфологическая категория числа характеризуют количественные отношения целых единиц. Числительные обозначают конкретное число целых единиц и по своей семантике не пересекаются с категорией числа. Категория числа в целом отвлеченно и обобщенно обозначает соотношение «один» — «не один» (много), не обозначая сколько именно. Инварианты значений множественного числа (разделительного, pl. tant) и единственного числа (значения отдельности, sing. tant) являются соответственно значения расчлененности и нерасчлененности [2], т. е. в общем и категория числа характеризует количественные отношения целых единиц.

Значение степени, интенсивности, отражающее количественные отношения величины, меры внутри данного качества (единицы), передаются в языке многими словообразовательными формами существительного, прилагательного, глагола [3], а также средства и лексики разных частей речи. Мы рассматриваем некоторые словосочетания качественных прилагательных с именами действия, определяющих действие со стороны его количественных значений, на материале памятников старорусского языка.

Отметим, что категория числа у прилагательных не имеет реального, предметно-смыслового содержания и носит чисто формальный характер. Признаку чужда идея числа, если он не мыслится само-

---

[1] *Кузьмин Е. С.* Система онтологических категорий. Иркутск, 1958, с. 50—51.
[2] *Соболева П. А.* Словообразовательная полисемия и омонимия. М., 1980, гл. IV.
[3] Грамматика современного литературного русского языка. М., 1980; *Бондарев А. В., Буланин Л. Л.* Русский глагол. Л., 1967.

стоятельно [4], однако признаку не чужда идея тех количественных отношений, которые могут быть переданы понятиями «больше»—«меньше». Так, для качественных прилагательных ведущим семантическим признаком является обозначение таких свойств явлений и предметов, которые имеют количественную оценку [5]. В морфологии качественных прилагательных это находит выражение в степенях сравнения, отражающих степень интенсивности признака.

Количественная характеристика признаков может быть выражена также средствами отдельных лексических единиц — прилагательных: качественных (*большой*, *малый*), местоименных (*всякий*), порядковых (*второй*) прилагательных. В старорусском языке — это прилагательные *великый*, *велий*, *зельный*, *большой*, *многый*, *малый*, *всякый*, *некый* и др. Указанные и некоторые другие прилагательные в сочетании с отглагольными именами характеризуют действие имени существительного с количественной стороны его проявления: полноты—неполноты действия, интенсивности, повторяемости, многократности действия.

Возможность появления таких значений качественных прилагательных определяется исключительной широтой их смысловой структуры. В основе значения качественных прилагательных лежит в высшей степени обобщенный признак, который конкретизируется лексическим содержанием сочетающихся с ним слов в минимальной синтагме [6].

Качественные прилагательные *великый*, *велий*, *многый*, *большой*, *зельный* [7] в сочетании с именами действия имеют значение 'сильный по характеру своего проявления' и характеризуют действие или состояние как единое целое (как единицу) со стороны его интенсивности и тем самым дают ему качественно-количественную характеристику. Рассматриваемые прилагательные полностью совпадают по своему лексическому значению и, являясь членами одного синонимического ряда (и полными синонимами), отличаются разной употребительностью. В текстах XV—XVII вв. наибольшей употребительностью отличается прилагательное *великый*, оно способно сочетаться с почти неограниченным кругом существительных разных лексических разрядов, что повлекло за собой возникновение нескольких значений, одно из которых рассматривается нами. Прилагательное *великый* нейтрально стилистически и употребляется в любых контекстах. Еще в XVIII в. в сочетании с отвлеченными именами в рассматриваемом значении прилагательное *великый* занимает первое место по распространенности и не имеет того значения, в котором употребляется в современном русском языке —

---

[4] *Никитевич В. М.* Грамматические категории имени и глагола в русском языке. Алма-Ата, 1962, с. 82—83.

[5] *Шрамм А. М.* Очерки по семантике качественных прилагательных. Л., 1979.

[6] *Уфимцева А. А.* Типы языковых значений. М., 1974.

[7] *Мельникова К. М.* Из наблюдений над синонимикой качественных прилагательных в языке «Повестей о Смуте». — Учен. зап. Ленинградского гос. ун-та, 1959, Каф. рус. яз. и лит., т. 202; *Михайловская Н. Г.* Синонимичные прилагательные в языке древнерусских памятников XI—XIV вв. (прилагательное *великый* и его синонимы). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1965, т. XXIV, вып. 1.

'наивысшая, превосходная степень проявления какого-либо качества'. Впоследствии все функции значения прилагательного *великый* переходят к слову *большой*, и надо отметить, что в сочетании с конкретными именами оно выходит на первые позиции уже в XVIII в.[8]

Семантические группы имен действия, определяемые прилагательным *великий*, разнообразны: 1) существительные, обозначающие социально-политические явления: и бысть тогда отъ нихъ всѣмъ Русскымъ людемъ *великое гоненіе* и насильство и поруганіе всяко (Ст. о Смуте, с. 1292); И оттолѣ бысть на Москвѣ *мятежъ великъ* во всѣхъ людѣхъ (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 728—729); 2) существительные, обозначающие военную лексику: Нашь же братъ, православный христіанинъ, видя свое оспротеніе и беззаступленіе и ихъ, враговъ, *великое одоленіе*, не смѣетъ ни и устъ своихъ отверсти, бояся смерти (Пов. о Рос. царстве, с. 212); 3) существительные, обозначающие понятия торговли: и з добрыми людми, водишисѧ, и со многими иноземцы *великаѧ торговлѧ* и дружба есть (Домострой, с. 61); и имъ деи отъ того чинятца *убытки и продажи великіе* (Моск. гр. 1602 г., — АЮБ, т. I, № 43); 4) существительные, обозначающие явления нравственного характера: и впадетъ *ввеликое прегрѣшеніе* тѣмъ обычаемъ (Уч. и хитр. рати. строения, с. 19); и учинятъ таковое свое крѣпкое стояніе и *великое* скорбное *терпѣніе* за православную вѣру (Пов. о Рос. царстве, с. 190); 5) существительные, обозначающие явления бытового характера: Как стригли, в то время *велико нестроение* вверху у них быть с царицею, с покойницею: она за нас стояла в то время (Аввакум, Житие, 95); Бояре и ближние люди живутъ въ домѣхъ своихъ, въ каменныхъ, і въ древяныхъ, безъ *великого устроения* и призрѣния (Котош., О России, л. 214 об.); 6) существительные, обозначающие мыслительную деятельность: Самарскому де городу отъ насъ обереганья отъ воровскихъ людей и помочи не будетъ, лише смута и въ людехъ *сумнѣнье великое* (Рус. гр. 1614 г., — АИ, т. III, № 256); 7) существительные, обозначающие эмоциональное состояние: и подобаетъ ему ‹ратному же человѣку› мѣрное житіе вести паче черница вмонастырѣ потому что онъ *ввеликомъ страхованіи* (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 27); И бысть во градѣ *плачь великъ* отъ страха онаго и ужаса (Пут. Гогары, с. 117); 8) существительные, обозначающие поведение: о всемъ *великое попеченіе* достоитъ имѣти (Стоглав, 42—43); а плетью с наказаніемъ бережно бити. . . за *великое* и за страшное *ослушаніе* и *небреженіе*. . . (Домострой, с. 37—38); 9) существительные, обозначающие понятия, связанные с глаголами речи: умыслили книги написати от Бога с *великою клятвою*, что не достоитъ царю христіянскому на иноплеменники ходити воевати (Пересветов, с. 70); приводитъ къ себѣ всякихъ велможъ, и иныхъ милостію и дарми, и ласкою, и *обѣщанми великими* (Сказ. о Гр. Отрепьеве, с. 718); 10) существительные, обозначающие обоняние: *Благоуханіе* же *велико* исходитъ и добровонно отъ мощей ея (Пут. моск. купцов, с. 154); 11) существительные, обозна-

[8] *Смолина К. П.* Типы синонимических отношений в русском литературном языке второй половины XVIII в. М., 1977, с. 123, 109—111.

чающие церковно-религиозные понятия: А в сиденье свое осадное имели мы, грешные, пост в те поры и *моление великое*, и чистоту телесную и душевную (Пов. об азов. взятии, 78); Іно *знаменіе велико* от Бога, что Богъ гордости не любитъ і порабощенія (Пересветов, с. 67).

Вторым по употребительности прилагательным со значением 'сильный по характеру своего проявления' в сочетании с отвлеченными именами выступает слово *многыи*. В последующее время прилагательное *многый* в рассматриваемом значении, видимо, довольно быстро утрачивается. Так, в словарях XVIII в. у прилагательного *многыи* отмечается лишь одно значение 'многочисленный', а в исследованиях, посвященных лексической синонимии XVIII в., в этом значении оно вообще не упоминается. Ср. лексико-семантические группы отглагольных имен, определяемых прилагательным *многыи*: 1) существительные, обозначающие эмоциональное состояние: И отъ *многаго* вашего *озлобленія* и утѣсненія вмѣсто крове̑ много изліяся слезъ нашихъ (Письма Ив. IV, л. 171 об.); 2) существительные, обозначающие явления нравственного характера: Володимеръ же слуша ихъ бѣ бо самъ любяше жены и *бл(у)жение многое* (Лет. Ипат., л. 33 об.); не даром даеши *многое* твое *бесование* и болше пстощание (Сатиры о пьянстве, 89); 3) существительные, обозначающие интеллектуальную деятельность: А на святительский престолъ возведенъ бысть митрополитъ Ермогенъ Казанскый, мужъ чюденъ зѣло и *многово разсужденія* (Пов. Кат.-Рост., с. 182—183); 4) существительные, обозначающие социальные отношения: и по *многомъ истязаніи* повѣсити его повелѣ (Статьи о Смуте, с. 1300); 5) существительные, относящиеся к военной лексике: князь Дмитрѣи Ивановичь Шуйской съ товарыщи своими, со *многою ратію* пріидоша подъ онъ Новгородокъ на избавленіе его (Пов. Кат.-Рост., с. 572); 6) существительные, обозначающие явления природы: палаты сокрушахуся отъ основанія, и городныя стѣпы падоша на землю отъ *многаго трясенія* (Пут. Гогары, с. 117).

Прилагательное *велий*. В сочетании с отвлеченными именами в том же значении, что и прилагательные *великый*, *многый* 'сильный по характеру проявления' в текстах XV—XVII вв. достаточно широко употребляется прилагательное *велий*. Можно предполагать, что в рассматриваемый период прилагательное *велий* также было стилистически нейтральным, так как употребляется в сходных или полностью совпадающих контекстах, что и прилагательное *великий*[9]. Семантические группы определяемых существительных менее разнообразны, а общая употребительность прилагательного намного ниже: 1) прилагательные, обозначающие военную лексику: князь Ѳеодоръ Ивановичь Мстиславской и князь Дмитрѣй Ивановичь Шуйской съ товарыщи своими. . . составиша *брань велію* зѣло съ Ростригою и съ воинствомъ его (Пов. Кат.-Рост., с. 573); 2) существительные, обозначающие эмоциональное состояние: Бысть въ церкви *страхованіе веліе* на хрістіаны (Срезн. Новг. III лет.); 3) существительные, обозначающие социальные отношения: И тако

[9] *Мельникова К. М.* Указ. соч.

бысть *веліе низлаганіе*: предъ отцы сынове, убиваеми, живота гонзнуша, отроковицы же отъ матерей отторгаеми и блудному растлѣнію предлагаеми (Пов. Кат.-Рост., с. 607); 4) существительные, образованные от глаголов речи: не будетъ отъ него на васъ клятва и прещеніе, паче же *веліе благословеніе* на васъ и на чадѣхъ вашихъ (Пов. о Рос. царстве, с. 211).

Прилагательное *большой*. Прилагательное *большой* впервые отмечено в положительной степени лишь в XV в.; в XVI—XVII вв. еще не отличалось широкой употребительностью. В сочетании с отвлеченными именами она была просто незначительной. В XVIII в. употребительность прилагательного *большой* с отвлеченными именами расширяется, но не превосходит прилагательного *великий* [10]: По семъ же дыяволъ в *болшо прелщенига* въвѣрже члвкы и начаша кум(и)ры твори(т) (Ипат. лет., л. 36); и довелся былъ ты за ту свою вину *болшому наказанью* (Моск. гр. 1641 г. — АИ, т. III, № 214); платежъ ихъ протянется, либо для *болшаго страхованія*, или для иныхъ нужныхъ мѣръ (Уч. и хитр. ратн. строения, с. 50).

Синонимом к прилагательному *великый*, *многыи*, *велии*, *большой* в значении 'сильный по характеру своего проявления' является и церковнославянское прилагательное *зельный*, но употребительность его в рассматриваемый период в сочетании с отглагольными именами редкая: святительская власть требуетъ *зельнаго запрещенія* языкомъ (Письма Ив. IV, л. 141).

В сфере значений лингвистической единицы можно выделить разные семантические элементы. Качественные прилагательные чаще, чем другие части речи, наряду с денотативными значениями содержат оценочные семы (или приобретают их в контексте), образуя сложную, единую семантику слова. На основе денотативного и оценочного значений качественные прилагательные могут развивать количественное значение. Например: *безмерное воровство, объядение, ненасытное хотение, страшное ослушание, ужастне растлѣніе* и др. Такие прилагательные вместе с прилагательными *великыи, многыи, велии, большой* образуют синонимический ряд градационного характера, признаком которого является характеристика неодинаковой меры, степени, интенсивности действия или состояния. Прилагательные *великый, многыи, большои* градационно нейтральны, количественное значение, возникающее на основе качественно-оценочного значения, характеризуется усилением качественно-количественного признака, обозначая наивысшую степень проявления действия или состояния: и за *великое*, и за страшное *ѡслꙋшаніе*, и небреженіе, яко сонма рꙋбашка плеткою вежливенко побить за рꙋки держа (Домострой, с. 37—38); Еще къ тому, на неисповедимое и ко слышанію *ужастное разтлѣніе* выдающе ихъ чистоту (Письма Курб., с. 157); А еже отъ *преизлишного надменія* и гордости, мнящеся о собѣ мудръ всеа вселенныя учитель быти (Там же, с. 153); Кто бо слыша *безмерное* твое *воровство* и [бешенство] и терпению и паготе не удивит ли ся (Сатиры о пьянстве, с. 75); Царица же и съ чады своими въ *заточеніи*

[10] *Смолина К. П.* Указ. соч.

злѣ животъ свой скончевая (Пов. Кат.-Рост., с. 577); и пришедъ со множествомъ воинъ ‹Стефанъ›, . . . и простре десницу свою на *несытное грабленіе* (Там же, с. 562); множество честнѣйшихъ женъ и множество благолѣпныхъ дѣвицъ во царствующемъ градѣ *ненасытнымъ* своимъ блудным *хотѣніемъ* осквернилъ еси (Там же, с. 579); Москвичи же силу воспріяша надъ Поляки, творяше *жестоко устремленіе* (Там же, с. 612); и оттолѣ начатъ Борисъ Годуновъ возвышатися и укрѣплятися на Російское государство и приводитъ к себѣ всякихъ вельможъ, и иныхъ мілостію. . ., а иныхъ грозами, свирѣпствомъ, и *лютымъ умысломъ* (Ск. о Гр. Отрепьеве, с. 718).

Количественное значение, связанное с потенциальной возможностью перечисления повторяющихся конкретных или сложных действий отглагольных имен может быть выражено сочетанием прилагательного *многыи* в значении 'многочисленные' с отглагольным именем во мн. числе. Лексическое значение прилагательного *многие* имеет те же семантические элементы, что и множественное число: семантический элемент 'много', 'не один раз' и семантический элемент раздельности повторяющихся действий (во времени и в пространстве). Следует добавить, что употребление прилагательного *многие* связано с перечислением однородных, однотипных действий и состояний и может быть квалифицировано как значение обобщенного разнообразия.

Семантические группы существительных, с которыми сочетается прилагательное *многие*, достаточно разнообразны. Это существительные, обозначающие общественные отношения, физическое и эмоциональное состояние, нравственную характеристику, а также существительные военной лексики: правити же мнящеся и строити, и, вмѣсто сего, // неправды и *нестроенія многая* устроиша (Письма Ив. IV, л. 147—147 об.); *Множайшая* скверная Еллинская *деянія*, еже отъ страстей отъ нихъ Бога почтошася (Там же, л. 157 об.); А за такие ваши послуги, еже выше рѣхомъ, достойни есте были *многіхъ опалъ* и *казней* (Там же, л. 166 об.); и переима многихъ царскихъ дворянъ и служивыхъ людей, и *многими пытками* пыта (Ск. о Гр. Отрепьеве, с. 737); еже за *многія грѣхи* наша попустилъ на насъ Богъ скудость (Стоглав, 32); И благочестивый царь Ѳедоръ о томъ не мало поскорбѣ и втайнѣ пролія *многіе слезы* (Пов. Кат.-Рост., с. 564); И *битвы многия* быша день и нощь (Пов. об азов. взятии, 51).

С возможностью перечисления связано и количественное значение «необобщенного разнообразия», когда имеется возможность повтора действия в его различных вариантах. Количественное значение повторяющихся, но разного проявления и характера действия может быть выражено сочетанием имени действия в мн. числе с прилагательным *разный, разнообразный, различный* (во мн. ч.). Часто это значение выражалось сложным прилагательным, одним из компонентов являлся элемент много-: *многочисленный, многоразличный, многобесчисленный*: паче же и учащенъ быхъ ранами отъ варварскихъ рукъ на *различныхъ битвахъ* (Письма Курб., с. 4); Смотри же убо се и разумѣи, каково правленіе составляется въ *разныхъ началехъ* и

власѣхъ (Письма Ив. IV, л. 140 об.); токмо возноситися и гордитіся по *безчисленныхъ беззаконіяхъ* и *кровопролитіяхъ* (Письма Курб., с. 127); но негли отъ царей царемъ сіе прилично таковыя именованія, со *преизлишнимъ предложеніемъ* исчитати (Там же, с. 125); от *безпрестанныя стрелбы* глаза наши выжгло (Пов. об азов. взятии, 76); и тако *безчисленные брани* творят на всякъ день (Пов. Кат.-Рост., с. 611); ‹и какихъ казней не посла на насъ Богъ› приводя насъ на покаяніе. . . и попраніе всякимъ святымъ и *многоразличное кровопролитіе* и пожженіе и истопленіе и въ плѣнъ разхищеніе (Стоглав, 30); ‹и какихъ казней не посла на насъ Богъ› . . . и попраніе всякимъ святынямъ, и *многобезчисленное кровопролитіе* и пожженіе (Там же, 30).

Таким образом, качественные прилагательные наряду с другими функциями, принимают активное участие в отражении количественных отношений реального действия и состояния.

РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ЛИЦА/НЕЛИЦА ПО ДАННЫМ СЛОВАРЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЖАНРА

Г. А. Богатова

«Если хорошенько подумать, словарь — это книга книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него»

(*А. Франс*).

Существующие в настоящее время словари исторического жанра призваны описать лексику языка того или иного периода и особенности развития ее семантики. Они все имеют справочное назначение, но все-таки это прежде всего лексиконы, «словари слов». Специальных словарей, которые могли бы отразить синтаксические особенности развития древнего языка или его грамматику, пока мало [1].

Пока идет исследовательское описание синтаксиса и грамматики в монографиях и накопление приемов отражения грамматических сведений о слове, его сочетаемости, месте и значении в тех или иных конструкциях в общефилологических словарях. Нельзя не отметить больших заслуг в этом Виктора Ивановича Борковского, его собственных трудов по исторической грамматике и историческому синтаксису («Историческая грамматика русского языка», совм. с П. С. Кузнецовым, 1963, «Синтаксис древнерусских грамот», 1949—1958, Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков», 1968—1972) и трудов его сектора («Древнерусский язык. Лексикология и словообразование», 1975 и «Очерки по истории и диалектологии восточнославянских языков», 1980).

[1] См., например: *Kopečný Fr.* Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 1. Předložky, koncové partikule. Praha, 1973; Svazek 2. Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia. Praha, 1980.

Исследовательские результаты, ценные сами по себе, играют ориентирующую роль для лексикографов-диахронистов. Это понимал В. И. Борковский. Не случайным был его интерес к лексикографии. В качестве члена редколлегии Словаря русского языка XI—XVII вв. (далее: СлРЯ XI—XVII вв.) Виктор Иванович в немалой степени содействовал выработке типа словарной статьи таких «синтаксических» слов, как союзы, предлоги. Как показывает практика, именно в лоне общефилологических словарей создаются отечественные лексикографические традиции, вырабатываются приемы, которые позднее используют специальные словари. В исторической лексикографии выбор приемов описания лексики нередко зависит от общей концепции словаря. Она же в свою очередь определяется ролью избранного периода описания в общем ходе сложения и развития национального языка. Есть и другая зависимость. Словари «узких» периодов, условно принимаемых за один синхронный срез, тяготеют к более подробному описанию динамики развития: они, как правило, стремятся зафиксировать и вычленить в словарной статье варианты написания, парадигму форм, морфолого-словообразовательную вариативность, сочетаемость слова, его жанровую характеристику. Их материалы важны для исторической лексикологии, но, пожалуй, не менее важны их систематизированные сведения для исторической морфологии, исторической грамматики русского языка. Древнерусский словарь XI—XIV вв., например, концептуально связан с серией обобщающих его информацию исследований о исторической морфологии [2]. Словарь русского языка XVIII в. также богат фиксацией вариантов написания, грамматических форм. Еще до выхода в свет его коллектив издал серию исследований по структуре языка нового времени, по сложению его стилей, лексике [3]. И уже предложен проект продолжения лексикографических работ, поэтапно исследующих и описывающих разные стороны русского литературного языка нового времени [4]. Словари «горизонтального среза», таким образом, дают материал по семантике на фоне регистрации лексико-грамматических признаков: движения форм, вариантов, жанрово-стилистической окрашенности слова.

---

[2] См.: Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982. Ч. I. — Готовится следующая часть, посвященная словообразованию и имени, где также используются данные картотеки и Древнерусского словаря XI—XIV вв.

[3] См.: Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до Карамзина). М.; Л., 1966; *Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972; *Мальцева И. М., Молотков А. И., Петрова З. М.* Лексические новообразования в русском языке XVIII в. Л., 1975; *Замкова В. В.* Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII в. Л., 1975.

[4] *Сорокин Ю. С.* О принципах исторического описания лексики русского языка нового времени (XVIII—XX вв.). — В кн.: Русский язык. Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография. М., 1981,

Словарп диахронического плана («вертикального среза»), каковым является СлРЯ XI—XVII вв., сосредоточены на явлениях лексических. Для них важно зафиксировать не столько рождение или уход грамматической формы, сколько рождение слова как такового. В центре внимания стоят лексико-семантические процессы: механизм разлома семантической последовательности и омонимизация, лексикализация форм, т. е. из грамматических как-то обозначаются, лучше учитываются лишь процессы, требующие длительного вызревания, прорастания в семантику. Построение и информативность словарной статьи исторического словаря зависит от планируемого объема издания. Чем больше описываемый в словаре период, тем острее стоит проблема объема словарной статьи, жесткого распределения ее строк (заголовочной, дефинитивной, иллюстративных) и помет (грамматических, сравнительно-сопоставительных). В СлРЯ XI—XVII вв. объем грамматических помет, формальных грамматических сведений минимален:

1. Обозначение вида глагола и некоторых личных нерегулярных форм в 1 л. ***Гнати, жену*** и ***гоню. Дути, дму*** и ***дую. Дават и.*** *1. Несов.* к ***дати...*** (*в знач. 1—3*).

2. Обозначение рода существительных и некоторых нерегулярных форм род. ед. и род. мн. или им. мн. числа. ***Лотокъ,*** *м., род. ед.* ***лотка*** и ***лотока,*** *род. мн.* ***лотковъ*** и ***лотоковъ.***

Обозначение рода не всегда бывает простым перед лицом таких контекстов: И рече купецъ ко царю: государь царь Несмеянъ Гордяевичь! *купчишко пришло* из Руския страны (Пов. о Басарге [1], 347. 1689 г. ~ XVI в.[5], где согласование в тексте четко определяется родом существительного, а смысловой критерий как будто не срабатывает. Иногда ощущается влияние родовой принадлежности мотивирующего слова: *Булавишко* желѣзное *заржавела* вся, цѣна гривна (Росп. им. Н. Ром., 49. 1659 г.) (по *булава*? Ср. в современных говорах *вострая бронхит* — где, видимо, ощущается влияние родового слова *болезнь* по отношению к видовому *бронхит*).

Не всегда легок выбор заголовочной формы и обозначения рода для утверждавшихся слов, если колебания обнаруживались даже в пределах одного памятника, например, в Травнике Любчанина при описании мазей: Той *мазунъ составляется* тако (с. 98); (Когда) кою *мазунь* или зелие [*ставят* в печь] (с. 114). Усложнение заголовочной строки и грамматических помет чаще всего приходится на слова, возникающие вследствие лексикализации. Тогда играет роль и очередность подачи заголовочных форм, составитель отдает предпочтение перспективной форме: ***Качели,*** *мн. и* ***качель,*** *ж.* На *качелѣхъ* не качался. АИ IV, 126. 1649 г. Ремни большие. . . царевичу на *качѣль*. Арх. бум. Петра I, 125. 1691 г.

3. Обозначение принадлежности к той или иной части речи ввиду незаконченности процесса лексикализации иногда дается

---

[5] Полные названия памятников письменности, взятых из СлРЯ XI—XVII вв. и Картотеки ДРС, см.: Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников в порядке алфавита сокращенных обозначений. М., 1975.

через указание на более частотное употребление (*в знач. нареч. прич. в знач. прил.*) или через указание на синтаксическую функцию, на употребление в типовой конструкции, например, *въ холопы, въ дьяки* в такой формулировке: *При указании на разряд лиц по виду занятий, званию, должности*: Лучшие люди пожалованы: *во дьяки, въ гости* и *въ иные чины* (ДАИ VI, 398. 1675 г.).

Однако, кроме подобных имплицитных средств, лексикограф в общефилологическом словаре нередко дает эксплицитно картину некоторых явлений. Сопоставительный просмотр семантических схем словообразовательно близких слов в словаре показывает, что в древности словообразовательные средства были зачастую индифферентны в отношении «живого» и «неживого» субъекта. С одним и тем же суффиксом выступают *ковачь* и *колачь*. В слове *копачь* по меньшей мере три значения: 1. Тот, кто копает, обрабатывает землю (это может быть и землепашец, и виноградарь, и корчеватель земли); 2. Участок, где выкорчеван лес; 3. Орудие, которым копают землю, корчуют лес. Имена на *-никъ* также могут обозначать «любой предмет (одушевленный или неодушевленный), имеющий отношение к тому, что названо производящей основой» [6]: *Заказникъ* 'крупная вотчина, имеющая по заказной грамоте льготы, ограничения в выплате налогов', и 'управитель такой вотчины, сборщик податей в пользу вотчины', а также 'лицо, обладающее полнотой власти, правом запрета' (И вы, *заказники*, и всѣ пошлиники по моей отчинѣ великого князя штобы есте на них пошлин не имали. . . по сей моей грамотѣ — АСВР II, 36. 1434 г.; ср. *заказщикъ*: И доѣде старецъ града Торшку, и не пропустиша его в Новъградъ *заказщики*, глаголющи: повѣтрие велие в Новѣградѣ ВМЧ, Сент. 1—3, 477. XVI в.), *колядникъ* 'колядующий, колядник' и 'отреченная книга'; *чьртожьникъ* 'брачная комната' и 'дружка жениха'.

Нигде в инструкции по составлению словаря не предусмотрено отражения в дефинициях или в грамматических пометах сведений по формированию категории лица/нелица или одушевленности / неодушевленности. И тем не менее составитель имеет возможность при описании самых разнообразных слов так отобрать иллюстративный материал в словарную статью, чтобы и эта информация вошла в словарь и помогла исследователю в «извлечении своей книги» из материалов словаря.

Необходимость различения лица/нелица началась с существительных муж. р. *-о-/-jo-*, *-й-* и *-i-*основ. По закону открытых слогов произошло отпадение конечных согласных в им. и вин. падежах, приведшее к фонетическому совпадению форм типа *братъ, гость*.

Совпавшие в им.-вин. падеже формы не создавали в тексте трудностей понимания, если вин. объекта наблюдался в предложной конструкции (*князь* посла по *гость*, *братъ* поиде на *братъ*) или имел определение (*Печенѣзинъ* приведе *мужь* свои). Был ясен субъект

---

[6] *Шимчук Э. Г.* Омонимия и многозначность слова в историческом словаре. — В кн.: Вопросы русского языкознания. М., 1979, вып. 2, с. 197—207.

и объект действия в предложениях типа *отецъ видитъ лѣсъ* [7]. Но если во второй позиции выступало существительное, обозначавшее лицо, способное к самостоятельному действию, — *отецъ видитъ сынъ* — могли возникать ситуации смешения. Видимо, исконное совпадение вин.-род. в парадигме местоимения *кто*, в парадигме личных местоимений, употребление род. пад. в конструкциях с отрицанием (*не вижу брата*) сыграло свою роль в выборе формы винительного, равной форме родительного для имен лиц мужского пола: *не хочю розути робичича, удави печенѣзина в руку до смерти*. Это был первый шаг к различению лица/нелица, но он еще многого не решал, пока не стали это «различать» слова, вступающие в контакт с именами лиц, пока не выработалась избирательность в лексической сочетаемости. Об известной смысловой индифферентности может говорить употребление глагола *выимати—выняти—выяти* в знач. 'изъять (нечто скрываемое, запрещенное)' по отношению к именам лиц и к неодушевленным предметам: И царь князь велики вопроси князя Юрья Токмакова: что у тобя за человѣкъ, которого у тобя *выняли* Михалко Кленовъ да недѣлщики въ компатѣ за запоромъ (АЮБ I, 194. 1547 г.); А непечатным осминам на торгу не быть; а у кого непечатную осмину *вымутъ*, и на томъ заповѣди взяти два рубля (ААЭ IV, 74. 1652 г.); Да на томъ же его Ивашковѣ дворѣ *вынято* многихъ татебъ поличное, и татиные снасти, ломы и ключи (АИ IV, 29. 1648 г.). Известный метонимический перенос, возможно, всегда имел место у глагола *обидеть*, но сам глагол и его корневая группа дают немало образцов более широкого спектра его значения (*обидеть* — 'нанести ущерб, расхитить, разграбить'), более широкой его сочетаемости, отнюдь не только с существительными со значением лица: Аще обрящеть русь кубару греческую, выверженю на коемъ любо мѣстѣ, да не *приобидять* ея (Соф. I лет.[2], 29); А оже уведеть чюжь холоп любо робу, платити ему *за обиду* 12 гривнѣ (Правда Рус. (пр.), 72. XV в. ~ XI в.), Сей бо бяше Лазор бога ради оставн епископию свою за многое *обидение* святых церквей, иже *обидятъ* и властели, отимающе чужая бес правды (Ж. Авр. Смол., 73. XVII в. ~ XIII в.); *Обидно* в поле горох да репка, завидно в мире вдова да девка (Спм. Послов., 130. XVII в.) Эти цитаты приведены в корневой группе *обид-* и помогают увидеть, как из значения

---

[7] Механизм этого процесса подробно описан в кн.: *Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному русскому языку. Харьков—Киев, 1937. — Проблема формирования категории лица и на ее базе категории одушевленности/неодушевленности исследовалась в работах: *Томсон А. И.* Родительный—винительный при названиях живых существ в славянских языках. — Изв. АН ОРЯС, 1908, т. XIII, кн. 2; *Он же.* Происхождение форм именительного и винительного падежа и грамматического рода в индоевропейском праязыке. — Изв. АН ОРЯС, 1914, т. XVIII, кн. 4; *Самойленко С. Ф.* Категория персональности и имперсональности в славянских языках. — Науч. зап. Ворошиловградского пед. ин-та, 1940, т. I; *Лещинская М. Г.* Родительный—винительный в именах существительных в русском литературном языке XII—XVII вв. КД. М., 1949. — Из последних работ см.: *Ицкович В. А.* Очерки синтаксической нормы. М., 1982, гл. III. Существительные одушевленные и неодушевленные, с. 69—89.

'задеть материально' вырастает 'задеть морально', относящееся только к людям.

Особую группу составляют глаголы движения. Многие из них безразличны к тому, совершается ли какое-л. движение самим человеком или с чьей-л. помощью, доставляет что-л. человек сам или при посредстве кого-л., чего-л.: *Побежать*: И язъ. . . падши на лошадь. . . *побѣжалъ къ слободѣ* (АХУ II, 131. 1590 г.); И тот, гсдрь, Еналѣи. . . меня, холопа твоего, на дороге бил. . . и покинул меня замертва, и я, холоп твои, очюнев, опять *побежал* на Васильевой лошади (Якут. а., к. № I, сст. 155. 1639 г.). Ср. также глаголы типа *принести*: Укономъ великыя лавры бѣльблуды пая срацинъскыя принести хотя от мертваго моря куплепую пьшеницу (Х. Радз., 108. 1695 г.). За таким употреблением, правда, в некоторых случаях стоит или метонимия, или явление персонификации субъекта высказывания: Ветер 'принес' издалека дивные песни твои; время и сейчас 'идет', 'бежит', корабли издавна 'ходили' и 'бегали': Земля срацынская. . . люден болши воинских и купецких менши, *бѣгаютъ* же в кораблех по морям, и грабят торговых людей (Козм., 24. 1670 г.), Вѣтръ пам был способный, и *бѣжали* двумя парусами, а *прибѣжали* въ часъ дни противъ города Тризули (Дп. П. Толстого, 54. 1698 г.). Подобные иллюстрации, отобранные для словаря, дают исследователю более полную семантическую картину, демонстрируя отнесенность к лицу/нелицу и указывая также на разновременность появления значений.

Конкретное действие лица (*ходить*, *бѣгать*) через метафоризацию и метонимизацию могло расширить лексическую сочетаемость глагола и создать ряд отвлеченных значений, особенно в среде вторичных, имеющих префикс, глаголов движения: *изыти/исходити*, *выити/выходити*, *проити/проходити* и т. д. Так, глагол *исходити* кроме конкретных 'выходить за пределы чего-л.' 'выходить из чего-л.' имел несколько отвлеченных семантических ответвлений 'покидать пределы тела (о душе)' > 'оставлять земные пределы' или 'служить источником чего-л.', 'истекать > проистекать', 'исходить > происходить', затем 'нисходить (о благодати)', 'ниспадать (об одеждах)' и проч.

Глагольные производные, наречия, причастия, осложненные вторым префиксом *без-*, или *не-* (*безвыходно*, *безисходно*, *неисходимо*, *неисходно*), в древних памятниках еще сохраняли связь с конкретным действием лица: В Кириловѣ монастыре жить ему [Никону] *безисходно* (Д. патр. Никона, 352. 1676 г.), Жити мнѣ в бобылехъ. . . в селце Степанове *безвыходно* (А. тяг. I 39. 1646 г.); Тружатися *неисходимо* изо обители (Ж. Варл. П., 16. XVI—XVII вв. ~ 1589 г.); Аще бы пребылъ въ монастырѣ *неисходно* (Патерик. Печ., 75. XV в. ~ XIII в.) То же в прич. *неисходный*, *неисходимый*: [Старцы] *неисходны* были никдѣ же из монастыря (Гр. уставн.) (РИБ VI, 887. XVI в. ~ XV в.); Сѣжу. . . в келыи *неисходимъ* (Отп. Гронтия) (Суб. Мат. III, 22. 1663 г.). Черты отвлеченности и сужения контактности, сочетаемости приобретались на следующих ступенях производности: *безысходная*, *неисходная* чаще всего *печаль*, *тоска*, а уже

безысходность почти синоним слову *тоска*. Утратили связь с конкретными действиями лица, стали почти фразеологичными *безвыходность* (чаще всего положения), *непроходимость* (кишечника).

Изменение семантической доминанты даже по причастиям, сохранившим связь с характеристикой лица (*прич. в знач. прил.*), можно наблюдать в иллюстративных материалах СлРЯ XI—XVII вв. Например, прил. *некорыстный* сейчас говорит нам о внутренних достоинствах человека, 'лишенного корысти, не стремящегося к выгоде'. В XVI—XVII вв. это *прич. в знач. прил.* касалось скорее чьих-либо внешних незавидных качеств, незавидного положения в обществе: Аглинские немцы *некорыстны* люди, да драться люты (Сим. Послов., 77. XVII в.); А аманатов у насъ стало только двоя, да и те *некорыстны*, а которой аманатъ былъ лутчей, и тотъ аманатъ на волоку упущонъ (ДАИ IV, 91. 1657 г.); И чтобъ тѣмъ рукодѣлиемъ не были обесчещены, держать на то людей *некорыстныхъ*, которые за нихъ то стряпаютъ (podlejszych) (Основ. Царьгр., 40. XVII в.).

Такой фон регистрации изменений в лексической сочетаемости имен лиц, который могут представить исследователю общефилологические словари «между строк», говорит об изменении статуса этих слов, формировании грамматической категории лица/нелица и условиях реализации этой категории.

К ПРОБЛЕМЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ НОРМЫ В ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVIII В.

Л. А. Глинкина

Языковая норма всегда связана с выбором и соответственно оценкой вариантов. По своей природе она диалектически несет в себе противоречие — устойчивость и динамичность, которые в неодинаковой мере проявляются на разных этапах эволюции литературного языка и в разных сферах его применения. Особенно сложно и своеобразно шло формирование литературных норм в языке XVIII в., что отмечено в ряде современных исследований [1]. Обращение к языку деловой письменности этого периода мотивировано его значением в сложении общенациональных норм русского языка. В связи с острым принципиальным спором о статусе языка деловых документов XVIII в. — о степени его литературности, о генетических связях со старославянским и народно-разговорной речью, о сохранении традиций предшествовавшей деловой письменности — представляется важным объективное исследование разных его сторон, в частности именного словоизменения.

---

[1] *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981, с. 122; 225—246; 278—281; *Князькова Г. Н.* Русское просторечие второй половины XVIII в. Л., 1974, с. 233; *Горшков А. И.* Язык предпушкинской прозы. М., 1983, с. 18.

Язык официально-деловых документов второй половины XVIII в. остается пока еще недостаточно изученным, как и четверть века назад, когда В. В. Виноградов, выступая на IV Международном съезде славистов, отметил, что «даже те историки русского языка, которые расширяют объем понятия «литературный язык», включая в него и разновидности деловой речи, с XVIII в. и, во всяком случае с его второй четверти, обычно уже не следят за историей изменения канцелярско-деловых стилей речи».

Материалы московской («центральной») и локальной письменности могут стать основой для решения такого круга вопросов: как соотносится установленное в деловой речи употребление с кодификацией литературного языка, намеченной для того времени М. В. Ломоносовым и А. А. Барсовым; какова степень унификации соответствующих норм в деловом языке столицы и провинции; существует ли «обрыв традиций» в оформлении деловой речи в московских приказах XVII и в официальных канцеляриях XVIII в. Все эти аспекты имеют прямое отношение не только к проблеме истоков русского литературного языка, но и к формированию генетических корней нашей стилистики.

Статья построена на сопоставлении языкового материала 500 (листов) скорописных текстов официально-деловых документов южноуральских крепостей XVIII в.[2] и деловых бумаг московской канцелярии того же периода по публикации, подготовленной А. И. Сумкиной под ред. С. И. Коткова [3]. Наблюдения над варьированием форм существительных в родительном и предложном падежах в деловой речи XVIII в. сравниваются с состоянием этого грамматического «участка» в литературном языке той эпохи [4], а также в деловой письменности предыдущего периода [5].

Каждая грамматическая категория в процессе своего развития проходит стадию выбора знаменательных формальных средств выражения своей грамматической семантики. В этом плане варьирование языковых единиц — естественный показатель эволюции соответствующей грамматической категории.

В силу словоизменительного и морфолого-синтаксического характера категории падежа варьирование здесь проявляется в параллель-

[2] Для анализа взяты рукописные тексты разных жанров (судебные дела, рапорта, ордера, иски, доношения, прошения и т. д.), хранящиеся в фондах Челябинского государственного архива — сокращенно ЮУДП, далее № фонда, описи, дела, листа.

[3] Памятники московской деловой письменности XVIII века. М., 1981 (сокращенно — ПМДП, далее № текста и листа).

[4] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М., 1952, т. 7. Труды по филологии 1739—1758 гг.; Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. М., 1981; *Фролова С. В.* Именное склонение в русской оригинальной бытовой повести XVII—XVIII столетий. — Учен. зап. Куйбышевского гос. пед. и учит. ин-та, 1942, вып. 5; 1947, вып. 8; 1948, вып. 9; *Ладюкова А. Е.* Из истории именного склонения в русском литературном языке XVIII в. АКД. Л., 1956.

[5] Именное склонение в славянских языках XI—XIV вв. Лингвостатический анализ. Л., 1974, с. 122; Именное склонение в славянских языках XV—XVII вв. Лингвостатистический анализ. Л., 1977; *Котков С. И.* Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М., 1974; *Он же.* Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980.

ных падежных флексиях грамматически однотипных существительных в определенном синтаксическом окружении.

I. Вариантность словоформ родительного падежа имен мужского грамматического рода на протяжении почти тысячелетия создается, как известно, флексиями *-а*, *-у*. Если в древнерусском языке их конкуренция обусловлена грамматическим взаимодействием двух генетически разных парадигм — с основой на *-*й, ŏ-*, то и в более поздний период варьирование этих флексий уже связывается с книжнославянским или разговорным типом языка, а затем получает акцентологические и другие ограничения [6]. Уже в XVIII в. М. В. Ломоносов и А. А. Барсов определяют «особливые правила» употребления флексий *-у*, *-а*, обращая внимание на семантику, словообразование, происхождение, стили употребления словоформ. В «Материалах к Российской грамматике» М. В. Ломоносов дал своеобразный грамматический словарь, в частности падежных форм существительных, где для 496 лексем указано в родительном падеже окончание *-а*, для 114 — *-у*, для 28 — *-а*, *-у*. Лексико-семантическая классификация современных форм родительного падежа на *-у* полностью накладывается на языковой материал, представленный в филологических трудах М. В. Ломоносова. Это и слова с вещественным значением, которые в XX в., как и в XVIII в., составляют самую частотную и обширную группу существительных с флексией *-у*, это и слова, «называющие проявления различных физических состояний (в том числе и природные явления)», абстрактные имена, указывающие на деятельность или состояние людей, и слова со значением нерасчлененной множественности. Вместе с тем нормативное для XVIII в. употребление флексии *-у* было значительно шире, чем в современном языке по охвату лексико-грамматических групп существительных (собирательные, отвлеченные, конкретные) и по синтаксическим условиям их употребления: в XVIII в. определение при существительном или примененная позиция не мешали ему иметь флексию *-у*, что недопустимо по современным нормам. Например, в ПМДП: не половины того *овощу* — № 288, л. 89; до начатия *пожару* — № 251, л. 42; былъ при плотах *лесу* — № 210, л. 8; прошение писал сибирского *приказу* копиистъ — № 285, л. 239; до самова *грунту* счистить — № 23, л. 12 и др. Регулярна флексия — *у* в сочетании формы р. п. *полк* с конкретным его названием: (Семеновского, Преображенского, Бутырского, Московского и др.) *полку* солдат (сержант, поручик и т. д.).

В рассмотренных текстах деловой письменности второй поло, вины XVIII в. отмечено 2050 форм родительного падежа муж. р. из них — 1583, т. е. $^2/_3$, имеют флексию *-а*. Она обязательна и устойчива в названиях месяцев, в наиболее частотных трафаретных сочетаниях с примененным родительным определительным или родительным объектным при отглагольных существительных, при одушевленных и собственных именах, а также в заимствованиях.

[6] *Шахматов А. А.* Историческая морфология русского языка. М., 1957, с. 304—366; *Обнорский С. П.* Именное склонение в современном русском языке. Л., 1927, вып. I. Единственное число, с. 166—233.

Флексия *-у* оказалась чрезвычайно устойчивой в группе конкретных существительных с вещественным значением: в ЮУДП: на покупку по оному пивному и медовому варенню всякихъ припасов: *солоду, муки, меду, хмелю* и прочего — 74—1—1—9; сторговать вос семенного *овсу* — 121—4—5; будучи обпиться *кумызу*. . . — 117—1—1—365. К этой же группе относятся словоформы *квасу, харчу, лесу, корму, бойбереку, дыму, льну* и др.

Но особенно показательно употребление флексии *-у* среди существительных с отвлеченным значением: для *допросу* — 231—1—13—79; для *розливу* напитков — 119—1—1; для *договору* — 33—1—16—163 об.; после *бунту* — 115—17—14; для *содержу* скота — 74—9—9.

Обычно это однотипные по структуре предложно-падежные формы односложных или осложненных приставкой отглагольных существительных с предлогами *для, от, у, из, до, без*: *после побегу, для отъезду, для позыву, для зову, для посеву, для корму, от доходу, для осмотру, без закладу, для наряду, без изъяну, от удару, без отвозу, с наиму, для сыску* и др. В ряде клише, свойственных деловой речи, принята только флексия *-у*: *без всякого письменного виду; напредь сего воровства, розбою, смертного убивства и побегов не чинивал* (*а*) — 44—2—41—7; *для сыску; отроду себе* имею. . . леть или от *роду ему*. . . Окончание *-у* в родительном падеже ед. ч. совершенно не зафиксировано в наших памятниках письменности для одушевленных имен существительных мужского рода, как, впрочем, и в московской речи XVII в., по наблюдениям С. И. Коткова,[7] в ПМДП встречаются разные по семантике заимствования с флексией *-у*: *проценту, резону, экипажу, штрафу, провианту, апартаменту*.

Конкретные существительные со значением места, пространства, местности, не обнаруживают строгой тенденции к однотипному оформлению родительного падежа. Так, в ПМДП и ЮУДП существительное *дом* с генетической основой на **-й* допускает обе флексии: учния впачале около *дома*. . . осмотръ — 121—1—272; то они учния впачале около дому своего:. . . осмотръ — 121—1—273. Однако флексия *-у* встречается достаточно часто: близ земляного *городу* — 249, л. 23 об.; из оного моего *саду* = № 254, л. 170 об.; возле *валу* — № 112, л. 172; мимо Солодового *ряду* — 214, л. 42 и др. Эти формы зафиксированы в тех частях документов, которые свободны от штампов и в большей мере отражают живую разговорную речь. Любопытно отметить, что данные ПМДП и ЮУДП одного периода дают расхождение в варьировании словоформ *года/году*. На 204 словоформы *году* в 300 документах ПМДП (1771 году. . .) приходится всего лишь 8 словоформ *года* (1779 года). В 500 документах ЮУДП встретились 35 раз флексия *-у* (году) и 197 раз — флексия *-а* (года). Возможно, это связано с жанровыми различиями сравниваемых документов: флексия *-а* зафиксирована преимущественно в строгих штампах документов официальной канцелярии, тогда как флексия *-у* в частных письмах и при свободном изложении событий в сообщениях, допросах и т. д.

---

[7] *Котков С. И.* Московская речь. . ., с. 212.

Сравнение языкового материала, собранного по ПМДП и ЮУДП, с наблюдениями С. И. Коткова [8] над лексико-семантической базой и функционированием обоих падежных вариантов в грамотах XVII—начала XVIII в. показывает, что деловая письменность XVIII в. независимо от ее локальной характеристики на протяжении всего столетия сохраняла отмеченные тенденции оформления родительного падежа. Не случайно они в основном совпали с грамматической регламентацией М. В. Ломоносова и А. А. Барсова, ориентированной на отражение русского языка.

II. Нормализация форм предложного падежа существительных мужского рода с твердой основой связана с грамматической синонимией флексий — *ѣ—у* и совпадает с рекомендациями для литературного языка XVIII в. М. В. Ломоносова и А. А. Барсова.

Наши наблюдения над лексическим пластом имен мужского рода, получающих в ед. числе флексию *-у* в деловой письменности XVIII в., расходятся с общеизвестным тезисом о его совпадении в родительном и местном падежах. В языковой практике канцелярий предложный падеж реже оформляется флексией *-у*, чем родительный. Особенно это касается существительных с вещественным и отвлеченным значением. В художественной литературе XVIII в. формы на *-у* отражены богаче, чем в актовой деловой письменности.

В предложном же падеже с флексией *-у* употребляется лишь ограниченный круг имен: *промысел, долг, сыск, обыск*. При них стоят предлоги *в, на, о*, и они могут получать не только местное, но и изъяснительное значение. В ПМДП: а в торговом *промыслу* у меня в *долгу*. . . — № 143.28; о *сыску* помянутова беглова — № 259.46. Флексию *-у* принимает и уменьшительная форма: а в *промыслишку* моем. . . — № 140.44.

В ЮУДП: Указ *о сыску* бежавших — 44—2—29—4; он *в обыску* не одобренъ — 44—2—29—4; *о сыску* чумлятской слободы крестьянина Ивана Зайкова — 115—26—6.

Географические названия только изредка оформлялись в предложном падеже флексией *-у:* быть *в Селенгинску* — 72—1—53; содержусь в *Ундинску* — 74—1—1—53. Оба примера отмечены в текстах первой трети XVIII в., тогда как во второй половине столетия в таких названиях неизменно окончание *-е/ѣ*.

В московских и южноуральских документах наблюдаются колебания в оформлении предложного падежа от существительных *год, дом, корень, чин*. Формы на *-е* и на *-у* абсолютно тождественны по грамматическим и стилистическим условиям употребления: четыре лошади рядом в *корню* опасны, нежели толко одна пара *в корне* — ПМДП, № 116, л. 132 об.; хотя ты еще и в нижнем *чинѣ* офицерства, презирать свою должность недолжно, ибо кто в малинком *чину* обленчивъ и перачивъ, въ томъ и в болшемъ *чину* пути не будетъ — № 71, л. 39.

В анализируемых текстах нет с флексией *-у* в предложном падеже одушевленных существительных, что подтверждает выводы ученых

---

[8] *Котков С. И.* Лингвистическое источниковедение. . ., с. 197—199.

о диалектной южнорусской специализации флексии *-у* при одушевленных именах [9]. Основная же масса южноуральских говоров, по наблюдениям Г. А. Турбина, имеет генетические связи с русским Севером [10].

Количественное преобладание флексии *ѣ/е* в текстах московской и южноуральской деловой письменности при наличии складывающихся семантико-грамматических ограничений для параллельных форм на *-у* и сравнительно незначительных колебаний флексий *ѣ/у* в пределах одних и тех же односложных лексем с подвижным ударением ставит под сомнение заключение С. П. Обнорского о церковнославянском влиянии как главном факторе при становлении нормативного окончания в предложном падеже [11]. Флексию *-ѣ* едва ли правомерно считать для этого времени только признаком высокого стиля и церковнославянского воздействия на литературный язык. Она скорее нейтральна. Будучи генетически связана с общеславянским склонением на *-*о*, эта флексия на протяжении ряда столетий была традиционной, она сохранилась в живой речи и в отражавшей ее письменности как старославянской, так и собственно русской. Закрепление флексии *-у* за местным значением предложного падежа с предлогами *в* и *на*, по-видимому, началось и было интенсивным уже в деловом языке предшествующего периода, хотя и в конце XVII в. оно продолжает еще передаваться формами на *ѣ/е*.

Наблюдения над варьированием в формах родительного и предложного падежей именного склонения по материалам южноуральской и московской деловой письменности конца XVIII в. позволяют сделать некоторые обобщения:

1. В московской деловой письменности и текущем местном делопроизводстве система именного словоизменения обнаруживает наддиалектность и единство нормативных тенденций, что одинаково отражается на статусе морфологических вариантов. В родительном и предложном падежах единственного числа наметилась структурно-семантическая, акцентологическая и функциональная дифференциация грамматических синонимов в пределах одного и того же падежа. Однако в целом морфологическое варьирование в именной парадигме еще носит нейтральный характер и мало связано со стилистическими тонкостями речи.

2. В языке деловой письменности второй половины XVIII в. достаточно четко прослеживается непрерывность традиции в оформлении именного склонения в сравнении с приказным языком XVI—XVII вв. Устойчивость и преобладание высокочастотных общеславянских флексий *-а* — в род. п., *-ѣ* — предложном, вероятно, можно

---

[9] *Котков С. И.* Московская речь. . ., с. 216; *Хабургаев Г. А.* Формы склонения имен существительных в курских памятниках деловой письменности первой половины XVII века. АКД. М., 1956; *Демидова Г. И.* Значение имен существительных мужского рода предложного падежа с флексией *-у* в деловой локальной письменности XVII в. — В кн.: Грамматическая семантика языковых единиц. Вологда, 1981, с. 112—120.

[10] *Турбин Г. А.* Южноуральские говоры. Челябинск, 1979.

[11] *Обнорский С. П.* Указ. соч., с. 231.

расценивать как сохранение традиционных норм русской речи, в равной мере свойственных книжной письменности и живому языку.

3. Деловая письменность конца XVIII в., будучи одной из сфер функционирования литературного языка, вполне отвечает требованиям грамматической кодификации, намеченной для литературного языка М. В. Ломоносовым. Это было не столько отражением высокой письменной выучки авторов документов (в основном ими были сельские старосты, подканцеляристы, «пищики» и т. д.), сколько свидетельством демократичной ориентации литературной нормы на народную речь и строгие тенденции языка актовых документов.

ГЛАГОЛЬНЫЙ ПОСТФИКС *-СЯ* В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Л. Л. Гумецкая

В современном украинском языке глагольный постфикс *-ся*, по своему происхождению форма винительного падежа энклитического возвратного местоимения сѧ, и по своим формальным показателям (позиции после флексии и «прикрепленность» к ней), и по своей грамматической функции (выражение залогового значения в глаголе)) вполне соответствует термину «постфикс» и совпадает с его характеристикой в русском литературном языке.

Однако образование фиксированного постпозитивного суфф. *-ся* — явление сравнительно новое в украинском письменном языке, вошедшее в него не без длительной борьбы противоречивых мнений. Украинский письменно-литературный язык сформировался в недрах западноукраинских канцелярий XIV—XV вв. Западноукраинские земли, вошедшие в состав Польского королевства и Великого княжества Литовского, очутились в сравнительно новых политико-правовых условиях. Для понимания новых прав и обязанностей возникла необходимость открыть доступ к юридическим актам общепонятному разговорному языку [1].

Вместе с народным языком в староукраинский письменно-литературный язык проникают западноукраинские языковые особенности и их орфографическое отражение. К ним относится и трактовка частицы *-ся*. Так же, как и в восточнославянском изводе церковнославянского языка [2], и в старославянском языке, частица *-ся* не была фиксированной, могла стоять перед словоформой и даже отделяться от нее другими словами: Аще быша ми възѣстили оц҃а въставъша от мьртвыих, не быхъ *ся* тако *радовалъ*, яко о приходѣ твоемь (Усп. сб. 26).

---

[1] *Булаховський Л. А.* Виникнення і розвиток літературних мов. — В кн.: Вибрані твори в п''яти томах, К., 1976, т. I, с. 326—328.

[2] *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка, СПб., 1903, т. III, с. 12.

В староукраинских грамотах XIV—XV вв. частица *-ся* стоит перед глаголом после орфотонического местоимения, как правило, в формулах датировки: а то сѧ *дѣяло*. . . м/с/ца июля кз̄ днь̄ (Львов, 1386)[3], а также в формулах санкции за нарушение выраженного в грамоте завещания: а кто сѧ *покуси/т/* порушити тому да буде/т/ съпорнщѣ прч/с/ таа б/д/цѣ (без места написания, 1422) [4]. В редких случаях в староукраинских грамотах встречается орфотоническая частица *-ся* в позиции после проклитических предлогов (*за ся*, *мимо ся*). Исследователь украинского лемковского говора. И. Верхратский записал образцы речи лемков: просит до ся госців; зняв жупан зо *ся* [5]. Как отмечает Е. К. Тимченко, украинские юго-западные говоры сохраняют древнюю восточнославянскую традицию, употребляя при стечении двух возвратных глаголов в одном предложении только один раз частицу *-ся*: ми *ся посходили* радити що нам далі робити [6].

Большую роль в становлении староукраинской деловой речи сыграли исторические события, приведшие к объединению в одном государственном организме, Великом княжестве Литовском, белорусских и значительной части украинских земель с Волынью. Волынь же, как на это указывают исследователи,[7] отличал наиболее высокий культурный уровень и ей Великое княжество Литовское было обязано значительной частью интеллектуальной элиты. Близкой была связь этих земель и с украинскими землями, которые вошли в состав польской короны, связанной персональной унией с Великим княжеством Литовским. Организация в Вильне великокняжеской канцелярии, изготовлявшей государственные документы на созданном в Галиции актовом языке, генетическая близость белорусского и украинского языков содействовали, не без влияния образцов старочешской «листины», сформированию украинско-белорусского, «западнорусского» («західнорускього») письменного языка, имевшего наддиалектный характер и обслуживавшего всю украинскую этническую территорию до конца XVIII ст. преимущественно в деловой письменности [8]. В XIV—XV вв. староукраинский язык стал языком государственной канцелярии молдавского воеводы.

Само собой разумеется, что охватывая столь обширное пространство, староукраинский деловой язык подвергался влиянию наречий

---

[3] Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. К., 1976, т. I, с. 341.

[4] Там же, т. II, с. 180.

[5] *Гумецька Л. Л.* Нариси словотворчої системи української актової мови XIV—XV ст. К., 1958, с. 158, 159; *Верхратскій І.* Про говор галицьких лемків. — Збірник філол. секції. НТШ, Львов. 1902, т. V, с. 126.

[6] *Залеський А. М.* Частка *ся* у південно-західних говорах української мови. — В кн.: Українська діалектна морфологія, К., 1969, с. 94—109; *Тимченко Е. К.* Одна діалектна особливість вживання морфеми *ся*. — Мовознавство, 1948, с. 74, 75.

[7] *Stang Chr. S.* Die westrussische Kanzleisprache Litauens. Oslo, 1935, S. 21, 155; *Martel A.* La langue polonaise dans les pays ruthènes, Ukraine et Russie Blanche. 1569—1667. Lille, 1938, p. 23.

[8] Ср.: Ділова і народнорозмовна мова XVIII ст. (Матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України). К., 1976.

и говоров, на территории которых он употреблялся, в первую очередь на левобережной Украине. Политематическая литература XVI в., сменившая однотипность делового языка предыдущего периода, вызвала потребность в стилевой дифференциации средств языка. «Западнорусский» письменно-литературный язык расщепляется на две разновидности, «простой», или «руський» и «славяноруський» язык, пребывающие в постоянном взаимодействии и практически иногда трудноразличимые. Оба варианта письменно-литературного языка XVI—XVII вв. — «простой», «руський», и «славяноруський»— сохраняют свой общий, украинско-белорусский характер.

«Простой», «руський» язык был лексикографически обработан в известном Лексиконе Памвы Берынды 1627 г.[9] и описан в грамматике И. Ужевича 1643 г.[10]

На всем протяжении функционирования «западнорусского» письменного языка частица *-ся* писалась раздельно и употреблялась в постпозиции и препозиции. Это соответствовало и диалектной базе «западнорусского» языка, и образцам церковнославянского и старославянского языков. В Левобережной Украине, объединившейся в половине XVII в. с Московским государством, на украинский письменно-литературный язык и его орфографию начинает влиять русский язык и его орфографическая практика. Два варианта украинского литературного языка, восточный (в границах России) и западный (в границах Австрии и затем Польши), начинают развиваться порознь, не во всем совпадая друг с другом. Валуевский циркуляр 1863 г. о запрещении печатных изданий на украинском языке переносит центр тяжести культурной и издательской деятельности на украинском языке во Львов. Выходящие здесь издания на украинском языке западного варианта не вполне совпадали в лексике, грамматике и правописании с практикой восточной части Украины. Само собой, что такое положение вещей не могло содействовать выработке стабильных норм украинского литературного языка.

С присоединением Западной Украины к России возникла настоятельная необходимость унификации норм украинского литературного языка и его правописания путем согласования расхождений между восточной и западной литературной практикой. Создание с этой целью в 30-е годы комиссии из представителей языковедов и культурных работников западных и восточных областей Украины не привело к желаемому результату. Любопытно, что наиболее горячие споры вызывал проект правописания, в частности вопрос слитного или раздельного написания частицы *-ся*. Великая Отечественная война отодвинула на задний план заботы об унификации украинского литературного языка. После войны эта проблема возникла вновь.

Приверженность представителей Западной Украины к раздельному правописанию глагольной частицы *-ся* была продиктована

[9] Лексикон славенороський Памви Берынди. К.: Вид-во АН УССР, 1961.

[10] Граматыка словенская написана пре[з] Іоанна Ужевича словянина славной Академіи Парижском в Теологіи студента в Парижу. Року от нарожения Сна Бжого 1643. К., 1970.

не столько привычкой, выработанной столетиями в письменности, сколько сознанием живости в юго-западных народных говорах их характерной особенности — свободной, нефиксированной позиции *-ся*, возможности употребления ее в постпозиции и препозиции и даже — отделения ее от словоформы несколькими словами. Эта древняя черта староукраинского, церковнославянского древнерусского извода и старославянского языка сохранилась живой в юго-западных говорах Украины. Например, в закарпатских: Так він *ся старав*; в лемковских: Тот *ся* в ночи *обудив*; в бойковских: І єму *ся приснив* такий сон: в гуцульских: на паню встала, лиш не хоче *ся* до нас *признати*, ще гуцулка мама; в наддністрянских: Він находив ся до нас, жоби я *ся* з єго донькою *женив*. Изоглосса этого явления, выведенная при картографировании второго тома Атласа украинского языка, почти совпадает с древней границей Галицкого и Волынского княжеств [11]. Староукраинские грамоты из галицкой и волынской земель подтверждают это наблюдение.

Как видно, позиция приглагольной частицы *-ся* отражает некоторое диалектное расслоение в украинских юго-западных говорах. В то время как в грамотах с территории Галиции преобладает препозитивная позиция глагольной частицы *-ся* (черта — живая и сегодня на этой территории), в грамотах из волынской земли частица *-ся* выступает большей частью постпозитивно и выявляет тенденцию к переходу в глагольный суффикс.

При наличии двух возвратных глаголов с частицей *-ся* в одном предложении эта частица может употребляться только один раз, соотносясь с двумя глаголами: Тобі *ся* хоче *бавити*? (Тернопольская обл.) [12].

Навряд ли можно вслед за польским языковедом К. Дейной усматривать в препозитивном употреблении частицы *-ся* в юго-западных украинских говорах влияние польского языка [13]. Во-первых, препозиция частицы *-ся* известна уже в первых письменных памятниках украинского языка, т. е. с XIV в. Во-вторых, как правильно заметил А. М. Залеский, препозитивное употребление частицы *-ся* встречается в говорах, которые никогда не испытывали влияния польского языка, например в закарпатских. Нефиксированная глагольная частица *-ся* в препозитивном и постпозитивном употреблении свойственна не одному польскому, но всей группе западнославянских языков [14]. Западный вариант украинского языка имеет немало черт общих с западной группой славянских языков на всех уровнях языка. Ф. П. Филин, рассматривая лексику староукраинского словаря XIV—XV вв., обратил внимание на лексические параллелизмы в западнославянских языках. По убедительному мнению ученого, корни

---

[11] Ср.: *Залеський А. М.* Указ. соч. (Все приведенные примеры заимствованы из этой статьи).
[12] *Гумецкая Л. Л.* Указ. соч., с. 231.
[13] *Залеський А. М.* Указ. соч., с. 101.
[14] Ср.: *Залеський А. М.* Указ. соч., с. 101; *Dejna K.* Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny. Wroclaw 1957, s. 121.

этого явления восходят к праславянскому языку, к зоне диалектов, положивших начало некоторым чертам в западнославянских языках и в юго-западной группе украинских говоров [15]. К таким явлениям, по-видимому, относятся рассмотренные особенности употребления частицы *-ся*.

[15] *Филин. Ф. П.* О некоторых особенностях лексики восточнославянских языков. — ВЯ, № 1983, № 1, с. 1—15.

ВАРИАНТНОСТЬ ФОРМ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА В ЯЗЫКЕ ПАМЯТНИКОВ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ XVI—XVII ВВ.

Е. И. Кедайтене

Во второй половине XVI и в XVII в. в юго-западной Руси, где смыкались «греко-славянский» и «греко-латинский» миры, сложилось своеобразное многоязычие: здесь параллельно функционировали книжно-славянский, польский, латинский, литовский и западнорусский литературные языки [1]. Последний называли «русскою мовою», «российским языком», «русским языком» и «простою мовою». Это был единый литературно-письменный язык с двумя — в основном фонетическими — вариантами: украинским и белорусским, которые развивались на основе живой народной речи и вместе с тем испытали воздействие польско-латинской книжности [2]. «Русскою мовою» написана чрезвычайно популярная в XVI—XVII вв. публицистика юго-западной Руси, в которой под видом защиты богословских доктрин обсуждались жизненно важные для украинского и белорусского народов политические, экономические и религиозные проблемы. Полемическая литература была действенным средством борьбы против феодального и национального религиозного угнетения, борьбы за собственную веру, язык и культуру украинского и белорусского народов. В острой полемике формировались, оттачивались и обновлялись речевые средства этого жанра литературного языка.

Для исследования морфологического варьирования имен существительных мужского рода ед. ч. были взяты три важнейших руко-

[1] *Толстой Н. И.* Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.). — В кн.: Славянское языкознание. Докл. сов. делегации. V Международный съезд славистов. М., 1963, с. 245.

[2] *Гумецкая Л. Л.* Вопросы украинско-белорусских языковых связей древнего периода. — ВЯ, 1965, № 2, с. 44; *Плющ П. П.* Русская «простая мова» на Украине в XVI—XVIII веках. — В кн.: Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961, с. 220.

писных памятника полемической литературы, написанных на разных территориях юго-западной Руси: «Диариуш» А. Филипповича, созданный в Бресте, «Порада» И. Вышенского и анонимный памятник «Пересторога», написанные львовянами.

При изучении вариантности форм встает вопрос о языковой норме. Следует заметить, что языковая норма здесь понимается не как кодифицированная норма, а как норма, отражающая языковое сознание общества. К одной из особенностей норм литературно-письменного языка древнего периода восточных славян исследователи относят традиционные генетические связи со старославянской письменностью. Но вместе с тем необходимо также отметить, что расширение функций донационального языка и различные реформационные веяния, проникшие на Украину и Белоруссию с Запада, способствовали употреблению в западно-русском литературном языке народных элементов. В результате в нем появлялись вначале стилистически нейтральные, а со временем стилистически дифференцированные дублеты, которые вследствие широкого проникновения в письменные источники постепенно приобретали значение вариантов нормы [3]. «Новые элементы, проникающие в язык (инновации) и утверждающиеся в нем, имеют, как правило, характер вариантов по отношению к традиционным элементам» [4].

При функциональном анализе словоформ из этих текстов использовались выделительные классифицирующие и структурные приемы.

Собранный материал наглядно указывает на неупорядоченность в употреблении формы на *-а* соотносительно с другой возможной для родительного падежа формой *-у*. Но, несмотря на отсутствие строгой дифференциации при выборе флексий родительного падежа, следует отметить зарождающуюся тенденцию к закреплению той или иной формы за определенными лексико-семантическими группами слов. Распределение этих форм зависело также от стилистического использования лексики. Традиционно-книжная форма на *-а* является регулярной у одушевленных имен существительных. Падежную морфему *-у* принимают неодушевленные имена существительные. Эта форма отмечается исследователями в памятниках XI—XV вв[5]., получает все большее распространение в памятниках XVI—XVII вв.[6] В наших рукописях она представлена

---

[3] *Русановский В. М.* Вопросы нормы на разных этапах истории литературного языка. — ВЯ, 1970, № 4, с. 58; *Журавский А. И.* Некоторые особенности взаимодействия древнеславянского и белорусского литературных языков. — В кн.: Сов. славяновед., 1965, № 2, с. 48.

[4] *Jedlička A.* Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy. — Sas, 1968, XXIX, 2, s. 120.

[5] *Kuraszkiewicz W.* Gramoty halicko-wołynskie XIV—XV wieku. — In: Studium językowe. Kraków, 1934, s. 107.

[6] *Керницький І. М.* Відміна іменників чоловічого роду в мові українських пам'яток XVI ст. — Дослідження і матеріали з української мови, 1960, т. 2, с. 49—53; *Москальова Н. П.* Відмінювання іменників другої відміни за даними Полтавських актових книг другої половини XVII століття. — Наукові зап. Запорізьк. пед. ін-ту, 1957, т. 4, с. 245—246.

у неодушевленных имен существительных мужского рода отвлеченной семантики: А што ж ты маеш за скарбъ разумъ (Порада, 246); без всякого встыду (Пересторога, 121); з гнѣвъ мовилъ (Диариуш, 151 об.). Отчасти у существительных с собирательным и конкретным значением: скъпостїю корчемного торгъ. . . людское чрево щдѣваеши (Порада, 256); вшол король с покою своего до покою, где сенаторове. . . были (Пересторога, 115); которого листу копїа (Диариуш, 173 об.); Мой дом, дом ест молитвы, а не вертепъ и корчмы и ярмаркъ (Порада, 258 об.). Однако еще нередко одно и то же слово с отвлеченным или конкретным значением может употребляться параллельно то в той, то в другой форме. Например, в «Пораде» И. Вышенского: и щт кръви и похоти, щт смрада родячїеса пошлахтѣли и попышнѣли есте (257 об.); а сам в пелюхах смрадъ несытства всѣгды са валаеш? (252). Следует заметить, что в грамматике М. Смотрицкого в родительном падеже засвидетельствована только флексия *-а* у существительных с былой основой **о*, **jo*. В основном в «Пораде» автором используется традиционная флексия *-а*, в «Пересторогe» значительно чаще употребляется народно-разговорная флексия *-у*. Интересны в этом плане показания третьего памятника «Диариуша». Здесь одни имена существительные мужского рода с древними основами на **о*, **jo*, **й* имеют только флексию *-а*, другие — только *-у*. Параллельное употребление этих флексий у одного и того же существительного не находим.

Распределение анализируемых флексий обусловлено не только лексико-семантическими и стилистическими условиями, но и функциональными — употреблением существительных в адвербиальном или атрибутивном значениях. Морфема *-у* закрепляется за существительными в обстоятельственном употреблении, а точнее — со значением времени: щт всходъ солнца (Пересторога, 120); до немалогр часъ (Там же, 105); нынѣшнего часу (Там же, 126); одъ оного часу (Диариуш, 176); щд того часу (Там же, 159). Флексия *-у* становится регулярной у слова «часъ».

Широкое распространение эта флексия получила также у существительных, указывающих направление действия или место действия: до замкъ приѣхавши (Диариуш, 167 об.); вели его до борку (Там же, 177); недалеко былъ отъ обозу (Там же, 177 об.); с чим до дому поехалъ (Пересторога, 120); до Рыму выпровадилъ (Там же, 109).

При атрибутивном функционировании регулярной становится флексия *-а*: щт створена свѣта (Пересторога, 124); и щбрати свои щчи помысла на себе самого (Порада, 254 об.).

В заключение следует отметить еще одно грамматическое явление — это неизменяемость в единственном числе существительных, заимствованных из латинского языка с формантом *-умъ*: юж бо вѣм ваги несправедливости до самого центрумъ припали (Диариуш, 155); По жалосной смерьти короля Августа под час интерегнумъ на сеймі в Варшави рокъ АФНГ так варовано (Там же, 169 об.).

В дательном падеже лексика одного и того же морфологического класса выражает падежное значение двумя формами: *-у(-ю)* и *-ови(-еви)*, перешедшей из древних основ на **-й*.

В «Пораде» у имен существительных мужского рода засвидетельствована традиционная флексия -у(-ю): тот, которій миръ семъ . . . слъжит (257—257 об.); бо из мира изыйде и ко бжджіемъ вѣкъ (230) и многие другие. Только в двух случаях у имен одушевленных находим флексию *-ови(-еви)*: Зась ѡборачаючися к тобѣ, ржгателе*ви* иноческого чинъ (245); Томъ небора*кови* в месяцъ разтрафится напитися (256). В «Пересторозе», где как отмечалось, выше, заметное отражение получил народно-разговорный язык, имена существительные мужского рода наряду с традиционным окончанием имеют и флексию *-ови*. Эта форма становится употребительной у одушевленных существительных: не далъ на тот час бъдъчему капцелер*ови* Замоцскому (115); не будешъ товаришом кесар*ови* (123); ѡтдали волк*ови* ѡвечку (108); И такъ допеслъ тое бискуп*ови* луцкомъ (109). Нередко у этих существительных представлено параллельное употребление флексий *-у(-ю)* и *-ови(-еви)*: епископ*у* рымскому (126); епископ*ови* володимерскому (106); дано патриархъ (106); свѧтѣйшому патрїархо*ви* (104); посполитомъ человѣк*ови* (103); земпому человѣк*у* (120); цесарь турскому (114); цесар*ови* турецкому (110). У неодушевленных существительных падежная морфема *-ови* сохранилась у слов с основой на **й*: ку дом*ови* своему от'ехал (109). В грамматике М. Смотрицкого засвидетельствованы два варианта этого слова: *домъ* или *домови*, причем в первую очередь указана флексия *-у*.

Описываемая флексия *-ови(еви)* была весьма распространена в летописях древнерусского языка [7] и почти неупотребительна в деловой письменности. Это дало основание П. Лавровскому говорить о том, что падежная морфема *-ови(-еви)* давно потерялась в языке народа и сохранилась лишь на письме либо под влиянием церковнославянского языка, либо как осколок старины.

В памятниках же староукраинского языка данная форма получила широкое распространение. Она засвидетельствована в письменности XV в.[8], а также в памятниках различных жанров XVI—XVII вв.[9] Ее знают многие украинские говоры, о чем свидетельствуют исследования П. И. Приступы, Д. Г. Бандровского и других ученых. Поэтому можно безошибочно заключить, что наличие флексии *-ови(-еви)* в языке данной рукописи является отражением живого языка; в говорах Львовщины, на территории которых написана «Пересторога также употребляется эта флексия.

Подобную картину использования форм дательного падежа наблюдаем в «Диариуше» — памятнике старобелорусской письменности. Наряду с падежной морфемой *-у* обильно представлена *-ови*. Последняя

---

[7] *Лавровский П.* О языке северных русских летописей. СПб., 1852, с. 57; *Борковский В. И.* О языке Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку. — Тр. Комиссии по рус. яз. Л., 1931, т. I, с. 55—56.

[8] *Самійленко С. П.* Нариси з історичної морфології української мови. К., 1964, с. 119.

[9] *Коломієць Л. І.* З історії флексії давального відмінка однини іменників в чоловічого роду *-ові*. — В кн.: Питання історичного розвитку української мови. К., 1962, т. X, с. 212; *Кернцький І. М.* Система словозміни в українській мові. К., 1967, с. 41—46.

была известна памятникам старобелорусского языка [10]. Е. Ф. Карский полагал, что эта флексия проникла в письменный старобелорусский язык под влиянием соседних украинских говоров и польского языка [11]. Следует отметить, что эту флексию знают белорусские говоры, находящиеся в Брестской обл.[12], где, как уже отмечалось, был создан этот памятник. В нем регулярный формой у одушевленных имен существительных является *-ови(-еви)*: казали тому гайдук*ови* (177 об.); священноиноков*и* бород*ѹ* урѣзалъ (150); выдать рымскому папе*жови* (163) и многие другие. У неодушевленных существительных лишь два случая с данной флексией: рымскому костел*ови* (170); час*ови* щасливому (160 об.). Исконная флексия *-у(-ю)* употребляется безотносительно к одушевленности — неодушевленности существительных: историю списавши цар*ю* Московскому (159); кресту честному (171) и т. д.

Таким образом, падежная морфема *-ови*, являясь стилистическим вариантом к традиционной морфеме *-у*, распространилась на одушевленные имена существительные и стала если не главным, то распространенным средством выражения значений дательного падежа.

В м е с т н о м п а д е ж е ведущей флексией в изучаемых памятниках является флексия *-ѣ(е)*. Кроме того, заметное расширение получает флексия *-у* (для твердых основ) и *-и*, *-ю* (для мягких основ).

Исконная падежная морфема *-ѣ* зафиксирована во всех памятниках: еще ни во снѣ тобѣ ѡ том приснитисѧ не может? (Порада, 237 об.); быти мудръ в вѣцѣ сем (Там же, 236); ѹ гнѣвѣ былъ (Пересторога, 108); на своем возѣ возил (Там же, 107); мѣль столокъ в сенатѣ (Диариуш, 165).

Особенно последовательно окончание *-ѣ* употребляется в тексте «Порады» (язык этого памятника не подвергался влиянию народно-разговорного языка). В «Диариуше», возможно, под влиянием фонетики живого разговорного украинского языка находим флексию *-и* (из *-ѣ*): повѣдаю ѡ том голос*и* (149); былъ въ Кіев*и* (160).

Во многих же случаях отмечается сосуществование различных флексий (*-ѣ*, *-е*, *-и*): на сеймѣ мовили (Пересторога, 112); на сейм*е* мовити хотят (Там же); во Львовѣ ѹфѹндовали (Там же, 104); также есть и ве Львов*е* (Там же, 102); на прошломъ сеймѣ (Диариуш, 162 об.); Потом бывши ми на сейм*и* (Там же, 154 об.).

В исследуемых памятниках распространена и другая падежная морфема —морфема *-у(-ю)*, особенно в произведениях, отражающих народно-разговорный язык: в келихѹ вино ѹ водѹ сѧ премѣнило (Пересторога, III); И пишет Потей в тых же остатных книжках своих нынѣшних ѡ новом календар*у* (Там же, 121); въ томъ же замк*у* Берестейском (Диариуш, 177); въ склепик*у* поховали (Там же, 178).

---

[10] *Булыка А. М., Жураўскі А. І., Крамко І. І.* Гістарычная марфалогія беларускай мовы. Мінск, 1979, с. 24—31.

[11] *Карский Е. Ф.* Белорусы. М., 1956, вып. 2—3, с. 125.

[12] *Мацкевич Ю. Ф., Мурашко А. Г., Орешонкова А. В.* Об итогах работы по составлению атласа белорусских народных говоров. — В кн.: Вопросы диалектологии восточнославянских языков. М., 1964, с. 40.

Флексия *-у*, получившая столь широкое распространение в памятниках письменности, проникла «от основ на **й*, чему содействовали такие причины, как: стремление уклониться от обычного смягчения заднеязычных перед *-е* из *-ѣ*, влияние падежа дательного, который в белорусских говорах иногда заменяет местный, особенно после предлогов, сочиняющихся в белорусском с местным вместо обычного дательного: сюда же принадлежит и влияние польского языка» [13].

В наших памятниках наблюдается неупорядоченность в оформлении падежными морфемами местного падежа. Однако уже намечается тенденция к закреплению образований на *-у* за одним из значений местного падежа — а именно: пространственным в конструкции с предлогами *в* и *на*. Примеры из «Перестороги»: быти ѡ ѡстрогѣ (110); дали ести его всадити во иншом мѣстѣ в Городку (121): в монастырѣ (117). Примеры из «Дарiуша»: в другом своемъ монастырѣ (176 об.); в скѣткѣ своемъ зостанет (164); в нерадным домѣ (171 об.); (здесь *-у*— исконная флексия); на ночлѣгу (149).

Таким образом, морфема *-у* в местном падеже выступает как функциональный вариант по отношению к основной форме на *-ѣ* (*-е* из-ѣ и *-и* из *-ѣ*) с тенденцией стать вариантом стилистическим.

[13] *Карский Е. Ф.* Указ. соч., с. 131.

ЭЛЕМЕНТ-*ТЪ(-ТЬ)* В ФОРМАХ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ДРЕВНЕРУССКОГО ГЛАГОЛА

С. П. Лопушанская

1. Интерес к истории простых форм прошедшего времени и их функционированию в древнерусском тексте значительно возрос. Так, в коллективной монографии, изданной под редакцией В. И. Борковского, по материалам древнерусских памятников дается подробная характеристика сказуемого, выраженного глаголом в формах аориста и имперфекта [1]. Однако в задачи этой книги не входило рассмотрение таких частных морфологических явлений, как осложнение претеритальных форм элементом *-тъ(-ть)*.

Названный элемент традиционно характеризуется как аналогическое заимствование из форм настоящего времени. Данная традиция сложилась еще в XIX в. и основывается на высказываниях старших языковедов. Ф. Миклошич в специальном разделе «Усеченные личные наставки» писал: «В 3 лице ед. может вопреки правилу попадаться наставка *тъ*, которая присоединена не «для благозвучия», как думает Востоков. . ., но, может быть, зашла сюда из-

[1] Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. М.: Наука, 1978, с. 43—51.

настоящего» [2]. Ф. И. Буслаев называл элемент *-тъ* в 3 л. ед. числа аориста «признаком этого лица» [3], а в ед. и мн. числе имперфекта отмечал «показатель 3-го лица *-ть*» [4]. Об элементе *-тъ(-ть)* писали А. А. Потебня [5] и А. И. Соболевский [6] как об окончании; С. П. Обнорский назвал это *-тъ(-ть)* надставочным элементом [7]. При всех терминологических различиях в работах этих ученых употребление элемента, осложнявшего формы простых претеритов, объясняется влиянием настоящего времени. Традиционное толкование возникновения *-тъ(-ть)* в аористе и имперфекте сохраняется в учебной и научной литературе до сих пор [8].

В начале XX в. было высказано и другое мнение. На основе анализа десяти старославянских памятников письменности Г. А. Ильинский показал, что формы аориста во 2 и 3 л. ед. числа у глаголов *клати, жьрѣти* и *бити* с элементом *-тъ* древнее, чем без него [9]. Таким образом, на происхождение и статус элемента *-тъ(-ть)* в формах прошедшего времени существуют различные точки зрения, свидетельствующие о том, что интересующий нас вопрос еще не имеет решения и, следовательно, новый подход к его осмыслению вполне возможен.

2. Рассмотрение частных языковых явлений, как известно, соприкасается с целым рядом общих закономерностей, что особенно характерно для диахронического анализа. В этом отношении гипотеза о появлении элемента *-тъ(-ть)* в формах прошедшего времени под влиянием форм презенса не позволяет ответить на следующие вопросы: почему анализируемый элемент широко представлен как в аористе, так и в имперфекте лишь в памятниках восточнославянской письменности; какова была функционально-семантическая роль претеритальных образований с элементом *-тъ(ть)* и насколько оправдано предположение о связи этого явления с преодолением омонимии в формах 2 и 3 л. ед. числа; возможно ли взаимодействие суффиксов-флексий в парадигмах, образованных от первой, презентной, и второй, претеритальной, глагольных основ [10].

---

[2] *Миклошич Фр.* Сравнительная морфология славянских языков. М., 1887, вып. I, с. 86—87.

[3] *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1959, с. 175.

[4] Там же, с. 176.

[5] *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М., 1977, т. IV, вып. 2, с. 173.

[6] *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 3-е изд., М. 1903, с. 158.

[7] *Обнорский С. П.* Избр. работы по русскому языку. М., 1960, с. 60.

[8] См.: Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М.: Наука, 1982, с. 69, 70, 76.

[9] *Ильинский Г. А.* Из истории старославянского аориста. — ИОРЯС, 1900, кн. I, т. V, с. 198.

[10] Считая глагольной основой звуковой комплекс, представляющий морфологическую базу для образования определенных глагольных форм в пределах одного вида, выделяем в древнерусском глаголе первую, презентную, основу (O_1) и вторую, претеритальную основу (O_2), а также их морфологизированный вариант (O_3). Единая сложная морфема, противостоящая в глагольных формах основе, выделяется как суффикс-флексия (СФ). См. об этом: *Лопушанская С. П.* Основные тенденции эволюции простых претеритов в древнерусском книжном языке. Казань, 1975, с. 48—58.

3. Ответить на эти и другие вопросы, возникающие при анализе простых форм прошедшего времени, представляется возможным, если аористные и имперфектные образования рассматривать не изолированно, а в системном противопоставлении как в плане содержания, так и в плане выражения. При таком подходе обнаруживается интересная закономерность: в древнерусских памятниках элемент *-тъ(-ть)* зафиксирован в аористе у глаголов типа *клати, мрѣти, ѧти, бити, пити, пѣти* и подобных, т. е. у глаголов с чередующимися гласными в исходе односложной корневой морфемы, тогда как в имперфектных образованиях данных глаголов в памятниках XI—XII вв. элемент *-тъ(-ть)* не отмечен. И наоборот, формы имперфекта употребляются в глаголах, у которых в старославянских и ранних восточнославянских памятниках не зафиксирован осложняющий элемент в аористе [11].

Примеры использования аористных и имперфектных образований, осложненных элементом *-тъ(-ть)* в личных формах 2 л., либо 3 л. ед. числа и 3 л. мн. ч., представлены по-разному в древних текстах XI—XII вв. и более позднего периода.

Формы 2 л. ед. ч. аориста и имперфекта в памятниках восточнославянской письменности встречаются довольно редко, поэтому и образования с осложняющим элементом единичны: ѡтвѣща адъ и рече. клатъ (аорист) ма силами. . . нъ мною ли. . . хощеши оправьданъ быти (Усп. сб.). Два случая на *-шеть*, относящихся ко 2 л. ед. ч., приводит А. А. Потебня [12]: помнишь ли. . . въ которыхъ портѣхъ пришелъ бяшеть? (имперфект вспомогательного глагола в составе плюсквамперфекта. — Лет. Ипат.); ты бо иного молвяшеть, господине (имперфект. — Там же).

Формы 3 л. ед. числа аориста и имперфекта широко представлены в древних текстах, поэтому их можно распределить по формообразующим классам, по типам глагольных основ и по характеру фиксируемого элемента *-тъ(-ть)*. При этом используется предложенная ранее классификация глаголов, учитывающая эволюцию соотношения претеритальной (O_2) и презентной (O_1) основ по признаку их равенства/неравенства в праславянском, древнерусском и современном русском языках [13]. Признак «равенство/неравенство» глагольных основ, релевантный для предложенной классификации, включает следующие составляющие: наличие морфонематического единства для O_2 и O_1, в котором маркирована финальная фонема; учет позиционных аллофонов этой исходной фонемы лишь при условии оформления морфологизированного варианта основы (O_3); выявление «равенства/неравенства» основ в результате анализа парадигматических отношений глагольных словоформ на морфологическом уровне в определенный период развития языка. Так, равенство

---

[11] Там же, с. 136—163.

[12] *Потебня А. А.* Указ. соч., с. 177.

[13] См. об этом: *Лопушанская С. П.* Руководство к изучению истории прошедших времен русского глагола. Казань, 1976, с. 19—20.

глагольных основ *пек-* $О_2$ и *пек-* $О_1$ устанавливается для праславянского **pek-tělʲ/pek-ăt*, для древнерусского *печи*, *пек-охъ*, *пек-ла/пек-у*, *печ-еши*, для современного русского соотношения словоформ *печь*, *пек-ла/пек-у*, *печ-ёшь* без учета позиционного варианта (ч) финальной, маркированной фонемы (*к*). В то же время изменение исходной фонемы может привести к появлению морфологизированного варианта глагольной основы. Например, *владěj-* $О_1$ (настоящее время *владěю*); *владě-* $О_2$ (инфинитив *владěти*, аорист *владěща*); *влад'-* $О_3$ (имперфект *владяхоу*).

В соответствии с рассмотренными принципами выделяются три класса, в которые входят продуктивные и непродуктивные глаголы всех типов спряжения, а также четвертый класс изолированных глаголов нетематического спряжения.

Первый класс составляют глаголы, у которых и в праславянском, и в древнерусском, и в современном русском языках установлено равенство глагольных основ. Это глаголы с согласной фонемой в исходе $О_2$ и $О_1$, например, *нес-ти/нес-у*. Именно о таких глаголах А. А. Потебня писал: «глаголы, как *вез-у*, не принадлежат к числу тех, в коих темы (=основы. — *С. Л.*) неопределенного наклонения в настоящем времени различны, ибо в них тема настоящего времени есть *вез* (как и неопределенного наклонения)» [14]. Следует сюда отнести и глаголы с инфиксом *-n-* в праславянской презентной основе, у которых в исторический период $О_2$ и $О_1$ различаются характером гласных (*лечь/ляг-у*, *сесть/сяд-у*).

В аористе у глаголов первого класса осложняющий элемент ни в старославянских, ни восточнославянских памятниках XI в. не отмечен, тогда как форма имперфекта 3 л. ед. ч. *ляжашеть* употреблена в Архангельском евангелии 1092 г. и в Житии Феодосия Печерского (по списку XII в.): Не бо николи же на ребрѣхъ своихъ *ляжашеть*.

В более поздних древнерусских текстах, главным образом в летописях, встречаются формы аориста 3 л. ед. ч. с *-тъ(-ть)* в глаголах *речи/рек-у*; *мочи/мог-у*; *беречи/берег-у*. Например: Изяславъ же то видивъ, *речеть* дружинѣ (Лет. Ипат.). Разночтения в различных летописных списках убеждают, что формы *не можеть* (там же) *не бережеть* (там же) также являются аористными образованиями [15].

Важно обратить внимание на то, что осложняющий элемент в перечисленных глаголах отсутствует в формах имперфекта.

Что же касается других глаголов первого класса, то у них осложняющий элемент не зафиксирован в аористе, а формы имперфекта осложнены. Например: (Феодосии) *облечашети* и въ мьнишьскоую одежю. . . и *оболочашети* и въ мантию (Усп. сб.); *чтяшеть* и Ростиславъ (Пов. вр. лет). В Успенском сборнике XII—XIII вв. формы имперфекта осложнены вариантом элемента *-ть*, в котором гласная уподоблена последующему указательному местоимению *и*. При этом

---

[14] *Потебня А. А.* Указ. соч., с. 292.
[15] Там же, с. 197—198.

в основе глагола отражено как старославянское неполногласие (*облечашети*), так и русское полногласие (*оболочашети*).

Второй класс составляют глаголы, для которых неравенство глагольных основ характерно и в праславянском, и в древнерусском, и в современном русском языках. Это глаголы с гласной фонемой в исходе претеритальной основы O_2 и с согласной — в исходе презентной O_1, например: *зъва-ти/зов-у*; *ста-ти/стан-у*; *боро-тися/бор-юся*;:*оумѣ-ти/оумѣj-у*; *кова-ти/куj-у*; *писа-ти/пиш-ю*; *дьржа-ти/дьрж-ю*; *горѣ-ти/гор-ю*; *ходи-ти/хож-ю*. У таких глаголов в 3 л. ед. ч. аориста осложняющий элемент, как правило, отсутствует, а в имперфекте он широко представлен в глаголах первого и второго спряжений.

Примеры осложненных имперфектных образований в Повести временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г.: *глаголашеть*, *подобашеть*, *помиловашеть*, *спряташеть*, *сѣтовашеться*, *обдьрьжашеть*. Имеются случаи использования имперфекта с элементом *-тъ*, о чем свидетельствуют написания типа *досташетца* (Новг. разд. XV в. См.: Сл. Ср. I, 713). Указанные и многие другие формы имперфекта на *-шеть* произведены от претеритальной основы O_2; осложненные образования могли также соотноситься с презентной основой O_1: *моуждашеть* (Ев. Остр., Лук.), *женяшеть* (Лет. Лавр.), *борящеться* (Пов. вр. лет), *измеляшеть* (Усп. сб.), *хожащеть* (Лет. Новг. I Комисс.). Кроме того, отмечены формы имперфекта на *-шеть*, образованные от морфологизированного варианта презентной основы:— O_3: *водяшеть*, *избавяшеть*, *възвратяшеться* (Пов. вр. лет), *родяшеть* (Лет. Ипат.), *трудяшеться*, *приносяшеть* (Пов. вр. лет).

Единичные случаи употребления форм аориста с элементом *-тъ*(*-ть*) отмечены в древнерусских памятниках XIII в. и более позднего периода у таких глаголов второго класса, которые в 3 л. ед. ч. в имперфекте этого элемента не имеют: Тако господь створи нам, созда, падшая *въставить* (аорист). Адамле преступленье прости (Лет. Лавр.). Здесь в контексте прошедших действий используются однородные сказуемые в форме аориста. Имперфект от глагола *въставити* в результате фонематических изменений соотносился с другим глаголом — *въставляти* (*въставляше*), однако эта форма в нашем материале не обнаружена.

К третьему классу отнесены глаголы, у которых в праславянском претеритальная и презентная основы были равны, имея в исходе корневой морфемы O_2 и O_1 сонант в составе дифтонгов или дифтонгических сочетаний: **klĭn—tĕl̥/klĭn—ăm*, **tĕr—tĕl̥/tĕr—ăm*, **bĕl̥—tĕl̥/bĕl̥—ăm*, **pĕl̥—tĕl̥/pĕl̥—ăm*, **pŏl̥—tĕl̥/pŏl̥—ăm*, **gĕl̥—tĕl̥/gĕl̥—ăm* (с более поздним вторичным сонантом *-i-* или *-u-*; ср.: верхнелужицк. *žiju*, словенск. *živejem*, др.-рус. *живоу*).

Вследствие фонематических изменений, происходивших прежде всего под влиянием тенденции к построению слога по принципу восходящей звучности, в старославянском и древнерусском языках O_2 и O_1 начинают различаться у глаголов этого класса: *кла-ти/клън-у*, *тере-ти* (*трѣ-ти*)/*тър-у*, *би-ти/бъj-у* (*биj-у*), *пи-ти/пьj-у*

(*пиj-у*), *пѣ-ти/поj-у*, *жи-ти/жив-у*. Наиболее ранние старославянские и древнерусские памятники отражают формы аориста с элементом *-тъ* именно от таких глаголов с чередующимися гласными в исходе корневой морфемы в составе $О_2$, тогда как осложненные формы имперфекта в этих рукописях у названных глаголов не отмечены.

Примеры употребления форм 3 л. ед. ч. аориста с элементом *-тъ* от глаголов третьего класса в Мстиславовом евангелии, написанном на рубеже XI—XII вв.: Въ оно врѣмѧ зачатъ елисавефь жена захарииа и *таяше сѧ* и *клатъ сѧ* еи; тъгда пилатъ *поятъ* Іса и *би* его; иже *оумьретъ* и пророци *оумьроша*; *изиде* же слово се въ братию. яко оученикъ тъ *не оумьретъ*. *не рече* же емоу иісъ яко *не оумьреть*. В последнем примере обращает на себя внимание различение форм 3 л. ед. ч. аориста с элементом *-тъ* (у этого глагола 5 случаев) и презенса с окончанием *-ть* (22 случая). Такое оформление характеризует аналогичные образования и от других глаголов третьего класса в тексте Апракоса Мстислава Великого, где буквы ѣ и ь четко обозначены [16].

Подобное разграничение указанных форм наблюдается и в Успенском сборнике XII-XIII вв. Например: и къ томоу не гла. ни ѣстъ ни питъ. иъ възьмъше и отроци свои несоша и въ домъ его (156а 26—30), яко тако потроуди сѧ. и тако житъ въ послѣдьнимь вѣцѣ; и съпиде орьлъ надъ мьртвьца и ожитъ; яко многымъ мьнѣти яко же оуже оумрѣтъ (аорист), ср.: и яко мы обычаи имамъ да иже оумреть (презенс) погрѣбаемъ. Случаи дифференцированного употребления презентных форм и осложненных аористных образований 3 л. ед. ч. могут быть свидетельством того, что в глаголах рассматриваемого класса между формами, произведенными от разных глагольных основ ($О_1$ и $О_2$), в ранних памятниках взаимного влияния в области суффиксов-флексий не было. В то же время в древних рукописях встречаются аористные образования с элементом *-ть*: *клать сѧ* (Син. пат.), *приять* (Пов. вр. лет); аналогичные примеры приводит из Лаврентьевской и Новгородской первой летописей А. А. Потебня [17]. Эти факты отражают не только случаи недостаточно четкого обозначения ера и еря особенно при написании выносных букв, но и сосуществование двух книжно-письменных традиций в оформлении как личных окончаний презенса, так и осложняющего элемента в формах аориста.

В летописях и других древнерусских памятниках XIV-XV вв. появляются имперфектные образования 3 л. ед. ч. на *-шеть* от глаголов третьего класса [18]: и *бьяшетсѧ* единѣм топоромъ (Лет. Лавр.); и тако от всего сердца *бьяшеться* за отчиноу свою (Лет. Ипат.); *бьяшеть* же с ними из города (Там же). При этом осложненные

---

[16] См. об этом: Апракос Мстислава Великого. М.: Наука, 1983, с. 15—17. Вводная часть (раздел написан Л. П. Жуковской).

[17] *Потебня А. А.* Указ. соч., с. 197.

[18] Примеры почерпнуты из картотеки Словаря древнерусского языка XI—XIV вв. Института русского языка АН СССР (далее СДР).

формы аориста от глаголов *бити(ся)* в картотеке СДР отсутствуют, а все случаи типа *быть(ся)* являются формой супина при глаголах перемещения, например: и съступиша ся *бить* (Лет. Лавр.); пусти *бится* (Лет. Ипат.) и др.

Четвертый класс объединяет глаголы нетематического спряжения, у которых соотношение глагольных основ изменялось в рамках неравенства O_2 и O_1. В праславянском претеритальная основа в исходе имела долгую гласную фонему, а презентная — согласную, например: **bū—tě̄j/jěs—tī*, **dā—tě̄j/dād—tī*, **jē—tě̄j/jēd—tī*.

В древнерусском языке в результате фонематических изменений соотношение глагольных основ преобразилось: либо для каждой временной парадигмы использовался морфологизированный вариант (или несколько вариантов) основы, либо от одного и того же варианта основы могли быть произведены и претеритальные, и презентные формы. Так, у глагола *быти* отмечаются следующие образования [19]: от O_2 *бы-* (*быти*, *бысть* и *бы*, *былъ*), O_2 *бѣ-* (*бѣ*, *бѣше*), O_3 *бѣj-* (*бѣяше*), O_3 *б'-* (*бяше* и *бяшеть*), O_3 *буд-* (*будяше* и *будяшеть*), от O_1 *ес-*, *е-*, *с-*, *буд-* (все формы презенса); у глагола *дати*: от O_2 *да-* (*дати*, *дасть* и *да*, *даше* и *дашеть*, *далъ*, *дамь*), O_3 *даj-* (*даяше*, *даеть*), O_1 *дад-* (*дадимъ*, *даде*, *дадяше*) и др.

Многообразие глагольных основ и их вариантов, отсутствие четкой специализации у каждой глагольной основы, а также изменение фонемного состава в исходе корневых морфем — все это обусловило морфонологическое использование элемента *-тъ(-ть, -сть)* первоначально в аористе. В таких памятниках восточнославянской письменности, как Остромирово евангелие 1056—1057 гг., Изборник 1076 г., Путятина Минея XI в., Мстиславово евангелие XI—XII вв., Успенский сборник XII—XIII вв., имперфект в 3 л. ед. ч. от глагола *быти* употребляется только без элемента *-ть*, тогда как аорист типа *бысть* встречается наряду с формой *бы*. Распространение имперфекта на *-шеть* неравномерно отражено в более поздних древнерусских текстах. Так, в Новгородской I летописи по Синодальному списку XIII—XIV вв. форма *бысть* употреблена 191 раз (*бы* — 14), *бяшеть* — 62 раза (*бяше* — 58), а в Повести временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г. *бысть* используется 205 раз (*бы* — 3), *бяшеть* — 3 раза (*бяше* — 45).

4. Все изложенное позволяет заключить, что элемент *-тъ(-ть, -сть)* в формах аориста 2, 3 л. ед. числа первоначально был обусловлен морфонологическими причинами в глаголах третьего и четвертого классов, у которых в исходе корневой морфемы изменялся фонемный состав. Затем произошло закрепление этого элемента за той личной формой, которая преимущественно употреблялась в тексте, т. е. за 3 л. ед. ч. В пределах временной оппозиции «аорист/имперфект» наличие осложняющего элемента было достаточным для одного

[19] См.: *Лопушанская С. П.* Основные тенденции эволюции простых претеритов. . ., с. 161—176.

из противочленов (либо аориста, либо имперфекта), о чем свидетельствуют рассмотренные материалы XI—XII вв. Разрушение временной оппозиции нашло отражение, в частности, в расширении использования образований на *-шеть* в текстах XIII—XIV вв. и более позднего периода. Что касается множественного числа, то в самых ранних текстах наблюдается аналогичное обобщение закрепленности осложненных образований имперфекта за формой 3 л. в глаголах любого класса.

Объяснение осложняющего элемента в формах аориста и имперфекта как «заимствования из настоящего» не подтверждается, особенно в тех случаях, когда претериты образованы от O_2 глаголов всех четырех классов.

ПОДВИЖНОСТЬ ПРИСТАВКИ *НЕ-* В ДРЕВНЕРУССКОМ И СТАРОРУССКОМ ЯЗЫКЕ (по письменным памятникам XI—XVII вв.)

А. Н. Шаламова

В процессе составления Словаря русского языка XI—XVII вв., еще на этапе «Малого древнерусского словаря», в 1969—1971 гг., была обнаружена весьма интересная особенность древнерусских и старорусских текстов — подвижность и отделяемость отрицательной приставки *не-*. Отделяемость приставки *не-* наблюдается в предложно-падежных конструкциях существительных и прилагательных как в свободных, так и в связанных сочетаниях, в памятниках переводных и оригинальных, различных по содержанию, жанру, стилю и диалектной принадлежности. В хронологических рамках XI—XV вв. материал такого типа был выделен нами преимущественно из памятников книжно-славянского языка. Однозначность реконструкции целостной лексической единицы из предложно-падежной конструкции с интерпозицией предлога для ряда текстов может быть подтверждена греческими параллелями [1].

Приведем примеры дистантного расположения приставки *не-* в предложно-падежных конструкциях существительных и прилагательных в порядке хронологии памятников; перед примером указывается основная форма слова, выступающая в независимой позиции. Следует отметить, что для большинства слов, которые встретились с дистантным расположением приставки *не-*, более распространенными оказались предложно-падежные конструкции с препозицией предлога, т. е. с последовательностью «предлог — приставка»; однако некоторые редкие слова (*нетьля*, *недѣловой*, *неполубленый*, *недорубъ*) встретились только с интерпозицией предлога.

---

[1] Автор пользуется случаем выразить свою признательность А. А. Пичхадзе за помощь в работе с этим видом источников.

Неразумѣние. Не къ съмрьти убо грѣхъ нарицае, иже е *не въ разумѣнии* (τὴν ἐν ἀγνοίᾳ). Изб. 1073 г., 164 об.

Неокрадомый. А елико же брату створиши алъчну. . . и нагу, ни дьяволъ не може украсти, но *не въ окрадомѣмь* лежать богатьствѣ (ἐν ἀσύλῳ . . . θησαυρῷ). Там же, 89 об.

Нетьля. Сѣють бо ся въ тьлю; въстаеть *не въ тьлю* (ἐν ἀφθαρσίᾳ). Ио. екз. Бог., 356. XII—XIII вв.

Невъходьныи. Не чистителе ли сами ся очищающе тако *не въ въходьное* мѣсто вънидяху (τῶν ἀδύτων ἐπέβαινον). Там же, 335.

Неглаголаный. О глаⷩѣмь и *не о глаⷩѣмь* и вѣдомѣмь и невѣдомѣмь (περὶ ῥητῶν καὶ ἀπορρήτων). Там же, 19.

Невѣдание (в сочетании *по невѣданью* кого-л. 'без ведома' кого-л.): Аще кто истребит ниву *не по вѣданию* осподаря еа, и удѣлавь посѣет, да ничтоже приимет от плода того (ἄνευ εἰδήσεως τοῦ κυρίου). Кп. законные, 46. XV в. ~ XII в. То же сочетание без отделения приставки: Аще кто вола. . . по невѣданью осподаря его възьметь. . . да подасть вдвое мьзду его (ἀγνοοῦντος τοῦ κυρίου). Там же, 50.

Непокаянный. Аще ли единаче въ своемъ жестосердии тако и хощеши пребыти, и в своей высоцѣй мысли и *не въ покаянномъ* сердци. . . ино. . . самъ на себе наложишь тягость церковную духовную. АИ, т. I, 82. XVI в. ~ 1447 г.

Недѣловой. Черезъ дорогу прямо *не на дѣлавой* лѣсъ. Арх. Стр. I, 137. 1509 г.

Недружба. А Захаръ противъ Амоса говорилъ, что онъ посла некрестьянином не называлъ. . . а то все на него сказываетъ Амосъ *не по дружбе*, потому что просилъ у него Амосъ. . . медовъ красныхъ и винъ. . . и онъ ему отказалъ, что здѣсе медовъ красныхъ и винъ нѣтъ. Англ. д., 122. 1583 г. Обычной в текстах аналогичного содержания является формула *по недружбѣ*: А *по нѣдружбе* бы естя въ земленомъ дѣле. . . не мстилися нихто никому. Арх. Стр. I, 302. 1549 г.

Недодѣлка. А были у нихъ тѣ книги *не въ додѣлке*. Писц. д. I, 451. 1626 г. (ср. то же сочетание без отделения приставки: И та де изба тожъ в недодѣлке. Кн. прих.-расх. Синб., 221. 1667 г.).

Недопашка. А порука по насъ половникахъ. . . въ пашнѣ, и *не въ допашкѣ*, и во всякомъ воровствѣ Олферъ Афонасьевъ сынъ Бурцовъ. АХУ II, 954. 1634 г. В том же документе: въ недопашкѣ; в документе 1606 г. (АХУ II, 567): въ деревеньской недопашкѣ [2].

Недорубъ. Розрубили. . . въ ямские и ружные денги по семи рублевъ съ сошки. . . да въ московской запасъ въ недоплату, что *не въ дорубѣ* тѣ денги были. АЮБ, т. II, 121. 1667 г.

Неотдача. (Кузнец Ивашка Дмитриев) билъ челомъ на георгиевского попамаря *не въ отдачѣ* иконы. АХУ II, 1085. 1682 г. Рядом (АХУ II, 1086) «нормальная» конструкция: (попадья Ксения) била челомъ. . . *въ неотдачѣ* взятого хлѣба на сѣмена.

---

[2] Более обширную подборку приморов с препозицией предлога читатель найдет в соответствующей словарной статье СлРЯ XI—XVII вв. (как, впрочем, и для ряда других слов из приведенного здесь списка).

Случаи дистантного расположения приставки *не-* отмечены также для слов *небракъ*, *недавный*, *недовѣдѣние*, *незданый*, *нелицемѣрный*, *нелюбый*, *нелюбомудрие*, *нераный*, *неполный*, *нетлачный*, *нетоплый*, *неустойка* и др. (иллюстративный материал — в вып. 11 СлРЯ XI—XVII вв.).

В непосредственной связи с названным явлением находится вариативность словообразования наречий с *не-*, возникших на базе субстантивированных прилагательных и существительных с приставкой *не-*: *по небольшому* и *не по большому* (в статье *небольшое* СлРЯ XI—XVII вв.), *отневелика* и *неотвелика*, *понемногу* и *непомногу*, *поневелику* и *неповелику*, *без невелика* (наречное сочетание в статье СлРЯ *невеликий*) 'без малого' и *небезвелика* с тем же значением, *заневеды* и *невзаведы* (о словообразовании этого наречия см. ниже), *вневеды* и *невведы* [3]. Источник последних четырех наречий в диалектных словарях русского языка нам найти не удалось, но в польском толковом словаре [4] слово *niewiedy*, *-ów* присутствует с указанием на его диалектный характер: один раз в самостоятельной статье, с единственным примером фразеологического характера pleść troje *niewiedy* и без определения, вторично в статье *niewid* как второе заголовочное слово, с определением 'rzecz *niewidziana*, niebywała, dziwo' (здесь все примеры содержат форму *niewidy* в том же или сходном фразеологическом контексте). Следует отметить, что значение, указанное в словаре для польского *niewiedy*, не согласуется с семантикой отмеченных в старорусской письменности наречий. Рассмотрим эту семантику (примеры будут помещены только в тех случаях, когда они дополняют материал ранее вышедших выпусков).

Вневеды: 1) 'по незнанию, по неосведомленности' [5]: И также на степѣ взяша царя Андигеря. . . и *вневеды* хотяше убити его. Хроногр. № 154, 1373 об.[6], 2) 'нечаянно, непредвиденно': И на урочище Алгаре нашли они *вневеды* на калмыцких бол‹ь›ших людей и на бою ево Ортюшку калмыки ранили и взяли в полон. Астрах. а., № 2354. 1653 г.

Невведы: 1) 'неожиданно' (Куранты [2], 217); 2) 'по неосведомленности' (Козм., 163) [7].

Заневеды: 1) 'неожиданно' (Куранты [1], 196) [8]; 2) 'по незнанию, по неосведомленности': И тотъ человѣкъ. . . передъ нами сказалъ, что де купилъ онъ тое книжку въ Новѣгородкѣ Сѣверскомъ *за-*

[3] Регулярно наблюдаемое написание последних четырех наречий с *не* связано, по-видимому, с их происхождением (о нем см. ниже).

[4] *Karłowicz J.*, *Kryński A.*, *Niedzwiedzki* W. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1904, t. III, s. 362.

[5] Формулировки значений для слов, зафиксированных СлРЯ XI—XVII вв. (вып. 2, 5), даем в той редакции, которая подсказывается обозрением совокупно взятого материала.

[6] Цитата приведена в СлРЯ XI—XVII вв. (вып. 2) по Лет. Соф., с. 313, где *ѣ* внесен издателями. Сведения о месте и времени написания Хронографа любезно сообщены нам Б. М. Клоссом: по его наблюдениям, Хронограф написан в 70—80-х годах XVI в. в псковско-новгородской области или в Лифляндии.

[7] СлРЯ XI—XVII вв., вып. 11 (в печати).

[8] СлРЯ XI—XVII вв., вып. 5, с. 250.

невѣды, а сказали де ему, что та книжка московской печати, а онъ де Ивашка грамотѣ самъ не умѣетъ. АМГ I, 311. 1630 г. (написание с ѣ в АМГ не показательно в языковом отношении, так как издатели не считали необходимым следовать орфографии подлинников).

Невзаведы 'неожиданно' (Куранты [2], 95) [9].

Из приведенного материала явствует, что для исходного существительного следует реконструировать значение 'незнание, неизвестность'. Принадлежало ли это слово польскому языку или западным диалектам восточнославянских языков, неясно: тексты, в которых зафиксированы его производные, отражают в той или иной мере языковые черты тех территориальных групп, которые находились в сфере польско-восточнославянских и белорусско-русских контактов.

Наречие *невзаведы* мы рассматриваем как контаминированную форму, возникшую на базе случайно не зафиксированного или исчезнувшего наречия **незаведы* и реально существующего в текстах *невведы*. Основанием для такого заключения являются распространенные в памятниках того же культурного круга формы наречий, имеющих в своем составе дважды повторенный предлог (ср. *вневдавнѣ* [10] наряду с *невдавнѣ*) [11], и прилагательные, включившие предлог в форму именительного падежа: из города Келна невдавные вѣсти (Куранты [1], 192). Нет сомнения, что в основе словообразования прилагательного *невдавный* лежат предложно-падежные конструкции прилагательного *недавный* с интерпозицией предлога *в* типа *не в давных днѣх* (Куранты[1], 118), которые испытывали воздействие параллельно употребляемых конструкций с препозицией предлога.

В текстах с книжно-славянским типом языка аналогичные рассмотренным выше словообразовательные отношения выступают в парах *вънезаапъ* и *невъзаапъ*, *вънезаапь* (*вънезапь*) и *невзаапь* (*невъзапь*), *вънезаапу* и *невъзаапу*. Из существительных, на базе которых создались эти наречия, засвидетельствовано *незаяпъ* в предложно-падежном сочетании *по незаяпу*.

Подвижность приставки *не-* нашла отражение и в глагольном словообразовании: синонимичны глаголы *занемочи* (СлРЯ, вып. 5) и *незамочи* (СлРЯ, вып. 11) 'заболеть', *разнемочися* (*рознемочися*) и *неразмочися* (*нерозмочися*) 'разболеться', близки по значению церковно-славянское *вознебрещи* [12] и летописное *невзберечи* (СлРЯ, вып. 11). Следствием подвижности (отделяемости) приставки *не-* является еще один важный для лексикографической практики эффект: в позиции второго отрицаемого члена прилагательные и наречия инкорпорируют в свою первую морфему союз *и* и превращаются как бы в два слова: безаконьная (яко) законъ отець творять независтьно *ни въздержанью*. Лавр. лет., 16 (текст восходит к переводу

[9] СлРЯ XI—XVII вв., вып. 11.
[10] СлРЯ XI—XVII вв., вып. 2, с. 237.
[11] СлРЯ XI—XVII вв., вып. 11.
[12] СлРЯ XI—XVII вв. В вып. 2 заголовочное слово соответствующей статьи — *вознебречи*.

Хроники Георгия Амартола; в оригинале читается τὸ παράνομον . . . ἀζήλωτον καὶ ἀκώλυτον); бъ бо *ненарочьное* кое дѣло, ни одьрьжимо (ἀπερίδραχτον). Усп. сб., 374. XII—XIII вв. Свойство приставки *не-* отделяться позволяет вычленить из этих конструкций исходные наречия и прилагательные с отрицательной приставкой *не-*: *невоздержанно, неодержимый*. Конструкции указанного типа представлены также в словарных статьях *невоздержимо, недовѣдный, неотступимый, непремѣнимый, неуставный*. Следует отметить, что и частица *не* в предложении могла отстоять весьма далеко от сказуемого, к которому она относилась, во многих случаях, по-видимому, могла иметь на себе ударение (ср. *не* бы *умьрлъ* братъ мои. Усп. сб., 375; аще бо *не* сего *творитъ*. ПНЧ XIV в., 14 и т. п.), могла предшествовать союзу *и* и усилительному *и* (по крайней мере в языке книжно-славянского типа): *не* и самъ *приде* изгънатъ мене, нъ женѣ въда область изгънати мя (καὶ οὔτε). Усп. сб., 363; да *не* и прочимъ. . . своеа красты *подадуть*. Лет. Ник., 44. Изложенные выше факты позволяют с большой вероятностью допустить, что *ни* в качестве перечислительного союза в отрицательных предложениях и в качестве усилительно-отрицательной частицы явилось результатом слияния *не* с последующим *и*. Именно такой «гибридный» характер частицы-союза делает столь затруднительной грамматическую квалификацию *ни* в словарной статье (распределение материала по рубрикам «союз» и «частица»).

В заключение отметим, что в отличие от явления, описанного В. И. Чернышевым для современного языка [13], в древнерусских и старорусских текстах речь идет не о «сходных по смыслу оборотах, в которых отрицание находится в разных местах», а о действительной подвижности отрицательной приставки, о ее отделяемости, не влияющей на лексическое значение слова. Объективным свидетельством семантического тождества слов и конструкций с различным положением приставки *не-* являются примеры их взаимной заменяемости в разных списках одного памятника [14]. Случаи, которые могут трактоваться как обороты с частицей *не* в препозиции к предложно-падежной конструкции (например, не в частомъ бываньe — не в болшой докуке в Сим. Послов., 213, XVII—XVIII вв.), нами не затрагивались.

---

[13] *Чернышев В. И.* Отрицание «не» в русском языке. Материалы для словаря русского языка. Л., 1927, с. 10.

[14] Примеры такого рода см. в словарных статьях СлРЯ (вып. 11) *невзаапь* и *невзаяпъ* (здесь показано связанное сочетание *въ невзаяпъ*, которое можно было бы поместить в отдельную словарную статью как сформировавшееся наречие), в статье *неораный*.

ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИИ СКАЗУЕМОГО НА -NO, -TO В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Масанари Кобаяси

В современном польском языке наблюдается широкое употребление безличной конструкции с окончанием -no или -to. Например, в газете «Жиче Варшавы» за 1 сентября 1983 г. встречается большое количество примеров этой конструкции: *wyrażono* protest przeciwko wyścigowi zbrojeń; *zorganizowano* spotkanie kombatantów; przed pomnikiem. . . *złożono* kwiaty; obchody 44 rocznicy. . . *zainaugurowano*; wiele już *napisano* i *powiedziano*; wszędzie *utrzymywano* wysoki rytm produkcji; w sumie od początku roku *wydobyto* ponad 127,2 mln ton węgla, czyli o 3,2 mln ton więcej niż *zakładano w* planie. В журнале «Тыгодник Повшехны» за 5 июня 1983 г. находим форму: *spodziewano się* około stu tysięcy młodzieży; а в том же журнале за 17 июля 1983 г. — *chciano* też, żeby wrócił.

В некоторых других славянских языках, например в русском и чешском, такая конструкция не употребляется. Польскому «czytano książki» соответствует русское «читали книги» и чешское «četli knihy». В польском языке употребляется также «czytali książki», но в зависимости от контекста.

Как возникла в польском языке такая конструкция? Форма «czytano» происходит морфологически от глагола «czytać». Это страдательное причастие прошедшего вр. среднего рода ед. числа. В старопольском языке эта конструкция имела характер 1) личный и 2) безличный, о чем свидетельствуют следующие примеры: 1) личный: Rzekl iest czlowyek ktorego *obczemnyono* iest ocko (Biblia Królowej Zofii, 1455); . . .aby ye yedly wschakosch bozą moczą byvalo *oslodzono* (Rozmyslania przemyskie, ca 1500); Woda włoskiego kopru w ktorey by bylo *vwarzono* to Korzenie paluchowo iest dobra ku piciu na przeciwko kłociu wnętrznemu. . . (St. Falimirz, Paluchy, 1534); . . . á cokolwiek iest żywiącego náziemi iest *porzucono* możnośći moiey . . .á potem co kolwiek iemu ku czći vczynisz wszytko będzie wdzięcznie *przyjęto* od niego (M. Rej, Psałterz Dawidów, 1541); Wkażdym pismie wielé na tym należy aby każdé słowo było *czytáno* i *pisáno* nie iako tako ale pewnym obyczaiém (St. Murzynowski, Ortographia polska, 1551). Как видно из приведенных примеров, форма с окончанием -no, -to всегда употреблялась с формой 3 л. ед. числа среднего рода вспомогательного глагола «być», 2) безличный: A tedy vęcz gest giim bilo pres svętego angola tako *othpouedzano*. (Kazania Gnieźnieńskie, XIVs.); Wyącz szą ponym *pythano*, powszthkych domyech *szvkano*. . . Agdy then lyst *oglądano*, nathemyescze *wsznano*. . . (Legenda o Świętym Aleksym, 1425—1454); Aby genym ygenakim prawem thako wkrakowe yako ywpolscze *sądzono* (Kodeks świętosławów); na którego piersiach złotem *napisano* było: . . . A tako tego *obiezssono*. . . á ia gdybych nie wziął, *przypisanoby* mi głupość. А przetoż, by táko mnie nie *mowyono*, wziałem ten dar (Historie Rozmaite z Rzymskich, 1543); . . . nie żeby wtym druku wielé kroć odniéi *o dstąpiono* ale żeby czytelnik wiedźiał cze° się pospoliciéj

dźierżáno (Ortographia polska, 1551); iáko ćiesle czynili wieże drzewiáne kthore *przytháczano* pod mur ná kołkach (M. Bielski, Sprawa rycerska, 1569); . . .opiekę nád nim y rząd w Rzeczypospolitej Stryiom *podano*. . . (Kompendium abo krótkie opisanie książąt i królów polskich, Pawła Demitrowicza, 1625); . . .y gdy ktoremu *dowiedźiono* będźie áby była spráwiedliwość uczyniona (Punkta podane od województwa krakowskiego, 1707).

Эти примеры свидетельствуют, что данная форма развивалась в двух направлениях: 1) под влиянием «местоименного склонения прилагательных» в польском языке возникла форма: «już sprzątnięte», «już zrobione» и т. п.; 2) постепенно исчезло употребление конструкции с вспомогательным глаголом «być». Обратим внимание, что в источнике последний пример такой конструкции датируется 1707 г.

В более поздних текстах XVIII в. выступает форма с окончанием -no, -to без глагола «być»: . . . i czy ták *rwáno* zá Krolá Iana. . . (J. St. Jabłonowski. Skrupuł bez skrupułu w Polsce, 1730); Stała Rzeczpospolitá, choć Seymy tak *rwáno*. . . (Там же); A iákoż ią *chćiano* gáśić, . . . : «Manifest do stanów Rzeczypospolitey Polskiej» St. Leszczyńskiego, 1677—1766); . . . przez ktore od więkow wszystkie Páństwa *nabywano* y ktorym ie *konſerwowano*. . . (Głos wolny ubezpieczający); . . . odkupić, żeby nam nie *wydarto* (Там же); Psow umyślnie *truto* y znowu Rogiem tym *zleczono* uskrobánym. («Nowe Ateny» Benedykta Chmielowskiego, 1745); *Nakazano* w tej sprawie szukanie albo szperanie miasto inkwizycye (Там же).

Представляется, что здесь форма с окончанием -no, -to действительного залога; такое употребление было преимущественно в XIX в. и свойственно современному польскому языку. Например, в первой книге «Пана Тадеуша» (1834) Адама Мицкевича эта конструкция без глагола «być», т. е. в форме, употребляемой и в настоящее время, выступает 32 раза. Встречающиеся там примеры этой конструкции можно расквалифицировать следующим образом: 1) от переходных глаголов: Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory; Wszedł służący, i raptem boczne drzwi *otwarto*; *Pytano* zdania innyh; więc wszyscy dokoła Bralí stronę Kusego albo Sokoła; 2) от непереходных глаголов: *Krzyczano* na modnisiów, a *brano* z nich wzory; Lecz wtenczas panowało takie oślepienie, że nie *wierzono* rzeczom najdawniejszym w świecie; *Wstano* od stołu; 3) от модальных глаголов: Bo nawet wzory, w które już składać *zaczęto* Kopeę żyta, niepełne jadą do stodoły; I jeszcze z tych jednemu *chciano* przeczyć chwały; Brał dom żałobę, ale powiedzieć nie *śmiano* Po kim była żałoba; 4) от возвратных глаголов: Inaczej *bawiono* się w drugim końcu stoła; 5) в предложениях с «by»: I nigdy nie dozwalał, by *chybiano* względu Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu; Z których by wychowanie *poznano* stołeczne.

Принято мнение, что с окончанием -no, -to не выражали залоговых отношений в праславянском языке, а также в древнейших памятниках славянских языков (в том числе чешского, польского и русского). Интересно, что из трех выше названных языков — только в польском эта форма развилась и употребляется до настоя-

щего времени. В современном чешском языке форма эта выступает очень редко.

В русском же литературном языке конструкция с окончанием -no, -to встречается гораздо реже, чем в польском, и при этом значительно отличается от польских форм. Господствует мнение, что в русском языке это исключительно страдательные конструкции. Причастные формы образуют формы настоящего, прошедшего и будущего времени, однако причастные формы прошедшего и будущего времени, употребляются со связкой «быть»: 1. Форма настоящего времени: уже *послано* за врачом; *решено* завтра устроить собрание; мне *поручено* писать протокол; в комнате *убрано*; об этом *сказано* ранее; моя невестушка, которой уже давно об вас *говорено*. . . 2. Форма прошедшего времени: Петрушке *приказано* было остаться дома, присмотреть за комнатой и чемоданом; Тотчас же после обеда *назначено* было отправляться травить Сгопареля; Про батарею Тушина было *забыто*. 3. Форма будущего времени: Об этом ничего не будет *упомянуто*; Нет, если будет *суждено* тебя мне удержать, тебя не буду. . .

Анализируя выше приведенные примеры, можно заключить, что в русском литературном языке выступают лишь две первые категории конструкции -no, -to, а именно, образованные от переходных и непереходных глаголов (как совершенного, так и несовершенного вида). Не употребляются, однако, формы, образованные от модальных, возвратных глаголов, а также в предложениях с сослагательным наклонением.

Однако в говорах и литературе, использующей народный язык, можно встретиться с такими примерами: 1) от модальных глаголов: А царю без воинства *не мочно* быти; А будеть жалобщику *не мочно* управы учинити; 2) от возвратных глаголов: *Побоитося* вволю; Шесть годоф не *виданось*; *Доученось* до того, что. . .; У меня один раз *женеюсь*; 3) в предложениях: И огурцы, и лимоны, и сливы также бы *очищено* и *перебрано*.

Эти примеры показывают, что в русском языке, так же как и в польском, существовала тенденция к развитию данной конструкции. Но она не выступает в литературном русском языке. Очень близки к конструкциям современного польского языка и следующие примеры: Смотрит, гроб уже *слажено*; потолок *крашено*; рукав *оторвано*; на доске *написано*; *уехано* в Петрозавод; из Перекопа тех погайских татар *выгнано*; большую половину войска пешкого к штурму *послано*. Есть эта конструкция в форме прошедшего времени: рубашка *было одевано*.

Некоторые из данных здесь русских примеров соответствуют приведенным ранее переходным формам польского языка XV—XVIII вв. и свидетельствуют о том, что развитие этой конструкции в русском языке происходило иначе, чем в польском языке.

Проблема различий в употреблении конструкции на -no, -to в различных славянских языках, и в первую очередь русском и польском, очень интересна и требует дальнейших детальных исследований.

ИСТОЧНИКИ

Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk. Gramatyka historyczna języka polskiego. — PWN, 1965.
Mickiewicz A. Pan Tadeusz czyli ostatni zjazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Arkady, 1973.
Wybór tekstów staropolskich XVI—XVIII wieku. — PWN, 1955.
Wybor tekstów do historii j ęzyka polskiego. — PWN, 1980.
Русская грамматика. М.: Наука, 1980.
Галкина-Федорук Е. Т. Безличные предложения в современном русском языке. М., 1958.
Стеценко А. Н. Исторический синтаксис русского языка. М., 1977.

ОБ АКТУАЛЬНОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДНОСТИ СЛОВА

Ю. С. Азарх

При описании системы словообразования одним из центральных является понятие производности, или мотивированности, слова. В теории синхронного словообразования к числу дискуссионных принадлежит вопрос о различении смысловой и формальной производности слова, что важно для определения направления производности. Этому и посвящены настоящие заметки.

В дефиницию производного слова должна входить отсылка к производящему, выявляющая смысловую связь членов словообразовательной пары [1]. Необходимость различения смысловой и формальной производности слова диктуется бинарностью словообразовательной структуры производного. Формант сигнализирует о производности слова, противопоставляет производное производящему. Производящая основа связывает производное с источником деривации. Формант выполняет классифицирующую функцию. Он выделяет словообразовательные типы, включает производное в определенный грамматический класс слов с инвариантным или неинвариантным словообразовательным значением. Тождественная производящая основа может вычленяться у ряда членов словообразовательного гнезда. Один и тот же словообразовательный аффикс может быть свойствен разным словообразовательным типам.

Смысловая производность слова относится к числу отражательных категорий, теснейшим образом связанных с коммуникативной функцией языка, с социальным опытом говорящих. Смысловая производность слова является лингвистическим конструктом, недоступным непосредственному наблюдению. Лишь в момент порожде-

[1] *Винокур Г. О.* Заметки по русскому словообразованию. — В кн.: Избр. работы по русскому языку. М., 1959, с. 421; *Папов М. В.* Об изучении русского словообразования. — Изв. ОЛЯ, 1970, вып. 3, с. 260.

ния слова производное при аффиксации может обладать большей смысловой сложностью, чем производящее, если производное не является синтаксическим дериватом или дублирующим исходное словосочетание конденсатом. Производное, будучи готовой к употреблению лексемой, имеет не только однонаправленную семантическую связь с производящим. Производное связано мотивационными отношениями с рядом однокоренных слов, что находит отражение в тех определениях, которые типичны для производных в живой обиходной речи [2]. Семантические связи однокоренных слов, в том числе производного и производящего, исторически изменчивы.[3] Отношения внутри словообразовательного гнезда «создают благоприятную почву для развития явлений декорреляции» [4]. Диффузность значения многозначного производящего [5] также поддерживает постепенный, увеличивающийся во времени смысловой разрыв между членами словообразовательной пары. Этому способствуют и принадлежность производного к определенной лексико-семантической группе (ЛСГ), синонимическому ряду, антонимической паре, и развитие различных ассоциативных, переносных значений [6]. Значение производного зависит и от лексической и синтаксической сочетаемости производящего [7]. Ослабление смысловой прозрачности производного, усиление степени фразеологичности его значения характерно для тех образований, которые отличаются от производящих частеречной принадлежностью и сохраняют лишь часть компонентов содержания производящего, находятся в семантических отношениях пересечения с производящим [8]. Таковы, например, производные существительные, называющие предмет по процессуальному или качественному признакам (*пахарь*, *сухарь*). Процесс идиоматизации значения свойствен и тем образованиям, принадлежащим к одной части речи с производящим, которые отличаются от последних внутрикатегориальными значениями: члены словообразовательной пары относятся к разным лексико-грамматическим разрядам или разным подгруппам одного лексико-грамматического разряда (*пушкарь*, *пескарь*).

---

[2] См.: Мотивационный диалектный словарь (говоры Среднего Приобья). Томск, 1982. Т. 1; *Гинзбург Е. Л.* Многозначное производное как образ противопоставлений, определяющих производящее. — В кн.: Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. Пермь, 1977.

[3] *Марков В. М., Николаев Г. А.* Некоторые вопросы теории русского словообразования. — В кн.: Именное словообразование русского языка. Казань, 1976, с. 5—6.

[4] *Тихонов А. Н.* О семантической соотносительности производящих и производных слов. — ВЯ, 1967, № 1, с. 116.

[5] *Шмелев Д. Н.* Современный русский язык. Лексика. М., 1977, с. 86.

[6] *Марков В. М.* О семантическом способе словообразования. Ижевск, 1981.

[7] *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981, с. 158—178.

[8] *Панов М. В.* О слове как единице языка. — Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. 1956, т. 51; *Ермакова О. П.* Идиоматичность семантики и членимость слова. — В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования, 2. Ташкент, 1976; *Звягинцева Е. А.* Словообразование. — В кн.: Современный русский язык. М., 1981, с. 136—138, 230—232.

Прямая и непосредственная в момент порождения слова, его мотивация со временем может становиться периферийной и опосредованной в результате изменения семантического объема членов словообразовательной пары [9]. Например, в современном литературном языке *добротный* 'доброкачественный, прочный' не мотивируется словом *доброта*, так как последнее утратило значения 'добротность, прочность', свойственные ему еще в книжном языке XVI в. (СлРЯ) и сохранившиеся в говорах (калин., том. — СРНГ) [10]. Длительное сосуществование параллельных образований одной ступени производности, принадлежащих к одной словообразовательной категории, влечет за собой обычно мотивацию подобных производных разными лексико-семантическими вариантами (ЛСВ) производящего, что также поддерживает процесс идиоматизации значения производных. Например, в письменности XVII в. древнерусские *гонитель* и *гонецъ* мотивируются соответственно разными ЛСВ глагола *гонити*: 'преследовать' и 'ехать быстро'; старорусское *гонщикъ* 'погонщик' связано с ЛСВ 'погонять' (СлРЯ). Утрата непосредственно производящего слова может привести к разрушению семантических связей между параллельными образованиями и утрате ими смысловой производности, в особенности при связанном корне. Например, уже в древнерусский период словами немотивированными являются первичные уменьшительные имена *вѣникъ*, *вѣнъкъ* и *вѣньць* < праслав. **věnъ* [11]; ср. рус. диал. *вен* 'венок' (в фольклоре — СРНГ), польск. *wianr*. В древнерусской письменности *вѣникъ* и *вѣнъкъ* не имеют общих ЛСВ (СлРЯ). Слова могут образовываться и при отсутствии непосредственно производящего, по аналогии с производным той же ЛСГ. Например, по образцу *ткалья* < др.-рус. *тъкаль* 'ткач' в деловой письменности XVI в. отражено *бралья* 'та, кто ткет браное полотно', в говорах известно *прялья* 'пряха' (Даль).

Формальная производность слова также исторически изменчива, причиной этого прежде всего является изменение мотивационных связей производного и, как следствие этого, переразложение и опрощение его основы, вычленение сложных словообразовательных аффиксов. Подобные аффиксы могут формироваться, если 1) имена определенного словообразовательного типа продуктивны от суффиксальных производящих однотипной структуры и при этом суффикс производящих обладает лишь релятивным значением, т. е. указывает на отношение производящего к другому слову — источнику его деривации; 2) суффикс производящей основы не является специфичным для определенной части речи; 3) суффикс производящей основы в производной основе выступает в качестве алломорфа,

---

[9] *Земская Е. А.* Указ. соч., с. 137.

[10] Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975—1983. Вып. 1—10. (СлРЯ); Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников. М., 1975; картотека этого словаря (КСлРЯ) хран. в Ин-те русского языка АН СССР; Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965—1983. Вып. 1—19.

[11] *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка/Пер. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964, т. 1, с. 291—292.

не свойственного части речи производящего (например, *ябед-ник* > *ябеднич-а-ть* > *ябед-нича-ть*); 4) возможна семантическая связь производного не с одним однокоренным словом, возможна неединственность мотивации. Например, в древнерусский период производные на *-ьникъ* могут мотивироваться атрибутивными словосочетаниями типа «относительное прилагательное на *-ьныи*+существительное» и существительными, от которых образуются относительные прилагательные на *-ьныи*. Например, *оружьникъ* СбУсп 145в [12] семантически эквивалентно словосочетанию *слуга оружьныи* СбУсп 127б и семантически соотносительно с сущ. *оружие*. Суф. *-ьн-* принадлежит к числу общеимённых аффиксов, он имеет лишь релятивное значение. Эти обстоятельства способствуют вычленению сложного суф. *-ьник-*.

Вытеснение производящего уменьшительным именем от него с суф. *-ък-* > *-(о)к-* — регулярное явление в славянских языках. Следствием этого является несоответствие смысловой и формальной производности у ряда существительных в синхронии. Так появляются пары однокоренных имен с основами одинаковой сложности (корень+суффикс) и с большей семантической сложностью одного из членов подобных пар. Например, в современном языке *лягушонок* по смыслу сложнее, чем *лягушка*, так как *лягушонок* включает объем содержания слова *лягушка* и отличается от последнего дополнительным семантическим компонентом (невзрослость). Исторически *лягушонок* производно от *лягуха/лягуша*, широко употребительного в современных говорах (СРНГ). В литературном языке *лягуха/лягуша* было вытеснено уменьшительным от него *лягушка*, что привело к установлению вторичных мотивационных отношений *лягушка* > *лягушонок*. В говорах производные *горенка* и горница могут различаться по признакам экспрессивность/нейтральность и уменьшительность/неуменьшительность. Оба слова либо являются первичными деминутивами от субстантивированного прилагательного *горьня* > *горня* 'верхняя передняя изба' онеж., 'помещение на подклети' ряз. (СРНГ); либо восходят к словосочетаниям *горьняя изба* (*клѣть*, *комната*). Дериваты *лягушонок*, *горенка*, *горница* и т. п. воспроизводятся в синхронии, а не образуются вновь. Семантическая выводимость *лягушонок* < *лягушка*, *горенка* < *горница* обусловлена неупотребительностью непосредственно производящих слов. Такого рода смысловую производность, не подкрепленную большей формальной сложностью основы производного, можно было бы назвать актуальной производностью слова. След былой формальной зависимости производного от утраченного непосредственно производящего слова, сохраняющийся в его словообразовательной структуре (вычленение производящей основы, не употребительной в синхронии в качестве основы лексемы), можно было бы назвать исторической производностью слова.

---

[12] Успенский сборник XII—XIII вв. Изд. подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон / Под ред. С. И. Коткова. М., 1971.

Различение актуальной и исторической производности поможет сократить в описаниях современного словообразования длинный список производных с морфонологически не обусловленным «усечением» производящей основы. Рассмотрим, например, пары типа *близкий—близость*. Синтаксические дериваты со значением отвлеченного признака производятся от качественных прилагательных. В современном литературном языке *близость* семантически равно кодериват *близкий* и мотивируется последним. Оба члена пары *близость—близкий* имеют основу одинаковой сложности. Неразличение актуальной и исторической производности заставляет в подобных случаях вводить в описание морфонологически не обусловленное «усечение» суф. *-к-* прилагательного [13]. Морфонологически подобное усечение суффикса не обусловлено и в диахронии. Ср., например, *близость* АИ III, 1643 г., 383 и *близкость* Назиратель XVI в., 156 (СлРЯ); *глубость* ВМЧ, Дек. 1—5, XVI в., 229 и *глубокость* ДАИ V, 1668 г., 404 (СлРЯ); *льгость* ПНЧ XIV в., 20 г. [14]; *лёгость* рус. диал. (СРНГ) и *легкость* Ник. лет. X, XVI в., 126 (СлРЯ) и т. п. Существительные на *-ость* — праславянский словообразовательный тип. Первоначально они образуются от непроизводных качественных прилагательных, имеющих тождественную основу с существительными и наречиями, отыменными предлогами, что является следом общей категории имени, противопоставленной глаголу. Распространение основ прилагательных суф. *-ъk-*>*-(ъ)k-* связано с процессом дифференциации основ прилагательных и существительных еще в тот период, когда были продуктивны нечленные формы прилагательных. Уже в древнерусский период действует тенденция вытеснения непроизводных прилагательных производными с суф. *-ъk-*, *-ьн-*. Ср., например, *близь* сущ., нареч. и предлог в ПС XI в. (СДР) и *близокъ* Львов. лет. I, сп. XVI в., 299 (СлРЯ); *глубь* 'глубина' Ио. екз. бог. XII в., 311 (СлРЯ) и *глубокъ* СбУсп. XII—XIII вв., 257а; *даль* Изб. 1073 г., 222 об. (СлРЯ), *далѣ* нареч. ПС XI в., 30 и *далекыи* Гр 1395 г. (3 молд.) (СДР); *низъ* сущ. Изб. 1076 г., 16 об. и *низъкъ* ЖФСт XII в., 138 (СДР); *сладъ* сущ. ГрБог XIV в., 201г и *сладъкыи* ПС XI в., 108 (СДР); *ширь* Пал 1406 г., 61в и *широкии* Пч. к. XIV в., 124 (СДР) и т. п. В древнерусской письменности употребительны и бессуффиксальные прилагательные: Володимеръ же Глѣбовичь бяше же *дерзъ* и крѣпъкъ. ЛИ ок. 1425 г., 225 об. (СДР); *дьрзо* нареч. КЕ XII в., 104а (СДР), *дьрзѣе* Изб. 1076 г., 169 (СДР); *крѣпыи* Изб. 1076 г., 400; *мякыи* 'мягкий' КР 1284 г., 163б; *мьрзъ*, прил. Пр. п. XIV в., 60г (СДР) и т. п. Формы сравнительной степени типа *ближе*, *выше*, *глаже*, *жиже*, *короче* и т. п. восходят к бессуффиксным прилагательным. Некоторые из подобных прилагательных сохранились в говорах: *близый* волог., *глубый* оренб. (СРНГ).

Почему в языковом сознании так легко устанавливаются отно-

[13] *Тихонов А. Н.* Проблемы составления гнездового словаря современного русского языка. Самарканд, 1971, с. 348—349.

[14] Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1966; картотека этого словаря (СДР) хран. в Ин-те русского языка АН СССР.

шения актуальной (смысловой) производности в парах типа *крепкий* > *крепость*, *проворный* > *проворство*, *удобный* > *удобство*? Это можно объяснить, во-первых, тем, что суффиксальные прилагательные, вытеснившие бессуффиксальные прилагательные, были семантически им тождественны: др.-рус. *крѣпыи* и *крѣпъкъ*, *удобыи* ГА XIII—XIV вв. 150а и *удобьнъ* Изб. 1073 г., 205 (СДР). Это можно объяснить, во-вторых, тем, что суф. *-ък-*, *-ьн-* имеют лишь релятивное значение, они служили прежде всего средством дифференциации основ существительных и прилагательных; в субстантивном словообразовании суф. *-ьн-* непродуктивен; отсубстантивные образования с суф. *-ък-* уже в древнерусский период нередко, как и прилагательные с этим суффиксом, являются дублетами производящих слов.

Регулярность усечения суф. *-н-*<*—ьн-* на морфемном шве перед суф. *-к-*<*-ък-* обусловлена не только морфонологическими причинами, но и тем, что оба суффикса имеют релятивное значение, указывают на отношение производности между словами и при стечении согласных, необходимости тождества ударения у производного и производящего суффикс производящего усекается. Релятивный суф. *-ьj-* регулярно усекался в древнерусский период при образовании от существительных прилагательных на *-ьныи*: ср. в СбУсп *безаконие* 179а > *безаконьнъ* 198б. В парах типа *деревенский—деревенщина* правомернее видеть не усечение суф. *-ск-* перед суф. *-щин-а* [15], а результат вычленения сложного суф. *-щин-а* в результате слияния двух дублирующих друг друга суффиксов со значением отношения/принадлежности *-ск-* и *-ин-*. Суффиксы, специфичные для одной части речи и обладающие не только релятивным, но и определенным словообразовательным значением, как правило, не усекаются в позиции перед другими суффиксами и не объединяются с ними в сложный морфемный комплекс (например, суф. *-ств-о*, *-тел'ø*, *-оват-*, *-аст-*).

Итак, несовпадение смысловой и формальной производности слова, если усечение суффикса не обусловлено морфонологически, сигнализирует о вторичности мотивационных отношений между однокоренными словами. Различение актуальной и исторической производности слова необходимо для снятия «искусственного противоположения синхронного и диахронного аспектов» в лингвистических описаниях [16]: «синхронная система языка пронизана генетико-деривационными связями» [17].

---

[15] *Тихонов А. Н.* Указ. соч., с. 349.

[16] *Иванов Вяч. Вс.* Взаимоотношение динамического исследования эволюции языка, текста и культуры. (К постановке проблемы), 1. Принципы исследования современного состояния объекта. — Изв. ОЛЯ, 1982, т. 41, № 5, с. 406.

[17] *Кацнельсон С. Д.* Семантико-грамматическая концепция У. Л. Чейфа. — В кн.: *Чейф У. Л.* Значение и структура языка. М., 1975, с. 427.

О СТЕПЕНИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ ДРЕВНЕРУССКОЙ, СТАРОРУССКОЙ, СТАРОУКРАИНСКОЙ И СТАРОБЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ[1]

В. З. Санников

В 1966—1972 гг. автором были составлены с использованием ЭВМ «Алфавитный, частотный и обратный словари восточнославянских юридических текстов XI—XVI вв.», основанные на анализе 773 древнерусских, старорусских, староукраинских и старобелорусских памятников. Общий объем привлеченных текстов — 269 639 словоупотреблений. Две части словаря опубликованы под ред. академика В. И. Борковского в серии «Предварительных публикаций» Института русского языка АН СССР (Вып. 53—54, М., 1974; Вып. 82—84, М., 1976). Данная работа — результат обработки сведений, содержащихся в указанном словаре. Она посвящена определению степени взаимной близости отдельных представителей родственных языковых групп.

Попытки измерить степень близости индоевропейских языков предпринимались неоднократно [2], но они базировались на сравнительно небольшом материале — от 10 языковых единиц (у Котовой и Янакиева) до 74 (у Крёбера и Кретьена).

Мы видели свою задачу в максимальном доступном нам уточнении методики исследования. С этой целью:

— Мы стремились к расширению круга анализируемых языковых единиц — вопрос о степени близости восточнославянских письменных языков в определенный период их истории (XI—XVI вв.) изучается на основе сопоставления целых лексических систем.

При сопоставительном анализе восточнославянской лексики не только определялось, сколько и каких слов являются общими для отдельных групп восточнославянских письменных текстов, но постоянно учитывалось, в какой мере сходны частоты этих общих слов.

Сравнительно-историческое изучение лексики восточнославянских памятников показывает, что вследствие родства восточнославянских языков и вследствие постоянных контактов между русским,

---

[1] Автор приносит глубокую благодарность М. В. Арапову, С. М. Кузьминой, А. И. Сироте, методические уточнения и замечания которых он использовал при подготовке данной статьи.

[2] *Котова Н. В., Янакиев М.* Сопоставление некоторых количественных характеристик славянских языков. — Слав. филология, 1968, № 7, с. 58—77; *Они же.* Глоттометрический подход к вопросу о близости славянских языков. — Слав. филология, 1973, № 9, с. 238—260; *Czekanowski J.* Wstęp do historii słowian. Lwów, 1927 (Poznań, 1957); *Kroeber A. L., Chrétien C. D.* Quantitative classification of indo-european languages. Language, 1934, XIII, № 2; *Bonfante G.* Indo-Hittite and areal linguistics. American J. of Philology, 1946. LXVII, № 4.

украинским и белорусским народами лексические системы этих языков отличаются, может быть, даже не столько составом словаря, сколько значениями слов и частотой их употребления. В качестве иллюстрации приведем несколько слов и укажем их частоты в использованных нами юридических текстах XV—XVI вв. Объем привлеченных старорусских и западнорусских текстов XV—XVI вв. приблизительно одинаков (соответственно 100 823 и 100 459 словоупотреблений).

	Ст.-рус.	Зап.-рус.
Земля	649	525
Лѣто	295	295
Пан	4	1391
Лист ('документ')	5	667
Грамота	567	27
Господин	460	30

Хотя каждое из шести приведенных слов отмечено и в старорусских и в западнорусских текстах XV—XVI вв., сопоставление частот слов в этих двух группах текстов позволяет утверждать, что два первых слова относятся к числу основных (наиболее частых) элементов обеих лексических систем; третье и четвертое (*пан* и *лист*) относятся к числу основных элементов лексической системы западнорусских юридических текстов между тем как для старорусской они «периферийны», «случайны»; два последних слова (*грамота* и *господин*), напротив, входят в число основных элементов лексической системы старорусских (но не западнорусских) юридических текстов.

— Мы стремились к максимальной однородности сопоставляемого материала. По единой программе обрабатывались тексты (по возможности, равного объема), относящиеся к одному жанру, — юридические тексты. В разных группах текстов (древнерусских, старорусских, западнорусских) пропорционально представлены отдельные функциональные виды юридических памятников — законодательные кодексы, «духовные», «договорные», «купчие» грамоты и т. п.

1. О степени лексической близости русских грамот XV в. и русских грамот XVI в.

Эксперимент основан на полном обследовании текстов 154 грамот XV в. (33 584 словоупотребления) и 136 грамот XVI в. (33 940 словоупотреблений).

Как измерить степень близости двух сопоставляемых лексических систем? На первый взгляд, для этого достаточно определить долю о б щ и х с л о в, т. е. слов, входящих как в ту, так и в другую систему. В грамотах XV в. нам встретились 1633 слова, в грамотах XVI в. — 2056. Общих слов — 976. В среднем доля общих слов в русских грамотах XV в. и русских грамотах XVI в. равна 53,9 %.

Однако эта цифра не может считаться достаточно показательной при определении степени лексической близости, по крайней мере по двум следующим причинам: (1) она явно занижена по сравнению с речевой действительностью — ряд слов, которые были общими для грамот XV в. и грамот XVI в., чисто случайно не встретились нам в одной из этих сопоставляемых групп грамот; (2) эта цифра вычислена

без учета частот слов. Между тем, частота употребления — одна из важнейших характеристик языковых единиц.

В связи со сказанным, мы используем в качестве характеристики степени лексической близости двух сопоставляемых систем д о л ю о б щ и х с л о в о у п о т р е б л е н и й. Для того или иного слова количество общих словоупотреблений равно меньшей из двух сопоставляемых частот. Так, если слово встретилось в грамотах XV в. 9 раз, а в грамотах XVI в. 5 раз, то общих словоупотреблений (относительно данного слова) — 5.

Нами было определено число общих словоупотреблений для каждого из 976 слов, которые являются общими для грамот XV в. и грамот XVI в. Суммируя эти данные, получаем суммарное число общих словоупотреблений — 24 847 словоупотреблений. Сопоставляя эту цифру с общим объемом текстов русских грамот XV в. и XVI в. (соответственно 33 584 и 33 940 словоупотреблений), определяем с р е д н ю ю д о л ю о б щ и х с л о в о у п о т р е б л е н и й. Она равна 73,6 %.

2. О степени лексической близости украинских и белорусских грамот XV—XVI вв.

Эксперимент основан на полном обследовании текстов 121 украинской грамоты (33 579 словоупотреблений) и 126 белорусских грамот (33 487 словоупотреблений). В украинских грамотах XV—XVI вв. отмечено 2386 слов, в белорусских грамотах того же периода — 2403 слова. 1357 слов оказались общими для двух сопоставляемых групп текстов.

Средняя доля общих слов в украинских и белорусских грамотах — 56,67 %. По той же методике, которая применялась в 1, мы определили суммарное число словоупотреблений, общих для украинских и белорусских грамот, — 26 705 словоупотреблений. Средняя доля общих словоупотреблений в украинских грамотах XV—XVI вв. и в белорусских грамотах XV—XVI вв. равняется 79,64 %.

3. Краткая интерпретация результатов экспериментов 1 и 2

В разделах 1 и 2 нами были получены две величины — 73,6 % (доля общих словоупотреблений в русских грамотах XV в. и русских грамотах XVI в.) и 79,64 % (доля общих словоупотреблений в украинских грамотах XV—XVI вв. и в белорусских грамотах того же периода). Эти цифры — результат сопоставления целых лексических подсистем и являются точным выражением степени лексической близости изучаемых групп текстов.

Естественно, возникает вопрос — о чем говорят эти цифры? 73,6 % (или 79,64 %) — много это или мало? К сожалению, соответствующей шкалы, которая помогла бы оценить и интерпретировать полученные нами данные, пока нет. Однако с о п о с т а в л е н и е этих данных позволяет уже сейчас сделать некоторые содержательные выводы.

Исследователи истории русского языка, ощущая языковую близость памятников русской деловой речи XV в. и XVI в., как правило, исходят из предположения, что эти памятники относятся к одному «письменному языку» (или, по другой терминологии, к одному «периоду» в истории русского языка). Наиболее отчетливо эта точка зрения отражается в существующих периодизациях истории русского языка. Наш материал подтверждает это предположение: 3/4 текстов XV в. и текстов XVI в. «накладываются» друг на друга.

Но если тексты русских грамот XV и XVI в. соотносить с одной лексической системой, то с не меньшим основанием это можно делать по отношению к украинским и белорусским грамотам, которые, по нашим данным, даже несколько ближе между собой в лексическом отношении, чем тексты русских грамот (доля общих словоупотреблений в русских грамотах XV в. и русских грамотах XVI в. — 73,6 %; в украинских и белорусских грамотах XV—XVI вв. — 79,64 %). Таким образом, лексико-статистический анализ большой группы украинских и белорусских грамот XV—XVI вв. подтверждает предположение о том, что в XV—XVI вв. у белорусов и украинцев существовала общая письменная речь («западнорусская речь»), 4/5 текстов украинских и белорусских грамот, так сказать, «полностью накладываются» в лексическом отношении друга на друга.

4. О степени лексической близости древнерусских юридических текстов XI—XIV вв. со старорусскими и с западнорусскими юридическими текстами XV—XVI вв.

Для данного эксперимента привлечен весь собранный материал — тексты 773 памятников (грамоты, законодательные кодексы) общим объемом в 269 639 словоупотреблений. Эти тексты распределены нами по трем большим группам — древнерусские тексты XI—XVI вв.; старорусские тексты XV—XVI вв.; западнорусские тексты XV—XVI вв. Таким образом, группировка материала основывается на выводах, полученных в предшествующих разделах работы.

В наибольшей степени задачам эксперимента соответствовали бы равные по объему (т. е. по числу словоупотреблений) выборки из древнерусских, старорусских и западнорусских юридических текстов. Такой подход и был принят в работе, однако осуществить его в полной мере не удалось в силу ограниченности объема дошедших до нас древнерусских текстов. Старорусские и западнорусские тексты имеют у нас примерно равный объем (соответственно 100 823 и 100 459 словоупотреблений). Однако объем древнерусских текстов значительно меньше (68 367 словоупотреблений). Поэтому методика лексико-статистического сопоставления, примененная в 1 и 2, оказывается для данного эксперимента неприемлемой. Она заменяется несколько более сложной (и, одновременно, менее точной) методикой, известной в математической статистике под названием м е т о д а р а н г о в о й к о р р е л я ц и и.

Сущность этого метода заключается в следующем. Вычленяется общая часть двух сопоставляемых систем (например, общая часть

двух словников). Затем общие слова двух словников размещаются в каждом словнике по убыванию частоты. Каждому элементу присваивается номер (ранг) от 1 до n (первыми в каждом из словников идут слова, наиболее частые в этом словнике). Затем сопоставляются ранг слова в первом словнике и его ранг во втором словнике и определяется для данного слова разность между рангами (d). Если, например, какое-то слово, общее для двух сопоставляемых словников, имеет в первом словнике номер (ранг) 4, а во втором — 119, то d — разность между рангами — равна $119-4=115$. (Содержательно это значит, что в первом словнике слово более употребительно, чем во втором; 115 — точное математическое выражение этого различия в употребительности).

Проведя такую работу для всех слов, мы можем обобщить полученные данные в виде коэффициента ранговой корреляции.

Из существующих в математической статистике способов определения коэффициента ранговой корреляции (см. о них, например, Ван дер Варден) [3] чаще всего используется в лексико-статистических исследованиях коэффициент Спирмена (R). Он определяется формулой:

$$(1) \qquad R = 1 - \frac{6\Sigma d^2}{n^3 - n},$$

где d — разность между рангами (номерами), Σ — знак суммирования, n — количество общих элементов.

Значения R колеблются между $+1$ (оба сопоставляемых ряда полностью совпадают) и -1 (оба ряда полностью противоположны друг другу, например, слова, самые частые в одном словнике, в другом, напротив, являются самыми редкими). Если коэффициент ранговой корреляции значительно отличается от нуля, это значит, что ряды скоррелированы — со степенью, выражением которой является числовое значение коэффициента R (чем больше абсолютная величина R, тем значительнее скоррелированность, т. е. в нашем случае тем больше лексическая близость).

Однако и методика Спирмена не совсем удобна для лексико-статистических исследований, поскольку «ранжирование практически применяется к сравнительно малым совокупностям в 20—30 единиц» (Юл и Кендэл).[4] В задачах, аналогичных нашей, вычисление коэффициента корреляции Спирмена становится крайне трудоемким. Для уменьшения технических сложностей применения метода Спирмена мы объединили элементы в каждом из двух сопоставляемых рядов в группы равного объема (например по 50, 100 слов). В этом случае под рангом (номером) понимается уже не порядковый номер того или иного отдельного элемента, а номер группы эле-

---

[3] *Ван дер Варден Б. Л.* Математическая статистика. М., 1960.
[4] *Юл Дж. Э., Кендэл М. Дж.* Теория статистики. М., 1960, с. 313.

ментов. При варианте эксперимента, связанном с группировкой элементов, формула Спирмена получает вид:

$$(2) \qquad R = 1 - \frac{6m^2\Sigma d^2}{n^3 - n};$$

где R — коэффициент ранговой корреляции, m — число элементов в одной группе, n — число общих элементов, d — разность между рангами.

Именно этой формулой мы и будем пользоваться при вычислении коэффициентов ранговой корреляции древнерусских текстов а) со старорусскими и б) с западнорусскими текстами.

В каждом из трех сопоставляемых словарей была взята первая тысяча слов, т. е. наиболее частые слова, которые покрывают свыше 90 % анализируемых текстов и, естественно, наиболее показательны. Тысяча самых частых древнерусских слов сопоставлялась сначала с тысячей старорусских, затем с тысячей западнорусских слов с целью выделить слова, общие для сопоставляемых пар словарей. Оказалось, что древнерусский словарь имеет 544 слова (из 1000), общих со старорусским словарем, и 487 слов, общих с западнорусским словарем. В полученных словниках общих слов эти слова были объединены в группы по 50 слов (последние группы — неполные). В каждом из словников группы нумеровались. Номер (ранг) группы — показатель частоты слов. Слова, входящие в первую группу (ранг 1),— самые частые слова, во вторую — чуть менее частые и т. д. вплоть до последних полусотен, объединяющих редкие слова.

Для каждого из 544 слов, общих для древнерусского и старорусского словников, его ранг в древнерусском словнике сопоставлялся с его рангом в старорусском словнике и определялась разность между рангами. Так, если общее слово входит во 2-ю группу (полусотню) в древнерусском словнике и в 10-ю группу (полусотню) в старорусском, то разность между рангами равна 10—2=8, а квадрат разности (d^2) равен 64. Затем точно также сопоставлялись древнерусский и западнорусский словники общих слов (они включают по 487 слов).

Следующий этап работы — вычисление по формуле (2) коэффициентов ранговой корреляции для каждой из двух пар сопоставляемых словников.

Вычислим коэффициент корреляции между древнерусским и старорусским словниками. В формулу (2) подставляем цифровые значения величин: n (число слов, общих для древнерусского и старорусского словников) равно 544, m (число слов в группе) равно 50, Σd^2 (сумма квадратов разностей между рангами) равна 3.367

$$R = 1 - \frac{6 \cdot 2500 \cdot 3367}{544^3 - 544} = 0.686.$$

Бесспорно, это довольно высокая корреляция.

Точно также подсчитаем коэффициент ранговой корреляции между древнерусским и западнорусским словниками. Результаты эксперимента могут быть представлены в виде таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1

Группа текстов	Число слов, общих с древнерусскими текстами XI—XIV вв. (из 1000 слов)	Коэффициент ранговой корреляции с древнерусскими текстами
Старорусские тексты XV—XVI вв.	544	0,686
Западнорусские тексты XV—XVI вв.	487	0,576

Приведенные данные свидетельствуют о том, что старорусские юридические тексты XV—XVI вв. гораздо ближе в лексическом отношении к исходной древнерусской письменной речи, чем западнорусские тексты XV—XVI вв. Это проявляется, во-первых, в том, что старорусские тексты имеют больше слов, общих с древнерусскими текстами, и, во-вторых, в большей скоррелированности частот этих общих слов.

5. О степени лексической близости древнерусских грамот XII—XIII вв. со старорусскими и с западнорусскими грамотами XV—XVI вв.

По сравнению с экспериментом 4, данный эксперимент имеет частный характер: во-первых, рассматриваются только тексты грамот (законодательные кодексы опускаются); во-вторых, из древнерусских грамот для сопоставления привлечены лишь древнейшие — грамоты XII—XIII вв. (грамоты XIV в. опускаются). Таким образом, данный эксперимент может представить особый интерес для тех исследователей, которые считают, что памятники XIV в. нельзя относить к общевосточнославянскому периоду. Эксперимент 5 является в указанном отношении более точным, поскольку из рассмотрения исключена «спорная область» — тексты XIV в.

Специально для данного эксперимента на основе имеющейся картотеки перфокарт были составлены с использованием ЭВМ три дополнительных частотных словаря: древнерусских грамот XII—XIII вв. — на материале 56 грамот (15.007 словоупотреблений); старорусских грамот XV—XVI вв. — на материале 289 грамот (67 524 словоупотребления); западнорусских грамот XV—XVI вв. — на материале 247 грамот (67 066 словоупотреблений).

Было взято по 600 первых (самых частых) слов из трех сопоставляемых частотных словарей. Были выделены древнерусские слова, входящие в 600 первых слов старорусского или западнорусского словаря. И, наконец, вычислялся коэффициент ранговой корреляции для каждой из двух пар сопоставляемых словников общих слов по формуле (2). (Слова объединялись в группы по 50 слов в каждой).

Результаты эксперимента представлены в виде таблицы.

Таблица 2

Группа текстов	Число слов, общих с древнерусскими грамотами XII—XIII вв. (из 600)	Коэффициент ранговой корреляции с древнерусскими грамотами XII—XIII вв.
Старорусские грамоты XV—XVI вв.	291	0,60
Западнорусские грамоты XV—XVI вв.	257	0,55

Проведенный эксперимент показывает, что старорусские грамоты не только имеют с древнерусскими грамотами XII—XIII вв. больше общих слов, чем западнорусские грамоты, но и лучше скоррелированы с древнерусскими грамотами по употребительности этих слов. Этот вывод находится в полном соответствии с выводом, сделанным ранее на основании эксперимента 4, а именно: в лексическом отношении деловая старорусская письменная речь ближе к исходной, древнерусской, чем деловая западнорусская письменная речь.

Объяснение этого факта не входило в задачу данной работы. Вероятно, здесь мы имеем дело с довольно сложным комплексом факторов. Укажем лишь один (может быть, основной), наличие которого не вызывает сомнений, — сильное влияние польского языка на западнорусскую письменную речь в рассматриваемый период ее истории.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

*

ЧТО МЫ ПРЕДПОЧИТАЕМ?

(семантическая структура народных суждений о предпочтительности)

Н. Д. Арутюнова

> В чем добродетель? — В сострадании к живому. В чем счастье? — В нерушимом здоровье. Что такое любовь? — Отзывчивость души. Что есть мудрость? — Верное решение
>
> *(Хитопадеша, или Доброе наставление)*

Мы поставили эпиграфом строки средневекового индийского автора [1], в которых интерпретируются категории добра. Суть мудрости индийский писатель видит в искусстве выбора жизненных путей. Не следует думать, что в приведенном определении отразилась специфика именно восточного мировоззрения. В таком же духе высказывался И. Кант, писавший, что мудрость «вообще-то больше состоит в образе действия, чем в знании» [2]. Умение принимать верное решение было в высокой степени присуще Виктору Ивановичу Борковскому и сыграло важную роль в его многотрудной жизни человека, ученого и руководителя. Решение представляет собой акт выбора из ряда открывающихся перед человеком возможностей. Будучи богато одаренной личностью, В. И. Борковский выбрал путь ученого-слависта, а в области славистики — изучение текстов, связанных с историей и культурой русского народа. Его последняя книга — «Синтаксис сказок» — посвящена структуре фольклорных текстов. В. И. Борковский особо подчеркивал — и это важно для наших целей — роль в формировании такого рода текста исходной коммуникативной функции [3].

Тема настоящей статьи имеет отношение и к личности В. И. Борковского, и к его профессиональным интересам последних лет. Мы надеемся также, что в предлагаемом тексте соблюден принцип простоты, которого придерживался В. И. Борковский в стиле жизни и в стиле научного изложения. Непосредственный предмет статьи

---

[1] Индийская средневековая повествовательная проза / Сост. П. А. Гринцер. М., 1982, с. 50.

[2] *Кант И.* Сочинения: В 6-ти т. М., 1965, т. 4, ч. I. Критика практического разума, с. 241.

[3] *Борковский В. И.* Синтаксис сказок. М., 1981, с. 2.

составляют народные суждения о сравнительной ценности жизненных ситуаций. Основной материал взят из собрания В. И. Даля [4] и книги пословиц народов Востока, изданной Г. Л. Пермяковым [5]. Поскольку в фокусе нашего внимания находится общая семантическая структура оценочных сравнений [6], национальный источник того или другого изречения не указывается.

В пословицах рассматриваемого типа сопоставляются две ситуации, из которых одна признается лучше другой. Высказывания состоят из двух пропозиций, выраженных инфинитивами, именами существительными (представителями пропозиций, их «свертками»), желательным наклонением глагола или каким-либо иным способом: *Лучше не иметь собаки, чем иметь плохую; Пусть лучше крокодил проглотит, чем мелкая рыбешка изгрызет; Если падать, то лучше с коня, чем с осла; Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой; Лучше поздно, чем никогда.* Пропозиции соединены компаративом *лучше*, выражающим отношение предпочтения (преференции), т. е. указывающим на ценностное неравенство двух положений дел [7]. Если сопоставляемые ситуации образуют альтернативу (а именно так они обычно воспринимаются), то естественно выбор должен пасть на ту, которая признается лучшей. Когда речь идет о сознательном действии, то ценностные сравнения часто формируют нравственные или практические принципы принятия правильного решения и им сопутствует коммуникативная установка предписания (прескрипции). Они близки рекомендациям, заповедям, советам. Альтернатива предполагает, что сравниваемые положения дел не могут реализоваться одновременно. Отношение предпочтения дизъюнктивно — выбрать можно лишь одну из представляющихся возможностей. Соединяемые им пропозиции мы будем для краткости называть дизъюнктами, а сами ценностные сравнения — *лучше*-предложениями.

В общих сентенциях о предпочтительности тех или иных положений дел или жизненных благ возможна несовместимость трех родов:

1) логическая несовместимость, проистекающая из того, что входящие в сентенцию дизъюнкты не могут быть одновременно истинными, поскольку один из них является отрицанием (явным или скрытым) другого: *Лучше идти, чем стоять; Лучше спину на печи греть, чем в поле гнуть* (т. е. лучше не работать, чем работать);

2) ролевая несовместимость, обычно состоящая в противопоставлении функции агенса и пациенса: *Лучше в обиде быть, нежели в обидчиках; Лучше самому терпеть, чем других обижать; Лучше мучиться, чем мучить; Лучше за стадом ходить, чем стадо водить; Не лучше ль жертвою, а не злодеем быть?* (В. Пушкин, Голубка). Возможен,

---

[4] *Даль В. И.* Пословицы русского народа. М., 1957.

[5] *Пермяков Г. Л.* Пословицы и поговорки народов Востока. М., 1979.

[6] Подробнее о ценностном сравнении см.: *Арутюнова Н. Д.* Сравнительная оценка ситуаций. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1983, № 4.

[7] Уже Аристотель подробно рассмотрел основания для предпочтения и выбора. Этому вопросу посвящена третья книга его «Топики» (*Аристотель.* Сочинения: В 4-х т. М., 1978, т. 2, с. 394—407).

впрочем, и выбор роли удачника: *Лучше молотом быть, чем наковальней; Лучше быть у других в зависти, чем самому в кручине*;

3) несовместимость некоторых благ и достоинств, проистекающая из представлений об ограниченности милостей природы и вероятностных оценок их сочетаемости (или, точнее, несочетаемости), например: *Немного ума лучше, чем много сил*; *Чем рост верблюда, лучше ум с пуговку*. Если в жизни люди стремятся преодолеть несовместимость этого рода (например, и невинность соблюсти и капитал приобрести), то в суждениях о предпочтении обычно предсказывается тщетность этих усилий.

Взаимоисключенность сравниваемых ситуаций абсолютна в первом и втором типах. Относящиеся к первому типу изречения подчиняются определенным правилам сокращения. Левый дизъюнкт однозначно имплицирует правый и оказывается поэтому самодостаточным для выражения смысла суждения. Термин сравнения, относящийся к отвергаемой ситуации, устраняется. Такие рекомендации, как *Лучше не гневить бога; Лучше не вмешиваться в чужие дела; Лучше недарить, да потом не корить; Лучше не рожать, да потом не терять* вполне закончены. Они эквивалентны заповедям, выраженным императивом, от которых отличаются тем, что содержат неадресованную рекомендацию, оставляющую заинтересованному лицу возможность самому принять ее на свой счет, ср. *Лучше не дари, но и не кори* и *Лучше не дарить, да потом не корить*.

Более сложно правило сжатия текста, в котором обе части суждения мыслятся как противительные конъюнкты, находящиеся между собой в отношениях попарного противопоставления. В них устраняется второй компонент в левом члене и первый компонент в правом: Лучше жить в тесноте, но не в лихоте (обиде), чем не в тесноте, но в лихоте (обиде) → *Лучше жить в тесноте, чем в лихоте (обиде)*; Лучше не наживать и (но зато) потом не терять, чем наживать, да потом потерять → *Лучше не наживать, чем терять* → *Чем терять, так лучше не наживать*; Лучше не свыкаться и потом не расставаться, чем свыкнуться, да потом расстаться → *Лучше не свыкаться, чем расставаться.*

При сокращении в первой части сохраняется позитивная часть рекомендации, а во второй эксплицируются отрицательные последствия, которые могут наступить при невыполнении совета и которые содержат в себе его обоснование: Лучше говорить обдуманно и потом не раскаиваться в сказанном, чем говорить необдуманно и потом раскаяться в сказанном → *Лучше говорить обдуманно, а то как бы не пришлось раскаяться.* Альтернатива в этом случае обладает не только определенной логической организацией, но она наделена и некоторой коммуникативной структурой: в ней дизъюнктивные отношения складываются между рекомендацией и предостережением. Рекомендация указывает на желательный вариант, предостережение связано с отвергаемой альтернативой. Практическая обработка речи «выбирает» из логически полного текста то, что непосредственно отражает формирующие данный речевой акт коммуникативные задания. Тем самым логические отношения устанавливаются не только

между содержанием пропозиций, но и между сопровождающими их коммуникативными целями.

Таким образом, сокращение общих рекомендаций и соответственно восстановление их полноты основывается на принципе семантической или логической противопоставленности дизъюнктов.

Общая тенденция к поляризации дизъюнктов служит основой воссоздания первого члена *лучше*-предложений и в тех случаях, когда смысл сентенции состоит не в предписании, а скорее в усилении отрицательной оценки некоторого положения дел (оно соответствует второму, т. е. отвергаемому, дизъюнкту). Когда говорят *Лучше с умным в аду, чем с глупым в раю*, то не посылают в ад с умным спутником, а выражают крайнюю нежелательность всякого общения (сосуществования, совместной деятельности) с глупцом: изъяны такого общения не поддаются компенсации. Контрастная ситуация, формируемая на базе антонимов по отношению к исходному положению дел, представляет собой условный конструкт, предназначенный для целей эмфазы и не обозначающий реальные альтернативы: ср. *Лучше с умным потерять* (?), *чем с глупым найти: с дураком и найдешь, да не разделишь*. Ситуация «потери с умным» есть не более, чем контрастирующий (антонимический) отпечаток «находки с глупым».

Таким образом, поляризованность сравниваемых положений дел задает термин сравнения не только в формулах предпочтения, но и в тех *лучше*-предложениях, которые имеют оценочный смысл, но не содержат предписания, пригодного для ситуации выбора.

Итак, тенденция к поляризации дизъюнктов составляет наиболее яркий признак семантической организации пословиц рассматриваемого типа [8].

Другой чертой, характерной для смысловой структуры *лучше*-предложений и тесно связанной с отмеченной выше тенденцией, является представление об исключенности промежуточных вариантов. Иными словами жизненный выбор как бы ограничивается названными положениями дел. Поскольку общие формулы предпочтения основаны на контрасте, то выбор сводится к крайностям. Именно в этом духе интерпретируются пословичные формулы предпочтения. Когда говорят «Лучше на бедной жениться, чем с богатой браниться», то это невольно создает впечатление, что множественность матримониальных вариантов сводится к указанным двум возможностям. Кроме того, добрый нрав предстает в виде необходимой компенсации бедности, а дурной характер — как фактор, неизбежно уменьшающий ценность приданого. Сентенция намекает на несовместимость душевных достоинств с материальным достатком. Многообразие вариантов поляризовано в виде наиболее острой коллизии, чаще реализуемой в художественном, чем в действительном мире.

[8] Тенденция к использованию поляризованных понятий делает удобным моделирование смысла паремий (пословиц, поговорок, народных речений и пр.) на основе семантических оппозиций. См. работы А. Дандиса, Г. Л. Пермякова, А. А. Крикманна, М. А. Черкасского и др. в кн.: Паремиологический сборник. М., 1978.

Итак, мы рассмотрели отношения между дизъюнктами, входящими в предложения предпочтения. Теперь проанализируем внутреннюю семантическую структуру каждой их части.

Тезис о том, что хорошее предпочитается плохому, относится к презумпциям ценностных суждений. Все категории, оцениваемые положительно, предпочитаются тем категориям, которые оцениваются отрицательно: добро злу, истина лжи, мир войне, польза вреду, здоровье болезни, достаток недостатку, вёдро непогоде, ум глупости, сила немочи и т. п. Принимается в качестве заданной и ценностная иерархия классов, согласно которой человек есть венец творения, а лев — царь зверей.

Сообщения о предпочтении хорошего плохому не составляют неукоснительного руководства в реальных действиях людей, они мало информативны. Сказать «Благо лучше худа» значит сообщить, что благо — это благо, а худо — это худо. Такие суждения не более чем тавтологии, а акт сравнения эквивалентен акту ценностного противопоставления.

Большинство суждений о предпочтительности содержит сравнения усложненных категорий хорошего и плохого. Усложнение состоит в том прежде всего, что добро допускает контаминацию, снижающую его ценность, а худо может быть компенсировано некоторыми преимуществами, относящимися к другому аспекту оцениваемой ситуации [9]. В условиях альтернативы человеку приходится положить на одну чашу весов контаминированное добро, а на другую — компенсированное худо. Соотношение между чашами весов при этом может остаться прежним, но оно может измениться в пользу компенсированного худа. В первом случае возникают *даже*-предпочтения (*Даже худой мир лучше ссоры*; *И худой мир все-таки лучше доброй ссоры*); во втором случае — обращенные, или инвертированные, предпочтения (*Добрая ссора лучше худого мира*).

Рассмотрим *даже*-предпочтения. Их основная масса соответствует этическим прескрипциям. Этические формулы предпочтения редко инвертируются: Ремесло лучше воровства → *И худое ремесло лучше хорошего воровства*; Мир лучше ссоры → *И худой мир лучше доброй ссоры* (*драки*, *брани*); Лучше торговать, нежели воровать → → *Лучше с убытком торговать, чем с барышом воровать*; Лучше понести убыток, нежели испытать стыд → *Лучше понести на гривну убытку, нежели на алтын стыда.*

[9] Г. Л. Пермяков, положивший в основу изучения пословиц понятие инвариантных тематических пар и видов связывающих их отношений, отметил явление «двойного противопоставления» типа *Свой черный хлеб лучше чужих пирогов*, при котором одна предметная пара может превалировать над другой (см.: *Пермяков Г. Л.* О смысловой структуре пословичных изречений. — В кн.: Паремиологический сборник. М., 1978, с. 130—131). М. А. Черкасский специально рассматривает случай наложения отношений концессии (=контаминации) и адверсии (=компенсации) на отношение преференции, которое может при этом изменяться. Автор описывает и разного рода «семиотические фокусы», т. е. отклонения от нормальной семантической структуры, в том числе и шуточные. Статья М. А. Черкасского представляет большой интерес для нашей темы, см.: *Черкасский М. А.* Опыт построения функциональной модели одной частной семиотической системы (пословицы и афоризмы). — Там же.

Согласно абстрактному принципу выбора «есть» лучше, чем «нет», а «*больше*» лучше, чем «меньше». Однако в случае устойчивых иерархических отношений, заповедей количественная малость не смещает выбора: редуцированное хорошее не становится хуже гиперболизированного худшего (не столь хорошего): Рыба лучше таракана → *Маленькая рыбка лучше большого таракана*; Пчела лучше мухи → *Одна пчела лучше роя мух*; Зерно лучше мякины → *Лучше иметь маленькую кучу зерна, чем большую кучу мякины*; Радость лучше невзгоды → *Чем сто дней невзгод, лучше один день радости.*

Укоренившиеся представления о ценностях не всегда расшатываются и качественной ущербностью позитивного члена альтернативы: Стоянка лучше походу → *Худая стоянка лучше доброго похода*; Молчание лучше ворчанья → *Худое молчанье лучше доброго ворчанья*; Вареники лучше галушек → *Таки-сяки вареники, а все лучше галушек*; Квас лучше воды → *И худой квас лучше хорошей воды.*

Вводимые в каждый дизъюнкт признаки образуют дополнительную оппозицию, имеющую противоположную направленность: добро характеризуется как нечто качественно ущербное или количественно недостаточное (худое, малое), а худо — как нечто качественно облагороженное или количественно превосходящее (*доброе, хорошее, большое*).

Существенно более информативны те ценностные сопоставления, в которых контаминация хорошего и компенсация плохого (или не столь хорошего) инвертирует формулу предпочтения. Контаминирующие и компенсирующие признаки и в этом случае не только соотносительны, но прямо противопоставлены. В инверсии ценностей участвует гораздо более обширный круг антонимов, чем те, которые присутствуют в *даже*-предпочтениях. Это различие объясняется тем, что в *даже*-предпочтениях дополнительные признаки вводятся главным образом для того, чтобы подчеркнуть незыблемость исходного ценностного отношения, т. е. выполняют не столько смысловую, сколько эмфатическую функцию. В случае же инвертированных формул предпочтения дополнительные признаки значимы сами по себе. В инверсии ценностных отношений участвуют следующие антонимические пары: *мало—много, хорошее—плохое, свое—чужое, близкое—дальнее, приятное—неприятное, своевременное—несвоевременное, живое—мертвое, даровое—купленое, честь—унижение.* К этому ряду примыкают антонимы из области психологической характеристики человека: *умный—глупый, честный—нечестный, благодарный—неблагодарный, щедрый—скупой* и т. п. Существенную роль в инверсии предпочтения играет «фактор судьбы», участвующий в компенсации изъянов ума, воли и активности, и соответственно контаминирующий личные усилия, направленные на достижение желаемой цели.

Итак, компенсирующие и контаминирующие атрибуты относятся к следующим категориям: количеству, качеству, вероятностной оценке, соответствию вкусам, привычкам и природным связям человека, психологическим свойствам, действию «рока» и пек. др.

Приведем примеры наиболее распространенных типов инвертированных формул предпочтения.

1. *Много—мало.* Количественное превосходство в ряде ситуаций покрывает качественные изъяны. Это наиболее естественно для тех случаев, когда выбор диктуется постоянно возобновляющейся нуждой, насыщение которой определяется не только качеством потребляемого, но и его количеством: Хорошее лучше плохого, но: *Лучше много плохого, чем чуть-чуть хорошего*; Плов лучше каши, но: *Чем ложка плова, лучше обильная каша.*

2. *Хорошее—плохое.* Качественное превосходство является наиболее мощным рычагом инверсии ценностных отношений. Оно покрывает количественную недостаточность, повышает иерархический ранг, компенсирует многие другие изъяны. Например: Лучше иметь стадо, чем одну корову, но: *Чем плохое стадо, лучше одна хорошая корова.* Лучше знать десять ремесел, чем одно, но: *Лучше знать одно ремесло хорошо, чем десять плохо*; Жизнь лучше смерти, но: *Лучше хорошая смерть, чем плохая жизнь*; Разговор лучше молчанья, но: *Лучше хорошее молчанье, чем плохой разговор*; Брат лучше соседа, но *Добрый сосед лучше злого брата.*

3. *Свое—чужое.* В этом разряде сравниваются конкретные предметы, но имеется в виду не превосходство одного предмета над другим, а выбор между ситуациями обладания или пользования своей или чужой собственностью, либо о привязанности, склонности к родному или чужому. Например: Хорошее мило, плохое постыло, но: *Чужое и хорошее постыло, а свое и худое, да мило*; Рубль лучше гривны, но: *Домашняя гривна лучше заезжего рубля*; Пироги лучше сухарей, но: *Свой сухарь лучше чужих пирогов.* Рекомендация предпочитать свое в этих случаях адекватна совету не зариться на чужое, не завидывать другим, не унижаться до просьб. Это позиция скромного, но независимого собственника или гордого бедняка. Предпочтение своего чужому часто отражает эмоциональную привязанность к родному дому (земле, краю, родичам, семье). Это точка зрения патриота. Например: Роза лучше шипа, но: *Лучше, чем роза на чужбине, шип в отечестве*; Лучше быть царем, чем бедняком, но: *Лучше быть на родине бедняком, чем на чужбине царем.* Наконец, в этом разряде встречаются сентенции смещенных оценок своего и чужого: зависть «работает» в пользу чужого, кровная любовь — в пользу своего. Сравнению подвергаются объекты, принадлежащие одному классу. Например: *Свои дети всегда лучше чужих, а жена хуже*; *На чужом поле пшеница кажется лучше, свои дети кажутся краше.* Включение в иерархию ценностей оппозиции «свое—чужое», таким образом, вводит в ситуацию автора оценок и чревато их субъективизацией, отражающей разные жизненные позиции субъекта предпочтения.

4. *Ближнее—дальнее: реальное—потенциальное; наличное —отсутствующее.* Сено лучше соломы, но: *Ближняя соломка лучше дальнего сенца*; Хваленка лучше хаянки, но: *Ближняя хаянка лучше дальней хваленки*, откуда вытекает следующая рекомендация: *Не стремись к дальней хваленке, бери ближнюю хаянку*; Родня лучше соседа, но: *Ближний сосед лучше дальней родни.*

5. *Даровое (дареное)—купленное.* Например: Ремень лучше лыка, но: *Даровое лычко лучше купленного ремешка.*

6. *Труд—лень (разбой, хищность).* Например: *Говорят, что среди животных лев — высшее, а сосед — низшее, но осел, пошу таскающий, поистине лучше, чем лев, людей раздирающий* (Саади).

7. *Мир—ссора.* Например: Лучше жениться на богатой, чем на бедной, но: *Лучше на убогой жениться, чем с богатой браниться.*

8. *Честный—нечестный способ достижения благ жизни.* Например: Каравай лучше, чем ломоть, но: *Лучше заработанный ломоть, чем краденый каравай.*

9. *Приятный—неприятный; сладкий—горький.* Например: Правда лучше лжи, но: *Сладкая ложь лучше горькой правды.*

10. *Ум—глупость (умный—глупый).* Например: Правда лучше лжи, но: *Умная ложь лучше глупой правды*; Хвала лучше хулы, но: *Лучше умная хула, чем дурацкая хвала.*

11. *Щедрость—скупость.* Богомолец лучше мирянина, но: *Великодушный муж, который сам ест и дает другим, лучше богомольца, владеющего благами и приберегающего их* (Саади).

12. *Благодарность—неблагодарность.* Например: *Высшее из созданий по облику — это человек, а низшее — собака, но по единодушному мнению мудрецов, благодарная собака лучше неблагодарного человека* (Саади).

13. *Радость—горе.* Например: Лучше мед пить, чем воду, но: *Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине*; Лучше есть пирог, чем хлеб, но: *Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой.*

14. *Честь—унижение.* Например: «*О боги! — возопил, стеная Лев тогда. — Чтоб не дожить до этого стыда, Пошлите лучше мне один конец скорее! Как смерть моя ни зла: Все лучше, чем терпеть обиды от Осла* (И. Крылов).

15. *Доброта—злоба.* Например: Красавцем быть лучше, чем уродцем, но: *Лучше быть добрым уродом, чем злым красавцем.*

16. *Счастье—несчастье (везенье—невезенье).* Например: Умным быть лучше, чем глупым, но: *Лучше быть глупым, да счастливым, чем умным, да несчастным.*

17. *Живое—мертвое.* Например: Река лучше ручья, но: *Текущий ручей лучше высохшей реки*; Лев лучше мыши, но: *Живая мышь лучше мертвого льва.*

18. *Своевременное* (удовлетворяющее требованию момента)—*несвоевременное.* Например: Золото лучше (ценнее) похлебки, но: *При голоде глоток похлебки лучше золота*, ср. также *Прийти во-время лучше, чем прийти рано.*

19. *Дружеское—враждебное.* Например: Пить мед лучше, чем воду, но: *У друга пить воду лучше неприятельского меду.*

20. *Имеющее хорошие/плохие последствия.* Например: Веселье лучше горя, но: *Горе, несущее радости свет, лучше веселья — предвестника бед* (Саади).

Как видно из приведенных примеров, наиболее легко сдают приоритетную позицию материальные блага и физические преимущества.

В ряде случаев контаминирующие и компенсирующие признаки не конкретизируются. Например: *Иное боярство хуже понамарства*= 'Есть такой вид боярства, которому следует предпочесть понамарство'; *Иная слава хуже поношения*='Хоть слава лучше поношения, есть такие виды славы, которым следует предпочесть поношение'= 'Не всякая слава лучше поношения; *Иные оборыши лучше выборошей*='Хотя оборыши хуже выборышей, бывают такие оборыши, которые предпочтительней выборышей'. В таких предположениях либо дискредитируется некоторая разновидность блага, либо реабилитируется некоторый вид худа, т. е. производится сопоставление вида добра с родом худа (или, соответственно, наоборот). Отправным пунктом сравнения является видовое понятие, поскольку именно выделяемая из рода разновидность служит темой сообщения. В зависимости от того, происходит ли выделение вида из состава добра или из состава худа, высказывание строится на базе положительного компаратива *лучше* или отрицательного *хуже*, ср. *Иная слава* (*похвала*) *хуже поношения* (брань) и *Иное поношение лучше славы* (при невозможности **Поношение лучше иной славы* и **Слава хуже иного поношения*, однако правильно: Поношение бывает лучше иной славы); *Иные выборыши хуже оборышей* и *Иные оборыши лучше выборошей.*

Подчеркнем в заключение, что для отношений между дизъюнктивными частями суждений о предпочтении характерна семантическая поларизация, для внутренней организации каждой части типичны отношения противительной (компенсирующей и контаминирующей) конъюнкции.

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОГЕОГРАФИИ[1]

С. В. Бромлей

1. Восточнославянская языковая область по многим причинам — историческим, структурно-лингвистическим, лингвогеографическим и др. — должна быть выделена в качестве особого, единого и целостного объекта картографирования, если иметь в виду историко-лингвистические цели, т. е. проблемы, связанные с восстановлением древнерусского языкового состояния и процессом сложения на его основе трех восточнославянских языков, а также их диалектного членения.

2.1. Историко-лингвистические основания такого выделения достаточно очевидны. Их можно кратко изложить, опираясь на обще-

[1] В первоначальном виде тема настоящей статьи была освещена в докладе автора «Лингвогеографическое изучение восточнославянской языковой области», см.: Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы докладов и сообщений. (Душанбе, 12—15 ноября 1979 г.). Москва, 1979.

известные в славистике сведения, касающиеся этой группы славянского этноса.

Известно, что языковые различия в той части славянского мира, где позже сложились западные и южные славянские языки, как и древнейшие из черт, послуживших их противопоставлению восточнославянскому языку в целом, сформировались еще в середине первого тысячелетия н. э. Расхождения ученых относительно начала этих процессов, связанных (однако, далеко не прямолинейно) с распадом общеславянского единства, велики: от IV до VIII в. н. э. [2] Но при этом формирование важнейших черт, легших в дальнейшем в основу выделения западно- и южнославянских языков (древнечешского, древнеболгарского и др.), осуществлялось во всяком случае на несколько веков раньше, нежели тот же процесс внутри первоначально единого языка восточных славян.

О самом восточнославянском языке как едином можно говорить лишь применительно к VIII—IX вв., т. е. к тому времени, когда славянские племена, предки будущих восточных славян, расселились на широком пространстве Восточной Европы от Днестра до верховьев Волги и от Немана до Оки, где пришли в соприкосновение с балтами, угро-финнами, а на юге частично и с ираноязычными (сарматскими) племенами [3]. Здесь был пережит (на базе культурно-исторического и языкового единства, частично уходящего в общеславянскую эпоху) процесс консолидации этих племен, составивший основу для их будущего государственного объединения [4]. Важно, что наиболее древние из восточнославянских новообразований ([č'], [ž'] на месте старых *tj*, *dj*, полногласие, [o] на месте *je* в начале слова) являются отражением общих для всех восточных славян языковых процессов.

В той части славянского мира, где формировались западная и южная группа славянских языков в эту же эпоху, а возможно и ранее,[5] уже не обнаруживается полного единства и целостности. На этих территориях идут процессы языковой дифференциации, подготавливающие выделение отдельных языков внутри каждой из этих групп[6].

Важно также и то, что языковые связи восточных славян с остальным славянским миром оказались в течение длительного периода слабыми. В особенности это касается связей с южными славянами:

---

[2] См. об этом: *Birnbaum H.* The dialects of commons slavic. Ancient indo-european dialects. Berkley—Los Angeles, 1966. — Последнее время распад общеславянского единства чаще приурочивают к VI—VII вв., см.: *Седов В. В.* Восточные славяне в VI—XIII веках. М.: Наука, 1982, с. 10.

[3] *Седов В. В.* Указ. соч., с. 5.

[4] Там же, с. 270.

[5] И. Поповић (см.: Историја српско-хрватског језика. 1955) считает, что уже к IV—V вв. в древней Паннонии на основе южных говоров центрального диалекта праславянского языка происходит формирование основных черт будущих сербохорватского и словенского языков, а между Карпатами и Прутом — основных особенностей, которые лягут в основу болгарского языка.

[6] См.: *Аванесов Р. И.* Вопросы истории русского языка в эпоху формирования и дальнейшего развития русской (великорусской) народности. — В кн.: Вопросы формирования русской народности и нации. М.; Л., 1958, с. 162.

общие изоглоссы, связывающие восточно- и южнославянские языки, практически отсутствуют [7]; связи с западной группой в доисторический период более выражены (общая судьба начальных сочетаний типа *ort*, *olt*, форм твор. п. ед. ч. муж. р. на *о—ъть*), однако и они были не настолько тесными, чтобы образовались переходные говоры [8].

Эпоха возникновения государств славянских народностей, появившихся на западе и юге славянского мира (например, чешского — Великая Моравия IX—X вв. или польского государства X—XI вв. при Болеславе Храбром), по времени соотносится с началом формирования Киевского государства (Киевская Русь), государства древнерусской, т. е. о б щ е в о с т о ч н о с л а в я н с к о й, народности, которое вплоть до XIII в. характеризовалось значительным языковым единством, о чем говорят единые для всего древнерусского языка новообразования этого времени (общие рефлексы редуцированных в сильной позиции, близость рефлексов старого *ѣ*, наметившаяся тенденция к изменению [е] > [о] перед твердыми согласными). Диалектное дробление древнерусского языка признается не всеми исследователями. Набор диалектных черт древнейшей поры очень ограничен, к ним относят обычно различия в способе образования заднеязычной звонкой фонемы ([г] : [γ]), различия билабиального [w] и лабиовелярного [в], явления, связанные с совпадением аффрикат *ц* и *ч* [9].

Предпосылки для формирования диалектных различий в древнерусском языке возникли лишь позже, к концу XII—началу XIII в., что было связано с ослаблением Киева и усилением местных центров, в особенности на северо-востоке (выдвижение Ростово-Суздальского княжества), а также с последующими событиями татаро-монгольского нашествия, послужившими толчком к усилению феодальной раздробленности Киевского государства и, наконец, его распаду. Последнее обстоятельство способствовало усилению давления с запада, приведшего в XIV в. к противостоянию на территории, занятой древнерусской народностью, двух новых государственных образований: Великого княжества Литовского (позже — Польско-Литовского) и Великого Московского княжества. Возникшие на протяжении этого времени диалектные различия, наслоившись на черты более древней языковой дифференциации, легли в основу выделения трех самостоятельных восточнославянских языков и их первоначального диалектного членения.

Важно подчеркнуть, что процессы, приведшие к выделению отдельных восточнославянских языков, и процессы, обусловившие их внутреннее диалектное членение, близкие по времени, во многом неотделимы друг от друга. Это отразилось и в характере диалектного членения территории, занятой современными восточнославянскими

---

[7] См.: *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, с. 68, 80.

[8] См. об этом: *Ван Вейк Н.* По поводу славянских форм твор. п. ед. ч. на -оу, -ov. — Slavia, 1923, Roč. II, Seš. 1, с. 16.

[9] *Аванесов Р. И.* Указ. соч., с. 165.

языками, и в сложном структурном соотношении дифференциальных признаков этих трех языков [10].

Итак, в связи с относительной языковой обособленностью восточных славян в течение длительного периода, в структуре славянских языковых соответствий в относительно поздний период завязался новый иерархический узел языковых отношений, представленный языками восточнославянской группы, свидетельствующий о их значительно большей близости друг к другу по своей структуре по сравнению с отношениями, в которых находятся между собой другие славянские языки. Это в свою очередь означает, что восточнославянские языки, будучи несоотносимым в иерархии славянских языковых связей ни с уровнем языков, ни с уровнем диалектов, выделяются в самостоятельный объект лингвогеографии.

2.2. Анализ лингвистического ландшафта, характеризующего территорию, занятую современными восточнославянскими языками, позволяет представить обоснования того же положения, основанные на синхронных данных.

Территорию, занятую современными восточнославянскими языками, пересекают изоглоссы, относящиеся к разным эпохам. Одни из них восходят к древнерусскому языку старшей поры, отражая (хотя и в значительно преобразованном виде) племенные языковые различия, а частично, возможно, и унаследованные предками отдельных групп славян еще из праславянского; другие относятся к более поздним периодам — эпохе феодальной раздробленности; третьи — более непосредственно связаны со временем формирования отдельных восточнославянских языков. Особо следует выделить изоглоссы, очерчивающие разной величины и конфигурации участки севера, северо-востока и востока восточнославянской территории. Они с разной степенью вероятности могут отражать субстратные явления, относящиеся к разным периодам освоения территорий, занятых ранее прибалтийскими и угро-финскими племенами.

Среди разного рода особенностей восточнославянского лингвистического ландшафта выделим лишь те, которые свидетельствуют о его целостности и неделимости как лингвогеографического объекта.

Первостепенное значение в этом смысле имеет типичное для трех восточнославянских языков попарное их объединение по разным языковым явлениям, причем в такие пары вступают по большей части, с одной стороны, украинский и белорусский языки, с другой — белорусский и русский. Перечень этих изоглосс хорошо известен [11]. Из этого следует, что выделение территории отдельных восточносла-

---

[10] С наибольшей степенью конкретизации модель этих процессов в масштабе всех восточнославянских языков воссоздается в работах Р. И. Аванесова 40—50-х годов: *Аванесов Р. И.* Вопросы образования русского языка в его говорах. — Вести. Московского ун-та, 1947, № 9; *Он же*: Проблемы образования русской (великорусской) народности. — ВЯ, 1956, № 5; *Он же*: Вопросы истории языка в эпоху формирования и дальнейшего развития русской (великорусской) народности. — В кн.: Вопросы формирования русской народности и нации. М.; Л., 1958.

[11] См.: *Аванесов Р. И.* Очерки русской диалектологии. М., 1949, с. 202—208.

вянских языков осуществляется не столько за счет языковых явлений, специфических для каждого из отдельных языков, сколько за счет наложения ареалов языковых черт, попарно объединяющих разные языки. Принцип такой сочетаемости является главным лингвогеографическим критерием выделения территории белорусского языка, так как, характеризуясь минимальным набором специфических изоглосс, он обнаруживает значительное число языковых признаков, объединяющих его, с одной стороны, с украинским, с другой — с русским.

Далее. Восточнославянский лингвистический ландшафт практически не дает возможности сколько-нибудь точно очертить границы современных восточнославянских языков. Территории трех восточнославянских языковых областей на значительных участках фактически не имеют собственно языковой границы. В особенности это относится к белорусско-русской границе, с одной стороны, и украинско-белорусской, с другой. Территории РСФСР, пограничные с Белоруссией (т. е. почти вся современная Смоленщина, западная Брянщина и отчасти Псковщина), представляют собой области распространения переходных белорусско-русских говоров с постепенным убыванием белорусских языковых особенностей по направлению с запада на восток [12]. Такой же переходной в языковом отношении областью является территория полесских говоров Белоруссии, где распространены говоры, совмещающие черты, свойственные порознь украинскому и белорусскому языкам. Нередко подобного рода совмещение разноязыковых вариантов распространяется на всю южную группу говоров белорусского языка. Переходный характер обнаруживают и восточно-полесские говоры Украины [13].

В связи с этим явления, по преимуществу характерные для одного языка (или двух языков), зачастую имеют более или менее обширные области распространения в пределах других языков (или другого языка). Ср., например, распространение в западных русских говорах форм *злый*, *мыю* вм. *злой*, *мою*, протетического *в*, твердого *ч* — характерных для белорусского и украинского языков, и, наоборот, довольно значительные ареалы некоторых русских явлений в пределах восточных говоров белорусского языка (например, форм существительных без чередования заднепёбных со свистящими, различения твердого и мягкого *р*, форм инфинитива типа *несть*, *весть*) или отдельные русские по происхождению явления в украинских северо-восточных говорах (ср. аканье, мягкое *ч* и некоторые другие, например, в восточно-полесских и слободжанских говорах) [14]. Некоторые черты, характерные по преимуществу для украинского, такие, на-

---

[12] См. об этом указанные выше работы Р. И. Аванесова, а также: *Орлова В. Г.* Русско-белорусские языковые отношения по данным диалектологических атласов. — В кн.: Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая сер. М., 1961. вып. II.

[13] См.: *Жилко Ф. Т.* Перехідні говіркі від українських до білоруських у північно-західних районах Чернігівської області. — Діалектологічний бюлетень. К., 1953. Вып. IV.

[14] *Он же*: Нариси з діалектології української мови К., 1955.

пример, как формы будущего времени типа *рабіцьмеш*, сочетания губных согласных с *й* перед гласными непереднего ряда (ср. [мйа́]*со*, [пйа]*ть* и др., а также [мп'а́]*со*) в большей или меньшей мере распространены в южных говорах белорусского языка [15].

Целый ряд различительных восточнославянских явлений невозможно квалифицировать ни как языковые, т. е. противопоставляющие отдельные восточнославянские языки, ни как диалектные, т. е. различительные только в пределах отдельных восточнославянских языков. Это является главным лингвогеографическим критерием, позволяющим на основе синхронных характеристик квалифицировать восточнославянские языки как самостоятельный и целостный объект лингвогеографии.

Речь идет о тех явлениях, которые, имея в пределах одного языка ярко выраженный диалектный характер, в то же время являются и признаками языковыми, так как характеризуют другие языки как целое. К ним относятся многие диалектные факты белорусского языка, принимающие участие в его членении на два основных наречия: юго-западное и северо-восточное, например, наличие и отсутствие особой формы 1 л. мн. ч. повелительного наклонения (*uzémo*, *спи́мо*) или формы типа *теля*, *порося*. Эти формы имеются в юго-западных говорах белорусского языка и украинском языке в целом и, наоборот, отсутствует в северо-восточных говорах белорусского языка и русском языке в целом. Или диалектное различие русского языка оканье : аканье. Характеризуя соответственно севернорусские, южнорусские говоры, это же различие противопоставляет соответственно украинский и белорусский языки, причем окающие севернорусские говоры отделены от окающего украинского языкового массива широкой полосой аканья, присущего южнорусским говорам и белорусскому языку. Следует отметить, что севернорусские говоры в целом (а чаще их отдельные подразделения) вообще обнаруживают общность по целому комплексу языковых особенностей с украинским языком или с украинским и частью белорусских говоров (в той мере, в которой последние объединяются с украинским по тем же признакам). Кроме оканья могут быть названы черты, относящиеся к разным языковым уровням, такие, например, как судьба *ě*, факты отсутствия (или неполного) смягчения согласных перед гласными переднего ряда, неоглушение согласных, сохранение мягкого *ц'* и цокание, наконечное ударение в форме 2 л. мн. ч. глаголов (*сидите́*, *несите́*), формы инфинитива одинаковой структуры (*пекти́*, *кла́сти* и др.), синтаксические конструкции типа *руку поранено* и многие другие факты. Хотя не все они в одинаковой мере представлены в северно-

---

[15] См.: Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963 (карты № 166 и 50, 51. — Такие явления на смежных территориях другого языка могут быть квалифицированы как образующие определенные диалектные зоны или другие подразделения диалектного членения, ср., например, западную зону южнорусского наречия, выделяющуюся на современной диалектологической карте русского языка в основном за счет явлений, характерных для белорусского (иногда и украинского) языка, см.: *Захарова К. Ф., Орлова В. Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.

русских говорах, однако широкий диапазон общих явлений не может быть случаен [16].

Отметим, наконец, что для отдельных явлений восточнославянского лингвистического ландшафта, строго говоря, невозможно вообще установить языковую принадлежность, так как они локализуются только в пограничных зонах; ср., например, в русско-украинском пограничье формы косвенных падежей ед. ч. прилагательных на *-эй* (*у молодэ́й*, *к другэ́й*), форму мужского рода указательного местоимения *тэй*, формы сравнительной степени типа *вышей* и др. Их с равным основанием (не выходя за пределы синхронии) можно отнести и к русским и к белорусским явлениям, поскольку они характеризуют только зоны стыка двух языковых массивов. Таковы же и некоторые явления украинско-белорусского пограничья, например, формы аналитического будущего времени со вспомогательным глаголом *имать* (*маю робить*) в некоторых полесских говорах.

Итак, лингвистический ландшафт восточнославянской языковой области характеризуется сложным переплетением изоглосс, большей части которых нельзя приписать определенной классификационной роли в связи с их двойственным характером — способностью одновременно выступать и в функции диалектных и в функции языковых территориальных показателей, или же неспособностью вовсе нести подобную информацию. Таким образом и синхронный анализ состояния лингвистического членения восточнославянской области приводит к выводу, что она представляет собой как объект лингвогеографии органическое неделимое единство.

2.3. Вывод о единстве восточнославянского языкового пространства как объекта лингвогеографии означает, что любое его членение при изучении методами этой дисциплины всегда условно и произвольно.

Значительный элемент условности имеет место и в том членении восточнославянского лингвистического пространства, которое соответствует рамкам, заданным официальными границами национальных республик, поскольку при их определении языковые признаки не могли являться единственным критерием. В сложении национальных границ, помимо фактора национального самосознания, важной составляющей которого является язык, как известно, играют роль и другие — социально-экономические, исторические, политические, географические.

Поэтому лингвистическое картографирование восточнославянской территории в пределах атласов отдельных национальных языков не может дать целостного представления о характере восточнославянского лингвистического ландшафта. Закономерности терри-

---

[16] Общность многих конкретных явлений этого рода может быть подведена под общее понятие систем, в большей мере сохранивших в области фонетики вокальный характер своего строя. См. об этом: *Бромлей С. В.* Роль сонорных в противопоставлении центральных и периферийных говоров русского языка. — В кн.: Диалектография русского языка. М., 1985.

торпальной структуры восточнославянских различий, реализующиеся в пределах всей восточнославянской территории, тем самым могут быть выявлены только при их картографировании на этой территории в целом. Только в этом случае результаты лингвогеографического изучения этой территории могут быть плодотворно использованы для исследований ретроспективного характера, т. е. для восстановления членения древнерусского языка и изучения истории сложения отдельных восточнославянских языков и их диалектов.

2.4. Известно, что данные русского, украинского и белорусского языков предстанут на картах Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) в одном ряду с данными других славянских языков. Однако основной задачей ОЛА является картографирование межъязыковых славянских соответствий. Он создается с учетом наличия национальных диалектологических атласов, поэтому диалектная специфика в нем в принципе не может (и не должна) быть отражена с той степенью полноты, как это имеет место в атласах национальных. Основным объектом этого атласа являются различия *на уровне языковом*. Эта специфика атласа пронизывает всю его структуру, отражается и в характере отбора явлений, подлежащих картографированию, и в определении самого непосредственного объекта картографирования. Этим объектом, как правило, является отдельное слово, поскольку картографирование в атласе базируется на генетическом принципе, чем и определяется по преимуществу ономасиологический характер построения вопросов [17].

Естественно, что ОЛА, нацеленный на картографирование различий, существенных в общеславянском масштабе [18], не может с той степенью полноты, с какой это требуется для решения специфических проблем восточнославянской исторической диалектологии, отразить различия, существенные для этой части славянского мира, так как эти последние (как это было показано выше) теснейшим образом связаны, более того — неотделимы, от различий диалектного характера, в значительной части иррелевантных для остальной славянской территории.

5. В итоге следует признать, что оба рода лингвогеографических источников — и атласы отдельных славянских языков и ОЛА — не полностью соответствуют целям изучения истории сложения восточнославянских языков. Решение диахронических задач восточнославянского языкознания методами лингвогеографии в полной мере могло бы быть обеспечено только на базе специально созданного восточнославянского лингвистического атласа с четко отобранным кругом языковых явлений, подлежащих картографированию.

---

[17] См. в книге «Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск» (М.: Наука, 1978), где во вступительной статье Р. И. Аванесов пишет, что атлас «в основном построен на диахроническом тождестве слов и морфем, т. е. на генетическом принципе, и исходит из принятого позднепраславянского состояния» (с. 33—34).

[18] «Если национальные атласы изучают диалектные различия в пределах данного языка, имеющие национальное значение, то в ОЛА картографируются различия в пределах всей группы (семьи) языков, различия, имеющие общеславянское значение» (Там же, с. 28).

НАИМЕНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ РУКИ И НОГИ В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

А. П. Груцо

Названия частей тела человека в своем подавляющем большинстве относятся к общеславянскому языковому фонду, поэтому изучение семантической дифференциации, словообразовательных возможностей и территориального распространения такой лексики имеет исключительное значение для выяснения вопросов, связанных с бытом, миграцией, социально-экономической и культурной жизнью славянских народов, складыванием, развитием и взаимодействием их языков. В этой связи определенный интерес представляет изучение закрепившихся в белорусском литературном языке и распространенных на территории Белоруссии фонетических, морфологических и словообразовательных вариантов таких названий руки и ноги, как *ладонь*, *ступня*, *голень*, *бедро*, *икра* и пек. др.

В качестве названия внутренней стороны кисти руки в белорусском литературном языке употребляется слово *далонь*, восходящее к общеславянскому dolnь. В языке белорусской письменности первые случаи фиксации слова *долонь* в значении ‘рука’ датируются XV в.: как могу я простерети на осподарьскую голову своп *долони* (Чет., 128 б); инын свою *долонью* держать все створенье (Там же, 209 б).

В значении ‘ладонь’, которое для рассматриваемого слова *долонь* является основным и потому наиболее распространенным, оно отмечается с первой четверти XVI в.: *долони* свои простерла убогому и руки своп пустила жадпику (Сб. 262, 109б); на руце левой *долонь* ростята паполы (АВК, XVII, 161, 1540); рана битая. . . которая якъ естъ широка мало на *долонь* (Там же, XVII, 433; 1561); а голова догонова, и обе *долони* рук его утяты били на порогу (Хр. 2406, 202б).

Вместе с тем уже в старобелорусском языке существительное *долонь* употреблялось в значениях ‘горсть как количество чего-либо, захватываемое ладонью со сжатыми пальцами’: лепшь полная *долонь* тихости нижли полны пригорщи труду и захотеніа духова (Сб. 262, 88) и ‘пядь как мера длины’: который учинил собе мечъ обаполъ острый вдолжъ на *долонь* тоесть на пядь и подпоясал его под верхнюю сукню на правом боку (Библия, 120); Миля астропомская, кровов д. крокъ д. стопы. стопа четыре долопи. *долонь* четыри пальце (Бер., 112).

В говорах белорусского языка, наряду с *далóнь* (*дóлань*, *долóнь*, *дулóнь*, *далóня*, *долóня*, *дулóня*), широко используется развившееся в результате метатезы и закрепления на письме акапья собственно русское *ладóнь* (*ладóня*, *лóдоня*). При этом первое отмечается преимущественно на территории Брестской и Гродненской областей, а преобладающее распространение второго под влиянием русского языка наблюдается на востоке Белоруссии вплоть до линии Друя—Шар-

ковщина—Минск—Красная Слобода и далее по Лани и Припяти до границы с Украинской ССР.

В памятниках старобелорусской письменности слово *лодонь* встречается лишь один раз в Речи Ивана Мелешки, которая представляет собой острый политический памфлет конца XVI в.: Коли жъ до тебе панчек прыеде, частуй же Iего достатком, да и жонку свою подле его посады; а онъ сыдыть какъ бесъ надувшыся, . . . и зъ жонкою напептываетъ, да в *лодонь* скребетъ!

Наименования суставов пальцев руки в основном являются производными от *кость*, *щиколотка*, *сустав*, *колено*. К ним относятся *ко́стачкі* (*ко́сточкі*, *ко́стъчкі*, *ко́стычкі*), *шчы́калаткі* (*шчы́колодкі*, *шчы́кылыткі*, *шчы́клыткі*, *шчыкалкі*), *чы́колодкі* (*чы́колодкы*, *чы́колоткі*, *чы́колоткы*, *чы́котки*), *суста́вы* (*саста́вы*, *сыста́вы*), *суста́ўкі*, *суста́ўчыкі* (*суста́вчыкы*, *суста́вчыке*, *суста́ўчікі*), *кале́нцы*, *сукале́нкі* (*сукале́нцы*, *сукале́нца*). При этом только варианты от слова *шчыкалаткі* употребляются более менее компактно: с начальным *шч-* в основном распространены на восток и север от линии Лыптупы—Молодечно—Минск—Шклов и далее по Днепру до границы с Украиной, а с начальным *ч-* — на юго-западе Брестской обл. Преимущественно на территории Гродненской обл. отмечаются наименования *пучкі* (*пучке́*), *пушкі* (зафиксированы только в материалах по Клецкому, Слуцкому и Стародорожскому районам Минской обл.) и *чу́чуланкі* (*чычылі́нкі*, *чыцеленкі*), а также распространенные под влиянием польского языка *члу́нкі* (*члу́нкі*, *члунке́*). Единичными случаями употребления представлены такие наименования суставов пальцев, как *мы́шчълка* [1], *мы́шчылк и мы́шчыкълъткі*, развившиеся в результате контаминации *мы́шчылка* и *шчы́калатка*, а также *кю́точкі*, *кю́ткы*.

В старобелорусском языке только слово *сустав* в соответствии с присущим ему общим значением «подвижное соединение, сочленение костей или хрящей в организме человека» употреблялось и для обозначения рассматриваемой реалии: виделъ есми в него рану тятую на левой руце на самом *суставе* надъ великимъ пальцомъ (АВК, XXI, 38, 1555, Гродно); виделъ есми. . . на руце левой на *суставе* спиюю рану (Там же, XXVI, 494, 1586).

Большинство распространенных в белорусских диалектах названий нижней части ноги восходят к общеславянскому *стопа*, случаи употребления которого с *у* на месте этимологического *о* преобладают на территории Гродненской и Брестской областей [2]. К образованиям от этого корня относятся *ступе́нь* (*сту́пень*, *сту́пінь*, *сту́пынь*), *ступня́* (*стапня́*) *ступа́к*. Самым распространенным из них является слово *ступень*. Литературному языку в этом значении оно неизвестно, а в говорах отмечается повсеместно. В отличие от него слово *ступня*, которое в этом значении закрепилось в белорусском литературном языке, в говорах распространено в основном на восток от линии Верхнедвинск—Минск—Слуцк—Лунинец—Столин. Что касается

[1] См.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1971, т. 3, с. 28.

[2] В памятниках старобелорусской письменности слово *ступа* в указанном значении один раз употреблено в Четье Минеях 1489 г.: перъси его какъ серпы. ступы его дву пяден.

слова *ступак*, то ареал употребления его расположен на юго-запад от Минска и охватывает Дзержинский, Столбцовский, Пуховичский, Слуцкий и Клецкий районы Минской обл., Лидский, Новогрудский, Кореличский и Слонимский районы Гродненской обл., Ганцевичский и частично Лунинецкий районы Брестской обл.

В старобелорусском языке для обозначения нижней части ноги, наряду с вышеотмеченным *ступа*, употреблялись *стопа* и *ступень*: святой иванъ своими *стопами* ходил по тобе (Чет., 189 б); господи. . . направи *стопы* мои на дело заповедей твоих (Сб. 752, 504);

На основе первичного развились такие присущие слову *стопа* в старобелорусском языке значения, как 'мера длины': были там дерева высокии на *сто стопъ* (Алекс., 38); 'шаг': чи не тот видит пути мои и вси *стопы* мои считаетъ (Сб. 262, 24 б—25), а также 'след': обачъ чии то суть *стопы* (Библия, 559).

У слова *ступень* на базе вышеотмеченного основного значения уже в старобелорусском языке развились такие значения, как а) 'мера длины': тая турма была болшеи сорока *ступеневъ* въ шырки (Бова, 146); да кажныи насли суть на трех *ступенех* на должину (Волх., 44б); б) 'сравнительная величина, характеризующая что-либо, мера чего-либо': будучы тот злочынцъца на остаточной *ступени* живота своего поведилъ тыми словы (КВС, 663б, I, 1552); вы нам и тое вжо теперъ пры остатнемъ *ступени* своемъ, поведайте (АВК, XVIII, 43, 1582); як перший *ступенъ* ку мудрости ест (Пс. XVI, 113—113б); в) 'часть лестницы, один из горизонтальных выступов, на который ступают при подъеме или спуске': якимъ посадилъ ее на третем *ступени* олтарнем (Чет., 17б); Тотъ злодей, будучи на шубеницы взогнаный, на остатнимъ *ступени*. . . мовилъ (АВК, XVIII, 132, 1595).

Другие диалектные наименования нижней части ноги, а именно *падашва́*, (*падзе́шва*, *падбшва*, *підбшва*, *пудашва́*, *пудбшва*, *подышва́*), *плю́сна* (*плюсна́*, *плюсня́*), *плюсно́* отмечаются спорадически и разобщенно.

В указанном значении старобелорусскому языку было известно слово *плюсна* (*плюсня*, *плюсьна*): и вдарилъ нова прыщом лихим от *плюсны* ноги его до лъба его (Сб. 262, 12б); малыи же длани и малыи *плюсны* (Арист., 191).

Слово *плюсна* и его варианты *плёсьня*, *плёськня* в белорусских народных говорах используются для обозначения части ноги от ступни до колена. Обычно с этой целью употребляется общеславянское *голень* и производные от него, а также слово *лытка*, которое в этом значении известно русскому и другим славянским языкам. Однако если само слово *гблень* (*гблінь*, *гблянь*, *галёнь*) встречается сравнительно редко на территории Могилевской, Гродненской и Брестской областей, то производные от него *галёнка* (*галенка*, *голёнка*, *голінка*, *гулінка*) отмечаются повсеместно наряду с *лытка*.

В старобелорусском языке, наоборот, слово *голень* широко использовалось в значении «часть ноги от ступни до колена»: нога правая нижей колена у трехъ месцохъ *голенъ* кость перебита (АВК, XXI, 255, 1556—1557); целую неделю снегъ силныи и кгвалтовни шолъ, выпал до пол *голени* (Барк., 163б); жыдове. . . просили, абы роспятых *голени* поломано, и так учынено лотромъ (Сб. 255, 302б).

При этом производное от него *голенка* в этом значении отмечено лишь дважды: и што колве хочь ходитъ на чотырехъ ногахъ, але мае должни и последнiи и *голенки*, которыми скаче по земли (Хр. 2405, 118б); *Голень, голенка* (Бер., 28).

Слово *лытка*, первые случаи фиксации которого относятся к началу XVI в., в старобелорусском языке употреблялось в своем исконном значении ‘выпуклость на задней части голени, образуемая трехглавыми мышцами’: почали *лытки* его до голен пороть (Сб. 81, 146б); роспаленым рожном железными пропалили ему *лытки* (Сб. 752, 7б).

В населенных пунктах на территории Брестского, Малоритского и Кобринского районов Брестской обл. как производное от *голень* в указанном значении отмечается слово *голя́шка* (*голю́шка*). Из других наименований этой реалии обращает на себя внимание употребляющееся в некоторых говорах Брестской, Витебской и Могилевской областей слово *цзу́ка* (цеу́ка, ці́вка, цыбо́вка), широко известное в качестве названия нижней части ноги лошади.

Из названий ноги от таза до колена самым распространенным в белорусских говорах, является слово *стягно́* (*сьцягно́*, *сцегно́*, *сьцегно́*, *сьцёгно*, *стегно́*, *стёгно́*, *стыгно*, *стыегно́*). В старобелорусском языке оно широко употреблялось в этом значении: много мяса на *стегне* (Арист 201); мене Бова ударилъ у *стегно* и наговицу ми разодрал (Бова, 143); Трыщан был ранен у *стегно* кгротким ядовитым (Трист., 21). В памятниках отмечены также другие значения слова *стегно* ‘бедровая часть преимущественно свиной туши’: Васко. . . будучи позван. . . о *стегно* мяса. . . до права не сталъ (АВК, XXXIX, 474, 1579); Кабаново стегно (ИЮМ, IV, 66, 1686, Могилев), а также род, потомство при переносном употреблении: не буде отнято княженье от Iуды, ани вожь *стегна* его ажъ приде который маетъ быти послапъ (Хр. 2405, 76б).

Преимущественно на запад и север от Минска как производное от *стегно* в значении ‘часть ноги от таза до колена’ распространено слово *сцягня́к*, *сьцягня́к*, *стыгня́к*), которое наряду со *сцягно*, *бядро*[3] известно белорусскому литературному языку. Вместо *сцягно* как названия мясистого покрытия стегновой кости используется слово *ля́шка*, а также *галёнка* (*голі́нка*), закрепившееся в литературном языке в качестве названия части ноги от колена до ступни. Менее употребительным в значении ‘часть ноги от таза до колена’ является слово *кульша́* (*ку́льша*), употреблявшееся в старобелорусском языке в качестве названия мясистого покрытия верхней части стегновой кости человека или животного: коня белого находника у *кульшу* прострелено (АВК, XVII, 412, 1540—1541); а в жоны его на обеюхъ *кульшахъ* рапы кровью населыи (Там же, XXI, 62, 1555).

Кульшня́, образованное от того же корня и, по-видимому, на его основе в результате метатезы развилось *клюшня*, *клешня* (в последнем слове, кроме того, *у* заменилось на *э*) и *кумпя́к* (*купня́к* — отражение диссимиляции), *клуб*, которым в литературном языке присуще зна-

[3] В материалах, собранных для составления Лексического атласа белорусского языка, зафиксирован лишь один случай употребления слова *бедро* в его исконном значении.

чение 'внешняя сторона верхней части бедра'. В этом значении слово *клуб* было известно старобелорусскому языку: знамена женьские. . . и мяса на стегнех ея и на *клубех* болши мужского (Арист., 203); *Клубы*, лядви, бедра (Бер., 76).

Слово *кумпяк*, кроме того, в современном литературном языке употребляется в значении 'бедровая часть туши' (обычно свиной). Случаев употребления его в старобелорусском языке не отмечено. Однако в этом значении ему известны такие образования от данного корня, как *кумпъ* (*кумпь*), *кумпе*, *кунпъ*: выкрали салъ вепровых осмнадцат, *кунпей* вепровых пятдесят (АВК, XVII, 356, 1582); а з кождого дыму. . . по *кумпю* одному, або за *кумпъ* по грошы два (Там же, XIII, 339, 1588).

Для обозначения выпуклости на задней стороне голени, образуемой трехглавыми мышцами, в белорусских говорах, кроме слова *лытка* (известного литературному языку преимущественно на востоке Витебской, Могилевской и Гомельской областей и спорадически на остальной территории Белоруссии), под влияние русского языка употребляется слово *йкра* (*ікра́*, *йікра*) [4] и изредка *икраини́ца* (йікрынка, ікраінца), а также *галёнка*, *галюнка*. Из переносных наименований этой реалии редко и разобщенно отмечаются слова *мя́кацъ* (*мя́коцъ*, *мя́кіцъ*), *мя́кіш*, *мікішу́я*, *пу́зца* (*пу́сца*, *пу́ска*), *пу́зачка* (*пузічка*), *бру́шка*, *трыбущо́к*, *паду́шычка* (перенос осуществляется на основе внешнего сходства, свойства и качества мягкого) и *пучок*, в основу которого, видимо, положено значение 'связка трехглавых мышц'.

Итак, в белорусском литературном языке и его говорах для наименования названных выше частей руки и ноги, наряду со словами общеславянского языкового фонда, употребляются новообразования, возникшие как на почве белорусского языка (в том числе и в результате переносного словоупотребления), так и закрепившееся под влиянием соседних русского и польского языков. При этом большинство их, а именно: *бедро*, *галёнка*, *голень*, *долонь*, *клуб*, *кульша*, *кумпяк*, *лодонь*, *лытка*, *плосня*, *плюсна*, *стегно*, *стопа*, *ступень*, *сустав* были известны еще старобелорусскому языку.

---

[4] В старобелорусском языке слово *икра* отмечено только в значении скопление зерновидных ячеек, откладываемых рыбами.

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

Е. А. Иванчикова

Синтаксис художественного текста, как и синтаксис любого речевого произведения, является, как известно, необходимой организующей частью его структуры. Но в художественном произведении синтаксис, помимо непосредственного выполнения им собственно

коммуникативной функции — построения контекстов разных функциональных типов (таких, например, как повествование, описание, рассуждение), несет важную эстетическую функцию: синтаксические средства, наряду с другими приемами речевой экспрессии, участвуют в создании рисуемых писателем художественных образов и в передаче того или иного отношения автора к изображаемой им художественной действительности. «Поэтическая функция языка, — писал В. В. Виноградов, — опирается на коммуникативную, исходит из нее, но воздвигает над ней подчиненный эстетическим, а также социально-историческим закономерностям искусства новый мир речевых смыслов и соотношений» [1]. Или — в другой формулировке: «Поэтическое слово двупланно: соотносясь со словесной системой общего языка, материально как бы совпадая с ее элементами, оно в то же время по своим внутренним поэтическим формам, по своему поэтическому смыслу и содержанию направлено к символической структуре литературно-художественного произведения в целом» [2].

I. Одним из аспектов изучения синтаксиса художественного — прозаического — текста целого произведения является, таким образом, анализ соотношения в нем коммуникативно-обязательных синтаксических форм и синтаксических форм эстетически значимых, предполагающий установление каждый раз того предела, за которым синтаксические формы выполняют не только свои общеязыковые функции, но и функции художественно-изобразительные. Это соотношение может быть различным как в эстетической системе творчества данного писателя, так и в системе текстовой организации какого-либо одного его произведения — что в последнем случае обусловлено художественным замыслом автора.

II. Основным в изучении синтаксиса художественного текста является аспект синтаксической изобразительности. Именно этот аспект непосредственно включается в центральную проблематику науки о языке художественной литературы. Смысловая структура слова в художественном произведении «расширяется и обогащается теми художественно-изобразительными „приращениями смысла“, которые развиваются в системе целого эстетического объекта. Выяснение этих новых смысловых наслоений, преобразующих и обогащающих семантический строй общенародных слов, выражений, конструкций, композиционных систем речи, и составляет задачу науки о языке художественной литературы» [3]. Теоретическому обоснованию проблемы синтаксической изобразительности, сопровождаемому образцами прокомментированных анализов изобразительных свойств синтаксических конструкций в разных типах художественных текстов при выполнении ими разных эстетических функций, мы обязаны трудам В. В. Виноградова; им же, вероятно впервые, был употреблен

---

[1] *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 155.

[2] *Он же.* О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971, с. 6.

[3] *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, с. 125.

и термин «синтаксическая изобразительность» [4]. Признавая, что эта проблема «не раз служила предметом интересных исследований и наблюдений наших филологов (например, применительно к синтаксису прозаических и стихотворных сочинений Пушкина, к синтаксису стиха Маяковского, к синтаксису художественной прозы Карамзина, Гоголя, Тургенева и др.)» [5], В. В. Виноградов относил ее вместе с тем к числу самых трудных и до сих пор не решенных проблем, связанных с анализом структуры словесно-художественного произведения [6]. Очевидно, что к проблеме синтаксической изобразительности должно быть привлечено специальное исследовательское внимание как к самостоятельному разделу науки о языке художественной литературы.

Изобразительные потенции синтаксических средств исходя из семантики, заложенной в самих синтаксических структурах входящих в систему языка и реализуемых в речи. Учет семантики синтаксических структур и должен составить исходный, начальный этап при первом обращении к конкретно-исследовательскому изучению проблемы синтаксической изобразительности. Характеристика же и типологизация синтаксических средств, наделенных изобразительной силой, относятся уже к компетенции лингвистически обоснованной стилистики художественной речи.

Каким может быть путь анализа средств изобразительного синтаксиса и их художественных функций? Возможен, с одной стороны, путь «атомарного» рассмотрения набора изобразительных синтаксических конструкций в их определенной последовательности, когда в центре внимания оказываются формы конструкций и семантика их структур, а их изобразительные функции могут быть лишь обобщенно названными.

Однако речь пойдет в дальнейшем о другом пути исследования, адекватном стоящей перед наукой о языке художественной литературы общей задаче — изучения стиля литературного произведения «как внутренне цельной и единой системы взаимосвязанных структурных элементов» [7], в строе которого «состав речевых средств ‹. . .› органически связан с его „содержанием“ и зависит от характера отношения к нему со стороны автора» [8]. В свете этой задачи средства синтаксической изобразительности должны рассматриваться в их подчиненности художественному заданию и в спаянности со структурой целого литературного произведения. Минимальными контекстами, обнаруживающими эти их свойства, являются компоненты художественного текста, определяемые как отрезки текста относительно синтаксически завершенные и семантически замкнутые, характеризующиеся единством субъектной принадлежности, коммуникативной направ-

---

[4] *Он же.* Стиль «Пиковой дамы». — В кн.: *Виноградов В. В.* Избр. труды. О языке художественной прозы. М., 1980, с. 224.
[5] *Он же.* О языке художественной литературы. М.: ГИХЛ, 1959, с. 250.
[6] *Он же.* О теории художественной речи, с. 47.
[7] *Он же.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, с. 79.
[8] *Он же.* О языке художественной литературы, с. 91.

лешности и эмоционально-модальной окраски [9]. Соответственно характеру других средств языкового изображения в художественном тексте средства синтаксической изобразительности могут выполнять в нем две основные функции: 1) функцию обрисовки объектов художественной действительности (персонажей, их внешнего и внутреннего облика, их мыслей, их речи, их действий, а также общих событий, ситуаций, пейзажа, неживых предметов внешнего мира) и 2) функцию выражения субъектно-оценочного отношения к изображаемому или повествуемому.

Кратко проиллюстрируем примерами роль синтаксиса при выполнении этих функций [10] (синтаксические средства оказываются, естественно, сопряженными с другими средствами языкового изображения, прежде всего — лексическими).

Изображение индивидуального и вместе с тем социального облика персонажа в его прямой речи: Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в ролье заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил <. . .> Вот мы остались и ложим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?. . И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса (Тург., Бежин луг; слова Илюши). Воспроизводится преимущественно средствами синтаксиса, как видим, разговорно-диалектная речь деревенского мальчика.

В следующем отрывке другой характер и другое звучание прямой речи героя — Касьяна: Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? — спросил я. — У рыбы кровь холодная, — возразил он с уверенностью, — рыба тварь немая. Она не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней кровь неживая. . . Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется. . . великий грех показать свету кровь, великий грех и страх. . . Ох, великий! (Тург., Касьян с Красивой Мечи). Эта речь так комментируется рассказчиком: «Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный. . . Я не слыхал ничего подобного». Ср. о другом высказывании Касьяна: «Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностию, изредка

---

[9] *Иванчикова Е. А.* Синтаксис художественной прозы Достоевского. М., 1979, с. 26.

[10] Более подробно об этом см.: *Иванчикова Е. А.* Об изобразительных возможностях синтаксических средств в художественном тексте. — В кн.: Русский язык. Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография. Виноградовские чтения, IX—X. М.: Наука, 1981.

закрывая глаза». Эти комментарии, сопровождающие слова героя, раскрывают нам творческую тайну автора: он как бы признается в том, что стремился изобразить формой, мелодикой, манерой речи своего героя определенные черты его личности.

В контекстах прямой речи средствами синтаксиса с большой степенью наглядности изображаются разнообразные оттенки психических состояний «говорящего» героя. Так, состоянию острой взволнованности, смятения и разбросанности чувств соответствует речь прерывистая, эллиптичная, с возгласами, вопросами, поправками, повторами, с нарушением синтаксической связанности и отсутствием логической последовательности в движении мысли, например: — Нет, господа, нет. . . вы не думайте. . . я очень понимаю, вы напрасно обо мне думаете так. . . я. . . для меня. . . я за честь полка. . . да что? это на деле я покажу, и для меня честь знамени. . . ну, все равно, правда, я виноват!. . Слезы стояли у него в глазах. — Я виноват, кругом виноват!. . Ну что вам еще?. . (Л. Толст., Война и мир; слова Николая Ростова). Социальный и вместе с тем психологически глубокий образ воссоздается манерой речи персонажа в эпизоде рассказа женщины, потерявшей во время пожара своего ребенка: — Вы благородный человек, — скороговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. — Загорелось рядом, — бросило к нам. Девка закричала: горит! Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили. . . Вот что захватили. . . Божье благословенье да приданую постель, а то все пропало. Хвать детей, Катечки нет. О-о-о! О господи!. . — и опять она зарыдала. Дитятко мое милое, сгорело! (Л. Толст., Война и мир).

Другие случаи использования синтаксиса при изображении внутренних свойств личности обнаруживаются в авторских повествовательных контекстах субъективизированного типа, отражающих позицию героя. Синтаксическим приемом такого отражения является включение в авторское повествование строевых элементов косвенной или несобственно-прямой речи героя. Вмешиваясь в авторскую речь, голос героя несет с собой его манеру выражения, его интонацию, его чувства и мысли. Приемы введения речи героя в авторскую речь, формы, сигнализирующие о присутствии героя, способы соприкосновения, смешения, взаимопереливов этих двух типов речи, как известно, чрезвычайно многообразны. Вот всего один пример: Тем не менее Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Одри, прилично зевала во Французской комедии и плакала от игры г-жи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме; а главное, Лист у ней играл два раза и так был мил, так прост — прелесть! В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору (Тург., Дворянское гнездо).

Приемы объектной синтаксической изобразительности используются в контекстах авторского повествования также, например, для символизации характера действий, поступков персонажей произведения: Он (Чертопханов) нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее;

лошадь замотала головой, взвилась на дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил лошадь кулаком по голове между ушами, быстрее молнии соскочил наземь, осмотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул ее ногою в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты; он за ней на одной ноге вприпрыжку, однако наконец-таки попал в седло; как поступленный, завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал (Тург., Чертопханов и Недопюскин). Изобразительную функцию выполняют в этом отрезке особым образом синтаксически организованные морфологические формы — глаголы прошедшего времени совершенного вида: они образуют перечислительные, построенные по принципу градации, ряды близко следующих друг за другом лаконичных предикативных синтагм, создающих в общем единстве всего текста впечатление быстроты, стремительности, напряженности действий участников описываемой сцены; изображается вместе с тем и определенная черта характера литературного героя.

Примером обрисовки средствами синтаксиса внешних картин художественной действительности может послужить изображение в тексте «Войны и мира» непрестанно сменяющихся разнообразных эпизодов сражения, осуществляемое путем нагнетения групп однородных членов (соединенных непосредственно или с помощью повторяющегося разделительного союза *то*): «Изредка он (Наполеон) останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения. Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкающей стрельбы ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад».

Осведомленность читателя в более широком контексте произведения позволяет ему убедиться в том, что в приведенном отрезке как прямые значения употребленных в нем слов («нельзя было понять», «не зная, что делать друг с другом»), так и сама его синтаксическая организация, вызывающая впечатление напряженно-сгущенного беспрерывного мелькания кадров, направлена на утверждение одной из ключевых идей Толстого о стихийном, нерегулируемом характере войны и о неподвластности ее течения воле отдельной личности — Наполеона, представленного, как видим, простым наблюдателем развернувшегося на Бородинском поле сражения.

Может быть проиллюстрировано отдельными примерами и проявление второй, названной выше, функции средств изобразительного синтаксиса — их способность служить в художественном тексте способом выражения субъектно-оценочного отношения со стороны

автора (или заменяющего его повествователя) или персонажа — к лицам, событиям, фактам, природе, предметам и т. п.

В авторской речи субъектное отношение к повествуемому или изображаемому может быть передано открытыми формами синтаксической экспрессии — восклицаниями, вопросами, конкретно-оценочный смысл которых может быть самым различным, ср.: Наталья страдала мучительно, она страдала впервые. . . Но первые страдания, как первая любовь, не повторяются — и слава богу! (Тург., Рудин). Автор в подобных случаях наиболее непосредственно обнаруживает свою личную заинтересованность в судьбе своих героев. Субъектное авторское отношение передается также разнообразными синтаксическими формами косвенной, символической изобразительности. Субъектным отношением, разнообразные оттенки которого тонко передаются объединениями, комбинациями ритмо-мелодических фигур, создаваемых с помощью перечислений, повторов, подхватов, параллелизмов, инверсий, сегментаций и т. п., пронизаны почти все пейзажные контексты Тургенева. Вот всего один характерный пример: Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветви и листья, облитые солнцем, — все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетанье, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь — вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце (Тург., Касьян с Красивой Мечи).

Субъектное отношение персонажа к предмету своего высказывания выражается в его прямой речи, по-видимому, преимущественно открытыми синтаксическими формами, ср.: — А помнишь Васю? — печально прибавил Костя. — Какого Васю? — спросил Федя. — А вот того, что утопул, — отвечал Костя, — в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет (Тург. Бежин луг).

Возможность и исследовательская необходимость различения и разграничения объектно-изобразительной и субъектно-изобразительной функций синтаксических форм не должна, вместе с тем, приводить к их изолированному рассмотрению: в конкретном живом тексте обнаруживается их взаимосвязанность. «Отношение автора к изображаемому всегда входит в состав образа. Авторское отношение — конститутивный момент образа», — писал М. М. Бахтин.[11]. В следующем небольшом отрывке из рассказа Тургенева, насыщенном синтаксическими формами субъектной изобразительности и прямыми лексическими оценочными обозначениями, перед нами с живой наглядностью возникают два целых образа участников этой немой сцены: Виктор лениво протянул руку, взял, небрежно понюхал цветы и начал вертеть их в пальцах, с задумчивой важностью посматривая вверх. Акулина глядела на него. . . В ее грустном взоре было столько

[11] *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979, с. 294.

нежной преданности, благоговейной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в последний раз <. . .> Акулина была так хороша в это мгновение: вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась и ластилась к нему, а он. . . он уронил васильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся вставлять его в глаз <. . .> (Тург., Свидание).

Если подвести некоторые предварительные итоги краткого обзора основных функций, выполняемых в художественном тексте средствами синтаксической изобразительности, то можно констатировать, во-первых, что обращенность синтаксических средств на изображение объектов художественной действительности в одних случаях имеет образно-стилевую направленность (создание индивидуально-психологических, социальных образов персонажей), в других же случаях — направленность живописующе-орнаментальную (создание реалистически-достоверных картин действительности). Реализация первой из этих направленностей может быть осуществлена в принципе во всех типах художественного текста: при воспроизведении прямых или непрямых речей персонажей, в описательных, повествовательных или повествовательно-описательных контекстах авторской речи. Направленность живописующе-орнаментальная «действует», по-видимому, лишь в контекстах авторской речи.

Отметим, во-вторых, что различными оказываются и самые формы синтаксической изобразительности. Выделяются две их разновидности: (1) способы интонационно-смыслового выделения и ритмо-мелодической организации участков текста (восклицания, возгласы, вопросы; сегментация, инверсии; синтаксические параллелизмы, перечисления, повторы, присоединения, разрыв или обрыв синтаксического движения) и (2) средства синтаксической характерологии (воспроизведение устно-разговорной речи, стилизация, пародирование). В свою очередь эти синтаксические формы, рассматриваемые как приемы художественного изображения, делятся на две группы: (1) приемы прямого, открытого изображения; (2) приемы косвенного, скрытого, символического изображения.

Очевидно, что задачей дальнейшей разработки проблемы синтаксической изобразительности должно быть построение полной типологии средств изобразительного синтаксиса в их иерархической соотнесенности с основными функциями языкового изображения, с их конкретно-художественной направленностью, с их закрепленностью-незакрепленностью за определенными компонентами художественного текста. В этом типологическом построении должны быть также учтены не рассматривавшиеся в настоящей статье случаи участия синтаксиса как изобразительного средства в организации цельных жанровых контекстов — таких, как сказ, стилизованное или пародированное повествование, лирическая повесть, стихотворение в прозе.

Изучение синтаксиса художественной прозы в аспекте синтаксической изобразительности предполагает также постановку важного вопроса об эстетических потенциях синтаксических средств — о степени проникновения их действия в содержательную структуру

художественного произведения. Необходимо, в частности, придать обобщенно-проблемный характер накопившимся в лингвостилистических и литературоведческих трудах соответствующим наблюдениям.

III. Третьим аспектом изучения синтаксиса художественной прозы должен быть назван аспект индивидуального синтаксиса писателя как необходимого составного элемента его индивидуального стиля. При изучении индивидуального синтаксиса писателя другие, названные выше, аспекты — анализ соотношения в художественном тексте коммуникативно-обязательных синтаксических форм с синтаксическими формами эстетически значимыми и изучение функций и форм средств синтаксической изобразительности — оказываются включенными в общую задачу исследования стилевых особенностей индивидуального почерка данного писателя как творческой личности [12].

[12] Попытка освещения этого аспекта предпринята нами в названной выше работе «Синтаксис художественной прозы Достоевского».

ОБ ОДНОЙ ЭКСПРЕССИВНОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

Милка Ивич

1. Имена существительные, которые обозначают человеческое существо (в самом общем смысле) — *човек*, *жена*, *девојка*, *дечко* и др., как известно, могут выступать и в составе сказуемого характеризующего типа вместе с определением, выраженным прилагательным, лексическая информация которых имеет при этом исключительно коммуникативно-релевантный характер: *Он је уман човек*; *Она је добра жена* и сл.[1] В специальной литературе обычно указывается, что такое существительное можно опустить без ущерба для смысла предложения, что и подтверждается такими примерами, как *Он је уман човек* → *Он је уман*; *Она је добра жена* → *Она је добра* и др. Однако эта свобода выбора (опущение /сохранение существительного данного лексического типа) по-разному реализуется в отдельных языках. Так, в сербохорватском языке она, например, более ограничена, чем в русском. Это обстоятельство непосредственно обуславливается различием грамматических ситуаций в данных языках. В русском, в отличие от сербохорватского, противопоставлением краткой и пол-

[1] Иначе говоря, мы здесь имеем в виду такое употребление этих существительных, которое обуславливается синтаксическо-семантическими обстоятельствами. Природу их Е. М. Вольф описывает следующим образом: «В зависимости от своей семантики и от соотношения с субъектом высказывания имя в предикативной группе может быть семантически пустым и служит лишь структурной опорой для определения» (*Вольф Е. М.* Грамматика и семантика прилагательного. М., 1978, с. 181).

ной формы прилагательного, как правило,[2] можно разрешить дилемму относительно обозначаемого прилагательным в данном конкретном случае свойства, которое само по себе таково, что может в принципе мыслиться и как временное состояние, и как постоянное качество: *Он болен* = «Сейчас, когда мы это говорим, он находится в состоянии, которое обозначается выражением *быть больным*»; *Он больной* = « Он по природе своей таков, что его отличает свойство, которое обозначается выражением *быть больным*, и т. д. Сербохорватский не имеет каких-либо сходных различительных морфологических средств для таких случаев и поэтому прибегает к следующему сигнализирующему решению: опущение существительного уведомляет о том, что речь идет о временном состоянии (*Он је болестан.* = «Сейчас, когда мы это говорим, он в состоянии, которое обозначается выражением *быть больным*» и т. д.), а его включение в состав сказуемого указывает на постоянное свойство (Он *је болестан човек.* =«Он по природе своей таков, отличительное свойство которого обозначается выражением *быть больным*» и т. д.). Одним словом, если рассматривать славянскую ситуацию в целом, о факультативном присутствии существительного типа *човек* при предикативном прилагательном мы можем говорить только в том случае, если мы имеем в виду прилагательное со значением свойства, которое понимается как чей-нибудь неотъемлемый признак (*висок*, *леп*, *уман*, *добар* и др.). Поскольку это условие недостаточно, мы соотносим его с теоретически релевантным различием: присутствие/отсутствие существительного при предикативном прилагательном функционирует или как грамматическое, или как стилистическое средство в зависимости от конкретного языка.

2. При рассмотрении случаев, в которых присутствие существительного при прилагательном не обязательно, а факультативно, неизбежно возникает следующий вопрос: что чаще встречается в разговорной практике на славянской языковой почве — прилагательное с таким существительным или без него? Определенного ответа пока нет, так как славянские языки в этом направлении еще детально не исследованы. Хотя в специальной литературе и отмечается связь предикативного прилагательного с существительным типа *човек* как особая грамматическая проблема, еще недостает знания всех обстоятельств, которые могли бы быть релевантны для установления сходства и различия между отдельными языками. Так, например, видные чешские слависты Я. Бауэр, Р. Мразек и Ст. Жажа, справедливо обращая внимание на употребление существительных *человек*, *парень*, *женщина*, *девушка*, *люди*, *существо*, *животное и дело* при предикативном прилагательном в русском языке, в чешских переводных эквивалентах употребляют соответствующее прилагательное без существительного: *Он человек* (// *парень*) *неглупый.* — Je docela

[2] То обстоятельство, что распределение кратких/полных форм прилагательных в русском языке не выявлено, в общем известно; неполный перечень случаев, которые уже отмечались, рассматривает Ю. С. Степанов (см.: *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения (семпологическая грамматика). М., 1981, с. 152—153.

chytrý; *Она дéвушка (// женщина) талáнтливая.* — Je nadaná; Собáка — живóтноеýмное. — Pes je chýtrý, а после этих предложений дают примечание: «По-чешски, разумеется, также можно построить предложение подобным образом»[3]. Это примечание между тем нисколько не проясняет действительного соотношения соответствующих русских и чешских примеров. Кроме того, бросается в глаза, что пример, который появляется в примечании (Pes je chytré zvíře), все же не во всем идентичен с предшествующим ему русским примером (*Собака — животное умное*): упускается из виду различие порядка следования существительного и прилагательного — в русском предложении сначала стоит существительное и затем прилагательное, а в чешском — наоборот.

Действительно, именно порядок следования — одна из проблем, заслуживающих внимания науки, если уж говорить об этой теме. В этом плане интересно сравнить русскую и сербохорватскую разговорную языковую ситуацию.

3. Если в сербохорватском или русском языках фраза реализуется в нейтральной коммуникативной ситуации, предикативное прилагательное занимает относительно существительного типа *човек* такое положение, которое, вообще говоря, свойственно ему и в функции определения, т. е. предшествует существительному: *Она је лепа жена. — Она красивая женщина* и др. Прилагательное ставится после существительного, опять-таки одинаково в обоих языках, если к свойству существительного, названному первым прилагательным, добавляется еще какая-то информация, например сведение о свойстве, с которым контрастирует первое свойство: *Он был человеком своевольным, но сердечным. — Он је био човек својевољан, али срдачан* и др. В русском, однако, постпозитивное употребление прилагательного возможно даже в тех случаях, когда смысл предложения ничем непосредственно не распространяется достаточно, чтобы возникла потребность подчеркнуть коммуникативное значение прилагательного — и для реализации этого прилагательное перемещается в конец предложения.

В других языках в подобных случаях такое прилагательное не перемещается со своего обычного места, а произносится несколько более акцентированно, чем остальные части предложения, однако экспрессивный эффект получается тот же, что и в русском языке. Характерно в этом отношении замечание Яна Светлика о том, что словацкие переводные эквиваленты русских предложений типа *Маша — девушка милая* и др. реализуются с неперемещенным прилагательным, которое принимает на себя фразовое ударение: Maša je milé dievča и др.[4]

Сербохорватский язык склоняется к словацкому варианту, если фраза высказана обособленно; если же ее содержание дается в непосредственной связи с каким-нибудь другим сообщением, может

[3] *Bauer J., Mrázek R., Žaža St.* Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy, II. Skladba. Praha, 1960, 231.

[4] *Светлик Я.* Синтаксис русского языка в сопоставлении со словацким. Братислава, 1970, с. 108.

быть применен вариант, свойственный русскому языку. Другими словами, краткое высказывание об определенном качестве, которое украшает Машу и о котором остальные участники общения до тех пор не знали, может звучать только как *Маша је мила девојка*, но никоим образом, не как *Маша је девојка мила*. С другой стороны, сведение о данном Машином качестве может быть передано фразой *Маша је девојка мила*, если оно связано с какой-нибудь другой информацией, т. е. если предложение реализуется в составе сложной синтаксической структуры: *Маша је девојка мила, није чудо што им се допала* и др. Но о сербохорватских примерах в целом нужно говорить подробнее, потому что они весьма разительно отличаются от примеров в русском (как, впрочем, и в других языках).

4. Как бы ни казалось на первый взгляд невероятным, является фактом, что русские и сербохорватские предложения типа *Она женщина умная. — Она је жена умна* и др. выражают коммуникативное значение предикативной информации совершено разными средствами: в русском релевантным тут представляется постановка прилагательного в конце предложения, а в сербохорватском — перемещение существительного из этой позиции и присоединение его к лексической единице, обозначающей носителя названного качества. То, что дело обстоит именно так, подтверждает следующее обстоятельство: в отличие от разговорного русского языка разговорный сербохорватский использует существительные типа *човек* с той же экспрессивной целью и тогда, когда предикативным лексическим ядром является не прилагательное, а какое-нибудь другое слово. При этом принцип употребления такого существительного всегда один и тот же: оно добавляется к лексическому обозначению лица, к которому относится предикативное сообщение, для того чтобы в известном смысле усилить его семантически, так как в этом случае автоматически увеличивается коммуникативное значение информации, которую дает о данном лице предикат [5]. Иначе говоря, считать, что существительное обобщенного значения в сербохорватских предложениях с предикативным прилагательным — *Нада је девојка разумна*, [*неће се она у тако нешто упуштати*] и др. — или с предикативным существительным — *Жарко је човек удовац* [*њему то није ни замерити*] — употребляется для обозначения данного отдельного человека как его своеобразная редупликация, представляется менее уместным, чем предполагать, что синтаксическая позиция этого существительного находится в рамках сказуемого (где предикативное прилагательное по отношению к нему становится определением, а предикативное существительное — приложением). Однако предложения типа: *Она се женска надала да ће се удати*, [*зато је и пристајала да му тако угађа*]; [*Њу су одмах пустили, а*] *њега човека малтретирали пуна два сата, Њој се жени најзад све то досадило*, [*па се дигла и отишла*]; *Њему дечку требали кликери*, [*па трампио ципеле*

[5] Экспрессивная роль существительных типа *човек* в сербохорватских разговорных предложениях впервые отмечена в статье «Српскохрватске реченице с предикатом *чије је* лексичко језгро именица или заменица у номинативу», см.: *Милка Ивић*. Лингвистички огледи. Београд. 1983.

за кликере] и др.[6] самим своим существованием доказывают, что все же только первое толкование может быть правильным. Иными словами, если в первых и вторых предложениях характерным синтаксическим поведением существительного типа *човек* достигается одна и та же цель — усиление рематизованности предикативного сообщения, то это само по себе предполагает, что такое синтаксическое поведение существительного регулируется всегда по одному и тому же принципу. И поскольку в предложениях второй группы, вследствие природы указанного сказуемого (которая исключает второе решение), данное существительное употребляется при именп личном или соответствующем ему личном местоимении [7], очевидно, что и существительное в предложениях первой группы должно употребляться так же (т. е. если *она се женска падала. . . њему дечку требали кликери. . .* и др., тогда и *нада је девојка разумна. . ., жарко је човек удовац. . .* и др., а не *нада је девојка разумна. . ., Жарко је човек удовац. . .* и др.).

Можно предположить, что описанная ситуация, которая в настоящее время характерна для разговорного сербохорватского языка, возникла при обстоятельствах, сходных вначале с современными русскими: первоначально и в сербохорватском языке предикативное прилагательное, употреблявшееся в конструкции с существительным типа *човек*, с экспрессивной целью ставилось после него. Впоследствии этот принцип экспрессивного постпозитивного употребления был дополнительно реинтерпретирован в пользу существительного: функция акцентирования предикативной информации была перенесена с перестановки прилагательного в финальную позицию на перемещение из этой позиции существительного. Следующий инновационный шаг, который непосредственно обусловил современное состояние, свелся к наделению такой же сигнализирующей ролью существительного независимо от того, выражен предикат прилагательным или каким-нибудь другим словом.

В заключение надо отметить следующее. Сербохорватский и русский разговорные языки сходны в том, что в некоторых случаях не усиливают рематизованность предиката просодическим или синтаксическим способом, а различны в том, что, во-первых, эти случаи тождественны в обоих языках лишь в небольшой своей части, во-вторых, в этих языках неодинаков оперативный потенциал используемых экспрессивных средств (с преимуществом на сербохорватской стороне) и неидентичен выбор языковых единиц, в синтаксическом поведении которых проявляется его функционирование.

---

[6] Эти предложения, в отличие от упомянутых выше, которые возможны и в литературном языке, имеют подчеркнуто разговорный характер и взяты из разговорного языка коренных жителей Белграда. Характерно, что во всех этих примерах наличествует третье лицо; случаи с предикатом в первом и втором лице здесь не рассматриваются.

[7] В приведенных примерах лексическое обозначение данного конкретного человека отделено от существительного типа *човек* энклитической формой (*нада је девојка разумна. . ., њој се жени на јзад све то досадило* . . и др.). Такое отделение обусловливает правила расположения энклитик (они ставятся после первого акцентированного слова в предложении).

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ В СЛОВАРЕ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В СИНТАКСИСЕ

Ю. Н. Караулов

Всякая исследовательская процедура, которую осуществляет лингвист, работающий на любом уровне, в любом аспекте языковой стихии, на деле оказывается однонаправленной: она всегда проходит под знаком о б о б щ е н и я. Обобщение начинается от прочтения, филологического толкования и лингвистического комментирования текста, и простейшим случаем такого обобщения может быть лемматизированный словоуказатель к тексту, например памятника письменности, где лемма, т. е. исходная форма лексемы, обобщает соответствующие ей текстовые словоформы. Обобщение, с которым имеет дело, скажем, исторический лексикограф, уже иного рода: он ищет в текстах типовые словоупотребления исходной лексемы, сводя их в отдельные ее значения и отыскивая некоторый инвариант среди колебаний соответствующего слова также в плане выражения. Специалист по историческому синтаксису классифицирует все множество конструкций на анализируемом массиве текстов, выделяя, например, определенные типы сложноподчиненных предложений, как делает это В. И. Борковский, исследуя язык русских и белорусских сказок [1]. Автор группирует сложноподчиненные предложения по семантическому признаку, различая предложения времени, условия, причины, следствия, цели, места и т. д. Основным семантическим показателем соответствующей принадлежности той или иной придаточной конструкции в таком анализе является союз или союзное слово (в ряде случаев с соотносительными словами в главном).

Иная, существенно большая степень обобщения представлена в том случае, когда исследователь оперирует структурной схемой предложения. При этом грамматическая ее семантика задана достаточно отчетливым образом, поскольку морфологическое наполнение предопределено самой схемой: N_4 V_3s Inf — *Мальчика (так и) подмывало расхохотаться*. Что касается лексической реализации структурных схем предложения, то здесь, как правило, не удается достичь адекватной степени обобщения. Задание соответствующих лексических наполнителей схемы только указанием некоторых классов слов не дает необходимой точности и для ее достижения требуется уже большая конкретизация, а в идеале простое перечисление лексем — наполнителей соответствующих позиций в структурной схеме предложения. В методологическом плане мы имеем здесь дело с обычной неподатливостью языкового материала к всестороннему, так сказать сквозному, структурированию: добиваясь высокой степени обобщения, абстракции в структурной схеме, мы теряем возможность

---

[1] *В. И. Борковский.* Синтаксис сказок. Русско-белорусские параллели. М., 1981.

столь же глубокого обобщения в соответствующей лексической семантике; абстрактно представленная грамматика (синтаксис) требует очень конкретного и детально охарактеризованного словаря.

Структурная схема предложения имеет дело с поверхностными синтаксическими конструкциями, и для перехода к следующей степени обобщения исследователь обращается к глубинным структурам. На поверхностном уровне предложения —

(1) *Брошенный мальчиком камень разбил стекло* и (2) *Самодельной удочкой мальчик поймал рыбу* записываются одной и той же структурной формулой Adj N_5N_1 V past N_4, поскольку падежи соответствующих имен в обеих конструкциях одинаковы — творительный, именительный и винительный. На уровне глубинного представления мы констатируем, что инициатором действия, агенсом в обоих случаях является *мальчик*, хотя в предложении (1) этот семантический субъект оформлен творительным падежом, тогда как именительным в том же предложении обозначено орудие, инструмент действия (*камень*). Таким образом, при тождественной поверхностной ($N_5N_1N_4$) глубинная падежная структура в этих предложениях будет принципиально разной: для первого — AIO (агентив, инструменталис, объектив), для второго — IAP (инструменталис, агентив, пациенс). Этот уровень обобщения синтаксических отношений предполагает также иное, чем в предыдущем случае, лексическое обеспечение заполнителями соответствующих позиций: классы слов, способных передавать тот или иной глубинный падеж, существенно отличаются от лексических групп, или классов, ориентированных на реализацию поверхностных структур. Что касается степени точности выделения таких классов, то она по изложенным выше соображениям не превышает, очевидно, степени точности для предыдущего случая обобщения.

Аналогично синтаксическим и независимо от них осуществляются обобщения в лексикологических изысканиях, в исследованиях по лексической семантике. На первый взгляд результаты подобных обобщений могут представляться менее строгими. В самом деле, если доминанта синонимического ряда в нейтральном контексте, как правило, может выступать заместителем любого лексического элемента, составляющего данный ряд, то по поводу таких объединений, как семантическое поле или лексико-семантическая группа, этого сказать уже нельзя. Тем более неправомерной будет попытка приписать подобное свойство имени тематической группе или заголовочному слову (дескриптору) статьи идеографического словаря. Тем не менее мы имеем все основания говорить об обобщении и о его своеобразии в лексической семантике. Если выделять степени обобщения здесь, располагая их по возрастающей, то начать, очевидно, следует с так называемых лексических категорий — полисемии, синонимии, антонимии, омонимии, паронимии. Уже элементарное обобщение на уровне полисемии показывает взаимозависимость смысловой, содержательной стороны ЛСВ от его синтаксических свойств. Так, в глаголе *играть* мы вычленяем то или иное значение в зависимости от

управления: *играть чем, во что, с чем, на чем, на что, что*; и наоборот, совпадение лексической семантики с иноуправляемым глаголом может приводить к сдвигам, контаминации в его синтаксической модели. Например, значение 'шутить, тешиться', утраченное ныне, но актуальное для глагола *играть* в прошлом веке, делает возможным такие его синонимические с *шутить* употребления у А. Н. Островского, как *Вы надо мной играете, Я над собой играть не позволю* («Красавец мужчина»). Ср.: *Над людьми шутки шутить и над собой их любить* (В. И. Даль). Соответственно мы можем наблюдать расхождения или совпадения в синтаксических свойствах у членов синонимических, антонимических рядов и т. п.

Следующая ступень обобщения в лексической семантике представлена лексико-семантической группой узкого значения, все члены которой принадлежат к одной части речи, характеризуются общей архисемой и единой синтаксической моделью, например, глаголы передачи (сема 'дать'), имена дороги (сема ' для передвижения'), прилагательные цвета (сема 'цвет'). Такой единой структурной схемой для группы глаголов передачи (*вручить, предоставить, навязать, дарить, наградить, продать, платить, одолжить, завещать, оставить, посылать, доставлять, сообщать, сигнализировать, врать, доносить, объяснять*) будет формула $N_1VN_4N_3$, где N_1 — субъект передачи, V — глагол передачи, N_4 — объект передачи, N_3 — ее адресат. Причем по первому впечатлению может показаться, что структурная формула сохраняется не для всех глаголов этой группы: ср. *вручить* (*кому, что*), *наградить* (*кого, чем*), *сигнализировать* (*кому, о чем*). Однако на глубинном уровне мы в подобных случаях имеем всегда дательный адресата (D) и объектив (O), т. е. пропозиционная структура (или иначе — структурная схема предложения за вычетом модальности) остается неизменной — ADO (*Командующий* (A) *наградил солдата* (D) *медалью* (O) и *Система* (A) *сигнализировала оператору* (D) *о сбое* (O). Такое постоянство глубинной падежной структуры для всех слов, составляющих лексико-семантическую группу, пусть только узкой семантики, наводит на размышления о специфике содержательных обобщений в лексике, в словаре в широком смысле. Эту специфику можно усмотреть в особой грамматической, синтаксической ориентированности некоторой части словарных обобщений.

Представим себе семантическую структуру лексики в виде многоступенчатой иерархической схемы между двумя предельными уровнями, нижний из которых состоит из неупорядоченного массива всех слов и их значений, а верхний сводится к самым общим обозначениям частей «универсума» — мир, человек, мир и человек. В промежутке между этими уровнями располагаются разные ступени лексико-семантического обобщения, которое может осуществляться даже и на разных основаниях, зачастую не обязательно соотносимых друг с другом. Когда же указанные обобщения строятся на одном и том же основании, мы имеем дело с целостной лексической системой, приблизительным аналогом которой может служить синоптическая схема идеографического словаря. Приблизительность аналогии в данном

случае не связана с возможным в перспективе совершенствованием техники составления такого рода словарей, а является принципиально неустранимой, поскольку обусловлена она фундаментальными свойствами слова как языкового знака: его асимметричным дуализмом, вариативностью, обратной зависимостью семантического объема от длины соответствующего языкового выражения (производные слова, неоднословные термины и наименования обладают более узкой семантикой, чем их исходные элементы). Именно эти свойства не позволили до сих пор лексикологам и семантологам воспроизвести целостную, непротиворечивую и строго упорядоченную лексическую систему: коль скоро в основу классификации кладется четкий, строгий логический принцип, его не удается последовательно провести до конца, он оказывается действенным лишь для того или иного фрагмента системы (типа ЛСГ); как только мы ставим задачу охватить непременно всю систему, мы оказываемся вынужденными сополагать несколько разноречивых и даже противоречащих друг другу принципов классификации. Эти ножницы между прозрачностью и последовательностью принципов структурирования и объемом подчиняющегося им материала проявляются по-разному. Отчасти — в невозможности исключительно однословного наименования сем (компонентов) и, очевидно, как следствие, — в невозможности только однословных наименований также и ЛСГ: для точного обозначения семы или имени группы требуется увеличение плана выражения, и тогда в игру вступают синтаксические отношения между словами в самом названии. Другую форму проявления этих «ножниц» можно наблюдать в многочисленных и разнообразных структурных схемах лексико-семантических групп и лексики в целом. При последовательном проведении структурно-семантического принципа организации лексики можно было бы ожидать, что компоненты (семы) самого нижнего уровня, составляющие и дифференцирующие значения отдельных слов, при переходе на высшие уровни иерархии должны превращаться в дескрипторы (имена групп) соответствующих уровней, т. е. дескрипторы должны формироваться из тех же самых компонентов, изменивших лишь свой статус и «поднявшихся» на несколько ступенек в иерархии. Однако это идеальное требование в реальных построениях (синоптических схемах, классификационных принципах, структурированных фрагментах лексики) выполняется лишь отчасти: некоторая часть словарных семантических компонентов совпадает с дескрипторами, а другая часть нет.

Подобную картину можно наблюдать в нашем «Частотном словаре семантических множителей русского языка»: при сравнении первой тысячи самых частотных множителей со списком дескрипторов автоматически составлявшегося тезауруса, помещенным в конце частотного словаря, обнаруживаются лишь частичные совпадения. А ведь наиболее часто встречающиеся множители отражают главные, определяющие понятия в жизни индивида и общества, с помощью которых осуществляется толкование значений наибольшего числа слов.

Впрочем, сам этот общий вывод о частичных совпадениях сем с дескрипторами, пусть даже подтвержденный и на новом материале

названного словаря, достаточно тривиален. Интерес подобного сравнения состоит в другом: оказывается, что значительная часть идентичных дескрипторам сем (семантических множителей) выражает понятия, соответствующие значениям различных по масштабу грамматических категорий и синтаксических связей. Иными словами, среди наиболее частотных сем, совпадающих с дескрипторами, отчетливо выделяются две группы — семы, называющие жизненно важные явления и понятия окружающего мира, и семы, передающие внутриязыковые, собственно грамматические значения. Именно этот последний факт и имеется в виду под грамматико-синтаксической ориентированностью некоторой части лексико-семантических обобщений. Проиллюстрируем это наблюдение рядом примеров [2].

Глагольные категории:

дейст$_{12}$вие (а также — состоя$_{58}$ние, ход$_{66}$, дел$_{75}$ать, процес$_{277}$с) — собственно значение глагольности;

врем$_{17}$я — значение глагольного времени; направ$_{28}$ленность — переходность; преде$_{121}$л(ьность), дости$_{125}$гать — вид; возмо$_{67}$жность (а также — нужн$_{231}$о, необх$_{359}$одимость) — модальность; лиц$_{52}$о — лицо; застав$_{295}$ить (побу$_{265}$дить) — каузация; отриц$_{435}$ание — отрицание.

Именные категории:

предм$_{10}$ет(ность) — предметность; вещест$_{6}$венность — вещественность; колич$_{60}$ество (величин$_{128}$а, числ$_{184}$о) — число; жен$_{96}$ский — род; качест$_{189}$во, свойс$_{243}$тво — прилагательность; степе$_{137}$нь — степень сравнения;

Синтаксические отношения в сложном предложении:

усл$_{103}$овие — условные придаточные предложения;

цель$_{140}$ — придаточные цели;

причин$_{372}$а — придаточные причины;

обстоя$_{431}$тельство — обстоятельственные придаточные предложения;

и т. д.

Особенно полно представлены на множителях значения глубинных падежей, которые практически, если учесть упомянутые выше в другой связи цель$_{140}$ (В — бенефактив) и врем$_{17}$я (Т — временной падеж), исчерпываются целиком указаниями соответствующих семантических множителей (естественно, за исключением А-агенса).

Глубинные падежи:

мест$_{20}$о (пространс$_{21}$тво, положен$_{65}$ие, распол$_{70}$ожение, наход$_{150}$ться) — локатив;

часть$_{13}$ — локатив;

содерж$_{205}$ание (вмести$_{215}$лище) — локатив;

собс$_{279}$твенность (принад$_{648}$лежность) — датив; локатив;

состоя$_{58}$ние — датив;

воздей$_{285}$ствие — объектив; датив;

матери$_{63}$ал — объектив;

---

[2] Цифровой индекс указывает порядковый номер семантического множителя в частотном списке и одновременно служит обозначением его буквенной границы, передавая его внешний вид в словаре (слева от индекса).

издел$_{77}$ие (продук$_{176}$т) — фактитий;
инструм$_{59}$ент (средс$_{73}$тво, оруд$_{268}$ие) — инструменталис;
страд$_{281}$ание (испы$_{420}$тывать, пережи$_{438}$вать) — пациенс.

Приведенные соображения позволяют сделать пока предварительные, весьма осторожные выводы. Во-первых, можно констатировать, что синтаксические обобщения (структурные схемы предложений, глубинные структуры) приводят исследователей к необходимости лексико-семантических обобщений. Во-вторых, обобщения при изучении лексической семантики оказываются грамматически (синтаксически) ориентированными. Часть из тех семантических компонентов, сем, семантических множителей, которыми оперируют составители словарей при описании лексических значений, находятся в определенном отношении к грамматическим (в широком смысле) значениям, грамматическим категориям. Наш материал не дает оснований для утверждения, что это отношение полного дублирования, так же как для утверждения, что это отношение дополнительности. Для ответа на этот вопрос необходимы дальнейшие исследования. Однако можно взять на себя смелость сформулировать следующую гипотезу: грамматические значения — и генетически, и актуально — заложены в лексической семантике. Ближе всего к обоснованию этого положения подошли словообразователи, хотя и не сформулировавшие его явно, но практически доказавшие, что нет таких словообразовательных значений, которые не были бы раньше представлены в лексике. О некоторых синтаксических коррелятах лексико-семантических обобщений шла речь в настоящей статье.

ГЛАГОЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

П. А. Лекант

Глагол и предложение — это одна из центральных общеграмматических проблем. Важна она и для отдельных языков, в частности — для русского. Необходимо добавить, что эта проблема, вероятно, относится к числу «вечных». Такое положение прежде всего определяется объективными обстоятельствами: обе единицы являются центральными — одна (глагол) для морфологического уровня, другая (предложение) для синтаксического, обе определяют и оформляют речевую деятельность.

Проблема «глагол и предложение» не раз объявлялась решенной, но неизменно вновь становилась предметом обсуждения и сейчас, можно сказать, далека от решения.

Наибольшей известностью и поддержкой пользовалось решение данной проблемы в радикальной форме: глагол является обязательным и главным элементом предложения (предложения вообще и данного конкретного предложения); глагол — организующий центр предложения; глагол сам по себе уже есть предложение (или минимум предложения). Весьма внушительным научным фактом в этом от-

ношении представляется то единодушие, с которым авторы различных концепций русского синтаксиса (Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовский, А. А. Шахматов, А. М. Пешковский и др.). сводили основные свойства предложения как синтаксической единицы к глагольности. Известно, что тезис о невозможности предложения без финитного глагола в наиболее категорической форме высказал и отстаивал А. А. Потебня. В то же время формула А. А. Потебни [1] была и достаточно гибкой, поскольку допускала отсутствие глагольной формы в конкретном предложении как результат «опущения». Эта знаменательная оговорка определила и на будущее сторонникам формулы «глагол и есть предложение» («предложение невозможно без глагола») спасительную возможность трактовать реальные предложения без глагола как «случай опущения» его.

Решение проблемы «глагол и предложение» затруднялось тем, что в ней подчас не различались два принципиально разных вопроса: значение глагола для предложения в общеграмматическом плане и конкретно-историческая задача (для группы родственных языков или для отдельного языка) доказать и с к о н н о с т ь глагольного строения предложения. Сопоставляя два этих вопроса, А. А. Шахматов решительно возразил против а б с о л ю т и з а ц и и тезиса обязательной глагольности предложения: он допускал историческую исконность «бессвязочных» предложений [2].

Установить несомненную генетическую исконность глагольных (или неглагольных) конструкций предложения вряд ли возможно вообще. Однако существование «бессвязочных» предложений в древнерусском языке, параллельное употребление их со связочными (в частности, факты употребления и неупотребления связки *есть*, *суть* в именном сказуемом) не вызывает сомнения [3]. Этот исторический факт существенно поколебал тезис обязательной глагольности предложения (применительно к русскому языку).

Однако еще больше противоречит этот тезис фактам современного русского языка (а также и других европейских языков). Рост употребительности, активизация связочно-именных предложений, в том числе с нулевой формой связки («бессвязочных»), расширение сферы функционирования субстантивных (безглагольных) конструкций типа *Зима! Тишина* и т. п., а также других неглагольных структурных разновидностей предложения лишает указанный тезис буквальности и обязательности. «Языкознание уже рассталось с предрассудком, будто каждое предложение должно иметь verbum finitum, но на безглагольные предложения еще многие лингвисты смотрят свысока. . .» [4]

---

[1] См.: *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М., 1958, т. I—II, с. 83 и сл.

[2] См.: *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941, с. 179—181.

[3] См.: *Шахматов А. А.* Указ. соч., с. 180; *Борковский В. И.* Синтаксис древнерусских грамот. Львов, 1949, с. 190 и сл.; Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. М., 1968, с. 197.

[4] *Матезиус В.* О системном грамматическом анализе. — В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 237.

Конечно, тезис обязательной глагольности предложения не мог и не может быть просто отброшен как неуниверсальный — это создало бы «теоретический вакуум». Поиск универсального признака предложения (независимо от глагольности или безглагольности структуры) — это одновременно и поиск собственно синтаксического обоснования сущности предложения, это и преодоление морфологизма в понимании грамматической формы предложения.

Утверждение в синтаксической теории понятия предикативности как универсального признака предложения — это вместе с тем и отрицание обязательной глагольности. «Со структурой предложения, — подчеркивал В. В. Виноградов, — связаны свои особые синтаксические категории, базирующиеся на морфологических категориях, но далеко выходящие за их пределы: категории времени и модальности, а также — в широком синтаксическом понимании — и категория лица, т. е. те категории, которые выражают отношение сообщения к действительности и подводятся под общее понятие «предикативности»; эти категории могут быть свойственны предложению в целом — независимо от наличия в его составе глагола» [5].

Теория предложения, опирающаяся на универсальную категорию предикативности, снимает с разнообразных неглагольных структур печать «неграмматичности», ущербности несоответствия идеальным образцам, уравнивает в правах глагольные и неглагольные предложения относительно грамматической нормы [6].

Отрицание обязательной глагольности, отрицание спрягаемой формы глагола как грамматической формы предложения неизбежно приводит к еще одному важному общетеоретическому выводу: «И тезис о незаменимости глагола как структурного центра предложения оказывается фикцией» [7]. Построение структуры предложения не определяется наличием глагола.

Суммируя рассмотренные известные положения, мы далеки от мысли утверждать, что они и означают решение проблемы «глагол и предложение». Она многообразна, она имеет различные аспекты и частные проявления. На некоторых из них мы остановимся ниже.

Отрицая обязательную глагольность предложения, мы не должны впадать в другую крайность. Невозможно утверждать п о л н у ю независимость синтаксической системы, основной ее единицы — простого предложения — от глагола с его категориями и формами. Напротив, основные синтаксические категории модальности и времени немыслимы без опоры на соответствующие категории и формы глагола. В неглагольных по структуре предложениях указанные категории ориентированы на глагол, если даже и имеют иные показатели. Отсутствие глагола во многих неглагольных предложениях является грамматически значимым, выступает как своеобразный нулевой показатель. Это прежде всего относится к нулевой форме связки,

---

[5] *Виноградов В. В.* Основные вопросы синтаксиса предложения. — Избр. труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975, с. 266.

[6] См.: Русская грамматика, т. II. Синтаксис. М., 1980, с. 85—86.

[7] *Адмони В. Г.* Нулевая связка, связочный глагол и грамматика зависимостей.— ВЯ, 1983, № 5, с. 38.

далее — к номинативным предложениям, к предложениям с так называемым нулевым бытийным глаголом (*Отец на работе* и т. п.). В предложениях *Сейчас зима. Завтра экзамен* и под. синтаксическое время (и наклонение!) определяется прежде всего значимым отсутствием глагола, а лексические показатели времени лишь подкрепляют или корректируют основное темпоральное значение.

Однако ориентированность основных грамматических значений предложения на глагольные категории и формы вовсе не означает предпочтительности глагольных конструкций предложения, не снимает значимости, важности, актуальности всестороннего изучения и описания неглагольных конструкций предложения, «выходящих за пределы стандартной формальной парадигматики детерминированных и предикативных форм слов» [8].

Базисное значение глагольных категорий для предложения при необязательности конкретного участия глагольного слова в структуре предложения — таково реалистическое решение вопроса о соотношении глагола и предложения (по крайней мере применительно к современному русскому языку).

Исходя из данного решения, следует различать два основных конструктивно-семантических типа предложения — глагольные и неглагольные (именные).

Первый тип реализуется в таких конструкциях, центром которых является полнозначный глагол, который и обеспечивает морфологическое выражение предикативности предложения, его фундаментальных категорий, и определяет строение модели предложения [9]. Ядром семантической структуры предложения является предикат со значением действия, процесса, что определяет наличие прочих компонентов: субъекта, а также объекта прямого, объекта орудийного, адресата и пр.

Неглагольный (именной) тип представлен набором конструкций, которые формируются из именных словоформ. Модели таких предложений определяются сочетаемостью синтаксических именных словоформ как носителей определенных компонентов смысла. Базисные глагольные категории наклонения и времени выражаются в этих предложениях либо спрягаемыми формами глагольных связок, либо значимым отсутствием глагола. В семантике предложений данного типа отсутствует значение процесса. В русском языке неглагольный тип иллюстрируется прежде всего «чистыми» моделями с четким проявлением неглагольной семантики, с одной стороны, собственно служебной ролью связочных глагольных форм или нулевых показателей — с другой: это двучленные конструкции со связочно-именной формой предиката (*День был солнечный*; *Приезжий оказался лесником*; *Девочка была весела*; *Девочке было весело* и т. п.), одночленные субстантивные (*Зима*; *Снегу-то! Ни души* и т. п.).

---

[8] *Виноградов В. В.* О взаимодействии лексико-семантических уровней с грамматическими в структуре языка. — В кн.: Мысли о современном русском языке. М., 1969, с. 9.

[9] См.: *Прокопович Е. Н.* Глагол в предложении. М., 1982, с. 16.

К именному типу примыкают инфинитивно-подлежащные конструкции, в которых действие представлено как потенциальное, непротекающее, т. е. не в виде процесса, а показателями временных значений и модальности являются формы (в том числе нулевые) глагольных связок: *Роптать — величайший грех* (М. Горький, Егор Булычов и др.); *Не мужицкое это дело — носиться в тачанках по степи меж горящими хуторами* (А. Толстой, Хождение по мукам); *Так умыться-то готово?* (Гончаров, Обломов); *У нас быть честным так опасно и невыгодно* (Лесков, Захудалый род); *Бестолкового учить — только себя трудить* (посл.).

Актуальным является вопрос о соотношении двух основных типов предложения (в каждом конкретном языке) — как в статическом, системном (синхронном), так и в динамическом плане.

Для русского языка основным, преобладающим считают глагольный тип предложения. Речь идет не только о более высокой употребительности глагольных предложений, но и о их грамматической и семантической универсальности. Однако именной тип в современном русском языке не только не подавляется глагольным, но, напротив, активизируется, развивается, обогащается. Этот процесс не является бурным, скорее это тенденция, общее направление, которое, однако, проявляется в конкретных фактах [10].

Наиболее внушительным проявлением указанной тенденции, на наш взгляд, можно считать развитие, обогащение системы форм именного сказуемого, приспособление их для передачи все более разнообразной семантики предикативного признака. Расширяется круг связочных глаголов за счет грамматизации полнозначных [11]. Более многообразными становятся формы предикативного (присвязочного) члена. Так, продуктивным явлением стало оформление предикативной связью разнообразных атрибутивных словосочетаний, которые в свою очередь складываются на базе глагольных (объектных или релятивных) словосочетаний. Например: Первые мои *записи были о лесах* (Паустовский, Золотая роза) — записи о лесах (писать о лесах); *Думы* хлеборобов — *о* новом *урожае* (Правда, 1967 г. 24 ноября) — думы об урожае (думать об урожае); *Стрельба была по* невидимой *цели* (А. Толстой, На Кавказе) — стрельба по цели (стрелять по цели).

Глагольный и именной типы предложения оказывают воздействие друг на друга, вследствие чего возникают конструкции контаминированные, синкретичные, совмещающие свойства глагольных и именных. Этот процесс и его результаты сложны и многообразны.

Довольно широкое распространение в современном русском языке получает мнимая или формальная глагольность, что в свою очередь проявляется в различных видах конструкций.

---

[10] См. подробнее: *Лекант П. А.* Развитие форм сказуемого. — В кн.: Мысли о современном русском языке. М., 1969, с. 142 и сл.

[11] См.: *Лекант П. А.* Типы и формы сказуемого в современном русском языке. М., 1976.

Так, при употреблении отглагольного имени существительного в позиции подлежащего глагольное сказуемое может получать формальный характер, при этом оба члена репрезентируют семантический предикат [12], а позиция субъекта или остается незамещенной, или он выражается второстепенными членами: *Дрожь пробрала* Растегина (А. Толстой, Приключения Растегина) — Растегин дрожал. Около Думы народ. *Идет заседание* (Гиляровский, Мои скитания) — (В Думе) заседают; В половине десятого *раздался звонок* (А. Толстой, Хождение по мукам) — В половине десятого позвонили.

По модели глагольного предложения могут быть построены многоглагольные предложения с бытийным значением, где подлежащее представлено именем существительным конкретным; они имеют соответствие в неглагольном типе: *В долине белеют домики* (Серафимович) — В долине — белые домики.

Мы не имеем возможности рассмотреть подробно многочисленные случаи взаимопроникновения элементов структуры и семантики глагольного и именного типов предложения. Многие явления в этой области не описаны или даже не отмечены. Все они, включая рассмотренные выше, представляют собой некоторую часть той большой грамматической проблемы, которая вынесена в заглавие данной статьи, — глагол и предложение.

---

[12] Ср.: *Гак В. Г.* Номинализация сказуемого и устранение субъекта. — В кн.: Синтаксис и стилистика. М., 1976, с. 100 и сл.

СИНТАГМАТИКА ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ФОРМ РУССКОГО ГЛАГОЛА[1]

Е. Н. Прокопович

Исследование синтагматики видо-временны́х глагольных образований (как нейтральных в стилистическом отношении, так и стилистически маркированных, экспрессивных), проведенное на основе обширного материала русской классической литературы XIX в., позволяет обобщить полученные при этом результаты и выдвинуть ряд положений, которые представляются весьма существенными в плане дальнейшего развития поставленных в работе проблем.

Составляя основу, основной фонд форм русского глагола, видо-временны́е образования выступают в качестве организующего (предикативного) центра глагольного предложения и являются средством выражения синтаксического времени.

---

[1] Настоящая статья, публикуемая посмертно, представляет собой резюме подготовленной автором докторской диссертации.

В составе глагольного предложения, на синтагматическом уровне возникают и реализуются перфектное, аористическое, имперфектное значения форм прошедшего совершенного и несовершенного, видо-временны́е значения форм настоящего—будущего. С рассказом о событиях прошлого связана интереснейшая особенность форм настоящего—будущего времени, известная под названием praesens historicum.

На синтагматическом уровне обнаруживается специфика экспрессивных глагольных образований (глагольно-междометные формы, образования, синонимичные с формами повелительного наклонения, формы на *-ану-*, многократные бесприставочные формы).

В составе глагольного предложения возникает то своеобразие, которое отличает формы глагола с отрицанием *не* и прежде всего формы прошедшего времени (прошедшее время рассматривается в настоящей работе как сильная грамматическая категория, в противоположность настоящему—будущему времени).

Видо-временны́е значения, возникающие и реализующиеся на уровне предложения, свидетельствуют о преемственности, которая существует между видо-временно́й системой русского глагола в XIX в. и теми отношениями, которые были характерны для древнерусской видо-временно́й системы (ср. перфектное значение, в основе которого лежит древнерусский перфект, аористическое значение, в основе которого — древнерусский аорист, имперфектное значение, в основе которого — древнерусский имперфект).

Специфика возникающих в строе предложения видо-временны́х значений во многом связана с валентностью рассматриваемых образований, их распространением (облигаторным или факультативным) зависимыми словами.

В строе предложения и — шире — сложного синтаксического целого видо-временны́е формы глагола находятся в окружении других форм, в одном ряду с ними — и глагольные, и неглагольные образования.

При этом далеко не безразличным оказывается, в частности, для перфектного значения, какие глагольные (и неглагольные формы) находятся в одном ряду с формой прошедшего совершенного, какие из них при этом являются наиболее показательными для семантики перфектного значения, какие — наиболее употребительными и т. д.

Для перфектного значения в двух его разновидностях («факт совершившийся и пребывающий доныне» в своем результате и «каков кто есть, в силу прежде совершенного действия») наиболее показательным следует считать употребление в одном ряду с формой прошедшего совершенного форм настоящего времени: туча *нависла* (*и висит*) над морем; он *разбогател* и *живет* теперь припеваючи (в последнем случае «каков кто есть. . .» подчеркивается не только формой настоящего времени, но и наречием *теперь*).

Однако, как свидетельствует исследованный материал, наиболее распространенным в художественной речи XIX в. следует признать употребление форм с перфектным значением в одном ряду с аористи-

ческими формами прошедшего совершенного: Бурмин *побледнел*. . . и *бросился* к ее ногам (Пушкин).

Видо-временно́е значение рассматриваемых форм в ряде случаев может быть поставлено в связь с определенным структурно-семантическим типом предложения. Ср., например, настоящее постоянное в составе сложного предложения с придаточным сравнительным: Управляющий вдруг *обленился* и даже *начал* толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на «вольные хлеба» (Тургенев).

Нами была рассмотрена одна из сфер использования видо-временны́х образований глагола — художественная речь. В силу своей специфичности она создает особую, свойственную именно художественной речи и потому весьма разнообразную стилистику этих форм.

Своеобразна, например, стилистика прошедшего несовершенного. Как известно, прошедшее несовершенное «не двигает событий». Поэтому описание, построенное на использовании форм прошедшего несовершенного, представляет собой как бы словесную картину. Оно может быть, на наш взгляд, соотнесено с живописью. И если неоднородны произведения живописи, то неоднородны и словесные картины. Одни из них представляют собой описания, которые могут быть связаны с изобразительной функцией форм прошедшего несовершенного (разнообразные по своей семантике описания природы, местности, жилища и т. д.), другие же представляют собой описания, которые можно связать с качественно-описательной функцией форм прошедшего несовершенного (описания — характеристики лица — героя произведения художественной литературы: портретная характеристика, характеристика образа жизни, обычного или необычного для кого-либо и т. д.). Становится возможной, следовательно, типологическая классификация рассматриваемых описаний.

С названными выше двумя функциями (изобразительной и качественно-описательной) можно связать использование в художественной речи и форм настоящего несовершенного (настоящего постоянного).

Стилистика видо-временны́х форм русского глагола теснейшим образом связана с их грамматикой, теми грамматическими особенностями, которые они получают в составе предложения, сложного синтаксического целого. Процесс взаимодействия грамматики и стилистики, как показало проведенное исследование, — живой и активный для русского языка процесс.

В основе синтагматики видо-временны́х форм лежит их парадигматика, словообразовательная и методологическая, а также семантика этих форм, тех единиц, в составе которых они употребляются, семантика значений, возникающих в процессе этого употребления.

Семантика видо-временны́х форм, выделение на этой основе структурно-семантических групп глаголов с перфектным и аористическим значениями свидетельствует не только о сложности указанных значений, но, что очень важно, о возможности их дальнейшей дифференциации.

Перфектное и аористическое значения форм прошедшего совершенного «дисимметрически разнонаправлены и в этом смысле противо-

положны»[2]. Не всегда, однако, они выступают в составе предложения с достаточной отчетливостью. Между ними — целая гамма переходных случаев. Поэтому «прикрепленность» форм прошедшего совершенного к определенным структурно-семантическим группам (одни группы для форм с перфектным, другие — для форм с аористическим значением) представляет собой определенный и немаловажный этап в сложном процессе дифференциации этих значений. Об этом же свидетельствует обширная и широко распространенная в языке группа глаголов с приставкой *за* и значением начала действия. Исследование показало, таким образом, сложность процесса дифференциации перфектного и аористического значений и вместе с тем его неуклонное развитие в языке.

Являясь организующим центром глагольного предложения, средством выражения синтаксического времени, видо-временны́е формы глагола взаимодействуют и соотносятся друг с другом в строе предложения и — шире — в составе сложного синтаксического целого. Причем в ряде случаев возникает возможность синонимической замены одних форм другими, их параллельное употребление. Это естественно, ибо «развитой литературный язык представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом»[3].

Именно благодаря этому возникает не только возможность, но и требование тщательного отбора языковых средств, используемых в речевой практике, в любой ее сфере. Этого требует стремление сохранить, обеспечить четкость и ясность высказывания, максимальную «доходчивость» последнего до адресата.

Несравненно более сложным является отбор языковых средств, в том числе и видо-временны́х форм глагола, в художественной литературе. Ведь в художественной литературе слова, их формы и сочетания, находясь в составе предложения, кроме своего основного назначения — быть средством коммуникации, сообщения, несут и дополнительную нагрузку. Они служат здесь и иным целям, являясь художественным средством изображения действительности.

Предпринятый в исследовании анализ синтаксического употребления и стилистического использования видо-временны́х форм русского глагола обнаруживает разнообразие их значений, возникающих в строе предложения, различную модально-экспрессивную окрашенность (нейтральность в стилистическом отношении — стилистическая маркированность) и в связи с этим специфичность их использования в художественных текстах.

Употребляясь в строе предложения, рассмотренные образования допускают замену одних другими, составляя различные по составу и числу компонентов ряды определенным образом соотнесенных друг с другом в какой-то мере синонимичных друг другу форм.

---

[2] *Поспелов Н. С.* О двух рядах грамматических значений глагольных форм времени в современном русском языке. — ВЯ, 1966, № 2, с. 34.

[3] *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык. — В кн.: Щерба Л. В. Избр. работы по русскому языку. М., 1957, с. 121.

Это имеет место как в кругу форм одного времени, так и в кругу форм разных времен; параллелизм употребления может быть обусловлен различиями в оттенках значений, наличием или отсутствием экспрессивности, функционально-стилистическими особенностями их употребления и т. д. Приведем те наблюдения в этой области, которые представляются наиболее примечательными. Они возникли в процессе употребления видо-временны́х форм глагола в строе предложения и тех особенностей (грамматических и стилистических), которые при этом возникают.

При сопоставлении друг с другом богатых модальными значениями экспрессивных форм прошедшего времени складывается ряд определенным образом соотносительных образований, например: *маханул—мах—и махни* (*возьми и махни*). Такие ряды не единичны; *толканул—толк—и толкни* (*возьми да толкни*)—*и толкани* (*возьми да толкани*) и под.

Их сближает друг с другом не только модально-экспрессивная насыщенность, но и то, что все они относятся к единому видо-временно́му плану, являясь формами прошедшего времени совершенного вида. Опорной формой их (или «доминантой») [4] поэтому может служить форма прошедшего времени на *-л* в нейтральном употреблении. Любопытно, что с большим основанием такой формой можно считать форму на *-л* несов. вида — *махал*, *толкал* и под. (ср. не лишенные экспрессии в условиях определенного контекста формы сов. вида *махнул*, *толкнул* и под.).

Не всегда, однако, ряды соотносительных форм состоят из одинакового числа компонентов. Число их может меняться, соответственно увеличивая ряд или уменьшая его. Так, ряд соотносительных друг с другом форм прошедшего времени может увеличиваться благодаря присоединению таких образований, как *взял и махнул* (*взял да и махнул*), *взял и толкнул* (*взял да и толкнул*) и под. Они экспрессивны, выражают модальное значение неожиданности действия, его произвольности, в ряде случаев неуместности [5].

Рассмотренный ряд соотносительных форм прошедшего времени можно еще увеличить, присоединив экспрессивные образования *как махнул*, *как толкнул* и под. (*как маханул*, *как толканул* и под.), где *как* играет роль усилительной частицы.

Этот ряд может увеличиваться и благодаря присоединению экспрессивных образований настоящего—будущего совершенного, употребляемых в рассказе о прошедших событиях, в плане, следовательно, настоящего исторического (praesens historicum). Среди них выделяются образования с усилительной частицей *как* — *как махнет*, *как толкнет* и под. (*как маханет*, *как толканет* и под.). Используясь параллельно с соответствующими формами прошедшего времени,

---

[4] Об основном (опорном) слове, которым начинается синонимический ряд, см.: *Евгеньева А. П.* Проект словаря синонимов. М.: Сов. энциклопедия, 1964, с. 16. См. также: Словарь синонимов русского языка. Л., 1970—1971.

[5] Иную точку зрения на значение рассматриваемых форм см.: *Золотова Г. А.* О модальности предложения в русском языке. — Филол. науки, 1962, № 4, с. 79.

в одном ряду с другими формами прошедшего времени, рассматриваемые образования употребляются, таким образом, в одном с ними временно́м плане: — Мы Кулика *задарили*. Она ему, голубушка, сама пятирублевую ассигнацию под конец *вынесла* — а он ей как бухнет в ноги — такой чудной! (Тургенев, Петр Петрович Каратаев); — Он *вскочил*, как шальной, *осмотрелся*, нас *оглядел* да как нырнет вниз... (Станицкий, Семейство Тальниковых); — Ну, думаю, пропадать все равно, *развернулся* сам да как щелкану его по затылку (Лесков, Овцебык).

Число соотносительных форм в ряду может и сокращаться. Сокращенное число компонентов возникает, по нашим наблюдениям, за счет форм на *-ану-*, которые в русском языке XIX в. не принадлежат к столь распространенным, как в наше время.

Однако, как бы ни менялось число компонентов рассматриваемых рядов, несомненной представляется соотнесенность этих форм прошедшего времени друг с другом, соотнесенность, раскрывающаяся в их употреблении в строе предложения, в их стилистическом использовании.

Соотносительные образования такого рода, употребляясь в строе предложения, имеют общую для них стилистическую приуроченность. Модально насыщенные, экспрессивные, они являются одним из выразительных стилистических средств языка художественной литературы. Как и другие народно-разговорные формы и конструкции, они составляют прежде всего своего рода принадлежность сказа. Все они не только возможны, но и часто используются в речи рассказчика, основного действующего лица сказа, которым, как известно, может быть не только кто-либо из героев художественного произведения, но и сам автор (образ автора-рассказчика). Соотносительность создает возможность выбора форм, и они варьируются, заменяют друг друга, используются в одном ряду [6].

Такая стилистическая приуроченность, однако, не исключает возможности использования соотносительных образований в диалоге и в авторской речи. Она не препятствует их распространению в литературном языке.

Своеобразна соотносительность между такими формами, как *толканул—толкнул*. Формы на *-ану-* сближает с формами на *-ну-* свойственный и тем и другим оттенок однократности действия. Этот оттенок выдвигает их в ряд соотносительных форм. При этом, однако, они отличаются друг от друга тем ярким модальным значением интенсивности действия, резкого его проявления, в ряде случаев — стремительностью действия, которое характерно для форм на *-ану-*. Следовательно, здесь соотносительность рассматриваемых форм нарушается.

---

[6] Особый стилистический прием — синонимическую ситуацию рассматривает Т. Г. Винокур. Она намечает типы синонимических ситуаций, которые, соответствуя типам языково-стилистического отбора, показывают последний в действии, смысл которого зависит от особенностей той или иной коммуникативной сферы, т. е. «от ситуации общения» (*Винокур Т. Г.* Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980, с. 153).

Естественно, что формы на *-ну-*, даже при наличии в условиях определенного контекста некоторой экспрессии, неравноценны ярким и выразительным в модально-экспрессивном плане формам на *-ану-* (ср., однако, рассмотренные выше экспрессивные, модально насыщенные образования с усилительной частицей *как — как толкнул* и под.). Это ограничивает замену одних другими. Поэтому каждое из этих образований имеет свою сферу употребления и выполняет свои стилистические функции.

Соотносительность характерна не только для экспрессивных, богатых модальными значениями временны́х форм глагола. Нейтральные в стилистическом отношении формы, выражающие в определенных контекстных условиях лишь общее для всех глаголов изъявительного наклонения модальное значение, лишенные соответствующей экспрессии, могут сближаться друг с другом, составляя ряды определенным образом соотносительных друг с другом форм.

Так, соотносятся друг с другом в строе предложения формы прошедшего совершенного с перфектным значением, выражающие качественное состояние предмета (*потемнел, посерел, помрачнел, похудел*), и образования, состоящие из формы прошедшего времени глагола-связки *стать* и имени прилагательного (*стал темный, стал серый, стал мрачный, стал худой* и под.). Ср. также: *помрачнел, как туча — мрачный, как туча, похудел, как щепка — худой, как щепка* и под.

Соотносительность, по нашим наблюдениям, в основном характерна для форм совершенного вида. Правда, в определенных контекстных условиях возникают и такие соотношения, как *читал—читает*. Такие ряды отличают значительные особенности. Во-первых, их составляют формы несовершенного вида. Во-вторых, первый компонент такого ряда — форма прошедшего времени и по значению, и по морфологическому показателю (форма на *-л*); второй компонент — форма настоящего времени, транспонируемая, однако, в план прошлого. Опорной следует считать форму прошедшего времени, так как форма настоящего времени соотносительна с ней лишь в строго определенных условиях, в условиях так называемого настоящего исторического (praesens historicum).

В плане стилистическом можно рассматривать как соотносительные в какой-то мере друг с другом и формы разных времен, обладающие, однако, единым, общим для них модальным значением и налетом разговорности.

Таковы образования: *взял и рассказал* (прошедшее время) — *возьми и расскажи* (прошедшее время) — *возьму и расскажу* (настоящее—будущее совершенное). Различные по временны́м значениям формы объединяются здесь наличием своеобразного согласованного с ними формального компонента (*взял, возьми, возьму*), который вносит значение неожиданности, неподготовленности действия, придает ему (действию) произвольный характер. При этом создается особый разговорный колорит.

Мы привели несколько рядов соотносительных видо-временны́х образований русского глагола. Соотносительность эта может быть

выражена различно (ср. соотносительность между формами разных времен). Да и соотносительность между формами одного времени весьма своеобразна. В ряде случаев она ярка и выразительна. Такова, например, соотносительность между формами экспрессивными, богатыми модальными значениями и оттенками. В других случаях она может быть несколько ограниченной (*толканул—толкнул*). Интересны соотносительные ряды, в которых участвуют формы настоящего исторического (praesens historicum).

Варьирование форм (как экспрессивных, так и нейтральных, но допускающих экспрессию в употреблении), основанное на их соотнесенности, возможность выбора, замены одних форм другими входят в широкий круг стилистических возможностей русского языка в целом, глагольного слова в частности.

ВРЕМЕННА́Я И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ

Р. П. Рогожникова

Служебные слова, как и знаменательные, характеризуются теми же процессами: одни из них устаревают, на смену им приходят другие [1]. Можно сказать, что в пассивный запас слов входит лексика, имеющая временну́ю дифференциацию: слова, вышедшие или выходящие из активного употребления. Кроме того, к пассивному запасу следует отнести вновь появляющуюся лексику, еще недостаточно активно освоенную языком. Все это распространяется и на служебные слова. Что касается активного запаса слов, то он стилистически дифференцирован как в отношении знаменательных, так и служебных слов.

Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с временно́й дифференциацией служебных слов. Вся устаревшая лексика русского языка разделяется исследователями на историзмы и архаизмы [2]. Служебные слова, в отличие от знаменательных не связаны с обозначением реалий, и потому все они относятся к группе архаизмов. Однако исследователи не дифференцируют архаическую лексику, хотя необходимость этого ощущается. Так, в словаре Ожегова используется две пометы для обозначения такой лексики: «(стар.), т. е. ста́ринное, указывает, что слово принадлежит к терминам русской старины, употребляющимся в нужных случаях в современном литературном языке; (устар.), т. е. устаре́лое, указывает, что слово является архаизмом, т. е. вышедшим или выходящим из живого

---

[1] Ср.: *Щерба Л. В.* Опыт общей теории лексикографии. — Избр. работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958, т. I, с. 59.

[2] *Шанский Н. М.* Устаревшие слова в лексике современного русского литературного языка. — РЯШ, № 3, 1954, с. 27—33; *Ахманова О. С.* Очерки по общей и русской диалектологии. М., 1957, с. 271—274.

употребления, но еще хорошо известным в современном литературном языке, и также по классическим литературным произведениям XIX в.»[3] Помету (стар.) находим при словах *дабы*, *доколе*, *ежели*; помету (устар.) — при словах *буде*, *меж*, *кой*, *коль скоро*, *окрест*.

Оставляя в стороне вопрос о том, насколько правомерно по-разному квалифицировать такие слова, как *доколе* и *буде*, отметим, что служебные слова для современного состояния русского языка не однородны по степени архаизации. С этой точки зрения их можно разделить на архаизмы и устаревшие слова. Хотя слова «архаизм» и «устарелое» (слово) на первый взгляд обозначают как будто одно и то же, все же слово «архаизм» воспринимается как обозначение чего-то более древнего, более старого, чем «устаревшее слово».

1. Архаизмы или архаические служебные слова крайне редко употребляются в современном языке. Они были свойственны далекому прошлому, встречаются в произведениях XIX в. В современном языке они воспринимаются как нечто, свойственное старине, древности. И по своему облику они не соотносятся с современными лексическими единицами. К архаизмам относятся такие слова, как *аще*, *аки*, *буде*, *зане*, *купно с*, *не токмо*, *не токмо что*, *ниже*, *окрест*, *поелику*, *понеже*, *токмо* и др.

В большинстве своем они непонятны современному читателю и требуют как бы перевода на современный язык. Многие из них уже не включаются в наиболее популярные толковые словари, поскольку считаются вышедшими из употребления. В то же время более полные академические словари фиксируют их, сопровождая соответствующими пометами.

При включении в толковые словари такие служебные слова получают иногда разноречивую характеристику. Так, *буде* в словаре Ушакова квалифицируется как канц. устар., в БАС — устар. и обл., в МАС — (1-е и 2-е изд.), словаре Ожегова — устар. и прост. Все словари сходятся в одном: они признают этот союз устарелым, стилистически же он квалифицируется по-разному. Чем это можно объяснить? Как показывают материалы, а также исторические исследования, союз *буде* был распространен в письменности XI—XVII вв. в произведениях делового стиля, а также в живой разговорной речи [4]. Л. А. Булаховский отмечает, что из старого канцелярского фонда *буде* попадает в язык художественной литературы к авторам, связанным с XVIII в.[5] Уже в XIX в. *буде* воспринимается как архаизм, тем не менее он встречается и в языке XIX в., и в современном. Сфера распространения его — официально-деловая речь. Это находит отражение в произведениях художественной литературы, когда союз *буде* используется как средство передачи официально-деловой речи

[3] *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 13-е изд., М., 1981, с. 13.

[4] Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение/ Под ред. В. И. Борковского. М., 1979, с. 243—244; *Филин Ф. П.* Из наблюдений над синтаксисом северо-западных говоров. — Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1978, т. 69, с. 165—169; *Ломтев Т. П.* Очерки по историческому синтаксису русского языка. Изд. МГУ, 1956, с. 537.

[5] *Булаховский Л. А.* Русский литературный язык первой половины XIX в. М., 1954, с. 412.

в разного рода документах, например: Другая бумага содержит в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что *буде* окажется в их губернии такой подозрительный человек. . ., то задержать его немедленно (Гоголь, Мертвые души); Вот-с, в контракте сказано, говорил Иван Матвеевич:. . . извольте прочесть: «*Буде* же я, Обломов, пожелаю прежде времени съехать с квартиры, то обязан. . . удовлетворить ее, Пшеницыну, сполна платою за весь год по первое июня будущего года», — прочитал Обломов (Гончаров, Обломов).

Союз *буде* встречается в письмах как официально-делового характера, так и в дружеских, где употребляется иногда как средство иронии, шутки. Союз *буде* находим в письмах А. С. Пушкина, Н. Карамзина, А. Кольцова, А. И. Герцена, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, М. Мусоргского, А. П. Бородина, В. И. Ленина, М. Горького, например: Теперь положим, что Правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (*буде* условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня (А. С. Пушкин, Письмо В. А. Жуковскому, 2-я пол. янв. 1826 г.); Вот в пятницу, я узнаю о своем деле, — *буде* оно кончится скоро, то я проживу две недели, а нескоро, — гораздо более (А. В. Кольцов. Письмо Белинскому, 7 марта 1838); Вместе со своим рассказом посылаю рассказ Филиппова, который убедительно просит Вас возвратить ему рассказ, *буде* он не понравится (А. П. Чехов, Письмо А. С. Суворину, 15 марта 1890 г.); О тирании редакторов, а также и малограмотности оных — напишу статейку, материал есть, но *буде* Вы тоже имеете опыт, — давайте мне (М. Горький, Письмо В. В. Иванову, 10 янв. 1936 г.)

То, что союз *буде* бытовал в народно-разговорной речи, подтверждается материалами произведений фольклора, а также данными областных словарей. Примеры из произведений фольклора: — Продай, мне, старинушка, твой цветок! — Он у меня не продажный, а заветный: *буде* младшая дочь твоя пойдет за моего сына Финиста— ясна сокола, так отдам тебе цветок даром (Афанасьев, Сказки). См. также данные «Словаря русских народных говоров», где союз *буде* как условный союз отмечен на большей части территории России.

Немало примеров использования предложений с союзом *буде* в речи персонажей художественных произведений, причем это и речь представителей народа, и речь интеллигентных людей. Например: — Господа, *буде* в шахты будут назначать, не пойдем, законом запрещено, — говорил восемнадцатилетний парень (Решетников, Глумовы); Барин и говорит: «Мирон, препоручаю тебе все сие к исполнению. *Буде* исполнишь, похвалю, а буде не исполнишь, то ожесточусь (Гл. Успенский, Старый бурмистр); — Я вам говорил правду, — сказал Макар, раздевая Аристиона, что лучше попытаться у Г. Горгония, а после уже *буде* одолеет охота, идти в солдаты (Нарежный, Аристион); — Эй ты! Слушай! *Буде* спросит кто о чем — молчи, коли жив быть хочешь! Понял? (М. Горький, Челкаш).

Союз *буде* в произведениях XIX в. и реже XX в. встречается в речи автора, а также и в поэтических произведениях. Как правило, это

всегда мотивировано, но это не обязательно официально-деловая или разговорная речь, например: Он не только предложил мне ехать с ним на работы, но даже, *буде* я соглашусь ехать, уступает в мою пользу полтора рубля (Куприн, Прапорщик армейский); Вот *буде* есть в тебе малейший смысл и прок, Вот заповедь твоя, закон твой и пророк (Вяземский, Послание к Дмитрию Петровичу Северину); Разве можно брать в расчет, Что герой мой у колодца, У каких-нибудь ворот, *Буде* случай подвернется, Чью-то долю ущипнет (Л. Твардовский, Василий Теркин).

Таким образом, союз *буде* встречается в XIX в. и в языке нашего времени в произведениях различной жанрово-стилевой принадлежности. Он воспринимается как архаичный союз, но совсем не обязательно как элемент официально-делового стиля или народно-разговорной речи, просторечия. И в произведениях исторического характера, когда необходимо передать колорит предшествующей эпохи, союз *буде* используется в текстах, разнообразных по жанрово-стилевой принадлежности. Обычно вместе с союзом *буде* в текст включаются и другие устарелые слова, подчеркивающие колорит эпохи, например: У вас Кузьма Захарьев Сухорук то дело знает; Он человек бывалый и служилый, Ему такое дело за обычай! Его проспте! *Буде* согласится, И я, не мешкая, сбираться буду (А. Н. Островский, Козьма Минин); Суда могут становиться на якорь, *буде* к тому встретиться надобность, в любом месте залива (К. Паустовский, Карабугаз. — Из донесения лейтенанта Жеребцова).

Таким образом, как показывают материалы, союз *буде* для современного языка является архаизмом. Официально-деловой и народно-разговорный по происхождению, он употребляется в языке XIX в. в текстах различной жанрово-стилевой принадлежности. Словари же своими стилистическими пометами отразили какую-то одну сторону его употребления. Поэтому представляется целесообразным в современных толковых словарях архаические союзы не сопровождать другими стилистическими пометами, если сфера их распространения еще в XIX в. была достаточно широкой.

Другое дело, когда архаическое служебное слово ограничено в сфере употребления. Так, союз *зане* и в XIX в., и в современном языке употребляется преимущественно в поэзии. В более ранние периоды он употреблялся в произведениях книжного характера и даже не был чужд живой разговорной речи [6]. В XIX в., по свидетельству словаря Даля, он воспринимался как церковнославянский союз. В. Г. Белинский писал об употреблении этого слова: «Григорьев любит употреблять слово *зане*, и это выходит у него крайне неловко. Это слово ввел Пушкин, но он употреблял его только раз в «Борисе Годунове», очень ловко, кстати и на месте. Оно хорошо для поэзии, заменяя книжное *ибо* и прозаическое *потому что*» [7].

---

[6] Историческая грамматика русского языка. . ., с. 298—301.

[7] *Белинский В. Г.* Стихотворения Аполлона Григорьева. — Полн. собр. соч. М., 1955, т. IX, с. 598.

В XIX в. и в современном языке как бы возрождается употребление этого архаичного союза. Находим его в поэзии Н. Языкова, А. К. Толстого, С. Есенина, Дм. Кедрина, С. Наровчатова. Он употребляется как удобное версификационное средство, для соблюдения рифмы и ритма, и в то же время вносит окраску устарелости, архаичности. Используется он обычно в произведениях, связанных с исторической тематикой или в таких, где речь идет о материях рассудочно-книжных, например: И воспевал я вас, и вы благоволили Веселым юношам стихам: *Зане* тогда сильны и сладкозвучны были Мои стихи (Н. Языков, К. К. Павловой); И дивились ученые люди, — *Зане* эта церковь Краше вилл италийских И пагод индийских была (Дм. Кедрин, Зодчие).

В этом случае правомерна не только временна́я дифференциация слова в толковом словаре, но и его стилистическая характеристика. В современных словарях оно характеризуется следующим образом: словарь Ушакова — церк., книжн., старин.; БАС — устар. поэт., МАС (1-е и 2-е изд.) — книжн., устар.

2. В другую группу входят служебные слова, которые, в отличие от архаизмов, можно назвать устаревшими. От архаических служебных слов они отличаются тем, что хотя и устарели, но более употребительны в языке. Если можно так выразиться, степень устарелости у них несколько меньше, чем у архаизмов. К ним относятся: *дабы*, *затем что*, *каковой*, *кой*, *близ*, *покамест*, *противу* и др. Они более знакомы современному читателю, хотя и ощущается их несовременность. Иногда служебные слова этой группы начинают активизироваться, употребляются довольно широко. Так, союз *дабы*, известный с конца XIII в. [8], к началу XIX в. уже перешел в разряд устаревших, хотя был еще достаточно употребителен в языке, преимущественно в книжно-публицистической речи [9]. В современном языке, особенно в последние годы, он стал шире использоваться, хотя устарелость его ощущается. Он встречается не только в публицистических текстах, но также и в произведениях художественной литературы, например: На койке лежали куски сушеной дыни, Чарджуйской дыни, чей запах прекраснее запаха жасмина и чья сладость слаще дикого меда. И курсанты, *дабы* не нарушать порядка, вполголоса прокричали «ура» и тут же половину дыни съели (К. Паустовский, Приказ по военной школе); Накинув бекешу, дедушка поспешно, *дабы* не задерживать дам, выходит на крыльцо (В. Катаев, Кладбище в Скулянах); Устав за зиму от возни с детишками, моя жена давно собиралась съездить на берег Черного моря, *дабы* отдохнуть и набраться новых сил (В. Солоухин, Терновник).

---

[8] *Черкасова Е. Т.* Русские союзы неместоименного происхождения. М.: Наука, 1973, с. 84.

[9] *Булаховский Л. А.* Русский литературный язык первой половины XIX в. М., 1954, с. 401—402; *Ломтев Т. П.* Очерки по историческому синтаксису русского языка. Изд. МГУ, 1956, с. 525; *Ручко Л. И.* Союзы цели в русском языке XVIII века. — Рус. речь, 1975, № 4, с. 78.

Активизация союза *дабы* связана еще и с тем, что он иногда используется в таких предложениях, где есть союз *чтобы*, для того чтобы избежать повторения союза, поскольку все другие целевые союзы включают в свой состав элемент *чтобы*: *для того чтобы*; *с той целью, чтобы*; *затем, чтобы*. Использование *дабы* вместе с *чтобы*, как правило, стилистически мотивировано. Например: Майборода мысленно подсчитывал число возможных едоков, чтобы никого не обделить и в то же время не перебарщивать, *дабы* что-нибудь осталось и на завтра (Эм. Казакевич, Сердце друга); Люди в Афинах, одетые далеко не пышно, присядут побеседовать — может быть о том, что же им предпринять, чтобы не сидеть вот так и не беседовать перед двумя стаканами лимонада, *дабы* голая пустота стола не вызывала косых взглядов официанта (В. Сафонов, Путешествие в чужую жизнь).

Иногда союз *дабы* используется в произведениях сатирического или юмористического характера, чтобы подчеркнуть комический характер ситуации, например: Кому-то пригрезилось, будто в Дагестане лаптем щи хлебают. И *дабы* покончить с такой вопиющей отсталостью в общепите, на республику низвергнулся водопад алюминиевых ложек (А. Воробьев, На сатирических перекрестках); — Отныне мы приданы сельхозинституту, *дабы* студент осуществлял через нас связь с жизнью. Хозяйство задумано как учебно-показательное (Крокодил, 1970, № 31, с. 12).

Союз *дабы* в современном языке встречается не только в прозаических текстах, нередко он используется в поэзии как версификационное средство. Часто союз *дабы* заканчивает стихотворную строку, служа рифмообразующим элементом. При этом ради рифмы или ритма слово *дабы* может изменять свойственное союзу местоположение. Например: Мыслители, наморщив лбы, Шли, — как в пике идут пилоты, — Во глубь материи, *дабы* Понять явление природы (Е. Виноградов, Мыслители); Внимаем прошлому, *дабы* на пепелище Хатыни каждый ведал, Когда и от какой судьбы Весь мир избавила Победа (В. Гордейчев, Хлеб войны); Не нужно быть богом, Чего-то добиться *дабы*. Обходится боком Уменье вставать на дыбы (К. Ваншенкин, Медведь).

Союз *дабы* используется в произведениях исторического характера, когда необходимо передать исторический колорит эпохи. При этом он употребляется как в прозаических, так и в поэтических текстах, например: В 1834 году Плюшар задумал создать многотомный «Энциклопедический лексикон» и поставить во главе его Греча. *Дабы* обсудить это дело, Греч пригласил к себе весь литературный Петербург (И. Андроников, Возвращение к Невскому); *Дабы* пресечь татарских орд свирепость, Святую Русь от нехристей сберечь, Царь повелел Рубить на взгорье крепость И оную Воронежем наречь (А. Жигулин, Предок).

Таким образом, широкое и разнообразное употребление союза *дабы* позволяет квалифицировать его как устаревший союз без каких-либо других стилистических характеристик. Пока он еще не стал архаизмом.

Переход слов в разряд устаревших или архаичных происходит не сразу. Служебное слово живет в языке, употребляется наряду с другим, более современным словом, но его употребительность по ряду причин уменьшается. Устаревая, служебное слово уходит на второй план, ограничивает сферу распространения в языке. Происходит это в тех случаях, когда слова семантически равнозначны, ср.: *ежели, коли — если*; *меж — между*; *касательно — что касается* и т. п. Устаревающие служебные слова обычно и стилистически ограничены. Сужая сферу употребления, они имеют тенденцию переходить в разряд устаревших, а затем и архаичных слов.

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СТИХОТВОРНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Е. Н. Ширяев

«В ряде произведений. . . они [бессоюзные сложные предложения] служат художественным средством воздействия на читателя, элементом стиля»

(*В. И. Борковский*).

Исследования последних лет выявили один весьма интересный феномен: отличающаяся тщательной литературной обработкой поэтическая речь охотно использует компоненты с характеристиками, восходящими к разговорной речи, одним из основных признаков которой является спонтанность, неподготовленность [1]. Бессоюзные сложные предложения для понимания взаимоотношений разговорной и поэтической речи представляют особый интерес. Давно было замечено, что основная сфера распространения бессоюзных сложных предложений — это именно разговорная речь. Специальные исследования последних лет показали, что в живой разговорной речи системные характеристики бессоюзных сложных предложений представлены гораздо более ярко и последовательно, чем в литературных письменных текстах, где бессоюзные сложные предложения часто

---

[1] Е. А. Земская отмечает явный и яркий параллелизм между разговорной и поэтической речью в области словообразования и синтаксиса, см.: *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981, с. 8—9. — О. Г. Ревзина проводит прямое сопоставление выявленных в работах последних лет разговорных синтаксических особенностей и поэтического синтаксиса М. Цветаевой, см.: *Ревзина О. Г.* Некоторые особенности синтаксиса поэтического языка М. Цветаевой. — Учен. зап. Тартуского ун-та, 1979, вып. 481. Семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика, с. 89—106; *Она же.* Синтаксис поэтического языка в соотнесении с разговорной речью. — В кн.: Исследования в области грамматики и типологии языков. М., 1980, с. 3—38.

являются просто разговорными заимствованиями [2]. В свою очередь эта разговорная по своей природе структура широко представлена и в поэтических стихотворных текстах. И, по-видимому, в отличие от других разговорных явлений бессоюзные сложные предложения распространены в поэзии разных эпох и направлений. Хотя, безусловно, характер использования бессоюзных сложных предложений в поэтических текстах зависит от общих тенденций развития поэтического творчества и от индивидуальности поэта, в этом использовании есть и общие важные закономерности. Чтобы понять их, необходимо уяснить синтаксический статус бессоюзного сложного предложения как особой синтаксической формы.

Существует несколько концепций бессоюзного сложного предложения. И в центре каждой из них стоит вопрос о грамматической (синтаксической) форме бессоюзного сложного предложения. Синтаксическую форму будем понимать как единство грамматического средства и того содержания, которое этим средством выражается. В союзном типе сложного предложения основным грамматическим средством являются союзы или союзные слова, грамматическое содержание — те отношения, которые ими выражаются. Как полагал А. М. Пешковский, в бессоюзном сложном предложении союзы или союзные слова заменяются (компенсируются) особым интонированием предложения [3]. Н. С. Поспелов также признавал за интонацией роль синтаксического средства, способного выражать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения — предикативными конструкциями, но в отличие от А. М. Пешковского считал, что смысловые отношения в бессоюзном сложном предложении образуют особую систему, не сводимую к системе смысловых отношений в союзном типе [4]. Специальные исследования интонирования бессоюзных сложных предложений показали, что вопреки мнению как А. М. Пешковского, так и Н. С. Поспелова интонация не способна выражать смысловые отношения между предикативными конструкциями в бессоюзном сложном предложении [5]. Этот вывод полностью подтверждается таким несложным наблюдением. Союз или союзное слово способны выразить соответствующее их значению отношение даже в том случае, если лексико-семантическое содержание соединяемых предикативных конструкций таково, что ясно показывает алогичность этих отношений, их несоответствие здравому смыслу, ср.: *Было совсем темно, потому что светило яркое солнце.*

---

[2] См. об этом: *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981, с. 227—274.

[3] *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956, с. 470—472.

[4] *Поспелов Н. С.* О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений. — В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.

[5] См.: *Кубик М.* Условные конструкции и система сложного предложения. Praha, 1967, с. 64—65; *Николаева Т. М.* Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969, с. 236—237.

Такое предложение вызовет недоуменный вопрос *Почему*?, но причинный союз *потому что* едва ли позволит усомниться в том, что отношения в этом предложении именно причинные. Никакое же интонирование без союза данного «сложного предложения» не позволит обнаружить в нем ни причинных, ни каких-либо других отношений, в этом случае вообще будет непонятно, о чем идет речь. Из этого наблюдения следует еще один важный вывод: смысловые отношения между предикативными конструкциями в бессоюзном сложном предложении определяются вообще не грамматическими средствами, они выводятся из содержания соединяемых предикативных конструкций, ср. *Надо взять зонт: дождь обещали* — в этом предложении причинные отношения существуют потому, что каждому известно, что при дожде полезно иметь при себе зонт, и сама лексическая семантика слов *зонт* и *дождь* «подсказывает» причинную связь.

Тот факт, что смысловые отношения между предикативными конструкциями в бессоюзном сложном предложении не выражаются грамматическими средствами, имел для концепции бессоюзного сложного предложения далеко идущие последствия. И. Н. Кручинина вообще отказалась видеть в бессоюзных сложных предложениях синтаксическую единицу со своей синтаксической формой и квалифицировала бессоюзное соединение конструкций как текст[6]. Есть, однако, основания думать, что бессоюзное сложное предложение все же имеет свою грамматическую форму. Синтаксическое средство этой формы — интонационная незавершенность непоследней предикативной конструкции сложного предложения. В системе интонационных конструкций ИКЕ А. Брызгуновой такое интонирование чаще всего соответствует ИК-3[7], а на письме передается тире или двоеточием. Синтаксическое значение этого интонационно-грамматического средства особое: оно заключается в активизации смысловых отношений, извлекаемых из содержания предикативных конструкций бессоюзного сложного предложения. В том, что интонация незавершенности непоследней предикативной конструкции обладает таким значением, убеждает следующее. На вопрос *Почему ты не ешь*? можно ответить союзным сложным предложением *Я не ем, потому что обедал недавно* или бессоюзным *Я не ем: обедал недавно*. Интонация первой предикативной конструкции в этом случае обязательно должна быть незавершенной. Ответ на поставленный причинный вопрос двумя интонационно завершенными конструкциями, т. е. двумя предложениями, невозможен. Это означает, что именно интонация незавершенности заставляет обнаружить необходимые смысловые отношения в содержании соединяемых частей. В этом и состоит суть активизации смысловых отношений как значения синтаксической формы бессоюзного сложного предложения.

В разговорной речи форма бессоюзного сложного предложения употребляется только тогда, когда смысловые отношения между

---

[6] *Кручинина И. Н.* Некоторые тенденции развития современной теории сложного предложения. — ВЯ, 1973, № 2.

[7] См.: Русская грамматика, т. I. М.: Наука, 1980, с. 109.

соединяемыми частями могут быть извлечены из содержания этих частей с достаточной простотой и очевидностью.

Форма бессоюзного сложного предложения во многом объясняет, почему «родиной» этого типа сложного предложения является разговорная речь. При использовании бессоюзного сложного предложения слушатель должен решить небольшую семантическую задачу: вывести задуманные говорящим отношения из содержания соединяемых предикативных конструкций. Всегда остается опасение, что эта задача может быть решена не совсем верно. Непосредственное участие говорящих в разговорном коммуникативном акте сводит эту опасность на нет, поскольку всегда существует возможность коррекции коммуникативного акта: переспросы, повторения и т. п. В других сферах литературного языка коррекция на ходу коммуникативного акта исключена, и это является сдерживающим моментом употребления бессоюзного сложного предложения в этих сферах.

Поэтическая стихотворная речь, «заимствуя» у разговорной речи синтаксическую форму бессоюзного сложного предложения, своеобразно осваивает ее для своих целей. Бессоюзные сложные предложения в стихотворной поэтической речи — это не механически перенесенные в поэтический текст разговорные структуры. Если в разговорной речи, как уже было сказано, нужные смысловые отношения должны легко и просто выводиться из содержания соединяемых предикативных конструкций, то бессоюзные сложные предложения поэтических стихотворных текстов ставят более сложные семантические задачи. В поэтической речи сигнал поиска и активизации смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения может быть употреблен и между такими по содержанию частями, отношения между которыми далеко не очевидны. Поэт хочет, чтобы его читатель обнаружил не тривиальные, а часто неожиданные для обыденного здравого смысла отношения, а поскольку это требует особых языковых усилий, то решается и задача привлечь особое внимание читателя (слушателя) к поэтическому строю мысли. Обратимся к примеру:

Не тронет вздох тебя бессильный,
Не омрачит земли тоска:
У ног твоих, как дым кадильный,
Вияся, тают облака
(*Фет*).

Только двоеточие на письме и соответствующая интонация при чтении позволяют читателю (слушателю) осмыслить это предложение как причинное. Семантика частей этого сложного предложения сама по себе при опоре на наше обыденное сознание ничего не дает для осмысления отношений как причинных, и только двоеточие «заставляет» преодолеть обыденность мышления и проникнуть в замысел поэта. Столь же нетривиальны и поэтичны смысловые отношения, активизируемые двоеточием или тире в следующих бессоюзных сложных предложениях из поэзии А. Ахматовой:

И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет —

'идут живые с мертвыми, потому что идут дорогой славы, а для славы мертвых нет';

Годовщину последнюю празднуй —
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы — той алмазной —
Повторяется снежная ночь —

'годовщину последнюю празднуй, потому что надо понять, что сегодня нашей первой зимы повторяется снежная ночь';

Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча, —
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу —

'вспыхнул над молом первый маяк, и это было поводом того, что заплакал моряк'.

Остановимся несколько подробнее на бессоюзных сложных предложениях с объяснительными отношениями. При объяснительных отношениях вторая предикативная конструкция сложного предложения толкует слово или словосочетание первой части, ср.: *Погода у нас п л о х а я: идет нудный дождь.* В разговорной речи даваемое толкование предсказывается семантикой толкуемого компонента; объяснительная часть уточняет, конкретизирует значение толкуемого слова или словосочетания, что и создает необходимую для разговорной речи легкость осмысления объяснительных отношений. В поэтических стихотворных текстах обычны такие толкования, которые никак не прогнозируются словарной семантикой толкуемого слова, для читателя (слушателя) это толкование может быть весьма неожиданным, обнаружить его без интонации двоеточия не всегда возможно, ср.:

И печальна так и хороша
Темная звериная душа:
Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить,
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым

(*Мандельштам*)

В этом бессоюзном сложном предложении поэт явно предлагает свое толкование оценочных прилагательных *печальный* и *хороший* по отношению к душе зверя, причем это толкование противопоставляется обыденному: нежелание научить и неумение говорить характеризуются в повседневной жизни как плохие. И поэтому только двоеточие автора позволяет воспринять данное предложение как бессоюзное сложное с объяснительными отношениями (при точке или

занятой объяснительные отношения осмыслить было бы нельзя). Еще примеры:

Но близится конец моей гордыни:
Как той, другой — страдалице Марине,
Придется мне напиться пустотой

(*Ахматова*) —

конец гордыни поэтически толкуется как необходимость напиться пустотой;

Нет ни в чем вам благодати,
С счастием у вас разлад:
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад

(*Пушкин*)

Бессоюзные сложные предложения с неожиданными смысловыми отношениями между предикативными конструкциями — настолько сильный и интересный прием поэтической речи, что нередки стихотворения, которые в синтаксическом плане полностью или почти полностью построены на бессоюзной связи:

Не колесо громовое —
Взглядами перекинулись двое.
Не Вавилон обрушен —
Силою передались души.
Не ураган на Тихом —
Стрелами перекинулись скифы;

(*М. Цветаева*)

На меня нацелилась груша да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет меня без промаха.
Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, —
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?
С цвету ли, с размаха ли бьет воздушно-целыми
в воздух, убиваемый кистенями белыми.
И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется — смешана, обрывчива

(*Мандельштам*)

К Смирдину как ни зайдешь —
Ничего не купишь:
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь

(*Пушкин*)

Почему же поэтическая речь, которая по своей природе является речью, требующей тщательнейшей художественной обработки и потому в принципе исключающая всякую спонтанность, явным и неслучайным образом сближается со спонтанной разговорной речью вообще и в области бессоюзного сложного предложения, в частности? Почему сходятся противоположности? Ответ на этот вопрос, как

кажется, следует искать именно в спонтанности разговорной речи, в неосознанности носителями языка ее форм. Эта неосознанность форм разговорной речи важна для стихотворного поэтического творчества по следующим причинам: с одной стороны, творчески освоенные в поэтической речи разговорные формы воспринимаются читателем, по причине их неосознанности в разговорной речи, как новации, заставляющие обратить на себя внимание, а для поэтической речи с ее повышенным вниманием к плану выражения, это всегда важно; с другой стороны, эти формы легко понимаются читателем и не производят впечатления нетерпимых нарушений языковых норм, поскольку основываются на разговорной системе самих читателей. Вполне понятно, что поэт может стремиться не к творческому освоению неосознанных читателем разговорных форм, а к созданию своих собственных форм. Но в этом случае всегда есть опасность быть непонятым. Творческое же использование форм разговорной речи если и не снимает такую опасность, то во всяком случае существенно уменьшает ее размеры.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

*

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В ОЦЕНКЕ Е. Ф. КАРСКОГО

М. Г. Булахов

Академик Евфимий Федорович Карский (1861—1931), под влиянием концепции которого сформировались лингвистические взгляды академика В. И. Борковского, был одним из видных представителей сравнительно-исторической филологии в конце XIX—первой трети XX в. Занимался ли Карский вопросами языка, или историей литературы, или этнографией, он всегда обращался к главному источнику, определяющему язык и стиль идеи и образы литературных произведений, — устному народному творчеству и народной речи. Не случайно и не эпизодически, а постоянно и систематически Карский проводил сравнительно-исторический анализ письменных памятников и этим достигал большой убедительности своих научных выводов. Данным методом он успешно пользовался при изучении старославянских, древнерусских, старобелорусских и староукраинских памятников. В своих многочисленных статьях (их насчитывается более 700), очерках и монографиях, особенно в шеститомном исследовании «Белорусы» (1903—1922), Карский рассматривал язык, стилевые и художественные особенности памятников как явления общих исторических тенденций и процессов (см., например, его работы о древнерусских летописях, о Русской Правде, о текстах псалтыри, евангелия, деловых документов). Во всех случаях ученого интересовал вопрос об отношении тех или иных черт памятника к народным произведениям и народному языку. В этом плане Карский исследовал и самое выдающееся литературное произведение Киевской Руси — «Слово о полку Игореве».

Еще в XIX в. филологи и писатели обратили внимание на тесную связь литературной формы, образов и языка «Слова о полку Игореве» с восточнославянским фольклором древнего периода и позднейшего времени. Эту связь отчетливо чувствовали Н. М. Карамзин, державший в руках список «Слова», обнаруженный в конце XVIII в., А. С. Пушкин, глубоко веривший в древность и подлинность памятника, М. А. Максимович, впервые приведший яркие параллели к образам и выражениям «Слова» из русского и украинского фольклора [1]

[1] В 1835 г. М. А. Максимович прочитал лекцию о «Слове» (как часть курса истории русской литературы), в которой подчеркивал сходство элементов «Слова»

и назвавший это произведение «лебединой песнью древней Руси» Д. Д. Минаев, переложивший «Слово» в стиле и форме народных песен, А. Н. Майков, тоже переложивший «Слово» под определенным влиянием русского народного творчества, А. А. Потебня, писавший, что мы не знаем другого древнерусского произведения, которое было бы так сильно пропитано народно-поэтическими элементами, и проиллюстрировавший это мнение конкретными примерами из славянской народной поэзии, особенно из украинской и русской [2]; в 80-е годы XIX в. этот подход в изучении «Слова» был применен Е. В. Барсовым [3]. Е. Ф. Карский, характеризуя древнерусскую поэзию, находит в ней отражение языческой и христианской мифологии, определенные бытовые и воинские черты.

Изучая исторические традиции устного поэтического творчества восточнославянских народов, Е. Ф. Карский затрагивает вопросы содержания и образной системы «Слова о полку Игореве». Его наблюдения сконцентрированы в первом выпуске 3-го тома «Белорусов». В разделе «Культурное состояние, достигнутое русскими славянами в прарусскую эпоху» Карский вслед за прежними исследователями славянских древностей, обычаев и верований (см., например: *Квашнин Н. Д.* Очерки славянской мифологии. — Беседа. М., 1972, Кн. IV, *Фаминицын А. С.* Божества древних славян. СПб., 1884. Вып. I, и другие авторы) рассматривает встречающиеся в «Слове» мифологические названия: *Сварог*, *Дажьбог*, *Хорс*, *Стрибог* и др. (см.: Белорусы. М., 1916, т. 3, вып. I, с. 33—38).

Далее Карский обращает внимание на отражение в устном народном творчестве и письменных памятниках восточных славян верований в растительный мир: «Растительность, по первобытному представлению, принимает непосредственное участие в жизни людей: „шепчить трава жалощами, а древо съ тугою къ земли приклонилось“, — говорит певец „Слова о полку Игореве“, применяясь к народному пониманию. Почитание растительности простиралось до обожания ее, соединялось с поклонением ей. . .» (с. 39).

Одним из проявлений мифологических взглядов древних славян Карский, как и другие этнографы, считал веру превращения людей в животных, растения и т. д. «Особенно замечательно обращение в волков — волколаки. Поверье относительно их до сих пор живет в народе, например у малорусов и белорусов; да и старинные памятники относительно их представляют свидетельства. Особенно замечательно такое свидетельство, как в „Слове о полку Игореве“ про Всеслава Полоцкого. . .» (с. 43).

с южнорусским и украинским фольклором; см. также его печатные работы: О народной исторической поэзии в древней Руси (1845); Песнь о полку Игореве, сложенная в конце XII века на древнем русском языке (1837); Украинские народные песни (1834); Малороссийские песни (1827); Филологические письма к М. П. Погодину (1856); Сборник украинских песен (1849).

[2] См. издание «Слова» (с комментариями), осуществленное А. А. Потебней в 1878 г. (переизд. в 1914 г.).

[3] См. трехтомную монографию Е. В. Барсова «Слово о полку Игореве как памятник Киевской дружинной Руси» (1887—1889).

В названном разделе книги Карский говорит о значительном распространении в древней Руси «устных произведений», которые создавались как в высших слоях народа, т. е. в княжеской, боярской и дружинной среде, так и народными певцами. «При княжеском дворе могли быть свои и странствующие певцы, которые применительно к разным случаям слагали свои песни. Последние также переходили в народ, усваивались им, хотя иногда и в измененной форме, становясь общим достоянием. Древние письменные памятники, например, „Слово о полку Игореве", древние летописи сохранили даже имена некоторых из таких певцов, например, Бояна, запевы которого и припевы приводятся в „Слове", прегордого Фили, который любил выражаться меткими изречениями. . .» (с. 46).

По мнению Карского, Боян, упоминаемый в «Слове о полку Игореве», — это «княжеский певец»[4], аналогией которому в русских старинах (т. е. былинах), является, в частности, Добрыня. Карский обращает внимание и на то, что в «Слове о полку Игореве» имеются непосредственные указания на странствующих исполнителей устных произведений: «Интересное свидетельство о международных певцах военных событий имеем в конце „Слова о полку Игореве". Когда Игорь освободился из плена, то этому радовались не только русские, но и „дѣвицы поютъ на Дунаи. Вьются голоси чрез море до Киева". Или в том же „Слове" сказано про Святослава: „Ту нѣмци и венедеци, ту греци и мордва поють славу Святославлю, кають князя Игоря, иже погрузи жир во дне Каялы рѣки половецкія"». Трудно сказать, насколько это положение Карского о странствующих народных певцах верно: в «Слове» по этому поводу прямо не говорится ничего; здесь возможны и иные толкования приведенных мест памятника. «Таковы были певцы, слагавшие песни среди простого народа и высшего общества. Их песни и музыка, а также пляски воспринимались массой и передавались от поколения к поколению, пока не были закреплены при посредстве письма» (с. 47).

При анализе жанровых различий произведений устного творчества Карский указывает на то, что в древней Руси наряду с песней существовали погребальные причитания, частично сохранившиеся в текстах летописей и художественных произведений. Карский говорит, что «упоминание подобных похоронных причитаний имеется и в «Слове о полку Игореве»: «жены рускія въсплакашась аркучи: уже намъ своихъ малыхъ ладъ ни мыслію смыслити, ни думою сдумати» и т. д. Плач Ярославны образчик заунывной песни» (с. 48).

Значительное место Карский отводит рассмотрению истоков художественно-изобразительных средств в белорусской народной поэзии. Он находит, что постоянные эпитеты (*гай зелены, зелена дуброва, зеленое вино, широкое поле, буйные ветры, синее море, цёмная ночка, цёмная туча, цёмный лес*), тавтологические выражения (*думаць думу, горе гараваць, мост мосциць, гаць гациць, век векаваць,*

[4] Данное мнение Е. Ф. Карского не является новым в науке, его высказывали в XIX—XX вв. и другие исследователи; в современной литературе о «Слове» можно найти самые разнообразные гипотезы об авторе.

суды судзиць), простые и отрицательные сравнения (*як чорные вороночки; да ни сон мою головоньку спаць клониць, то братец да сестру с двора долов гонить*), параллелизмы (*у саду береза коренистая, у мене свекрова норовистая*), выражения с символическим значением (*Куковала зязюлька ў садочку, Прилажыўшы галоўку к листочку — Заплакала Ганулька* и т. д.) имеют прямые и типологические соответствия в «Слове о полку Игореве», великорусском и украинском фольклоре. Из этого Карский заключает, что «весь запас устной народной поэзии, развившейся в течение общеславянской и затем общерусской жизни, становится достоянием белорусской народности» (с. 55), причем «белорусская народная поэзия. . . сохранила больше следов древности и свежести непосредственного чувства и первобытного миросозерцания» (Там же).

Таким образом, Карский ввел в научный оборот ряд новых фактов, подтверждающих органическую связь «Слова о полку Игореве» с художественной системой фольклорных произведений, принадлежащих трем братским народам; важно то, что он, как прекрасный знаток всех жанров народного творчества, устанавливает историческую соотнесенность с ним собственно литературных произведений. Здесь особо необходимо указать на приоритет Карского в использовании оригинального творчества белорусского народа при освещении данной проблемы. Следуя примеру Карского, некоторые современные филологи вновь обращаются к белорусскому фольклору для выяснения генезиса языковой, стилистической и художественной ткани величайшего литературного памятника древней Руси [5]. Что касается отношения «Слова» к русским и украинским народно-поэтическим произведениям, то этот вопрос широко и весьма убедительно освещен в ряде фундаментальных трудов — А. С. Орлова, Н. К. Гудзия, В. Н. Перетца, В. В. Ржиги, В. П. Адриановой-Перетц, Д. С. Лихачева и других видных филологов.

Е. Ф. Карский проявлял живой интерес также к переводам «Слова о полку Игореве» на современные языки, в частности на белорусский язык. Когда Янка Купала обратился к нему с просьбой оценить его стихотворный перевод «Слова», Карский отозвался следующим образом: «Многоуважаемый Иван Доминикович! Ваш стихотворный перевод «Сл(ова) о п(олку) И(гореве)» вышел прекрасным: везде видно понимание старого текста и заметно художественное чутье, не говоря уже о легком стихе, соответствующем содержанию картины. В Вашей обработке белорусский язык оказался на высоте. Мне кажется только, что напрасно Вы избегаете перифмованных стихов. Если бы Вы их не боялись, не пришлось бы обращаться к многим ассонансам (созвучиям), которые рифм не составляют. Но это пустяки. Для примечаний в отдельном издании для Вас достаточно одного Е. В. Барсова: нет ли его в университетской библиотеке? Имейте в виду, что книга Барсова — оттиск из Чтений в Московском обществе истории и древностей российских, печаталась в 80-х годах

[5] См., например: *Мочульский В. Ф.* «Слово о полку Игореве» и белорусское устно-поэтическое творчество. — Вестн. Моск. ун-та. Филология, журналистика, 1962, № 2; 1965, № 1; 1967, № 6; 1969, № 4.

XIX ст. . . Ваш перевод я дал для просмотра и специалисту по «Сл(ову) о п(олку) И(гореве)» академику В. Н. Перетцу; он тоже согласен со мной относительно его достоинств. Желаю Вам всего наилучшего. Преданный Вам Е. Карский» (Письмо от 16 января 1922 г.). Из этого отзыва видно, что Е. Ф. Карский имел собственную точку зрения не только о купаловском переводе, но и о самом «Слове», которое относил к произведениям, написанным «нерифмованными стихами», что важно для трактовки жанра «Слова»: исследователи и переводчики «Слова» не пришли к единому мнению о жанре «Слова», считая его то песней, то былиной, то повестью, то ораторской речью.

ПЕРВАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ РИТОРИКА НАЧАЛА XVIII В.

В. П. Вомперский

В 1710 г. в Санкт-Петербурге по распоряжению Петра I в воспоминание побед Александра Невского над шведами в 1240 г. закладывается Александро-Невский монастырь, а в 1721 г. в нем учреждается школа, в которой молодых людей начали обучать грамоте, грамматике, риторике, пиитике, латинскому и греческому языкам, логике, арифметике, геометрии. Но еще до официального открытия школы для целей самообразования и просвещения в монастыре стали создаваться учебные руководства. К числу их относится и «Риторика» Георгия Даниловского — первая риторика, написанная в Петербурге не позднее 1720 г.

Георгий Даниловский, автор первой петербургской риторики начала XVIII в., получил образование в Москве, в Славяно-греко-латинской академии. В дальнейшем его жизнь протекала в Петербурге и в Новгороде. В Петербурге он был иеромонахом Александро-Невского монастыря и преподавал там риторику, рукописный курс которой он посвятил Феодосию Яновскому — настоятелю монастыря [1].

В жизни Георгия Даниловского Феодосий Яновский сыграл заметную роль. Он был образованным, просвещенным человеком, владельцем одной из лучших в начале XVIII в. частных библиотек [2]. После учреждения Синода Феодосий Яновский стал фактиче-

---

[1] См. описание «Риторики» Георгия Даниловского в кн.: *Родосский А.* Описание 432-х рукописей, принадлежащих Санктпетербургской духовной академии и составляющих ее первое по времени собрание. СПб., 1894, с. 230. — В настоящее время рукопись «Риторики» Георгия Даниловского находится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, текст которой лег в основу настоящей статьи. Всего в «Риторике» 119 листов и 5 листов введения.

[2] У Феодосия Яновского были две библиотеки: «в архимандрической келье» в Александро-Невском монастыре и домашняя «на Невском подворье, что против Адмиралтейства». В его библиотеках было 408 книг на разных языках,

ским главой русской церкви, хотя был еще жив местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский.

13 декабря 1719 г. в соответствии с указом Петра I была учреждена типография Александро-Невского монастыря. Она печатала книги кириллицей и выпускала учебники, книги для чтения, а также «Духовный регламент».

Особое значение имело печатание букварей. Петр I был обеспокоен тем, что церковнославянские книги, по которым русские люди обучались грамоте, были непонятны «для необыклых», а поэтому он распорядился, чтобы Феофан Прокопович написал букварь. Феофан Прокопович пишет букварь под названием «Первое учение отроком», который по традиции наряду с начальными сведениями о русской азбуке содержит и толкование текстов священного писания. Как отмечает автор в предисловии к букварю, его книга написана не «славенским высоким диалектом», а «просторечием», Феодосий Яновский печатает три издания этого букваря. В издании этого букваря принял участие и Георгий Даниловский.

В 1721 г. Феодосий Яновский был поставлен архиепископом Новгородским. За короткое время он основал 15 школ. Новгородская греко-славянская школа превратилась при нем в крупный центр по подготовке учителей для всей России. Преподаватель этой школы Федор Максимов пишет «Славенскую грамматику». Эту грамматику Феодосий Яновский представляет в Петербург и в 1723 г. она печатается в типографии Александро-Невского монастыря под названием «Грамматіка славенская в кратцѣ собранная в греко-славенской школѣ яже в Великом Новѣ градѣ» [3].

В таком культурном окружении жил и работал автор первой петербургской риторики. Можно добавить к этому, что он написал и напечатал в 1722 г. в типографии Александро-Невского монастыря книгу «Христовы о блаженствах проповѣди толкованіе» с предисловием, в котором он объяснял принципы этого издания [4].

Они заключаются в том, что книги на церковнославянском языке «неудобно разумеваемы» и нуждаются в специальном разъяснении. Это разъяснение должно быть сделано «просторѣчно». Обращаясь к читателям своей книги, он говорит: «Того ради, ежели в сем толкованіи найдется что тебѣ неудобь разумѣваемое, не облѣнися

Здесь были книги юридического содержания (Феодосий Яновский был крупным юристом своего времени), книги по истории, философии, художественная литература. См.: *Луппов С. П.* Книга в России в первой четверти XVIII века. Л., 1973, с. 252—257, 267.

[3] Описание «Грамматики славенской» см.: Описание изданий, напечатанных кириллицей. — 1689. — январь 1725 г./Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.; Л., 1958, с. 261—264. См. также: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. М., 1962, т. 2. Проблемы славянского языкознания, с. 290.

[4] См.: *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862, т. II, с. 551. — Поводом к изданию книги Георгия Даниловского послужило распоряжение Петра I и Синода дать к букварю Феофана Прокоповича «Первое учение отроком» специальное приложение с толкованием конфессиональных текстов.

и не стыдися вопросити вѣдующих, точію на твоем неосновательном мнѣнии не остановися» [5].

«Риторика» Георгия Даниловского построена по принципам традиционной классической риторики. Она делится на пять частей: 1. «Изобретение», 2. «Расположение», 3. «Изглаголание», 4. «Память», 5. «Произношение». Но содержание ее частей переработано автором в расчете на использование «Риторики» применительно к соответствующим социально-речевым и историческим условиям России начала XVIII в.

Каждая из частей содержит дефиниции, которые имеют соответствия с терминологией латинской риторики.

«Изобретение» — это выработка системы аргументации. Поэтому для правильного «изобретения дѣл», т. е. предмета описания, важно выработать систему силлогизмов, необходимых ритору. Издавна на Руси под воздействием Аристотеля говорилось: «Логика, диалектика простые дѣла показует, сирѣчь голые. Риторика же к тѣм дѣлам придает и прибавляет силы словесные, кабы что ризу честну или нѣкую одежю» [6].

Риторика Георгия Даниловского представляет собой руководство для «сочинения великаго слова церковнаго и гражданскаго, такожде и слов политичных, како-то: привѣтствовательных, поздравительных и благодарственных и прочих сим подобных во употреблении добраго гражданства бываемых» (л. 4). Риторика, как видно из предисловия и из дальнейшего ее изложения, предназначалась не только духовным, но и светским деятелям бурной Петровской эпохи, когда острые идейные споры и столкновения по политическим, философским, теологическим вопросам требовали умения отстаивать свои взгляды, логически убедительно строить свое устное или письменное выступление, владеть богатствами родной речи.

Часть риторики «Изобретение» Георгий Даниловский определяет как «вымышление вещей истинных, или истинѣ подобных, яже предложение творят утвержденное» (л. 24).

Чтобы стать ритором, надо много учиться, быть образованным человеком. Для этой цели Георгий Даниловский рекомендует много читать. В образовании ритора большое значение имеет чтение и изучение книг философского, логического, исторического, филологического содержания, произведений художественной литературы. Поэтому в тексте «Риторики» постоянны ссылки на сочинения Марка Фабия Квинтилиана «Об образовании оратора», Марка Тулия Цицерона «Об ораторе», Плиния Младшего «Панегирик императору Траяну» и т. д.

Выражение «истинная вещь» имеет значение «мысль или мысли», оно соответствует материи, теме сообщения, или, как говорит автор, «феме». В слове, церковном и гражданском, — пишет Георгий Даниловский, — «подобает первое изобрѣтати фему, сирѣчь положение, с которым вся части слова соглашатися долженствуют» (л. 1).

[5] Там же, с. 553.

[6] «Риторика» Макария 1617—1619 гг. — ГБЛ, собр. В. М. Ундольского, № 874, л. 2 об.

Далее он описывает систему логической аргументации для выработки тем и силлогизмов. Ритору, говорит автор руководства, необходимо постоянно помнить о том, что тема должна быть убедительно доказана и аргументирована «пристойными и приличными» речевыми средствами. Ритор обязан волю слушателей «к себѣ приклонити-подвигнути же и привести к тому, о немже утверждая намѣрен есть совѣтовать. Сіе бо есть конец всего риторіческаго художества» (л. 2 об.).

В этой же части риторики Георгий Даниловский дает подробное описание функциональных разновидностей литературной речи, «родов речей»: «род показательный», «род разсудительный», «род судебный».

«В роде показательном, — пишет автор, — в немже хвалим кого, или хулим, превеликое дает изобиліе мѣсто окрестностей. Подобает бо разсуждати время прождежития, в житии, и после житія бывшее» (л. 14 об.). «Показательный же род не падлежит до риторов церковных, но приказных» (л. 11 об.).

К «роду показательному» относятся жанры «словеса похвальныя, поносительная, благодарственная, историческая, привѣтственная, плачевная, надгробная, поздравительная, вручительная, празднственная, торжественная и сим подобная» (л. 17).

«В родѣ разсудительном, — отмечает Георгий Даниловский, — или совѣтуем что, или отсовѣтуем. Аще совѣтуем, тогда должно показати двое: первое, яко вещь оная, оже совѣтуем нуждна, или поне зѣло потребна, и прибыльна есть; второе яко оная вещь может быти получена не без нѣкоего удобства» (л. 15). «До рода разсудительнаго падлежат слова совѣтовательная, отсовѣтовательная, увѣщательная, отводительная, паказовательная, обличительная, просительная, молительная, ходатайственная, утѣшительная, завѣщательная, паставительная, и сим подобная» (л. 17).

«Род судебный, — пишет Георгий Даниловский, — относится до обвиненія чего, или защищенія и оправданія», и замечает: «. . . ритору церковному рѣдко употребляемый бывает» (л. 15 об.). «До рода судебнаго относятся: доношенія, обвиненія, защищенія, извиненія, примиренія, челобитья, и жалобы, и сим подобная» (л. 17).

Часть риторики «расположеніе» — «это изобретенных вещей раздѣленіе, еже показует где что имѣет полагатися» (л. 24).

Эта часть руководства посвящена композиции риторических выступлений, описанию их структуры. Выбрав материи («вещи») и силлогизмы («доводы»), ритор, по мысли Георгия Даниловского, должен «имѣти и избраніе в рѣченіях с разсужденіем, то есть иное удерживати, иное же откинути, сіе пространно расположити, иному легко коснутися, иноя вкупѣ сносити» (л. 25).

Автор описывает два типа композиции риторических слов. Первый тип он называет «естественным», т. е. таким, в котором выражается «естество» ритора, «егда оратор церковное или политічное слово разделяет на части, а извѣстныя некоторыя главы предлагает, к ним же все свое слово приводит» (л. 26). Этот же тип композиции у Георгия Даниловского получает и другое название — «плиниановъ», по имени римского ритора Плиния Младшего. Георгий Даниловский

ловский видит образец этой композиции в «Слове похвальном Траяну, цесарю римскому» Плиния Младшего (100 г. н. э.) — в произведении высокого гражданского, общественного звучания, популярном у русских читателей в начале XVIII в., на которое он ссылается [7].

Второй тип композиции риторического выступления Георгий Дашиловский определяет, исходя из принципа последовательности логического следования его частей. Этот тип композиции носит у автора описательное название «от меньших частей части слова восходят к большим». «Сии убо чины или способы части слова пзящныя, — пишет он, — сі есть начало, предложеніе, повѣсть, утвержденіе, отраженіе и заключеніе» (л. 27).

Третья часть «изглаголаніе» содержит учение об отборе слов, о сочетании слов, о тропах и риторических фигурах, учение о качествах речи и о стилях речи.

Георгий Дашиловский исходит из того, что в литературном языке существует «три глаголанія роды» — «вышній», «средній» и «нижній». В своем руководстве он обращает внимание на произведения высокой литературы. Термину «род глаголания» у него соответствует термин «штиль» или «штыль». «Штиль», как он разъясняет, — это или «образ глаголанія» (л. 38), или «образ писанія» (л. 34).

Все произведения высокой литературы, независимо от того, существуют ли они в письменном виде или произносятся ритором, должны обладать общим стилистическим качеством: каждое из произведений литературы «не должно быть постное, сі есть тонкое, краткое, сухое, простое и общенародное, но изобильно текущее, различное, общаго слова вышнее» (л. 32). Всем произведениям высокой литературы, кроме того, должны быть присущи такие стилистические качества, как «чистота», «ясность», «украшение» и «пристойность».

Стилистическим качеством «чистоты», как это понимает Георгий Дашиловский, обладают те произведения литературы, в которых находит отражение грамматически правильная, нормированная литературная речь, стилистически организованная и лишенная устаревших слов и оборотов. «Чисто и исправно будет слово, не имущее погрѣшностей, — пишет он, — тако противу сочиненія грамматическаго синтаксисом именнованнаго, яко и против етимологіи еще и старорѣчія образы нынешними вѣки не употребляемыя отвергающе. Храняще же свойство и сочиненіе собственнаго диалекта, словес же и образов глаголанія различіе имуще» (л. 32 об.).

Для Георгия Дашиловского «ясность» — это стилистическая категория понятности речи. Поэтому в произведениях литературы должны использоваться слова и обороты речи, находящиеся во всеобщем употреблении, которые не вызывают трудностей в их понимании. Эти слова и обороты речи относятся к разряду общеупотребительной лексики.

«Украшеніе» — это придание с помощью тропов и фигур произведениям литературы качеств образности, приятности, занимательно-

[7] См.: Панегирик императору Траяну. — В кн.: Письма Плиния Младшего. М., 1983, с. 212—272.

пости. Тропы и фигуры создают в произведениях литературы «вси глаголанія образы». Украшенная речь противопоставляется «от общія рѣчи и простыя», хотя «вси глаголанія образы, иже различни суть, и вышшіи от рѣчей и словес общенародных и простых» (л. 37 об.).

«Тропы и фігуры по своим мѣстам расположенны, — пишет Георгий Даниловский, — творят слово не точія украшенно и честно, но и различно, обильно, живо, цвѣтуще, крѣпко, возбуждательно, и протчая» (л. 37 об.). Пониманпе тропов и фигур в «Риторике» Георгия Даниловского основано на предшествующей традиции. Троп — это «рѣчь от свойственнаго знаменованія преносит па несвойственное» (л. 34). Среди тропов отмечаются «метафора или преложеніе, аллегоріа — иносказаніе, синекдоха или объятие, метонімія или проименованіе, антономасіа — возименованіе, ипербола — излишнее превозношеніе во умноженіи или во умаленіи, перифрасис — окрестіе или окруженіе» и т. д. (л. 34 об.). Фигуры «в составе словес и в красном, и согласном оных положеніи состоятся, иначе же измѣняется, или престает быть фигура» (л. 35).

Автор приводит большой перечень фигур речи, среди которых «анафора, славенски повтореніе (глосса на полях — возношеніе), антістрофа — возвращеніе (глосса на полях — противовозвращеніе), синонима — тождеименитство, градацыа — поступленіе, епитетон — приложеніе, компар — уравненіе, ироніа — глумпость или насмѣваніе, інверсіс — навращеніе, парадокс — нечаянное и чюдесное сказаніе, плеонасмус — словес преизлишество» и т. д. (л. 35—37).

Стилистическое качество «пристойности» произведений литературы — это соответствие «речений» «вещам», теме повествования, «роду глаголанія, нижнему и среднему». Каждое «реченіе», которое ритор предполагает употребить, должно обладать стилистическим качеством «пристойности» «в словѣ или в казаніи».

Часть риторики «память», запоминание — это «крѣпкое в мысль вещей и словес восприятіе, и разположеніе» (л. 42).

И, наконец, заключительная часть риторики — «произглашеніе, или изрѣчение вѣтійственное». «Произглашеніе, — пишет Георгий Даниловский, — есть умѣреніе гласа, и двпженія тѣлеснаго дѣйствіе» (л. 42). Он пишет о том, какие существуют правила для произнесения публичных слов и как при этом должен держаться ритор, говорит о роли и значении кинетики в публичном выступлении и дает советы оратору, как нужно держаться на кафедре. Вот несколько его рекомендаций: «Ритор церковный в обычное время да произносит гласом, и действием поважным, чистым, различным и живость пѣкую показующим, явственным. И вещем, о них же глаголет приличным, кромѣ всякія шутовства и смехотворцев легкости. И ничто же кроме гласа от друженія беседы да отменяет елико возможно. От кашленія же, харканія, и прочіих неприличных действ да воздержится» (л. 34). «Чесого требует патура от части тѣла?» — спрашивает Георгий Даниловский и отвечает: «Персей крѣпких, громогласія, языка свободнаго, устен и всего тѣла пріустроенія» (л. 43).

Георгий Даниловский создает свою «Риторику» в Петровскую эпоху, когда живая речь активно вторгается в литературный язык,

во все сферы социальной и культурной жизни. Именно в это время вопросы речевой культуры, описание стилей литературного языка и их языковых средств становятся предметом пристального внимания общества. А риторики, несмотря на их гомилетическую направленность, осмысливаются как руководства по общей теории словесности. Этим обстоятельством объясняется то, что «Риторика» Георгия Даниловского применяет традиционное учение о трех стилях для характеристики стилей литературного языка, содержит сведения о гражданском, «политичном» красноречии, описывает функциональные разновидности литературной речи — «роды речей», обращая особое внимание на деловую речь. «Риторика» Георгия Даниловского является важным источником сведений по истории русского литературного языка и русской литературы начала XVIII в.

«РОССИЙСКАЯ ГРАММАТИКА» А. А. БАРСОВА КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ ОБ УДАРЕНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

В. Л. Воронцова

В изучении русского литературного ударения период XVIII века (нового времени) представляет значительные трудности из-за недостатка источников, на которые можно было бы опереться. Известно, что с введением гражданского шрифта для книг светского содержания обозначение знаков ударения, как правило, прекращается. В словарях ударение, если и обозначается, то обычно в исходной форме [1]. Единственным источником для изучения ударения этого периода становятся стихотворные произведения — со времени закрепления силлабо-тонического принципа построения стиха, т. е. начиная с Тредиаковского и Ломоносова. Материал этот, однако, при всей его ценности, часто бывает недостаточным для тех или иных наблюдений из-за неодинаковой представленности в нем разных категорий слов. Используя материалы поэзии как источник для изучения ударения, приходится считаться и с существованием некоторых поэтических акцентных традиций, что тоже осложняет задачу.

Сведения об ударении слов и форм, содержащиеся в «Российской грамматике» Барсова, представляют большую ценность, поскольку помогают в какой-то степени объективировать картину акцентных отношений, которая сложилась на основании данных поэзии [2].

---

[1] Исключение представляет «Словарь Академии Российской» (1789—1794), но это уже конец XVIII в.

[2] Попытка представить и проанализировать эти данные, собранные из произведений определенного круга авторов и содержащиеся в Картотеке по современному русскому ударению Ин-та русского языка АН СССР, представлена в нашей книге «Русское литературное ударение XVIII—XX вв. Формы словоизменения» (М.: Наука, 1979).

Раздел «О словоударении» в «Российской грамматике» Барсова краток и содержит описание только всеобщих, по выражению автора, правил. Дать подробные правила ему вообще не представляется возможным. «Показанные пред сим правила, — сказано в разделе «О словоударении», — суть только всеобщие; особенных же и подробных правил о том, на который точно склад в каждом слове ударение должно сделать в выговоре, без указания надстрочными знаками, . . .понынѣ из российских грамматиков никем не предано по причине великих, и может быть, непреодолимых трудностей» [3].

Для характеристики ударения второй половины XVIII в. существенны, конечно, и некоторые из этих «всеобщих» правил, но главную ценность представляют примеры, иллюстрирующие эти правила (а также все подробно разработанные правила образования форм — именных и глагольных), которые снабжаются знаком ударения. На основании этих данных можно представить существовавшие в рассматриваемый период акцентные типы (в именном и глагольном ударении), выявить круг слов, имевших тот или иной тип ударения, а также какие-то особенности в ударении отдельных лексем, в частности существование вариантных ударений. Последнее очень важно, поскольку может помочь определить начало некоторых акцентных процессов, развитие которых приходится на более поздние временны́е периоды.

В предлагаемой статье мы рассмотрим с этой точки зрения только некоторые группы имен существительных, имея в виду главным образом парадигматическое ударение. Но прежде хотелось бы показать общую нормативную установку автора, позиции, с которых рекомендуются те или иные ударения. Они выражены Барсовым в том же разделе «О словоударении» совершенно четко: образцовой признается церковно-книжная акцентуация. «К правильному произношению слов, — пишет автор грамматики, — в рассуждении ударения сверх предложенных правил и упомянутых примеров служит внимательное и твердое чтение церковных книг по силам в них изображаемым; также примечание долгих слогов в российских стихах, искусными писателями правильно сочиненных, и напоследок справка с лексиконами или словарями российскими, если в которых силы над словами напечатаны. . . »[4].

Приведенное высказывание, заметим в скобках, совершенно определенно свидетельствует о роли церковных книг в складывании акцентных норм русского литературного языка. Со временем эти нормы, как известно, сильно преобразуются под влиянием живой русской языковой стихии, массы заимствований, для которых часто и нет аналога в нормах церковно-книжного ударения. Некоторые же категории слов, особенно устойчиво связанные в своем употреблении с книжными сферами речи, и до сих пор несут этот «акцентный заряд»

---

[3] Цит. по кн.: Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. Изд. МГУ, 1981, с. 80. — Цитаты оформляются в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации.

[4] Там же, с. 82.

книжности. Ср. употребление с ударением на теме глаголов типа *определи́ть—определи́т* (но *дели́ть—де́лит*), *благодари́ть—благодари́т* (но *дари́ть—да́рит*), ударение страдательных причастий от глаголов того же типа: *осаждённый* (но *поса́женный*), *осуждённый* (но *рассу́женный*), *возбуждённый* (но *разбу́женный*) и др. Связь, установившаяся в традиции, ударения на теме с высокой книжной стилистической окраской глагола определяет возможность и так называемого «обратного» акцентного развития, т. е. появление ударения на теме в формах спряжения у глаголов на *-ить*, исконно такого ударения не имевших: *вкуси́ть—вкуси́т*, *пробуди́ть—пробуди́т*, *умоли́ть—умоли́т* и др.

В грамматике не отрицается, однако, возможности отступлений от церковно-книжных образцов в том, видимо, случае, если то или иное ударение имеет значительное распространение: «. . .вместо *во́здух*, мнится, нельзя уже ныне сказать *возду́х* по церковному; напротив того вместо *сии́*, усилившегося примером первенствующего в российских стихотворцах г. Ломоносова, кажется, и в стихах можно еще, а кроме стихов и должно употреблять правильное *си́и*» [5]. В большинстве же случаев подобные отступления квалифицируются как ошибочные, неправильные. В числе таких неправильностей называются ударения: *должны́* и *должно́* вместо *до́лжны* и *до́лжно*; также *страны́*, *се́стры* (им. мн. ч. — *В. В.*), *было́*, *были́*, *множе́ственное*, *обще́ственное*, *римля́не*, *россия́не*, *Гекто́р* вместо *страны́*, *сестры́*, *бы́ло*, *бы́ли*, *мно́жественное*, *о́бщественное*, *ри́мляне*, *росси́яне*, *Ге́ктор* [6]. Появление приведенных неправильных ударений объясняется автором грамматики влиянием польского по большей части и вообще чужестранного или безграмотного и низкого произношения. На самом деле, как мы теперь знаем, большая часть ошибок, здесь приведенных, не было случайностью: появление их свидетельствовало о начале определенных акцентных процессов, охвативших в дальнейшем многие десятки слов и приведших к перестройке целых звеньев акцентной системы.

Обратимся к конкретному материалу — ударению в словоизменительных формах имен существительных. Из опубликованных работ, анализирующих материал в историческом аспекте, известно, что изменение ударения в парадигмах склонения имен существительных, которое наблюдается на всем протяжении развития русского литературного языка, подчинено общей тенденции: развитию дифференцирующей функции ударения, усилению его фонологической значимости в грамматике [7]. Ударение все шире используется как средство различения отдельных грамматических форм в парадигмах единственного и множественного числа (ср. современное *до́ма* и *дома́*, *страны́* и *страны́*, *пра́ва* и *права́* и т. д.), так и для различения всей

---

[5] Там же, с. 82.
[6] Там же.
[7] *Колесов В. В.* История русского ударения. Именная акцентуация в древнерусском языке. Л., 1972; *Хазагеров Т. Г.* Развитие типов ударения в системе русского именного склонения. М., 1973; *Воронцова В. Л.* Указ. соч. и др.

системы форм единственного и множественного числа: *дом, до́ма — мн. ч. дома́, домо́в; страна́, страны́ — мн. ч. стра́ны, стра́нам; пра́во, пра́ва* — мн. ч. *права́, права́м*, при этом частные акцентные оппозиции (внутри одной из подпарадигм) ликвидируются. Данное направление акцентной перестройки «открывали» имена существительные ср. рода, в кругу которых в рассматриваемый период вполне устойчивы типы ударения с четкой акцентно-числовой оппозицией: *мо́ре, мо́ря*, мн. ч. *моря́, море́й; лицо́, лица́*, мн. ч. *ли́ца, ли́цам*. Колебания ударения представлены у незначительного числа слов. Имена существительные женского рода на *-а* и имена существительные мужского рода на твердый согласный в период со второй половины XVIII в. и до наших дней активно развивают подобную противопоставленность. В кругу имен существительных женского рода на *-а* последовательно формируется акцентный тип с четким противопоставлением по ударению форм ед. и мн. числа, ср. современное *игра́, игры́*, мн. ч. *и́гры, и́грам*. В этот процесс втягиваются имена существительные с традиционной подвижностью, сохранившейся у небольшого числа слов и до сегодняшнего дня (*голова́, голо́вы*, при вин. *го́лову*, мн. ч. *го́ловы, голова́м*), и имена существительные с традиционным окситонированным типом ударения. Изменение акцентуации имен существительных *а*-основ, определяющее вхождение их в так называемый тип новой подвижности, предполагает развитие ударения на флексии в форме ед. вин. у подвижно-ударяемых имен и развитие у них же ударения на основе в косвенных падежах мн. ч. (ср. *игла́, иглы́, и́глу*, мн. ч. *и́глы, игла́м* и современное *игла́, иглы́, иглу́*, мн. ч. *и́глы, и́глам*) и развитие ударения на основе во всех падежных формах мн. числа у имен окситонированного типа (ср. *сестра́, сестры́*, мн. ч. *сестры́, сестра́м* и современное *сестра́, сестры́*, мн. ч. *сёстры, сёстрам*).

Особой активностью отличается формирование типа новой подвижности в кругу имен существительных муж. р. — при флексии *-ы́* (*-и́*) в им. мн. (*дар, да́ра*, мн. ч. *дары́, дара́м*) и особенно при флексии *-а́*(*-я́*) (*го́род, го́рода*, мн. ч. *города́, городо́в*). Под этот тип подвижности в процессе развития литературного языка подводится ряд слов с традиционной подвижностью и неполной акцентной противопоставленностью форм ед. и мн. ч.: *век—ве́ки, века́м*; *дом—до́мы, домо́в* (в современном языке этот тип остается на положении «реликтового») и переводится значительное число слов с ударением на основе (в значительной степени заимствования).

Какой же этап акцентной перестройки, касающейся названных групп слов, зафиксирован в «Российской грамматике» Барсова?

Как и следовало ожидать, имена существительные ср. рода не представляют каких-либо значительных особенностей в своем ударении. Ударение здесь устойчиво и вполне, можно сказать, современно: имена существительные с ударением на основе в исходной форме имеют в формах мн. числа ударение на флексии: *де́ло—дела́, ме́сто—места́, се́рдце—сердца́, сло́во—слова́, те́ло—тела́*; имена с ударением на флексии — соответственно — ударение на основе: *кольцо́—ко́льца, лицо́—ли́ца, колесо́—коле́са* и т. д. При слове *мясо* приводится

как вполне закономерная форма мн. числа с закономерным же ударением: *мяса́*. Передвижение ударения не отмечается (сравнительно с современной акцентуацией) только в слове *лето*, ввиду чего формы род. ед. и им. мн. ч. здесь не расходятся. Автор снабжает этот факт таким комментарием: «*Лета́* — малоросспйское, а *ле́ты*, *ви́ны*, *сте́клы* и тому подобное и совсем испорченное, однако ж в просторечии употребительно» [8].

Имена существительные жен. рода на *-а*. Имеющийся в грамматике материал фиксирует определенный этап в формировании типа новой подвижности, о чем говорилось выше. Представлен традиционный подвижный тип: *вода́*, *воды́*, *во́ду*, мн. ч. *во́ды*, *водам́*, к которому могут быть отнесены из числа слов, упомянутых в грамматике, и *душа*, *земля*, *игла* и др., позднее этот тип ударения не сохранившие. Представлен традиционный окситонированный тип (с постоянным флективным ударением): *беда́*, *беды́*, мн. ч. *беды́*, *беда́м*. К нему принадлежат из числа называемых в грамматике и слова *сестра*, *слуга*, *судья*, *струя*. Об идущем процессе переакцентировки форм в направлении формирования нового типа подвижности свидетельствует перемещение ударения на основу в форме им. падежа у слов, не характеризующихся традиционной подвижностью. Так, в грамматике отмечается, например, *метлы́* и *ме́тлы* (мо́тлы) в им. (и вин.) при флективном ударении в других формах: *метла́м*, *метла́ми*, *метла́х*; *ска́мьи* (при ударении *скамья́м*, *скамья́ми*, *скамья́х*). Напомним, что в числе неправильных, по Барсову, ударений называются ударения *стра́ны* (вместо *страны́*) в им. падеже мн. ч. и *се́стры* (вместо *сестры́*), при этом нигде не говорится об ином ударении в косвенных падежах мн. числа и не приводится соответствующих примеров. Отсюда можно сделать вывод, что изменения в ударении в данной группе слов касались прежде всего им. падежа мн. числа и это было связано с актуальностью частной оппозиции: род. ед.—им. мн. числа.

Имена существительные муж. рода. В этом круге слов представлен подвижный тип ударения с так называемой неполной акцентной противопоставленностью форм ед. и мн. числа, который постепенно в процессе развития литературного языка, как сказано, сливается с другим типом, где акцентная оппозиция охватывает все формы. На положении реликтового, как отмечено, он сохраняется и до нашего времени. В грамматике этот тип включает, естественно, еще достаточно большое число слов: *век—ве́ки*, *веко́в*; *дом—до́мы*, *домо́в*; *бес—бе́си*, *бесо́в*; *дух—ду́хи*, *духо́в* и др. Обширен, однако, и круг слов с полной акцентно-числовой противопоставленностью: *пир—пиры́*, *склад* 'слог'—*склады́*; *долг—долги́*, *слой—слои́*, *чай—чаи́*, *шелк—шелки́* и др. Известно, что «прирост» слов в составе данного акцентного типа связан с активизацией ударной флексии *-а(-я)*. Ударная флексия *-ы* (*-и*) имела значительные ограничения в своем употреблении: она использовалась в кругу односложных слов. Флексия *-а* (*-я*) подобного ограничения не имеет и способна перевести к продуктивному акцентному типу большое число слов. В «Российской грамма-

[8] Там же, с. 123.

тике» Ломоносова приводится только три слова с устойчиво употребительной флексией *-а*: *рог—рога́*, *бок—бока́*, *глаз—глаза́*. Вариативность допускается у слов *лес* (т. е. возможно *ле́сы* и *леса́*), *луг*, *снег*, *струг*, *берег*, *остров*, *колокол*. В грамматике Барсова список слов с вариативными формами значительно шире. Здесь приводятся также, *ле́сы* и *леса́*, *лу́ги* и *луга́*, *сне́ги* и *снега́*, *стру́ги* и *струга́*, *бе́реги* и *берега́*, *о́строва* и *острова́*, *ко́локолы* и *колокола́*, но кроме того — *го́роды* и *города́*, *до́мы* и *дома́*, *ле́кари* и *лекаря́*, *по́воды* и *повода́*, *по́ясы* и *пояса́*, *со́лоды* и *солода́*. Вариативные формы имеют и ряд заимствованных слов: *до́кторы* и *доктора́*, *профе́ссоры* и *профессора́*, *ко́леры* и *колера́*.

Как видим, круг слов, допускающих формы на *-а* (*-я*), достаточно широк, притом что грамматика, как было показано, ориентирована на строгие нормы. Это свидетельствует об очень лояльном отношении к формам на *-а*(*-я*) в образованных кругах общества. Собственно, о том же говорят и более поздние списки слов, допускающих эти формы: списки Востокова, Грота, Чернышева. Более строгая нормативная оценка форм на *-а* (*-я*) относится уже к XX в., точнее — послереволюционному периоду.

Таким образом, акцентный тип с последовательно проведенной акцентно-числовой оппозицией в кругу имен существительных муж. рода, судя, в частности, и по нормативной оценке его в грамматике Барсова, распространялся относительно беспрепятственно [9]. Подобный же тип в кругу имен существительных жен. рода имел явно более ограниченные в этом смысле возможности, судя хотя бы по оценке в грамматике ударений *стра́ны*, *се́стры*.

Показательно, что и в стихотворных материалах второй половины XVIII в. у имен существительных, принадлежавших к окситонированному акцентному типу, в формах именительного падежа последовательно представлено флективное ударение: *беды́*, *вины́*, *вдовы́*, *войны́*, *жены́* и т. д. Это ударение устойчиво удерживается и у поэтов первой половины XIX в., хотя в этот период у некоторых слов появляется и ударение на основе: *вдо́вы*, *же́ны*, *ска́лы*, *слу́ги*, *се́стры*, *су́ды* и др. Замена же флективного ударения на основе в косвенных падежах мн. числа проходит медленнее. В поэтических материалах первой половины XIX в. ударения типа *же́нам*, *же́нами*, *ска́лам*, *ска́лами* отмечены как единичные. Резкий сдвиг в акцентовке этих форм происходит только в начале XX в. В акцентной перестройке названных форм смыкаются и имена окситонированного и подвиж-

[9] В оценке подобных ударений отдельных слов существовали, конечно, и разногласия. Например, Тредиаковский отмечал как неправильное ударение сыны́ у Сумарокова: «Слово *сын* положено ямбом неправо: надо *сы́ны*, а по словенски *сынове*. . .» (см.: *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1938, с. 105). — Сумароков в свою очередь упрекал Ломоносова за ударение *градбв*: «Градо́в ограда сказать неможно. . . Го́род имеет в родительном падеже множественного числа городо́в, а град гра́дов, а не градо́в, для того, что в именительном падеже множественного числа го́род имеет звание города́, а град гра́ды, а не града́ и не гра́ды» (*Сумароков А. П.* Критика на оду. — Полн. собр. соч. М., 1787, ч. X, с. 7).

ного акцентного типа. Движение каждого слова по этому пути очень индивидуально. Можно, однако, отметить, что к 30-м годам нашего века (по данным Толкового словаря русского языка под ред. Д. Н. Ушакова) имена старого окситонированного класса почти полностью изменили ударение, перейдя к типу новой подвижности. Имена существительные с исконной подвижностью сохраняют больше традиционных отступлений.

Мы рассмотрели небольшой фрагмент акцентной системы в ее истории, используя материалы грамматики Барсова, но и этот краткий анализ достаточно хорошо, как нам представляется, показывает, какой ценный материал, относящийся к ударению, содержит грамматика и как обогатилась филологическая наука и в этом отношении с изданием «Российской грамматики» А. А. Барсова.

ВАРЬИРОВАНИЕ В ФОРМУЛАХ РУССКОЙ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ XV—XVII ВВ.

В. Я. Дерягин

Особенность языка актовых текстов (актов в узком смысле этого слова — документов, фиксирующих сделки) состоит в том, что основное их содержание передается формулами.

О начальной истории юридической формулы М. Б. Свердлов пишет: «Простейшие формулы [диспозитивного значения — *ВД*] выделились из потока речи в результате общественной практики как устойчивое обозначение определенных отношений и в сочетании с обрядовыми действиями и послушеством стали обязательной частью сначала словесно-обрядового действия при совершении сделки, а затем письменных актов» [1]. Для периода сложившейся деловой письменности в языковом отношении под ф о р м у л о й целесообразно понимать фразеологизм номинативного или коммуникативного характера, а также словосочетание, синтаксическую конструкцию (модель предложения) с более или менее постоянным лексическим составом. В отдельных случаях формула может состоять из нескольких предложений, связанных между собой синтаксически и по смыслу.

Функциональный характер формулы, т. е. использование ее для передачи определенного юридического содержания или типической ситуации, важной для делового сообщения, вместе с относительной устойчивостью (регламентированностью) ее языкового выражения, воспроизводимостью в текстах определенных видов документов, — все это делает формулу самым ярким и самым существенным призна-

[1] *Свердлов М. Б.* Древнерусский акт X—XIV вв. — В кн.: Вспомогательные исторические дисциплины, VIII. Л.: Наука, 1976, с. 67.

ком деловой речи (делового стиля) во все периоды существования данной функциональной разновидности языка.

Формула — основная единица стилистического анализа делового текста. Применение различных обозначений, особенно в работах по современной деловой речи — штамп, клише, трафарет и т. п. — не меняет дела по существу. Эти поиски термина (как будто не совсем лингвистического) лишь указывают на то обстоятельство, что формула является единицей уровня текста, а не синтаксиса или фразеологии. Вместе с тем, формула, подобно любой другой языковой единице, вполне может быть определена в терминах, применяемых для обозначения единиц других уровней, более низких в иерархии: формула-предложение (причем предложение определенного типа), формула-словосочетание (также определенного типа), фразеологизм.

В качестве обязательных элементов формул деловой речи часто выступают термины или терминологические сочетания, имеющие более или менее определенное юридическое содержание. Кроме юридических терминов в роли опорных элементов формул выступают также слова, ограниченные в употреблении определенной функциональной сферой, имеющие функционально-стилистическую окраску, — термины деловой речи (канцеляризмы, если воспользоваться современным их названием). С развитием права и практики делопроизводства меняется и состав терминологии, и семантика отдельных терминов.

Для истории русской деловой речи большое значение имеет изучение процессов появления, распада и выхода из употребления формул, их индивидуальное и территориальное варьирование, распространение формул и терминов деловой речи в различных видах деловых документов, а для истории русского литературного языка в целом — и за пределами деловой речи. В результате лингвотекстологического анализа должен быть выяснен вопрос о том, какое влияние оказывало применение формул на состав языковых средств деловой речи, на развитие лексики и синтаксиса.

При изучении частноправовых актов историк права стремится к тому, чтобы вывести из отдельных документов общую, идеальную схему: «История вообще потонула бы в „интенсивном и экстенсивном многообразии“ материала, если бы попыталась когда-либо индивидуализировать и отдельно изучать каждую дошедшую в документах до нашего времени сделку и всякое отношение. Все документы, отражающие частные сделки, таковы, что по самому существу своему не подлежат отъединяющему изучению» [2].

При лингвистическом анализе актовых текстов важно устанавливать соответствие между элементами содержания сравниваемых документов и языковыми средствами, служащими для их выражения, необходима индивидуализация показаний конкретных текстов и сопоставительный их анализ; ср. замечание историка: «Индивиду-

---

[2] *Смирнов М. П.* Некоторые замечания о дипломатическом анализе частного документа. — В кн.: Сб. статей, посвященных Александру Сергеевичу Лаппо-Данилевскому. Пг., 1916, с. 25.

альный формуляр, взятый сам по себе, может быть предметом лишь логической критики»[3].

Определенную связь лингвистического анализа с данными дипломатического изучения актов, а также связь истории языка с историей права, историей делопроизводства деловые тексты демонстрируют постоянно. Приведем два примера.

1) Из шести двинских рядных, опубликованных А. А. Шахматовым[4], пять документов содержат клаузулу о возмещении — о штрафе в пользу судьи или судей, который платит сторона, нарушающая условия сделки (ряда). Клаузула отсутствует только в рядной № 68, которая, как указал А. А. Шахматов, и в других отношениях «совершенно оригинально изложена»[5]. Не может вызвать сомнений важность данного условия для контрагентов, значимость его в сделке. За клаузулой закреплено строго определенное место — в самом конце документа, после конечного протокола. Четкость ее юридического содержания привела к выработке регламентированной языковой формы. В четырех документах представлена формула: а хто сиѥ рядъ порушитъ дасть судие три тысѧчи бѣлъ. Ш. 48 (то же: Ш. 77, 86, 88). В одном документе — вариант с заменой одного из членов опорного словосочетания формулы: а хто сеѥ рѧде подвинеть дасть судп гривну золота. Ш. 49.

О чем говорит эта замена, чем она была вызвана? Обратимся к более широкому материалу. Данные новгородских рядных XV в. (может быть, более всего первый пример, в котором пропущен термин ряд) свидетельствуют о важности обоих членов сочетания: А кто сіѧ порушитъ, дастъ князю и владыцѣ десѧть гривенъ золота. Ш., Приложение I. IV (то же: VI, до 1472 г.; ГВНП. 122, 290, ок. 1447 г., Обонежье[6]). Налицо, таким образом, абсолютная устойчивость формулы в рядных XV в. в широкой севернорусской области.

Варианты находим в рядных более ранних. Например, в важском документе XIV в.: А хто наступить на сиі рядъ дастъ князю и посадьнику дватцать гривенъ золота. ГВНП, 279, 1315—1322. (Публикаторы назвали грамоту «мировой», хотя упоминаний о «мире» в ней нет, в формуле диспозитивного значения: *урядилися рядом*; есть в документе *рядци*. Таким образом, это типичная рядная). В псковской рядной XIII в.: А кто сии рядъ переступитъ, Якымъ ли, Тѣшята ли, тотъ дасть 100 грив[енъ] серебра. ГВНП. 331, 1266—1291. В сопоставлении с этими старыми примерами получает объяснение вариант XV в. *кто ряд подвинет*. Очевидно, формула складывалась в самый период появления письменного акта данной разновидности, а возможно — она сложилась еще в дописьменный период истории частных сделок.

---

[3] *Каштанов С. М.* Очерки русской дипломатики. М.: Наука, 1970, с. 53.

[4] *Шахматов А. А.* Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 1903. Ч. 1—2. Далее при цитатах — Ш. и номер документа.

[5] Там же, ч. 1, с. 34.

[6] Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949 (ГВНП).

Историки древнерусского права считают, что заключение «ряда» было наиболее древним на Руси видом оформления сделки вообще: словами *рядъ*, *порядити* (наряду с *докончати*) обозначались разного рода договорные отношения, они применялись в различных соглашениях — договорах о мире, о старейшинстве, о владении городами; с использованием этих терминов оформлялась зависимость от господина (*рядовичи*) [7]. Глагольный член опорного сочетания рассматриваемой формулы называл конкретное действие, связанное по смыслу с тем обрядовым действием, которое сопровождало заключение сделки — историки указывают, например, на обозначение межи укладкой на ней дерна. В семантическом отношении таким образом объяснимы все варианты: *наступить*, *переступить*, *подвинуть*, *порушить* — все они могут быть связаны с нарушением границы владения (межи). Ср. аналогичные формулы древнейших частных актов: А хто на сию землю наступить. . . — в данной Антония Римлянина — ГВНП. 102, ок. 1147; Аже кто вьс[ту]пить на сю грам[от]у. . . — в духовной Климента — ГВНП, 105, ок. 1270; в последнем примере отражается очень рано наметившееся в деловой речи (в правовом словоупотреблении) отождествление названия сделки (обозначения ее основного действия) с названием документа.

Утверждению в формуле слова *порушить*, по-видимому, благоприятствовала способность этого глагола к переносному употреблению, ср. современную семантику литературных глаголов *разрушить*, *нарушить*. Связь языкового оформления документов с обозначением обрядовых действий, конечно, утрачивается к XV в., в словоупотреблении XVI в. лишь изредка можно обнаружить следы этой былой связи, например, в менной: А ся мена неподвижна. СГКЭ-I. 45,1500 [8]; в дельной: а через тот дел нам дрѹгъ на дрѹга не настѹпати. СГКЭ-I. 99 1543; позднее широкое распространение получает формула с глаголом *вступаться*, например, в данной и в купчей: хто в ту деревню учнеть вступатись. . . СГКЭ-I. 147, 1556. Формула в документах XVI—XVII вв. распространена очень широко.

2) Второй пример относится к более позднему времени и представляет явление иной юридической значимости.

С XVI в. бо́льшая часть сделок оформлялась составлением не одного документа, как это было ранее, а двух, или большего числа, если в сделке участвовало большее число сторон. При разделе имущества, заключении договора об аренде, найме и т. п. документ, писанный от своего имени, каждый участник сделки передавал на хранение другой стороне. Правило составления документов от имени разных контрагентов получило в практике делопроизводства терминологическое обозначение *писать* (*написать* и т. п.) *меж собой по противням*. Идентичность документов подтверждалась применением фразеологизма *слово в слово*, применяемого обычно при указании на точность списка.

---

[7] *Свердлов М. Б.* Указ. соч., с. 60—61.

[8] Сборник грамот Коллегии экономии. Пг.—Л., 1922—1929. Т. I—II. (СГК-I, СГКЭ-II).

Следует отметить, что слово *противень* в XVI—XVII вв. употреблялось в русской деловой речи также в значении 'список', например, в москозской грамоте: А прочеть бы есте сю нашу грамоту и списавъ с нѣй противень слово в слово, да тотъ бы есте противень держали у себя, а сю нашу грамоту подлинную отдали назадъ Спиского монастыря игумену. СГКЭ-I, 340, 1593; к концу XVII в. в подобных записях находим только *список слово в слово*. Можно предположить, однако, что возникновение термина *противень* связано все же с обозначением документов, писанных от лица разных сторон — участников сделок договорного типа; значение 'список' у этого слова вторично.

Формула, сложившаяся для передачи содержания записи о составлении двух документов, семантически, как это и обычно в деловой речи, строится по принципу описания конкретных действий, в данном случае — составления одинаковых документов от лица разных участников сделки и передачи их на хранение. Запись отражает ситуацию самого делопроизводства. Основные варианты из двинских документов: А си есмя дельные розписали по противнямъ слово в слово промежу собою. СГКЭ-I. 292, 1586; А сѣ мѣнные писали есмя промежъ собою двѣ по противнемъ слово в слово. СГКЭ-I. 360. 1597; Да в томъ мы промежъ собою и дельные пописали три по противнямъ и розняли по собѣ. СГКЭ-I. 535, 1627; I сему дѣлу написаны заручные три дѣльние по противнем слово в слово, и розняли по собѣ. СГКЭ-II. 62, 1680.

Из важских документов [9]: а *отписи* писаны две по *противням*. ВГ. 2, 1581; мировые писал две по *противням* слово в слово. ВГ.5, 1589; а порядные писаны две по *противнам* слово в слово. ГААО. 975, 1610.

Запись о составлении двух документов не входила в состав тех частей документа, которые передавали основное содержание сделки. Примыкая к конечному протоколу, она, возможно, и составителями документа осознавалась как его часть. На это указывают, например, такие сокращения формулы: И записи есмя меж собя писали слово в слово и розняли по собѣ, диякъ один и послуси одны. СГКЭ-I. 220, 1577; Да в томъ есми меж собя и записи пописали. СКГЭ-I. 492, 1618. Если первый пример можно толковать как случай пропуска термина *по противням*, то во втором случае на составление двух документов указывают лишь сочетание *меж собя* и форма мн. числа *записи*; о близости клаузулы к конечному протоколу говорит и неоднократно встречающееся расширение формулы за счет указания писца и свидетелей; ср. также повтор в подписи дьячка: мировые писаны двѣ по *противням* слово в слово. . . [далее запись о послухах] мировые писал двѣ архангилскои диячек Семеика Тимоѳеев. ВГ. 4, 1588.

Особые обстоятельства — составление документов двумя разными писцами — вызывают значительное расширение текста. Из двух до-

---

[9] *Дерягин В. Я.* Важские грамоты XVI в. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1964, № 3, с. 251—256 (ВГ); Государственный архив Архангельской области (ГААО), фонд 829, оп. 1 (далее при цитатах из документов этого фонда указан лишь номер документа и дата).

кументов, писанных при совершении одной сделки, в один и тот же день:

Мѣнная игумѣну и старцомъ, а другая мѣнная намъ братеникомъ; мы братеники мѣнную писали церковнымъ Заостровскимъ дьячкомъ, а они, игумѣнъ и старцы, другую мѣнную писали своимъ монастырскимъ дьячкомъ; мѣнные писаны по противнемъ, да и розняли по собѣ. СГКЭ-I. 487;

Мѣнная Копстяптину з братьею, а другая мѣнная игумену Кирьяку и братьямъ; мы, игуменъ и братья, менную писали своимъ монастырскимъ дьячкомъ, а они, Копстянтинъ з братьею, другую менную писали своимъ Заостровскимъ дьячкомъ; менные писаны по противпемъ, да и розняли по собѣ. СГКЭ-I. 488, 1618.

Столь многословную запись следует рассматривать не только в связи с особыми обстоятельствами оформления сделки, но и как отражение определенной стилистической тенденции, наблюдаемой в текстах второй половины XVI—первой половины XVII в. В это время в актовых текстах встречаются многочисленные случаи не применявшихся ранее уточнений, тавтологии, смысловых повторов с перефразированием. Объем всего текста и объем отдельных формул расширяется, при этом обычно не вводится никакой новой, важной с содержательной (юридической) стороны информации. Варианты рассматриваемой формулы с такими расширениями:

А мировыѣ писаны двѣ по противнѧм слово в слово игуменѫ Данилѫ ѕ братею мировая а мнѣ Іванѫ Балахнѣ с товарищи дрѫгая. ВГ. 6, 1591; а писаны сп дѣловые записи двѣ слово въ слово да и розняли по собѣ мы старцы Левашѡ да Лаврентѣі вѕяли собѣ ѕапис а мы сябры всѣ вѕяли собѣ ѕапис. ГААО, ф. 57, оп. 2. 85, 1623; а ѕаписи писали двѣ по противнѧм слово въ слово и розняли по собѣ волостным крстьянѡм ѕапис а никольскім крстьянѡм дрѫгая ѕапис дьячек и послѫси одне. ГААО, ф. 191, оп. 3, 38, 1628.

С середины XVII в. формула в ее традиционном виде почти перестает употребляться. Можно предположить, что во второй половине XVII в. забывается первоначальный смысл термина *по противням*. В важском документе находим такой вариант термина: и записи две по сѫпротивнѧм слово в слово. ГААО. 686, 1680. Новый вид формулы связан с распространением в документах различного содержания формулы *в том ему и купчую* (*запись*, *отпись* и т. п.) *дал*. В случае составления двух документов формула расширена:

В томъ мы и мѣновую дали старцу Арсению и старцу Игнатию, а у нихъ такову жъ взяли; дьячек и послуси одне. СГКЭ-I. 615, 1645; да в том я Григореи имъ келарю и казначею на себя и ѕапис дал а от них себѣ такову же вѕялъ. ГААО. 1006, 1653;

Да в томъ мы Еремеи і Копстянтинъ на свою землю к шимъ строителю, келарю, і казначею і всеи братие і мѣнную на свою землю дали, а к себѣ такову жъ взяли. СГКЭ-II. 265, 1692.

Оба приведенных здесь примера показывают, с одной стороны, зависимость отбора и употребления языковых средств от содержания документа, с другой — относительную самостоятельность языковых процессов, происходивших в деловой речи и отразившихся в эволюции текстов деловых документов.

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЧЕК ИЗ ИСТОРИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: РУССКИЕ АКАДЕМИКИ И ИЗДАНИЕ МСТИСЛАВОВА ЕВАНГЕЛИЯ

Л. П. Жуковская

К IX Международному съезду славистов, проходившему в Киеве в сентябре 1983 г., Институт русского языка АН СССР выпустил в свет тиражом 730 экземпляров заказное издание «Апракос Мстислава Великого» [1]. Под этим названием славистика получила изданную кириллицей хранящуюся в Государственном Историческом музее на положении государственного сокровища рукопись рубежа XI—XII вв., известную до того под именем «Мстиславово евангелие».

О Мстиславовом евангелии не скажешь лучше, чем сделал это академик М. П. Алексеев. В 1978 г. он писал в Отделение литературы и языка АН СССР: «Горячо поддерживаю предложение Л. П. Жуковской об издании в издательстве «Наука» «Полного апракоса Мстислава Великого». Я лично считаю такое издание задачей н а ц и о н а л ь н о г о значения и г о с у д а р с т в е н н о й важности (разрядка М. П. Алексеева). В наследии древнерусской письменности нет другого памятника, который нуждался бы в своем скорейшем издании до такой степени, как в этом нуждается «Апракос Мстислава», бесценное сокровище русской культуры, чудом дошедшее до наших дней и до сих пор неизданное. Нашему времени должна принадлежать честь обнародования этого национального достояния, драгоценнейшего кодекса, бесценного для языкознания, истории, культуры русского народа XI—XII веков, ее высокого международного уровня до татаро-монгольского нашествия. Не может быть сомнения в том, что издание этого памятника должно быть осуществлено по возможности близко к подлиннику — кириллицей с надстрочными знаками и сопровождено именно такими комментариями и указателями, какие предлагает включить в издание Л. П. Жуковская. . .

. . .Я хотел бы обратить внимание и на то, что в 1983 г. в г. Киеве состоится IX Международный съезд славистов. Издание Мстиславова евангелия, по кодексу, хранящемуся в ГИМе в Москве, было бы весьма важным подарком ученым 28 стран, которые приедут на этот съезд, и безусловно высоко подняло бы приоритет советского славяноведения».

Это письмо акад. М. П. Алексеева было по существу его славистическим завещанием.

Но вернемся к 90-летней истории внимания (и невнимания) к Мстиславову евангелию отечественной академической науки.

---

[1] Апракос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова / Под ред. Л. П. Жуковской. М.: Наука, 1983.

Академик Е. Ф. Карский первый из лингвистов исследовал этот памятник [2]. В 1895 г. он писал: «Один из самых выдающихся памятников древнерусской письменности, относящийся к началу XII в. (до 1117 г.), — Мстиславово евангелие — до сих пор в отношении филологическом не было исследовано, по крайней мере в печати не появилось о нем статей такого рода. Причиной этого была до последнего времени малая доступность этого памятника для исследователей, так как он хранился в Московском Архангельском соборе. Не могло быть доставлено это евангелие даже во II Отделение Академии наук, хотя в 1858 г. последнее и ходатайствовало об этом у митрополита Филарета. . . В прошлом году Мстиславово евангелие передано на хранение в Патриаршую ризницу в Москве и стало более доступно для исследования. Истекшим летом мы имели возможность ознакомиться с этим памятником. . .»[3] Далее Е. Ф. Карский рассматривает: «Письмо», «Употребление букв для выражения звуков», «Особенности в образовании склоняемых форм». Все это освещено кратко и подкреплено наиболее бросающимися в глаза примерами. В этой работе Карский впервые отметил, что в Мстиславовом евангелии «для обозначения мягкости *н* и *л* употребляется особое начертание этих букв, с присоединением справа в верхней части их значка ˀ (нˀ и лˀ)» [4]. Е. Ф. Карский не определил, что этот добавочный отворотик вправо ставится основным писцом Мстиславова евангелия Алексой на месте этимологических сочетаний согласных с *j* и что тем самым отражено различие в языке писца трех степеней твердости-мягкости согласных звуков: 1) твердых — перед гласными заднего ряда, если эти согласные в праславянскую эпоху не восходили к сочетаниям с *j*; 2) мягких согласных, образовавшихся еще в дописьменную эпоху развития славянских диалектов из сочетаний с *j* или из заднеязычных *к*, *г*, *х* по известным трем палатализациям; 3) полумягких согласных — перед гласными переднего ряда (если эти согласные не были мягкими по происхождению (см. п. 2).

После указанной работы Е. Ф. Карского Мстиславово евангелие явилось объектом изучения П. К. Симони [5]. Значение его работы

---

[2] До Е. Ф. Карского Мстиславово евангелие было описано К. И. Невоструевым, но его труды остались в рукописном виде (хран. в ГБЛ, ф. 193, без номера и ф. 194/М. 9039). Подробнее см.: *Жуковская Л. П.* Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI—XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их. — В кн.: Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология. М.: Наука, 1968, с. 239—241.

[3] *Карский Е. Ф.* Особенности письма и языка Мстиславова евангелия. — В кн.: Русский филологический вестник. Варшава, 1895, т. XXXIV, с. 169—192/ Перепзд. в кн.: *Карский Е. Ф.* Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962, с. 11—26.

[4] Там же, с. 11, 12.

[5] *Симони П.* Мьотиславово евангелие начала XII в. в археологическом и палеографическом отношениях. . . I. Вводная статья. — В кн.: ОЛДП, CXXIX, 1910; II. Снимки. — В кн.: ОЛДП, CXXIII, 1904 (Так!). — К сожалению, этот труд не указан в основной археографической работе: *Протасьева Т. Н.* Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Новоструева). М., 1970, ч. I, с. 42—44. — Здесь же сообщается,

трудно переоценить, но анализа языка и орфографии мы там не найдем.

После Октябрьской революции Мстиславово евангелие вместе с другими рукописями из Рязницы в составе Синодального собрания поступило в 1920 г. в Государственный Исторический музей [6]. Здесь этот памятник хранится как государственное сокровище и не выдается даже тем редким научным работникам, которые могли бы исследовать древнюю рукопись.

Как известно, с зимы 1950—1951 г. наметился особый интерес к изучению языка реально дошедших до нас памятников славянской и древнерусской письменности. Это позволило нам просить академика М. Н. Тихомирова и М. В. Щепкину, руководивших Отделом древних рукописей и старопечатных книг Государственного Исторического музея, о фотографировании Мстиславова евангелия. Разрешение было дано при условии, чтобы фотографирование проводилось без разгибания рукописи и наложения стекла на листы пергамена. Сотрудник географического факультета МГУ Б. Головин осуществил это фотоаппаратом ФЭД с помощью металлической приставки, привинчиваемой к спинке стула (!) и позволявшей фотографировать древний текст, расположенный горизонтально, с необходимой выдержкой. Для читателя 80-х годов это выглядит несколько комически, но более 30 лет назад это было «чудо техники», позволившее получить пленку с ранее недоступного памятника письменности.

В октябре 1954 г. автор этих строк подала директору Института языкознания АН СССР (в котором в 1950 г. были слиты Институт русского языка и Институт языка и мышления) докладную записку «Об издании евангелия, писанного для новгородского князя Мстислава Владимировича в начале XII в. (до 1117 г.)». Здесь называлась сама рукопись Государственного Исторического музея, давалась приведенная выше характеристика ее академиком Е. Ф. Карским, отмечалось, что в настоящее время Мстиславово евангелие продолжает оставаться недоступным для серьезного изучения, так как является уникальным памятником, а также из-за огромной ценности его оклада (греческие эмали VIII—X вв., русские XII в., украшения из драгоценных камней и металлов), вследствие чего оно хранится среди особых государственных сокровищ и тем более недоступно для повседневной работы. Указывалось также, что изучение языка Мстиславова евангелия крайне необходимо и своевременно по соображениям его древности, полноты, значения для истории языка и палеографии, для славяноведения в широком смысле слова. В частности, говорилось, что Мстиславово евангелие представляет

будто бы «Наслав отвозил в XVI в. рукопись в Константинополь для обновления переплета» (с. 42, примеч. 4). В действительности же Наслав делал этот вояж почти на пять столетий ранее — сразу после написания книги, т. е. на рубеже XI—XII вв. или в самом начале XII в., о чем Наслав говорит в своей собственноручной записи. См.: Апракос Мстислава Великого, с. 289, стб. 213а—б и фото: Рис. 4.

[6] См.: *Щепкина М. В.* и *Протасьева Т. Н.* Сокровища древней письменности и старой печати. М., 1958, с. 12.

собой самый древний полный апракос, в котором имеются чтения на все дни года и большой месяцеслов, благодаря чему многие чтения в этом памятнике повторяются по два-три раза. Поскольку же в древних рукописях один и тот же текст редко передается одинаково даже в пределах одной рукописи, изучение Мстиславова евангелия должно быть особенно плодотворным. Мстиславово евангелие является самым старшим из сохранившихся списков той редакции, которая была распространена на Руси до XV в. и представлена многими памятниками (около 60) [7]. Поэтому при лексическом и грамматическом изучении любого другого более позднего списка этой редакции целесообразно производить сравнение именно с Мстиславовым евангелием. Памятник представляет следующую ступень новгородской графики и орнамента по сравнению с древнейшим Остромировым евангелием. Изучение палеографии этого памятника особенно важно в связи с открытием новгородских берестяных грамот XI—XV вв.

В разделе «Состав издания» предполагались такие компоненты: фотомеханическое воспроизведение текста, передача текста набором (. . .«текст должен быть передан буква в букву, строка в строку, столбец в столбец, с соблюдением всех имеющихся в тексте знаков препинания и надстрочных знаков, но с разделением на слова. . . и указанием деления на книги, главы и стихи»), греческий подстрочник, как в изданном А. Х. Востоковым Остромировым евангелии указатель слов и форм, который должен содержать все имеющиеся в памятнике знаменательные и служебные слова с указанием всех случаев их употребления в той или иной грамматической форме и указанием орфографических особенностей их написания в памятнике. При каждом слове в словаре должно помещаться греческое соответствие и в необходимых случаях русский перевод.

В. И. Борковский счел возможным включить эту работу в план Института и сектора диалектологии, но сомневался, справится ли сектор одновременно с двумя работами: первоочередной по подготовке факсимильного издания Остромирова евангелия и этой.

Лишь на 1973—1977 гг. удалось включить в план Института русского языка подготовку издания Мстиславова евангелия с указателем слов и форм. Этому способствовал директор института Ф. П. Филин. Текст памятника первоначально готовился по фотографиям с негатива 1950 г. Лишь для уточнения палеографических данных 4 декабря 1975 г. было получено разрешение дирекции Исторического музея провести сверку с оригиналом. Работа была утверждена к печати решением Ученого совета Института в конце 1977 г.

Выдающийся памятник письменности, так блистательно охарактеризованный академиком М. П. Алексеевым, а также академиком Е. Ф. Карским, издание которого в свое время поддержал В. И. Борковский и способствовали академик М. Н. Тихомиров и Ф. П. Филин, наконец увидело свет. Дальнейшее всестороннее исследование его теперь может осуществляться учеными в разных странах.

---

[7] Впоследствии их было выявлено еще около 100.

ДРЕВНЕЙШАЯ СЛАВЯНСКАЯ РУКОПИСЬ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА

О. А. Князевская

Древнейший славянский список Хроники Георгия Амартола ныне хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Москве (фонд 173, фунд. № 100) [1]. По предшествующему месту хранения рукопись часто называют Троицкой, а на основании предполагаемого написания ее в Твери — Тверской. Как известно, оригинал славянского перевода Хроники Георгия Амартола был создан в одном из византийских монастырей около Константинополя в середине IX в.; в ней излагались события мировой истории от «сотворения мира» до 842 г. Ее создателем был монах Георгий, назвавший себя «грешным» (греч. ἁμαρτολός). Спустя 100 лет рассказ об исторических событиях в мире неизвестным автором был продолжен до 948 года. Эта компиляция и послужила оригиналом для славянского переводчика. Исследователями давно установлено, что это сочинение было одним из самых распространенных исторических сочинений в Древней Руси.

Рукопись, несомненно древнерусская, представляет собой книгу большого формата, размером в лист. В настоящее время в ней содержится 273 листа с древним письмом, из них 271 лист написан на пергамене и два листа — на бумаге. Текст хроники на пергамене занимает двести шестьдесят девять с половиной листов, так как на обороте семнадцатого листа расположены две страничные миниатюры, а оборотная сторона сто пятьдесят второго листа оставлена чистой. Пергаменная часть рукописи написана уставом в два столбца, в большинстве случаев столбцы разлинованы на 28 строк. Рукопись сохранилась до наших дней не полностью, в ней утрачены в начале не менее одного листа и несколько листов в середине кодекса. По неизвестным причинам книга осталась незаконченной; текст хроники обрывается на обороте 265 листа в столбце *г*.

Рукопись Хроники Георгия Амартола относится к числу тех многочисленных памятников славяно-русской письменности, которые не имеют записи писца с точными сведениями о времени и месте написания. В связи с этим время и место написания приходится устанавливать прежде всего по палеографическим данным.

Рассматриваемая рукопись стала известна в науке с начала XIX в., однако особую популярность текст рукописи приобрел после выхода в свет фундаментального издания-исследования В. М. Истрина [2]. Следует заметить, что, несмотря на значительное

---

[1] Библиографические сведения, относящиеся к этому списку рукописи, указаны в кн.: *Вздорнов Г. И.* Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII—начала XV вв. М., 1980, с. 44—53 [18].

[2] *Истрин В. М.* Книги временныя и образныя Георгия Мниха. — В кн.: Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920,

количество трудов [3], посвященных различным аспектам изучения Хроники Георгия Амартола, реальная рукопись № 100 (ГБЛ ф. 173 фунд.) до сих пор не была предметом палеографического и кодикологического рассмотрения. В основном исследователи базировались на высказывании В. М. Истрина: «Рукопись писана двумя почерками: первый оканчивался л. 152, причем оборотная сторона л. 152 осталась незаполненной; с л. 153 до конца идет другой почерк. Тот и другой почерки по палеографическим данным принадлежат к XIII—XIV вв., более точное определение времени написания было бы затруднительно» [4]. Заметим, что в приведенном высказывании время написания рукописи определяется без какого бы то ни было обоснования. Отсутствуют и какие-либо соображения о месте создания Троицкой рукописи, равно как и о времени исполнения иллюстраций. Можно думать, что датировка рукописи XIII—XIV вв. появилась у В. М. Истрина на основании существовавших в то время суждений. Как известно, архимандрит Леонид датировал рукопись XIII веком [5], а А. И. Никольский в реферате, прочитанном в Археологическом институте 7 февраля 1897 г. (на него ссылается В. М. Истрин), датировал рукопись первой половиной XIV в.[6] После публикации В. М. Истрина для многих специалистов текст этого издания как бы заменил рукопись, исследователи обращались только к публикации; сложилась традиция ссылаться на страницы и строки издания без соотнесенности с самой рукописью. Напомним, что в свое время полемика рецензентов с публикатором свелась к выяснению вопроса о месте и времени перевода византийского оригинала хроники у славян [7], а задачи собственно палеографического и кодикологического анализа рукописи не привлекали внимания. До сих пор отсутствует отзыв о передаче текста рукописи в издании. Высказывания специалистов о времени создания Хроники Георгия Амартола, к сожалению, обычно даются без какой бы то ни было аргументации и, как правило, с предельной лаконичностью. Рукопись датировали и XIII в. (Леонид, Н. Н. Дурново); временем до 1294 г.

т. I. Текст; Пг. 1922, т. II а) Греческий текст «Продолжение Амартола»; б) Исследование; Л., 1930, т. III. Греческо-славянский и славяно-греческий словари.

[3] Библиографию см.: *Попов Г. В.*, *Рындина А. В.* Живопись и прикладное искусство Твери XIV—XVI века. М., 1979; *Вздорнов Г. И.* Указ. соч., с. 48.

[4] *Истрин В. М.* Указ. соч., т. I. Введение, с. XI.

[5] *Леонид* (*Кавелин*). Сведения о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища св. Троицко-Сергиевой лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 году (ныне хранящихся в библиотеке Московской духовной семинарии). М., 1878, вып. I, № 8, с. 15.

[6] Изложение реферата А. И. Никольского см.: Археологические известия и заметки / изд. Московским археолог. о-вом, 1897, № 7—8, с. 260—261 (отсылка к этому изложению имеется у В. М. Истрина, см.: Введение, с. XI).

[7] *Weingart M.* Byzantské kroniky v literatúře církevněslovanské. Bratislava, 1923, с. 61—142, 500—521; *Дурново Н. Н.* К вопросу о национальности славянского переводчика Хроники Георгия Амартола. — Slavia, 1925, roč. IV, seš. 3, с. 446—460; *Лавров П. А.* Георгий Амартол в издании В. М. Истрина. — Slavia, 1925, roč. IV, seš. 3, с. 461—484, с. 657—683; ответы рецензентам см.: *Истрин В. М.* Указ. соч., т. III, с. V—L.

(А. Н. Свирин, В. Н. Лазарев); серединой XIV в. (И. И. Срезневский); XIV в. без уточнения (И. М. Снегирев, Н. В. Волков, А. И. Соболевский); началом XV в. (П. М. Строев) [8]. Считаем, что многие из перечисленных исследователей непосредственно к палеографии рукописи не обращались, а в своих заключениях о времени создания рукописи опирались на косвенные данные.

Относительно территориальной приуроченности создания Хроники Георгия Амартола все исследователи признают (правда, также только на основании косвенных данных), что рукопись была создана в Тверском княжестве. И только специалисты по истории славянского изобразительного искусства, изучая иллюстрации хроники, в ряде случаев обращались непосредственно к рукописи. Естественно, что при решении своих задач эти исследователи касались и собственно палеографических и кодикологических данных рукописи. Одним из первых искусствоведов, заинтересовавшихся временем создания рукописи и обратившихся непосредственно к кодексу, был А. И. Некрасов. Он впервые в литературе сформулировал положение о возможно разновременном происхождении первой и второй частей кодекса: первая часть (до л. 152) была создана в конце XIII—начале XIV в., а вторая (с л. 153) — была написана во второй половине XIV в. Это заключение позволило автору сделать вывод о разновременном исполнении и иллюстраций в рукописи [9]. Наблюдения и выводы А. И. Некрасова затем были приняты и развиты О. И. Подобедовой. Анализируя исторические события в Тверском княжестве и его культурные связи, она уточняет хронологические границы создания рукописи и считает, что первая часть кодекса была начата в 1304—1307 гг. (вместе со своим комплексом миниатюр), а создание второй части датируется ею 60—70-ми годами XIV в.[10] Существенно заметить, что при обращении к рукописи О. И. Подобедова в пределах второй части кодекса выявляет почерк еще одного писца и отмечает различия в цвете чернил. Она считает, что л. 153—204 написаны одним писцом (вторым по общему счету), а л. 205—265 — другим (следовательно, третьим по предложенному ею счету) [11].

В последующих исследованиях для обоснования суждения о времени написания текста хроники, о времени создания иллюстраций, о количестве лиц, принимавших участие в создании рукописи, все чаще ставятся вопросы собственно палеографического и кодикологического анализа. Так, свою датировку рукописи XIV в. Г. И. Вздорнов аргументирует датирующими приметами письма [12]. Содержатель-

---

[8] Новейшие работы с учетом полной библиографии см.: *Попов Г. В., Рындина А. В.* Указ. соч.; *Вздорнов Г. И.* Указ. соч.

[9] Возникновение Московского искусства. М., 1929, с. 199.

[10] *Подобедова О. И.* К истории создания тверского списка Хроники Георгия Амартола. М., 1963, с. 38; *Она же.* Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1965, с. 22.

[11] *Подобедова О. И.* К истории создания. . ., с. 7.

[12] *Вздорнов Г. И.* Иллюстрации к Хронике Георгия Амартола. — Византийский временник, 1969, т. 30, с. 208—209; *Он же.* Искусство книги Древней Руси. . ., с. 44—58 [18].

ный кодикологический анализ рукописи хроники находим в работах Г. В. Попова. Он устанавливает границы четырех почерков в рукописи, предполагает возможным среди основных писцов почерки их «учеников» или «помощников»; определяет состав тетрадей. Свое заключение об изготовлении рукописи в первой половине XIV в. и своего рода доделке кодекса (л. 266—273 и 150—152) автор аргументирует палеографическими приметами почерков и распределением письма по тетрадям [13].

На основании палеографических и кодикологических особенностей памятника мы считаем, что рукопись № 100 была создана в основном в первой половине XIV в. и что она подразделяется на три части [14]. Каждая из этих частей отличается от двух других почерками, элементами орнамента [15], качеством пергамена и разлиновкой. Эти различия позволяют говорить о возможном разновременном исполнении отдельных частей рукописи. Всего в исследуемой рукописи четко выделяются семь основных писцов. Первая часть кодекса занимает л. 1—7, 10—149, в ее создании принимали участие три основных писца; вторая часть занимает л. 153—265, она написана двумя писцами; третья часть, занимающая л. 150—152 и 266—273, также написана двумя писцами. Причем теперь л. 266—273 расположены не на своем месте, по содержанию они должны находиться между л. 149 и 150.

Следует отметить, что пергамен в рукописи плотный, достаточно хорошо выделан. Поверхность листа ровная, гладкая, слегка бархатистая на ощупь. Эта «бархатистость» правой и левой сторон листа свойственна пергамену западноевропейского производства.

Текст в рукописи Хроники Георгия Амартола написан уставом. Несмотря на индивидуальные различия, письмо рукописи в целом обладает приметами устава древнерусских рукописей середины—первой половины XIV в. Существенно отметить, что письмо в первой и второй частях рукописи по своим типологическим особенностям существенно отличается от почерков, свойственных торжественному письму в литургических памятниках. По характеру почерков первая и вторая часть ближе к письму четьих сборников, прологов и отчасти к письму I Новгородской летописи. А письмо третьей части, наоборот, отличаясь от почерков первой и второй части, очень близко к обычным почеркам литургических памятников.

---

[13] *Попов Г. В.* Заметки о тверской рукописи Хроники Георгия Амартола (позднейшие доделки и вопросы реконструкции первоначального облика кодекса). — Византийский временник, 1979, т. 39, с. 141—144, 146; *Попов Г. В., Рындина А. В.* Живопись и прикладное искусство Твери XIV—XVI вв. М., 1979, с. 22.

[14] В настоящее время исследуемая рукопись находится в ЦНИИР, где благодаря любезности заведующей сектором книжной реставрации Г. З. Быковой мы имели возможность работать с источником. Считаем своим приятным долгом высказать глубокую признательность Г. З. Быковой и сотрудникам сектора, среди них в первую очередь Ю. Ф. Седову, за консультации и предоставление в наше распоряжение реставрационных материалов.

[15] Мы не касаемся миниатюр и орнамента рукописи, их рассмотрение требует специального исследования.

Первая часть кодекса (л. 1—7, 10—149) написана тремя основными писцами. Первый писец написал 8 тетрадей (л. 1—7, 10—61). Письмо уверенное, буквенные начертания отличаются стабильностью в своих начертаниях. В числе характерных особенностей начертания букв следует отметить почти регулярное употребление лигатуры *о+у* для обозначения *у* в любом положении. Буква *є* встречается в узком и широком варианте, причем овал буквы *е* (узкой) обычно слегка откинут назад, а язычок смотрит вверх. Буква *є* широкая употребляется параллельно с буквой ѥ. Перекладины букв *а, ю, ѥ, и, н* обычно приподняты и занимают верхнюю треть высоты буквы. Вторым почерком написана девятая тетрадь (л. 62—69), л. 70 с лица и несколько строк с оборота. Письмо этого писца отличается от первого и третьего более длинными строками, последние часто выходят за ограничительные вертикали. Этот писец гораздо чаще употребляет диграф *оу*, хотя он знает и их лигатуру. От первого писца его отличает начертание буквы *н*, которая по расположению наклонной может быть несколько архаичной. Эти два почерка различаются начерками буквы *з* и надстрочными знаками над буквой ѡ. Третий начерк в первой части находим на л. 71 об.—149. Почерк некрасивый, буквы часто имеют разную ширину. В этом почерке несколько чаще встречаются написания, которые производят впечатление «спешного» письма. Хотя иногда этот писец писал с большим старанием, и у него могут быть красивые начерки начала XIV в. Этот писец также обычно употребляет диграф *оу*, ставит две точки над омегой, перекладины у определенных букв всегда подняты и т. д. Вся первая часть написана одинаковыми по цвету чернилами, они коричневые с бурым оттенком.

Вторая часть кодекса (л. 153—265) написана двумя писцами, причем, обладая общими особенностями почерков XIV в., два почерка во второй части безусловно ближе между собой, чем с почерками первой части. По особенностям своих начертаний почерки второй части могли быть исполнены несколько позже, чем в целом письмо в первой части. Перекладины соответствующих букв поднимаются часто почти до верхнего уровня строки. Буква *ж* почти утрачивает верхнюю часть, значительно увеличивается ножка у буквы *ч*.

Четвертым почерком (или первым во второй части) написаны л. 153—204 и 261—265. Этот писец пользовался чернилами черного цвета. Пятым почерком (или вторым второй части) написаны л. 205—260. Этот писец писал светлокоричневыми чернилами. У обоих писцов второй части отчетливо выступают декоративные штрихи в виде косой линии у хвостов букв *ц, щ, х*. Различаются между собой эти почерки начертаниями букв *з, к, х, м*. Оба писца употребляют только диграф *оу*. Большая загрязненность оборотной стороны у л. 265 безусловно указывает на то, что когда-то в кодексе он был последним и текст обрывался в 14 строке последнего столбца на половине фразы.

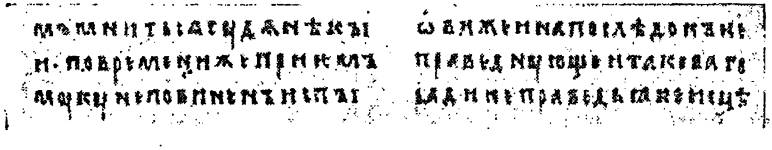
Несмотря на определенную явную разновременность в целом письма в первой и во второй частях кодекса, хронологический раз-

рыв между ними не мог быть значительным. Как доказали реставраторы рукописи, древнейший, не дошедший до нас переплет рукописи, был общим для первой и второй частей, об этом свидетельствует полное совпадение пропилов на пергамене для переплета.

Третья часть рукописи также написана двумя писцами, причем эта часть не входила в состав древнейшего переплета. Современная тетрадь (л. 266—273) написана шестым писцом типичным древнерусским уставом середины—второй половины XIV в. Перекладины у соответствующих букв расположены в верхней трети высоты буквы, буква *з* имеет довольно большую головку и хвост сильно откинутый назад, после согласных, как правило, пишется *у*, а после гласных и в начале слов *оу*. И последним, седьмым писцом написаны два с половиной листа текста (л. 150—152). Почерк красивый, письмо уверенное. Это единственный почерк, для которого, как нам кажется, удалось найти стилистически близкое письмо в рукописи Евангелия Симеона Гордого (ГБЛ, фонд 304. III № I (М 8653) 1343—1344 гг.). По начертанию букв письмо последнего писца вполне соответствует почеркам 40—50-х годов XIV в. Начертания многих букв несколько сужены, хотя расстояние между ними еще довольно значительное. После согласных обычно употребляется *у*, но встречается и *оу*. Перекладины подняты вверх, у буквы *ж* верх несколько сокращен, но еще не утрачен. По времени исполнения нельзя сказать, что третья часть существенно отличается от первой и второй. Письмо в них в принципе хронологически выполнено с весьма незначительными различиями. Однако, когда была вставлена третья часть между первой и второй, в настоящее время сказать с определенностью трудно. Вероятно, ею дополнили кодекс вскоре после первого переплетения.

Обращает на себя внимание и еще одна особенность рукописи: неизвестно почему в целом кодекс не был завершен. В первой части на развороте л. 113 об. — 114 осталось незаполненным место для восьми иллюстраций. Вторая часть обрывается в середине столбца. А в третьей части полностью отсутствуют инициалы. Вторая часть, как уже говорилось, осталась незаконченной. Кроме того, не исключено, что в пределах второй части некоторые инициалы были выполнены несколько позже (может быть, в XV в.).

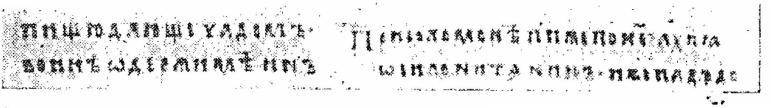
Эти заметки далеко не исчерпывают круг вопросов, которые возникают при непосредственном обращении к рукописи; наша задача ограничивается стремлением привлечь внимание исследователей к рукописи, показав отчасти ее своеобразие.



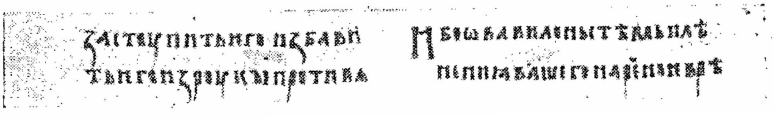
Часть I, почерк 1, л. 50, строки 6—8.



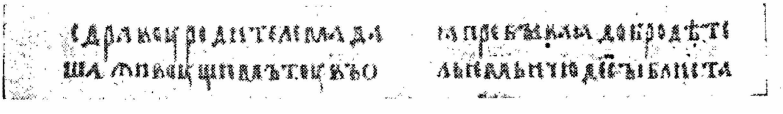
Часть I, почерк 2, л. 70, строки 17—18.



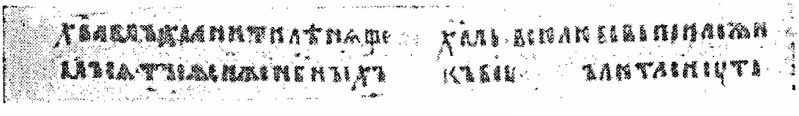
Часть I, почерк 3, л. 113 об., строки 21—22.



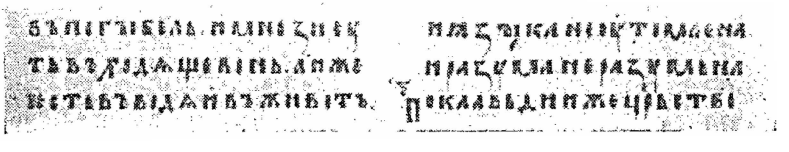
Часть II, почерк 4, л. 164, строки 11—12.



Часть II, почерк 5, л. 234 об, строки 12—13.



Часть III, почерк 6, л. 267, строки 14—15.



Часть III, почерк 7, л. 151 об., строки 17—19.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
(Словарь Академии Российской)

Л. Л. Кутина

В конце 1983 г. русская филология отмечала замечательную дату: 200 лет тому назад, в октябре 1783 г., была учреждена и начала свою деятельность Академия Российская. Академия Российская — филологическая академия; она была организована по образу и подобию своих старших европейских собратьев, французской академии в частности; сходны были и их задачи. В «Кратком начертании» (проект Академии Российской) было записано: «Императорская Российская Академия долженствует иметь предметом своим вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов онаго, свойственное оному витийство и стихотворение. . . К достижению сего предмета должно сочинить прежде всего российскую грамматику, российский словарь, риторику и правила стихотворения. . . Как такового рода книги не могут быть сочинены одним человеком, то и нужно общество. . .» [1]

Возглавила новое учреждение в качестве его президента кн. Екатерина Романовна Дашкова. С Е. Р. Дашковой связаны самые блестящие годы деятельности Академии Российской и самое выдающееся ее свершение — Словарь Академии Российской.

История создания «Словаря Академии Российской» поражает нас своей высокой организованностью. Первым этапом было создание алфавитного словника; в этом участвовали все академики, поделив между собою буквы алфавита. Одновременно создавалась библиотека Академии Российской, в которую среди прочих книг вошло множество словарей — печатных и рукописных — и словарных материалов из Академии наук и Университета. В очень короткий срок было составлено 8 томов так называемых Апалогических таблиц — азбучный словник словаря (более 40 000 слов). Для составления словаря были созданы отряды (было признано целесообразным строгое разделение труда): грамматикальный отряд (грамматическая характеристика слов и значений), объяснительный (толкование значений), технический (отбор и толкование терминов), словопроизводный (определение корневых слов и словопроизводного гнезда), редакционный. Все готовые материалы обсуждались на заседаниях.

Очень плодотворным было участие в работе академиков и профессоров университета; помимо специальных знаний, существенных для толкований терминов, они — представители точных наук — вносили привычные для них методы анализа материала, ориентированные на установление связей и отношений, классификационных признаков

---

[1] *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. СПб., 1874, вып. I, с. 360.

и т. п. Это, безусловно, дисциплинировало филологическое исследование. XVIII век вообще не знал узких специалистов, они все в той или иной мере были энциклопедистами.

Высокая организованность работы дала прекрасные результаты: огромный труд — шеститомный словарь был завершен в шесть лет («Словарь Французской Академии» создавался 60 лет). Словарь встретил восторженные отзывы современников — и в России, и в славянских странах. Так, чешский славист И. Добровский — один из первых рецензентов «Словаря Академии Российской» писал: «Российская Академия изданием своего первого словаря соорудила себе прочный памятник, делающий ей великую честь» [2]. Н. М. Карамзин называл создание этого словаря подвигом: «Полный словарь, изданный Академией, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев; наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями» [3].

Что же действительно представлял собою этот труд? Не пристрастны ли современники? Как выглядит он, если взглянуть на него из нашего времени и нашими глазами?

«Словарь Академии Российской» (далее САР) привлекал к себе внимание многих исследователей. Много работ посвящено составу словника этого словаря и организации его в рамках определенных стилистических рубрикаций: вопрос о составе и стилистическом распределении лексики этого периода чрезвычайно важен для суждения о характере формирования национального литературного языка.

Значительно меньше исследован вопрос о том, как этот словарь сделан: как описывается лексика, как решена в нем задача семантической и грамматической характеристики слова. Между тем именно в этих сферах словарного описания более всего проявляется новаторство словаря, его качественно более высокий уровень по сравнению с лексикографическими трудами предшествующей поры, делающий его первым звеном в цепи академических словарей нового времени.

Для иллюстрации этого остановлюсь на решении в САР некоторых проблем лексической семантики. Достижениями САР в этой области является: решение вопроса о слове как совокупности значений (проблема полисемии), о связи и зависимости значений слова как результата процесса семантической производности, о границах слова и омонимии, о фразеологической и синтаксической обусловленности значений, о регулярной полисемии, об отношении слова и контекста. Сам перечень этих вопросов звучит очень современно: все они относятся к ядру современной теоретической семантики и далеко не всегда находят себе однозначное решение в современной лексикологии и лексикографии. В русском языкознании многие из них впервые выступили с очевидной определенностью именно при составлении САР.

---

[2] *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. СПб., 1877, вып. VIII, с. 192.

[3] Карамзин Н. М. Сочинения. М., 1820. Ч. IX.

Позиция составителей САР по всем этим вопросам может быть прослежена при анализе словарных статей словаря. Но авторы оставили и прямые свидетельства своих языковых воззрений. Они изложены в проекте словаря «Начертание для составления Словаря славяно-российского языка» [4], где вопросам семантики посвящен особый раздел «О знаменовании слов и речений».

Главнейшей особенностью и великим достижением САР является то, что этот словарь впервые представил развернутое описание содержательной стороны нашего языка: слов во всей совокупности их «знаменований». Эта совокупность — по мысли авторов (см. «Начертание») — совокупность сложная. Она предполагает установление точного смысла слова (первичного, исходного) и распространенного, собственного и метафорического. Между точным и распространенным, собственным и метафорическим смыслами — отношения семантической производности.

Сама возможность возникновения метафорических смыслов расценивается как величайшая возможность к обогащению языка: «Надлежит величайшее приложить старание к объяснению метафорическаго смысла, составляющего главное обилие языков, которое без размножения слов достигнуто» [5].

Программа семантического описания, в которую входит широкий спектр «дальнейших» («распространенных» — номинативно-производных и «метафорических») значений, русскими словарями еще не ставилась. Хотя база для осуществления такого описания была в какой-то мере подготовлена лексикографическими трудами предшествующих времен.

Лингвистическое явление многозначности было осмыслено очень рано — еще в античных теориях языка.

Словари как описания языка, где это знание должно было реализоваться, строятся с несомненным учетом явления многозначности. Это относится и к нашей, русской и славянской традиции, с которой составители САР считали нужным специально ознакомиться.

Однако в том основном типе словаря, который культивировался в России XVII—XVIII вв. — дву- и многоязычный лексикон переводного (отчасти — толково-переводного) характера, описание явления многозначности осложнено по существу специфическими задачами перевода. При технике, принятой в наших двуязычных словарях, зачастую суммировались те части семантических систем слов языка-оригинала, которым соответствовал общий иноязычный эквивалент. Допустимой представлялась (в словарях более архаического типа вплоть до Лексикона Вейсмана, 1731) передача совокупности значений совокупностью его переводов.

Возможным было также использование в качестве перевода — эквивалента лишь к первому, основному значению слова (как своего рода семантическому представителю слова). Иначе говоря, в технике наших двуязычных словарей определенные звенья полисемии оказывались свернутыми.

[4] Цит. по кн.: Полное собрание сочинений П. А. Вяземского. СПб., 1880. Т. V.
[5] Там же, с. 309.

С другой стороны, особый эквивалент в языке перевода мог соответствовать не одной лексеме в языке-оригинале, а сочетанию лексем. В этом случае технически одинаково подавались: 1) различные значения многозначного слова, 2) лексические сочетания (свободные), имеющие иноязычный эквивалент-слово; 3) лексические сочетания (связанные фразеологически), в которых одна из лексем получала (в данном контексте) специфический перевод. Особенно отчетливо проявилось это в словарях, где многозначность обозначалась повторением вокабулы (с семантическими дифференциаторами при ней, составляющими минимальный контекст). Так, в Лексиконе треязычном (1703) наряду с обозначением фактов многозначности (*Вал* около мѣста, *Вал* в колеси мелничном, *Вал* на водѣ), можно встретить рубрикации, где выделение вокабул связано не с многозначностью, а со спецификой перевода слова в данном контексте (*Ловлю* рыбу, *Ловлю* звѣри, *Ловлю* птицы).

Иначе говоря, в двуязычных словарях явление многозначности зачастую не отграничивалось от иных семантических явлений, связанных с проблемой межъязыковых соответствий.

САР — первый толковый словарь русского (славяно-русского) языка — снял все ограничения двуязычных словарей в отношении показа полисемии. Объем семантической информации в нем по сравнению со словарями предшествующей поры возрос чрезвычайно. Это касается в первую очередь регистрации «дальнейших» значений. В оценке семантической структуры слова САР исходит из функционирования его в разных языковых сферах: в обиходном разговорном языке («просторечии») и в языке письменности (в поэзии, «слоге витийственном», в книгах церковных), в специальных подсистемах языка (в науке, технике, ремесле, искусстве и т. п.), в употреблении областном. Каждая из этих сфер дает свои семантические преломления и градации смысла. Ср.: *Зима* . . 2. В смысле * (метафорическом) употребляется в стихотворстве уподобительно вместо старость; *Желѣзо* . . 2. Витийственном слоге, а наипаче у стихотворцев берется вместо меча, копья и вообще за всякое оружие; *Зазор* . . 2. У артиллеристов называется зазором тот промежуток, который остается между ядром и стеною пушки. 3. У каменщиков: промежуток между стеною и причалкою.

САР впервые представляет слово как некий семантический конгломерат, ориентированный на разные системы и подсистемы функционирующего языка. Здесь впервые в описании слова получена та лексико-семантическая абстракция, которую называют «словарным словом». Однако словарное слово в САР имеет существенные особенности: абстракция эта здесь расширена до охвата семантических единиц двух языков: русского и славянского. Как известно, члены Академии Российской исходили из той теории, что славянский язык «корень языка российского»; русский язык — лишь изменившийся во времени язык славянский. Отсюда название «славяно-российский язык», которым они обозначают язык русской письменности.

Уже проделав работу по составлению двух частей словаря, члены

Академии так определили во введении ко II части характер производимых ими над словом операций: «Определить первой и точной смысл слов, наблюдать различныя тени их знаменования, выводить уклонения и прехождения в другой смысл . . . сообразовать обозначения в науках, художествах, ремеслах, рукоделиях, промыслах и проч. с точным их употреблением» [6] (предисловие это написано секретарем Академии Российской И. Лепехиным). Идея последовательного развертывания слова, когда каждое значение понимается как семантическая основа для последующих «уклонений» и «прехождений в другой смысл», а исходным пунктом всех последующих смысловых модификаций является «первый и точный смысл» слова, стоит в самой прямой зависимости от этимологического (словопроизводного) типа словаря, каким был САР[I]. Она представляет преломление идеи производности в семантике.

Этимология была объектом самых сильных лингвистических увлечений века. И именно в этимологических штудиях зародилось внимание к семантическим «прехождениям» из смысла в смысл, которые, с одной стороны, могут совершенно затемнить первый «точный» смысл слова, но с другой — могут быть, если следовать по ним как по ступеням, дорогой к обнаружению утраченного во времени, в истории первоначального смысла, на котором только и может строиться этимология.

С точки зрения описания семантики система воззрений, сложившаяся в этимологических изысканиях, ценна несколькими важными методическими положениями: 1) учетом производимости одного значения из другого; 2) учетом связи между значениями одного слова как следствием такой производимости; 3) установлением того, что связи такой (при формальном подобии) не имеет и в одном «составе» не мыслится. Последнее предполагает решение вопроса о границах слова. В САР впервые возникает проблема омонимии в современном смысле этого слова.

Сама структура этимологического гнезда развела в разные квартиры слова, имеющие общий облик, но разное происхождение. Глаголы *чту* 'числю' и *чту* 'читаю' возглавили разные гнезда; глагол *чту* 'почитаю' введен в этимологическое гнездо сл. *честь* (сущ.). Одно имя действия *заплата* введено в гнездо, возглавляемое гл. *плачý*, другое — введено в гнездо, возглавляемое сл. *плат* и т. п.

Направление словопроизводства, как можно судить, было постоянным ориентиром для составителей при решении вопроса омонимия/полисемия производных слов.

Идея генетической выводимости была причиной того, что в качестве отдельных слов (омонимов) представлены в САР и такие значения, которые утратили свои семантические стыки в ходе истории, хотя этимологическая общность их несомненна. Так, в гнезде *чиню* 'делаю, совершаю' в качестве отдельных слов даны: *чиню* 'ветхое поправливаю' и *чиню* 'наполняю какую-нибудь пустоту'.

---

[6] Словарь Академии Российской. СПб., 1892, ч. II, Предисловие.

Фактов гомогенной омонимии в САР не так много; но сам тип омонимии такого рода присутствует здесь несомненно.

Таким образом, при составлении САР был поднят вопрос об отдельности слова и его границах и был найден ряд очень важных и верных решений.

В своих наблюдениях над смысловыми «уклонениями» слова составители САР обратили внимание на ряд существенных языковых показателей полисемии и прежде всего на роль «сопряжения» слова с другими словами — на лексические и синтаксические связи слова. То, что многие современные лингвисты склонны считать одним из достижений теоретической семантики XX в., было уже предметом рассмотрения для филологов XVIII в. Так, в протоколе заседания от 18 сентября 1787 г. читаем: «Как глаголы, так и имена и прочия части речи, заключают в себе по разному их сопряжению с другими словами различный смысл, напр. *возводить кого на что*, вести вверх, возвышать; *возводить на кого что*, слагать на кого что, клеветать» [7].

В протоколе заседания от 16 января 1787 г. записано: «Наблюдать при существительных те глаголы, с которыми они, соединяясь, особливой смысл составляют, и, следовательно, таковое существительных в другой смысл прехождение паипаче от этих глаголов зависит» [8].

Исходя из этих положений, акад. С. Котельников — член объяснительного отряда, найдя неудовлетворительной статью на гл. *играть*, перерабатывает ее, проведя, в частности, строгий учет синтаксических связей различных значений глагола: *Играю* . . . 2. Во что или чем. И. в жмурки. И. всем, что попадется в руки. 3. на чем. И. на скрипке. 4. что. И. комедию и т. д.

Указание на лексические связи слова реализуется в словаре с помощью семантических уточнителей при определении. Эти уточнители ограничивают определение сообразно объему значения и определяют ряд эквивалентов-сословов (т. е. синонимов):

Волокита . . . 2. В отношении к любовным делам, имя сие есть рода мужеского и значит старающийся обольстить.

Глохну . . . 2. В отношении к произрастениям: от тесноты, застени увядаю, сохнуть начинаю; и в сем знаменовании глагол сей употр. в 3 л. и в прош. соверш. имеет заглох.

Гладкий . . . 3*. Говоря о скотине: кормленый, сытый, тучный. 4*. В отношении к лицу: дородный, казистый, полный . . 6. В отношении к слогу: ровный, плавный и т. п.

Как можно заметить, в некоторые определения (*глохну*) введены и уточнения грамматического характера, подчеркивающие специфику реализации значения в системе языка. Внимание к фактам и условиям языковой объективации значений многозначных слов — одна из замечательных сторон САР.

Наблюдение над структурами полисемантичных слов не могли не натолкнуть составителей САР и на факты регулярной повторяе-

---

[7] Протоколы заседаний Академии Российской. Архив АН СССР. Ф. 8, оп. 1, 1787, л. 127 об.

[8] Там же, л. 113.

мости некоторых семантических зависимостей в пределах определенных лексических групп. САР впервые в русской лексикографии отличает факты регулярной полисемии, в основе которых лежит скрещение планов лексической и грамматической семантики. Это относится прежде всего к разработке в САР приставочных глаголов. Для их описания здесь приняты типовые словообразовательные определения, характеризующие особенности протекания глагольного действия. Типовые, обобщенно-грамматические определения получили в САР и другие разряды производных слов, характеризующиеся устойчивыми семантическими отношениями производящей основы и аффикса: имена действия; имена на *-ость*, *-ство*, *-ствие*, *-ота*, *-ина* и др. со значением отвлеченного свойства, качества, состояния; имена, обозначающие действующее лицо по действию или по качеству, свойству, состоянию.

С большей или меньшей последовательностью выделены в САР при разработке относительных прилагательных регулярно повторяющиеся оттенки относительности: принадлежащий кому—чему, сделанный, изготовленный из чего, состоящий из . ., содержащий в себе . ., свойственный кому—чему.

Мы назвали здесь лишь незначительную часть тех интереснейших решений, которые были найдены в САР для описания семантической структуры слова. Но и сказанное, как кажется, позволяет судить о глубоком проникновении авторов этого словаря в вопросы лексической семантики. Обилие новаторских решений, подхваченных последующей лексикографической традицией, связано прежде всего с этимологическим характером САР. Стало общим местом говорить о том, что при существовавшем тогда уровне лингвистических знаний гнездовой этимологический словарь — это покушение с негодными средствами. Эта мысль совершенно неверна. Словопроизводная, этимологическая форма ставила во главу угла идею развития и взаимосвязанности вытекающих друг из друга и объясняемых друг из друга языковых явлений. Она открыла перед составителями много таких сторон слова, которые в азбучном словаре могли остаться незамеченными. «Разбирать слова вне их союза поставленные, — писали авторы САР, — есть дело не токмо скучное, но и малоуспешное» [9]. Рассмотрение явления в совокупности его связей является одной из важнейших сторон истинно научного подхода к объекту изучения. Таким истинно научным подходом отличается Словарь Академии Российской — первый словарь в цепи лексикографических трудов, имеющих право называть себя академическими.

[9] Словарь Академии Российской, т. II, Предисловие.

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»

А. С. Орешников

Интересы лингвистов, текстологов, историков и др. традиционно сближаются на почве издания, переводов и комментирования текста памятников письменности. При этом очевидно, что привычные прочтения труднее ставятся под сомнение, чем те, которые издавна вызывают споры и разногласия. Часто первые переводы надолго закрепляют, казалось бы, прозрачные, но в действительности сомнительные толкования. В этой связи мы и остановимся на переводе выражения: «убити въ пса мѣсто» в тексте «Русской Правды» (далее РП). Оно встречается в статье 21 Краткой редакции (далее к. р.) и статье 40 Пространной редакции (далее п. р.): «Аже оубіють огнищанина оу клѣти, или оу копа, или оу говада, или оу коровьѣ // татьбы, то оубити въ ца мѣсто» (Академический I список, в Археографическом I списке —«оубити за ца мѣсто») [1]; «А оже оубыють кого оу клѣти или оу которои татьбы, то оубыють въ пса мѣсто; оже ли и додьржать свѣта, то вести и на кпажь дворъ; оже ли оубіють и, а ouже боудоуть видѣли людиѥ съвазана, то платити в томь 12 грівне» (Синодальный I список) [2].

Первые переводы РП сделаны в XVIII в. В. Н. Татищев перевел «убити въ пса мѣсто» в тексте к. р. ‘вора убить, как пса’ [3], И. Н. Болтин в тексте п. р. изд. 1792 г. — ‘татя убитого при самом воровстве считать вместо пса’ [4], Толкования ‘убить как (вместо) пса (собаку)’ устойчиво закрепились в последующих переводах [5]. Первое соображение, которое вызвало сомнение в однозначности этого словосочетания в ст. 21 к. р. и ст. 40 п. р., состоит в следующем: экспрессивно окрашенное уподобление преступника псу в переводе выглядит как-то уж слишком современно. ‘Убить как пса’ можно было, пользуясь современной юридической терминологией, особо опасного преступника в ситуации, отраженной в ст. 21 к. р. Здесь по мнению ряда ученых рассматривается факт вооруженного грабежа «на территории княжой усадьбы, при котором жертвою пал огнищанин, а вооруженный грабитель убивается без суда на месте» [6]. Иное дело

---

[1] Правда Русская. М.; Л.: изд-во АН СССР, 1940, т. I. Тексты, с. 71, 80.
[2] Там же, с. 126.
[3] Цит. по изд.: *Татищев В. Н.* История Российская. Л., 1968, т. VII, с. 224.
[4] Цит. по изд.: Правда Русская. М.; Л., 1947, т. II. Комментарии, с. 387.
[5] Там же, с. 154—159, 387—389; ср. интерпретацию в польском переводе Р. П. И. Раковецкого («jako psa»), немецком И. Ф. Эверса («an Hundes Statt»), Л. К. Гетца («wie einen Hund»). — Там же, с. 154, 387—388. Ср. также перевод: «Если вора убьют у клети или во время какого воровства, за это не судить как бы за убийство пса. . .» — В кн.: Киевская Русь. Сб. статей/Под ред. В. Н. Сторожева. М., 1910, с. 583.
[6] Правда Русская (учебное пособие). М.; Л., 1940, с. 48 (комментарий Б. А. Романова).

ст. 40 н. р. с более широким охватом реальной жизни XI—XIIвв., когда дворохозяин в темноте мог убить не только вора, но и случайного, может быть, голодного человека (бродягу, нищего и т. п.). Уже сама вероятность убийства по недоразумению или при неясных обстоятельствах требовали хотя бы частичного снятия моральной ответственности с убийцы. И совсем не случайно в ст. 38 к. р. при изложении казуса с убийством татя приведена нейтральная формула — «то тои убит»: «Аще оубьють тата на своемъ дворѣ, любо оу клѣти, или оу хлѣва, то тои оубитъ . . .» [7]. Зададимся вопросом, почему составители РП не воспользовались формулой: «убити ѩко пса». Очевидно, потому, что союз ѩко чужд синтаксическому строю памятника, в котором преобладают условные союзы. Он встречается в пояснительных контекстах типа: «А конюхъ старый оу стада 80 гривенъ, ѩко оуставилъ Изяславъ въ своем конюсѣ. . .» [8]; «а іно все ѩко же Ꙗрославъ судилъ, такоже і сынове ѥго оуставиша» [9]. Но главной причиной, почему этого не произошло, считаю смысловую однозначность конструкции: «убити ѩко пса», которая не соответствовала оценке разнообразных казусов, с которыми сталкивались древнерусские судьи [10].

Анализ грамматической и лексико-фразеологической специфики конструкции: «убити въ пса мѣсто» приводит к выводу, допускающему неоднозначные толкования смысла этого контекста. Это прежде всего связано с разобщенностью (дистантностью) компонентов: *въ. . . мѣсто*. И. И. Срезневский писал: «С помощью предлога *въ* образовались многие выражения, имеющие смысл наречий, напр.: въ истиноу, въ мѣсто, въ имя, въ двое и т. п.» [11] В нашем случае перевод словосочетания: «убити въ пса мѣсто» будет иметь различный смысл в зависимости от того, где и как будет фиксировано *въ . . . мѣсто* [12]: а) «убити пса въ . . . мѣсто», б) «убити въмѣсто пса», в) «убити въ пса мѣсто».

Такая постановка вопроса не безосновательна. Характерно, что колебания в подаче слова отразились и в Словаре русского языка XI—XVII вв., в котором однотипные контексты помещены под разными заглавными словами:

Въ (Во)[2] — *Въ. . . мѣсто* — взамен, вместо (1054): Се же поручаю

---

[7] Правда Русская, т. I, с. 72; вариант по Археографическому списку: «То тои оубить и ѥс (ть)» — с. 81.

[8] Там же, с. 71.

[9] Там же, с. 104.

[10] Ср. чтения в Законе Судном пространной и сводной редакции: А иже с моужатою женою. ѡбрѣтаетсѧ. пса ѡбѣма оурѣзати. и да тепетасѧ. аще самъ моуж застанеть да оубъет ѧ ѡба. ѩко и пса оувьрѣсти (Троицкий IV список, первой трети XV в., л. 6 об.); Иже с мужатою женою избрѣтаетсѧ. посы ѡбѣма оурѣзати и да быть бѣдеть. аще ли самъ мужь.//застанеть да оубиеть и ѡба ѩко и пса. оувертости (Карамзинский список Софийской первой летописи конца XV в., л. 158—158 об. — В кн.: Закон Судный людем пространной и сводной редакции/Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1961, с. 122, 89.

[11] *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. М., 1958, т. I, с. 325.

[12] См. подачу *въ — мѣсто* в словоуказателе к публикации Синодального списка РП: *Карский Е. Ф.* Русская Правда по древнейшему списку. Л., 1930, с. 107.

в собѣ мѣсто старѣишему сну моему и брату нашему Изяславу Кыев. Лавр. лет., 161 [13].

Мѣсто — а) Вместо кого-л., чего-л., . . .имѣти тя хочю во оца мѣсто. Лавр. лет., 76 [14].

Таким образом, в зависимости от того, какой из вариантов контекста [а), б) или в)] интуитивно выберет исследователь в процессе перевода, возникнет и соответствующее толкование. Природа затруднений подобного характера была объяснена еще А. А. Потебней: «Как наречие, образуемое от согласуемых слов, вместе с падежом теряет и согласование, так в наречии от дополнительных существенная черта — потеря субстанциальности. Разница между таким наречием и дополнением может вовсе не выражаться внешним образом и состоять лишь в том, что в одном случае слово есть существительное или употреблено существительно, а в другом уже чувствуется не как другой предмет, а как признак признака. «За утра» может быть, смотря по пониманию говорящего, дополнением и существительным или обстоятельством и наречием. . .» [15].

Попытаемся определить более узкий контекст, являющийся смысловым центром словосочетания. «убить въ пса мѣсто». Это будет «пса мѣсто» или «мѣсто пса». Исходя из схем словарных статей, посвященных слову *место*, выделим два основных семантических параметра: I. Иерархия; II. Пространство.

I. Место собаки среди домашних животных было одновременно и высоким, и низким. Как отмечал О. Н. Трубачев, «. . .собака. . . оказывается почти повсюду древнейшим, первым домашним животным» [16]. «Собака сблизилась с человеком как паразит, поедавший отбросы около человеческих стоянок . . . Однако вплоть до появления письменных памятников у индоевропейцев, а в ряде случаев — до наших дней сохранились ясные следы религиозной роли собаки как животного, окружаемого высокими почестями, неприкосновенного, наделенного божественной силой. . . К древнему жертвоприношению может восходить и отмечавшийся у белорусов обряд *убивания собаки*» (выделено нами. — *А. О.*) [17].

Человек помещал собаку на иерархической лестнице между собой и другими животными, отводя ей как в ритуальном, так и обиходном плане функцию своего заместителя [18]. Символика пса в РП и, очевидно, в более широком контексте древнерусского обычного права перекликается с древнескандинавскими мифологическими представлениями [19]. В переводе: 'убить вора как собаку (вместо собаки)'

---

[13] Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975, вып. 2, с. 6—7.
[14] Там же, вып. 9.
[15] *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М., 1958, т. I—II, с. 127.
[16] *Трубачев О. Н.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках (Этимологические исследования). М., 1960, с. 4.
[17] Там же, с. 5.
[18] *Иванов Вяч. Вс.* Древнебалканский и общеиндоевропейский текст мифа о герое—убийце Пса и евразийские параллели. — В сб.: Славянское и балканское языкознание. М., 1977, с. 191—192.
[19] «Волков и собак вместе с людьми, признанными 'преступниками', 'изгоями' и объявленными 'волками' (др.-исл. vargr) приносили в жертву Одину. . .» — Там же, с. 189—190.

можно видеть, с одной стороны, своеобразный перенос, когда преступник, как и бродячая или шкодливая собака, выпадает из состава дома-коллектива и становится изгоем [20]. С другой — в этой формуле можно усмотреть и обряд магического отведения моральной ответственности от дворохозяина, убившего вора, на своего пса-сторожа [21]. Это вполне соответствовало как традиционно языческому сознанию (например, чтобы убитый не снился), так и новому христианскому — (убийство — грех, душегубство).

II. Перейдем к рассмотрению некоторых пространственных аспектов словосочетания: «пса мѣсто». В плане реального пространства это — территория пса-сторожа у клети, хлева и т. п. (статьи 21, 38 к. р. и 40 п. р.; ср. статьи 31 к. р. и 41 п. р., в которых, напротив, говорится о краже в хлеве и клети). В подтексте РП преступник убит в «мѣсте пса», что опять-таки снимало с хозяина часть моральной ответственности.

Установлено, что в народных представлениях пес олицетворял и враждебное миру демоническое начало. Так, А. Н. Афанасьев, ссылаясь на сообщение Н. И. Костомарова, писал: «. . . южнорусы в созвездии Большой Медведицы видят запряженных коней (Воз); черная собака каждую ночь силится перегрызть упряжь и чрез то разрушить весь строй мироздания, но не успевает в своем пагубном деле. . .» [22] Часть небесной сферы (в области Большой и Малой Медведицы) и подземный мир (ср. мрачный ад греческой мифологии, который сторожил трехглавый Кербер) в восточнославянском сознании в эпоху РП синкретично понимались как некое таинственное «мѣсто Пса». Под влиянием же христианства в письменной традиции преобладало представление о «мѣсте Пса» — преисподней. Пес-дьявол стал устойчивым литературным образом. Ср.: «Ѩко же бо пьсъ тако паскака на богатыѧ дѩвълъ» (Златоструй, 117, XII в.) [23]. В Житии Феодосия Печерского дьявол предстает в виде черной собаки [24]. Важнейшим для нашей работы признаем контекст, засвидетельствованный в Картотеке ДРС: . . . «мнози бо посрѣди лихоимства въсхищени (так в изд.) и в песъ мѣсто сведени быша во адъ» (Сл. и поуч. против языч., 207, XVI в.).

---

[20] Ср. параллель: «Аще песъ проказы дѣѥть. аще подрывъ клѣть или продравъ. стропъ влѣзеть. да сѧ побьѥть. аще ли двѣрми влѣзеть. да сѧ не бьеть. . .» — Закон Судный людем, Пушкинский список 2-ой пол. XIV в. (л. 33). — В кн.: Закон Судный пространной и сводной редакции. . ., с. 38.

[21] Пропуск местоимения в конструкции — «уобити въ [своего] пса мѣсто» — вполне вероятен, ср. в п. р.: «поати же человѣцѣ въ человѣча мѣсто» — Спподальный I список 1280 г. или 1282 г. — В кн.: Правда Русская, т. I, с. 125—126. Ср. также вариант Археографического списка сер. XV в. к. р. «оубити за пса мѣсто. . .» — Там же, с. 80.

[22] *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу. М., 1866, т. I, с. 763; см. подробнее: *Иванов Вяч. Вс.* Указ. соч., с. 212 и др.

[23] Цит. по Картотеке ДРС (Ин-т русского языка АН СССР).

[24] *Афанасьев А. Н.* Указ. соч., с. 733—734. Не случайно также в статье 40 п. р. пес упомянут применительно к убийству в ночное время (сфера действия «нечистой силы»), здесь же говорится о спасительном для связанного вора рассвете.

Таким образом, можно предполагать, что формулой «убити въ пса мѣсто» передавалась многозначность смыслового центра «пса мѣсто», соединявшая не только образный обиходно-разговорный смысл, но и ритуально-магический подтекст, рассчитанный на оценку неясных обстоятельств и последствий убийства татя на своем дворе. Понимание универсальности этого древнерусского выражения утрачивалось уже в XVIII в. рационалистически мыслящими историками [25].

[25] Об амбивалентном отношении к собаке см.: *Жельвис В. И.* Человек и собака [восприятие собаки в разных этнокультурных традициях]. — СЭ, 1984, № 3, с. 135—143. — См. также отсылки к слову *пес* в кн.: Фразеологический словарь русского языка/Под ред. А. И. Молоткова. 3-е изд. М., 1978, с. 443.

К ИСТОРИИ ТЕРМИНА *МЫШЛЕНИЕ*

Ю. С. Сорокин

Судьба слова *мышление* в русском языке интересна в двух отношениях. Во-первых, это, несомненно, одно из древних слов, образованных в славянской письменности: самое раннее из известных нам его употреблений встречается в памятнике, восходящем к эпохе первого расцвета славянской книжности. Во-вторых, так же несомненно, что широкое употребление этого слова в языке, его семантическая независимость, которую производному слову дает его отчетливая терминологизация, относится к совсем недавнему времени — не ранее второй половины XIX — начала XX в. Теперь слово это исполняет роль ведущего термина в философской литературе на русском языке, в общей терминологической системе гуманитарного цикла знания. В достаточно же длительном промежутке между этими двумя противоположными фазами его существования, промежутке, захватившем около десяти веков, слово это было, судя по всему, малоупотребительным, пребывало на периферии лексического запаса русского и некоторых других славянских языков. Правда, его заметили словарники еще на первом этапе русской академической лексикографии; однако авторы долгое время к нему почти не прибегали.

Первое известное нам употребление слова в переводе с греческого «слов» (проповедей, поучений) Григория Назианзина (Богослова), крупнейшего церковного деятеля IV в. XIII слов Григория Богослова — рукопись XI в., по заключению известного русского слависта XIX в. А. С. Будиловича, опубликовавшего ее текст и исследовавшего ее язык в отношении к языку греческого подлинника [1], —

[1] Исследование языка древнеславянского перевода XIII слов Григория Богослова по рукописи Имп. Публичной библиотеки XI века. СПб., 1871, с. 142; XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе по рукописи Имп. Публичной библиотеки XI века. Критико-палеографический труд (текст славянского перевода, списки слов греческого оригинала с указанием их смысловых соответствий в переводе и т. п.). СПб., 1875.

список со старшего славянского оригинала X в., возникшего в древнеболгарской переводческой среде. Список XI в., однако, по мнению того же исследователя, явился уже на русской почве, в Киевской Руси. На л. 118 в рукописи и находится интересующее нас слово в сочетании: *мышление славы*, где оно отвечает слову ἐπινοµία — желание (славы), помышление (о славе) — греческого оригинала. При значительном объеме и разнообразии лексического запаса греческого оригинала (Григорий Назианзин был тонким стилистом, а славянский переводчик стремился передавать все особенности его текста!) слово это в переводе употреблено лишь однажды; чаще же встречается в переводе ведущее слово гнезда *мысль* и другие производные — особенно *помысл* и *помышление* (в том числе и для передачи греч. ἐπινοµία).

Единичными примерами слово *мышление* представлено в значительном собрании цитат из многих текстов XI—XVIII вв. в картотеке древнерусского словаря (Институт русского языка АН СССР). В 9-м выпуске «Словаря русского языка XI—XVII вв.» (М., 1982), помимо уже указанного случая из текста Григория Назианзина, воспроизводится еще цитата из бесед Симеона Полоцкого против протестантства. Составители словаря правильно соотносят в этом случае данное слово со значениями слов *размышление*, *помышление*, *мысль*. Ср. в ныне утраченной рукописи 1655 г. «Логики Авиасара»: Право *мышление* в пей‹логике› направити пути доводныя (л. 269); см. также в «Памятниках отреченной литературы» (текст XIV в.): Добролѣпая есть ми *мышление* стительства имени славы моея (I, 49). В «Словаре старославянского языка» Чехословацкой Академии Наук даны три примера на слово *мышление* (*мысление*) из ранних славянских переводов конфессиональных памятников, но представленных позднейшими (XIV—XVI вв.) списками разных изводов.

В столь скудном наборе сохранившихся случаев употребления слова бросаются в глаза некоторые обстоятельства. Во-первых, это редкая употребительность слова *мышление* при значительной широте употребления синонимичных или близких по значению других слов гнезда. Прежде всего это касается главного слова всего гнезда *мысль*, которое имело значение и конкретного факта мысли ‘помысел, идея, мнение, намерение’, конкретного суждения о чем-либо, и общего обозначения процесса работы мысли, сознания, мыслительной способности человека. Столь же свободно употреблялись и некоторые другие производные из этого гнезда, в частности *помышление*, *помыс(е)л*, *замышление*, *замыс(е)л*, *размышление* и др.; правда, каждое из этих слов гнезда получило уже известную смысловую дифференциацию. Во-вторых, половина из этих немногих сохранившихся примеров относится к XVII в. и представляет юго-западную книжность, украинско-белорусскую редакцию церковнославянского языка.

Особенно показательно, что в картотеке «Словаря русского языка XVIII века» (более двух миллионов карточек-цитат из широкого круга разнообразных по жанру и конкретному содержанию произведений и документов, в том числе и философского плана, трактующих о познании и сознании человека) форма *мышление* также в общем

не встречается. Слово же *мысль* — как в значении конкретного акта ее, так и в более отвлеченном, общем (процесс мысли, сознание) — господствует в употреблении [2]. И это не просто случайность.

Интересующее нас слово, правда в варианте *мысление*, находим в трактате А. Н. Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии», написанном в илимской ссылке (вероятнее всего в 1792—1796 гг.) и опубликованном в «Собрании оставшихся сочинений» Радищева (СПб., 1809. Ч. II, III). Впрочем, и тут оно встречается не часто — 5 раз, обычнее и здесь для выражения значения мыслительная деятельность и мыслительная способность (человека), помимо корневого *мысль*, употребленного 22 раза, встречается новообразование от прилагательного *мысленный* — *мысленность* (27 случаев употребления). Ср.: И естьли скажешь *мысленность* наша отвлекает нас от телесности и две особыя *мысленности* могут быть совокупны относительно *мыслению*! согласен (ч. II, с. 153); Свойства *мысленнаго* вещества суть: жизнь, чувствование, *мысление* (с. 165); Чувственность (т. е. чувствительность. — *Ю. С.*) всегда является с *мысленностию* совокупна, а сия есть свойственна мозгу и в нем имеет свое пребывание (с. 166) и др.

Возникли ли эти производные от глагола *мыслить* и прилагательного *мысленный* существительные, легко образуемые в этом случае, у самого Радищева или он позаимствовал их готовыми из другого источника — решить затруднительно. Вероятнее, что в определенной среде они уже употреблялись к этому времени. См. в переводном философском диалоге «Гилас и Филопус», помещенном в «Московском журнале» Н. М. Карамзина (1792, ч. VII, с. 321): Соглашаясь, что материя по существу своему не удобна к *мысленности*, спрашиваем: не может ли Всемогущий дать ей сего свойства? [3] Во всяком случае оба производные слова вызваны к жизни стремлениям к дифференциации смыслов. И *мысление* и *мысленность* не просто «дублеты» существительного *мысль*; они призваны, очевидно, отчетливее выразить значения 'деятельность, процесс мысли' и 'способность мыслить', 'образ мысли'.

В первые десятилетия XIX в., особенно в научных трудах, критике и публицистике 30-х годов с характерными для этого времени философскими исканиями, *мысление* и *мысленность* встречаются у разных авторов. Например: умозрение выходит из начала, признанного за истину, и идет через ряд последствий по законам *мысления* к истине, для поверки же заключений обращается к природе (Павлов М. Г.

---

[2] По объему выражаемых смыслов русское (славянское) существительное *мысль* совпало с фр. pensée (среди философских сочинений XVIII в. преобладали переводы произведений французских авторов, прежде всего статей из знаменитой «Энциклопедии»). Ср. передачу разных значений этого французского слова в лексически богатом и разнообразном «Полном французском и российском лексиконе» (СПб., 1786, т. II, с. 250); «Помышление, думанье, помысл. . . мысль, дума. . ., мнение, намерение». Слово *мышление* в этом ряду, обильно привлекавшем синонимы как книжного, так и разговорного источника, отсутствует.

[3] Слово *мысленность* включено в «Аналогические таблицы» — предварительный список слов, составленный перед началом работ над «Словарем Академии Российской» (СПб., 1785, ч. 2, с. 137). Заметим, что слово *мысление* в этом списке отсутствует.

Основания физики. М., ч. I, 1833, с. 244); Не у Эверса и Голикова, но в душе русской и в памятниках исторических надобно было ему искать красок для своей картины, а в собственном *мышлении* отыскать черты, какими должно было обрисовать сию картину (Полевой Н. А. Очерки русской литературы. М., 1839, ч. 2, с. 118); Перевес *мысленности* над чувствами и оттуда стремление к единству и сосредоточенью — вот новые струны, которые жизнь новейших народов натянула на сердце человека (Киреевский И. В. Обозрение русской словесности 1829 года. — В кн.: Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, с. 71); *Мысленность* Севера, соединяясь с остроумием и живостию французов, внедрились в характер норманский (Бестужев-Марлинский А. А. Соч. М., 1958, т. II, с. 577). К середине века употребление этих форм в общем затухает. Напротив, с середины 40-х годов постепенно набирает силу и закрепляется в употреблении — рядом с существительным *мысль* — форма *мышление* со значением процессуальности, или, как формально определяет ее «Словарь церковнославянского и русского языка» 1847 г. — «Действие мыслящего».

Такая перемена, несомненно, определилась в связи с «признанием» этой формы в русской лексикографии конца XVIII—первых десятилетий XIX в. Ее впервые помещает «Словарь Академии Российской» в первом своем издании (т. III, 1793), в гнезде, возглавляемом глаголом *Мы́слю, -слишь, мыслить*, при отсутствии этого слова в «Аналогических таблицах» здесь слово *мышление* определяется так: «Думание, представление о чем-либо в мыслях». Ударение дано на первом слоге, что сохраняется как живой акцентологический вариант и до нашего времени[4]. Это корневое ударение, как и отражение исторически древнего смягчения согласного (см. и форму в САР 1 л. ед. ч. наст. вр. глагола), несомненно, свидетельствует об отнесении его составителями словаря к традиционному славянскому пласту лексики. Во втором (алфавитном) издании «Словаря Академии Российской» толкование слова еще более развернуто: «Думание, соображение в уме, представление чего в мыслях». Таким образом, указание на процессуальный оттенок составляет как бы специализацию этого слова.

Впервые вводя в состав русского словаря это слово, лексикографы Российской Академии не располагали еще какими-нибудь авторитетными примерами его употребления ни в живой литературной речи, ни в древних книжных памятниках. Они опирались скорее всего на соображения формально-грамматического, этимологиче-

---

[4] Впервые ударение на суффиксальной части (*мышлéние*) указано в «Новом российско-французско-немецком словаре» И. Гейма (М., 1811, т. 2, с. 136). Оба ударения приводятся в «Толковом словаре. . .» Даля. «Словарь современного русского литературного языка» отдает предпочтение ударению на предпоследнем слоге, вынося его в заголовок словарной статьи; ударение на корне там относится лишь в справочный отдел (правда, без указаний на его ненормативность или устарелость). Представляется более соответствующим сложившейся ситуации приведение на равных правах обеих акцентологических норм в заголовке статьи, как это дано в «Толковом словаре. . .» под ред. Д. Н. Ушакова и в четырехтомном «Словаре русского языка».

ского порядка: наличие таких употребительных производных существительных, как *помышление*, *замышление*, *умышление*, *размышление*, как бы удостоверяло и факт существования беспредложного существительного с той же суффиксальной частью. Для «корнесловного» лексикона, каким был первоначально задуман этот словарь, подобные соображения имели безусловную убедительность и отражены в практике составления словаря. Но, возможно, при этом учитывались и факты, отраженные в другой отрасли восточнославянской книжности и в оставшихся от нее лексикографических пособиях. Эти данные относятся к юго-западной, украинско-белорусской книжности.

Лексикографические сведения о слове *мышление* находим в словарях и словариках, пояснявших книжно-славянские слова «простыми» их синонимами, взятыми из так называемой «мовы русской», из письменного делового языка, бытовавшего на юго-западе. Ср. в анонимном рукописном словаре середины—второй половины XVII в.: «Мышленіе—мудрованіе» [5]. Любопытно, что в данном случае слово, казалось бы, явно книжно-славянского источника попадает на левую сторону листа, где обычно даются слова, обычные в простой мове, отчасти восточнославянские, отчасти заимствованные, но ставшие в книжной речи юго-запада привычными; см. там же: *нарушеніе—истненіе*, *натура—естество*, *наученіе—учительство* и под. Это как будто бы дает указание на распространенность, обычность слова *мышление* в письменной речи юго-запада (хотя в Лексисе Лаврентия Зизания, как и в «Лексисе с толкованием словенских мов просто» *мышление* отсутствует). В другом лексикографическом памятнике украинского происхождения — Лексиконе Памвы Берынды слово *мышленье* (*мысленье*) находим только в толкующей части при словах *мудрование* и *мы́сль*: «Мудрова́ніе. . ., вырозумѣва́нье, му́дрость, му́дрованне, мышлѣне; мы́сль: си́ла душевная, кото́рою мыслимо, то́есть умъ, ра́зум, или дша. Мы́сль: (дѣяніе, мыслѣнье, помышле́нье» [6]. Здесь отражена и специализация формы как имени действия (как и типичное для юго-запада ударение на суффиксальной части)[7]. Отметим, также, что в «Лексиконе латинском» Епифания Славинецкого при толковании лат. cogitatio используются только два его славянских соответствия: *мысль* и *помышление* [8].

---

[5] Лексис Лаврентія Зизанія. — Синоніма славенороссkая / Подг. текстов В. В. Немчука. К., 1964, с. 129.

[6] Лексикон словенороський Памви Беринди / Подг. текста В. В. Немчука. К., 1961, с. 66 (в передаче текста нами допущены отдельные графические упрощения).

[7] Ср. также польск. myślenie. В словаре Линде (Słownik języka polskiego przez M. S. B. Lindo, 1—6. Lwów, 1855) это слово отдельно не дано, но среди примеров на глаголы myśleć, myślić дан следующий, взятый из книги Кнапиуша (Кнапского) «Adagja» (1632): «Myślenie stoi pod czas za czynienie» (s. 524).

[8] Лексикон словено-латинський Е. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. К., 1973, с. 128.

* * *

Чем бы ни стимулировалось появление в русском литературном употреблении формы *мышление*, она с середины XIX в. все чаще встречается наряду с общим традиционным существительным *мысль*. Ср., например, в статье Н. А. Добролюбова «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» (1858): Совершенство *мышления* зависит непременно от обилия и качества данных, находящихся в голове человека (Собр. соч. М.; Л., 1962, т. 3, с. 271) — Все национальные перекоры о взаимных преимуществах — исчезают в *мысли* человека, правильно и вполне развившегося (с. 263). См. в «Настольном словаре для справок по всем отраслям знания» Ф. Г. Толля (в статье «Материализм»): Материализм существует с тех пор, как началось философское *мышление* (СПб., 1864,т. II, с. 816). В предисловии Н. Г. Чернышевского к 3-му изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» (1888): Большинство натуралистов, пытающихся строить широкие теории законов деятельности человеческой мысли, повторяют метафорическую теорию Канта о субъективности нашего знания, толкуют со слов Канта, что формы нашего чувственного восприятия не имеют сходства с формами действительного существования предметов, что поэтому предметы действительно существующие, и действительные качества их, действительные отношения их между собою не познаваемы для нас, и если бы были познаваемы, то не могли бы быть предметом нашего *мышления*, влагающего весь материал знаний в формы, совершенно различные от формы действительного существования, что и самые законы мышления имеют лишь субъективное значение (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1949, т. II, с. 125). Отрывки из этого предисловия с полным сочувствием цитирует В. И. Ленин в добавлении к главе IV «Материализма и эмпириокритицизма»). Примеры такого употребления в это время уже достаточно обычны.

Термин *мышление* находим и в первых философских марксистских работах в России. Например, в произведении Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895): Абсолютная идея (у Гегеля. — *Ю. С.*). . . есть не что иное как олицетворение нашего логического процесса *мышления* (Плеханов Г. В. Избр. философские произведения. М., 1965, т. I, с. 635); Нелегко понять это метафизику, который, хотя и кричит о взаимодействии, привык рассматривать явления одно после другого и одно независимо от другого. Напротив, без труда понимает это человек, хоть немного способный к диалектическому *мышлению* (с. 643) и др. Однако и в это время встречаются еще случаи, когда авторы предпочитают употреблять существительное *мысль*. Так, в книге А. А. Потебни «Мысль и язык» (1862) *мышление* не встретилось ни разу, употребляется только *мысль*.

Термин *мышление* — наряду со словом *мысль*, в его общем процессуальном значении, и со словом *сознание* — широко употребляется в работе В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Здесь оно как устойчивый термин встречается (противостоя другому

ряду терминов, выражающих явления материальной действительности: материя, действительность, бытие) и в его собственном тексте и в переводах цитат из сочинений Маркса, Энгельса, И. Дицгена (переводах, принадлежащих в большей части случаев самому Ленину), и в цитатах и пересказе мест, трактующих об основном вопросе философии — отношении бытия и сознания, из различных других источников. Так, *мышление* всего употреблено 89 раз (из них 15 приходится на собственный ленинский текст, 23 — на переводы из Маркса—Энгельса и Дицгена) слово *мысль* в том же значении употреблено 42 раза (11 раз в собственном ленинском тексте, 28 — в цитатах и передаче суждений других авторов); термин *сознание* употреблен 52 раза (в собственном ленинском тексте — 19 раз, в цитатах из классиков марксизма — 2, из работ других авторов — 31 раз). Заметим, что закреплению формы *мышление* в русском употреблении бесспорно способствовало соответствие ей в философских работах на немецком языке также отглагольного существительного Denken.

Терминологически определенное и устойчивое употребление слова *мышление*, наряду со словом *сознание*, в качестве ведущего обозначение отражения объективной действительности в мозгу человека, в основополагающем труде В. И. Ленина не могло не иметь решающего влияния на судьбу этого термина в философской литературе, на его прочное усвоение и распространение в языке. Еще один импульс получает употребление термина *мышление* в XX в. в связи с опубликованием в 1933 г. полного русского перевода произведения Маркса и Энгельса «Немецкая идеология», подготовленного к печати Институтом Маркса-Энгельса-Ленина. Содержавшиеся в нем положения о неразрывной связи мышления и языка как практического сознания получили особое значение для постановки и разработки в советском языкознании одной из основных его теоретических проблем.

«Биографию» слова, даже самого обычного и утвердившегося в языке, часто нелегко представить не только в отдельных ее деталях, но и в важнейших, решающих эпизодах его существования. Непрерывность эволюции словарного состава не исключает наличия отдельных критических точек и резких переходов, радикального изменения статуса отдельного слова в языковом его употреблении в течение длительного времени. Основные этапы истории слова *мышление* подтверждают это. Вместе с тем подтверждается и то особое значение, которое имеет для судьбы слова-термина его связь в определенную эпоху общественного развития с живой, развивающейся теорией.

ЗАМЕТКИ ПО СЛАВЯНСКОЙ ДЕМОНОЛОГИИ. 3. ОТКУДА НАЗВАНИЕ *ШУЛИКУН?*

Н. И. Толстой

На русских «загадочных водяных демонов — шуликунов» (выражение Д. К. Зеленина) впервые обратил внимание Ломоносов. В своих черновых набросках и заметках о русской мифологии, еще недостаточно исследованных [1], он дал списки известных ему и, по-видимому, наиболее существенных для него персонажей и предложил параллельную схему римской и русской мифологии (тем самым как бы построив предварительную систему русской мифологии по древнеримской модели). Например: «Лешей, полудница, шилыкун, водяной, домовой, бука, нежить, кикимора, яга-баба, обмены, вспометовать всех их действия. Змей летает, с лешим бутто бабы живут. Русалка» (л. 15); «изъян, помха» (л. 149);

«Юпитер—Перун	Шуликун
Юнона — Коляда	Здунай
Нептун — Царь морской	Дида
Тритон — Чуда морские	Яга-баба
Венера — Лада	Обмен
Купидо — Леля	Змей летучей
Церера — Полудница и т. д.	Гиганты волоты
	нежити, кикиморы»
	(л. 149 об.) [2]

Как видно из цитат, *шилыкун*, подобно некоторым другим персонажам (*Яга-баба*, *кикимора*), повторен дважды, притом в первом случае *шилыкун* отмечен третьим по порядку, а во втором случае первым. Правда, он не охарактеризован в смысловом отношении и ему не нашлось параллели в древнеримской мифологии [3].

В течение целого столетия и более слово *шилыкун* не привлекало к себе внимания ученых и лишь к концу XIX в. заинтересовало исследователей в связи с его бытованием в якутской среде (в форме *селиканы*, *сюлюканы*). В 70 — 80-х годах XIX в., не задаваясь целями лингвистического анализа и подробного этнографического описания демонологического персонажа, А. Павловский и А. П. Щапов писали о якутских сюлюканах как о компоненте якутской мифологии,

---

[1] См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. М., 1958, кн. I, с. 88—89.

[2] *Будилович А.* М. В. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869, с. 31—32; *Ломоносов М. В.* Избр. философские сочинения. М., 1940, с. 314—315. — Рукопись М. В. Ломоносова с заметками о русской филологии находится в Архиве АН СССР (Ф. 20, оп. I, № 5, л. 15 и 149).

[3] О близости М. В. Ломоносова к целостному (системному) восприятию русских мифологических персонажей можно судить по тем же черновым заметкам: «Мы бы имели много басней как Греки, естьли б науки в идолопоклонстве у россиян были». И он, видимо, считал нужным сделать описание мифологических персонажей, их действий, ситуаций и т. д.

который был затем заимствован русским населением Сибири (сибирск. иркутск. *шиликун*, *шиликуны*) [4]. Однако еще в конце XIX в. В. Л. Серошевский отметил возможность обратной ситуации — влияния в этом случае русских на якутов [5]. Эту мысль в 20-х годах нашего века поддержал и развил известный сибирский этнограф и фольклорист Г. С. Виноградов, посвятивший интересующей нас проблеме отдельный очерк «Шулюканы. Заметки по вопросу о культурном взаимодействии русских и якутов». Он показал, что название и носящий его персонаж известны далеко за пределами Якутии (*шуликун*, *шиликун* и т. п.) и распространены в районах, не находившихся в каком бы то ни было соприкосновении с якутами (в Сибири и на Русском Севере); и более того, если шуликун и неславянского происхождения, то «к якутам принесен славянами и вошел в мифологию якутов вместе с христианством» [6]. С этим положением вполне согласился Д. К. Зеленин, посвятивший северно-русским шуликунам обстоятельную работу, значение которой велико и в наше время: «Непопятно распространение этого имени с крайнего востока Азии на север Европы; противоположное направление, вместе с русской колонизацией Сибири, было бы много понятнее» [7].

Д. К. Зеленину принадлежит и самое подробное пока описание русских народных представлений о шуликунах и того славянского этнокультурного контекста, на фоне которого они выступают. Шуликун обычно не живет в одиночку; шуликуны живут группами, ватажками. Они малы ростом, иногда с кулачок, иногда побольше. На Святки от Рождества до Крещения (Богоявления) они выходят из воды, бедокурят, затем на суше исчезают. Из воды, из крещенской Иордани после водосвятия они вылезают, позднее снова туда возвращаются, но могут забраться и в дома, и тогда в амбарах, благодаря им, незаметно кончаются припасы (Русское Устье Якутск. обл.) [8]. В некоторых зонах водная ипостась демона была выражена неярко или вовсе отсутствовала. В тобольских деревнях говорили на Святки: «Шуликун утащит кудельку» (так пугали ленивых прядильщиц, побуждая их к Святкам выпрясть куделю) [9]. В пермских краях остроголовые шуликуны «в Святки толклись на перекрестках дорог, а также около прорубей, пугая православных». В Сибири шуликуны

---

[4] *Павловский А.* Поездка из Якутска на Угурскую ярмарку. — Зап. Сибирского отд. имп. Русского географ. о-ва, 1863, т. VI, отд. I; *Щапов А. П.* Историко-географические и этнографические заметки о сибирском населении. — Изв. Сибирского отд. имп. Русского географ. о-ва, 1872, т. III, № 4.

[5] *Серошевский В. Л.* Якуты. Опыт этнографического исследования. СПб., 1896, т. I, с. 670.

[6] *Виноградов Г. С.* Очерки по изучению Якутского края. Иркутск, 1927, вып. I, с. 23.

[7] *Зеленин Д. К.* Загадочные водяные демоны «шуликуны» у русских. — In: Lud Słowiański. Kraków, 1930, t. I, z. 2, с. 236—237. — С чисто лингвистической точки зрения при переходе якутск. *сюлюкун* в русск. *шуликун* едва ли понадобилось бы изменение *с* > *ш*, а при заимствовании из русского обратные процессы естественны.

[8] *Зензинов В. М.* Русское Устье Якутской области. — Этнограф. обозрение, 1913, кн. XCVII—XCVIII, № 1—2, с. 199.

[9] *Зобнин Ф.* Список тобольских слов и выражений. — Живая старина, 1899, ч. IX, вып. 4, с. 517.

«подкарауливали все, что кладут не благословясь, и все это была их добыча» [10]. Там же взрослые пугали детей словами «не ходи в лес — шуликун пымает» (ленинградская картотека «Словаря русских народных говоров»). Эти факты, так же как и обильный новый полевой материал из Архангельской обл. и из бывших губерний Олонецкой, Пермской и Вятской, показывают, что внешний облик шуликунов, их функции, наконец, их сезонность полностью укладываются в довольно стандартные рамки славянских и, шире, европейских представлений о демонах, действующих в период зимнего двенадцатидневья. Этот «бесовский сезон» известен у сербов под именем «некрещеных дней», «нечестивых дней», «бабиных дней», «несчастливых (несрећни) дней», у болгар — «погапых дней», «караконджовых дней» и т. п. При этом сербские и болгарские каракопджулы имеют много параллельных черт с шуликунами. Такую функциональную идентичность шуликунов с водяными (вологодск.), некрещеными детьми — «потерчатами» (белорусск.), чертями, сидящими в воде (украинск.), отмечал и Д. К. Зеленин, указав, что на Русском Севере шуликунами называются и святочные ряженые, внешний облик которых, как известно, схож и с балкано-славянскими колядовщиками (коледарами, джамалари и т. п.).

Но если в славянской сущности, в славянском характере шуликунов Д. К. Зеленин не сомневался, то славянский облик, славянские истоки самого слова *шуликун* он отрицал: «Слово *шуликун*, безусловно, неславянское по своему происхождению». В качестве наиболее веского аргумента в подтверждение своего мнения о неславянской этимологии слова *шуликун* он считал его неустойчивость и приводил варианты слова: *селикан*, *шеликан*, *шалыкан*, *шолыган*, *шилихан*, *шулюкан*, *шуликан*, *шиликун*, *шилкун*, *шаликун*, *шуликун*, *шелюкин* [11]. Однако этот аргумент без анализа материала очень шаток: во-первых, слово *шуликун* принадлежит к такой сфере лексики, где возможны экспрессивные фонетические и словообразовательные «сдвиги»; во-вторых, важно принимать во внимание географию слов, иноязычное окружение, контакты (см. сноску [11]). Попутно отметим, что русское (восточнославянское) слово *шулик*, *шуляк* 'коршун' имеет варианты *шульпек*, *шулйка*, *шулёк*, *шулёка* [12] (Об этом несколько подробнее будет сказано далее).

---

[10] *Зеленин Д. К.* Указ. соч., с. 233.

[11] *Зеленин Д. К.* Указ. соч., с. 237. — К сожалению, Д. К. Зеленин не обратил внимание на географию «вариантов», из которых некоторые (единичные) могут иметь иную этимологию или оказаться результатом контаминации двух разных этимонов (корней). В приведенном нами списке Д. К. Зеленин начал с «окраинных» примеров — с сибирских и тех, что зафиксированы в зоне якутско-русских и подобных контактов. Для этой зоны характерны переход *ш* > *с* и смягчение *лю*, *сю* и т. п. Ср. зафиксированное у русского населения Колымы в конце XIX в. *шелюкин* (*шелюкин*) 'водяной дух, живущий в проруби, но по ночам выходящий на лед'. Ср. также запись В. М. Зензинова *шёликаны* и *селиканы* (Русское Устье Якутской обл.). Если учесть географию и языковые контакты, картина окажется довольно упорядоченной и совсем не такой нестрой.

[12] *Толстой Н. И.* Из великорусской диалектной семантики. — В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков. М., 1970, с. 263.

Истоки слова *шуликун* Д. К. Зеленин искал в Волжской Булгарии и считал, что, возможно, «волжские булгары были центром, откуда в глубокую старину распространялось это слово вместе с самим понятием». Далее он заключал: «Очень близкий к шуликуну демон *вожо* волжских финнов и чуваш почти не оставляет сомнения в том, что волжским булгарам был известен соответствующий мифологический образ. Из турецких языков наше загадочное слово *шуликун* легко объяснимо. В османском, джагатайском, барабинском и казак-киргизском языках известно слово sülük в значении: пиявка. Предполагаемое турецкое sülük-kan означало бы: хан пиявок, что вполне приличествует мелким водяным духам, детишкам водного хозяина» [13]. Так возникла первая — тюркская — этимология слова *шуликун*.

Возможность заимствования слова *шуликун* из якутского и из коми языка одновременно (т. е. из тюркского и угро-финского) выдвинул в 1977 г. Р. Г. Ахметьянов. По его мнению, коми šulejkin 'водяной', тат. диал. башк. šülgän 'злой дух', позже 'подводный царь, имеющий под водой бесчисленные стада скота', русск. диал. *шуликун* 'нечистый дух', 'ряженый', якут. sülükun 'хозяин подводного мира, разводящий скот', «по всей вероятности, являются звеньями одной цепи». Он видел в фонетически приближенных тюркских и угро-финских формах одно общее — булгаро-чувашское — начало, восходящее в свою очередь к монголо-китайскому источнику, сближая их с кит. *шуй-лун* 'водный дракон', *шуй-лун-хуан* 'император водных драконов' и др.[14]

Не имея возможности подробно анализировать здесь сопоставления и примеры Р. Г. Ахметьянова, ибо это заставило бы углубиться в материал тех языковых семей, которые находятся вне сферы наших специальных занятий, мы должны отметить произвольность таких сопоставлений, как кит. *шуй-лун-хуан* и русск. *шуликун*, разделенных огромным пространством, временем возникновения и семантической сущностью. Приблизительное фонетическое и еще более рискованное семантическое и функциональное сближение (по связи с новогодним обрядом) делает рассуждения Р. Г. Ахметьянова малоприемлемыми, во всяком случае для этимологии русского слова *шуликун*. Сомнительно и предположение о различном происхождении русского *шуликун* (заимствование на Русском Севере из языка коми, а в Якутии — от якутов). И все же в принципе и применительно к другому материалу нельзя отрицать некую общность древних евразийских представлений о сверхъестественной силе и полезность изучения фактов этого огромного макроареала, в котором взаимодействовали «культурные

---

[13] *Зеленин Д. К.* Указ. соч., с. 234. — Далее следует еще более фантастическое: «В джагатайском языке отмечено sülükän в значении «какой-то плод желтого цвета» (В. В. Радлов); если это желтые водяные кувшинки (Nymphaea), то это значение вполне мирилось бы и с пиявкой sülük и с шуликунами» (с. 237).

[14] *Ахметьянов Р. Г.* Некоторые термины обрядов и мифологии булгаро-чувашского происхождения у народов Урало-Поволжья. — Сов. финно-угроведение, 1977, т. XIII, № 2, с. 98—99; *Он же.* Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М., 1981.

циклопы» с Востока на Запад и с Запада на Восток, однако следует начинать его изучение с более надежных сопоставлений в меньших и более четко очерченных зонах [15].

Финскую этимологию слова *шуликун* предложила двумя годами раньше Р. Г. Ахметьянова (в 1975 г.) О. А. Черенанова в своей заметке о севернорусской демонологической лексике. Она обратила внимание на запись А. Я. Минха, относящуюся к мордовскому населению Саратовской губернии: «На голову бабы надевают нечто вроде мешка, спереди твердо вышитого разными шерстями, преимущественно красной, блестками и мишурой. Это — шалыган, в который они убирают голову совсем с ушами, так что и волос нигде не видно, кроме как на висках. . . ; сзади шалыган стягивается завязкой и опускается на спину белым холщевым или коленкоровым четырехугольным концом» [16]. Затем она из разных, известных ей «фонетических вариантов» выбрала форму *шилихан* как исходную, не установив, что она относится к единичной пока фиксации А. А. Шустикова в Вологодской губернии [17], и, не проверив ее этимологию, построила ряд *шилихан — шиликон — шиликун — шуликун* [18]. Однако если считать все эти слова этимологически связанными (что требует некоторой проверки), то следует на основании частотности зафиксированных вариантов и, главное, их географии устанавливать, пожалуй, обратный порядок развития форм и брать за исходную форму *шуликун*. Эта форма с вариантом *шиликун* и является самой распространенной и хорошо сохранившейся до сих пор. Мордовские истоки русского слова *шуликун* мало вероятны не только из-за значительной удаленности саратовской мордвы от б. Архангельской, Олонецкой, Пермской и Вятской губерний, но и потому, что русские шуликуны в большинстве своем остроголовые или в остроконечных колпаках (почти общерусское и общеславянское явление; ср. древнерусские изображения бесов), что, кстати, отмечает и сама О. А. Черепанова: *шуликуны* — бесы в остроконечных шапках. . . *шуликуны* — люди, имеющие вытянутую по форме голову (по данным Г. И. Куликовского и др.) [19].

О. А. Черепанова с некоторой и, безусловно, обоснованной осторожностью («менее вероятно, но все же допустимо») предлагает тунгусо-

---

[15] На этом основании более убедительным оказался у Р. Г. Ахметьянова анализ таких слов, как nardugan 'святки, святочные игры, гадания' (тат., башк., чуваш., удм., морд.), šürəl 'леший'.

[16] *Минх А. Я.* Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. СПб., 1890, с. 9—10.

[17] Рукопись А. А. Шустикова «Этнографические материалы из Тавреньги Вельского уезда» (Архив РГО), относящаяся к 90-м годам XIX в., содержит следующую запись: «*Шилыханы* — мальчишки, пакостники и шалуны, живут в заброшенных постройках и пустых сараях, непременно артелями; они дразнят пьяных, кружат их, толкают в грязь; проделки их над человеком не наносят существенного вреда» (см.: *Зеленин Д. К.* Описание рукописей Ученого архива имп. Русского географического общества. Пг., 1914, вып. I, с. 264).

[18] *Черепанова О. А.* Демонологическая лексика севернорусских говоров. — В кн.: Севернорусские говоры. Л., 1975, вып. 2, с. 136.

[19] Там же, с. 135.

маньчжурскую (эвенкийскую) этимологию от эвенкийск. *хулихун* 'маленький (по размеру)' (ср. *хули* 'малыш'). При этом снова в качестве аргумента приводится наличие этого слова (хотя и в ином фонетическом обличьи!) в русских говорах около Иркутска, Тобольска и на Камчатке [20]. Но вновь можно задать вопрос: не в ином ли направлении шло культурное и языковое влияние в эпоху, когда русские переступили за Камень (Урал), и какие заимствования из эвенкийского известны в русском и в других языках, бытующих в Восточной Сибири? Домыслы Г. Н. Потанина, выводившего еще в 1883 г. русск. *шуликун* из маньчжурск. *шулихунь* 'заостренный' (все по той же причине острых шапок и заостренности головы) [21], имели несколько больший «семантический вес», хотя и они не выдерживают критики. Именно по их поводу Д. К. Зеленин и высказал приведенную выше мысль о непонятности распространения рассматриваемого демонологического термина с крайнего востока Азии на север Европы.

Следует при этом отметить, что авторы, выступившие по поводу этимологии русск. *шуликун* в последнее десятилетие (О. А. Черепанова, Р. Г. Ахметьянов), не обращались к упомянутым выше трудам Г. С. Виноградова, Д. К. Зеленина и других. Более того, Р. Г. Ахметьянов в 1977 г. прошел мимо работы О. А. Черепановой 1965 г., а О. А. Черепанова в книге 1983 г. [22] ни словом не обмолвилась о разысканиях Р. Г. Ахметьянова. Это во многом и побудило нас еще раз после Д. К. Зеленина обратиться к достаточно подробному обзору мнений по вопросу: откуда название *шуликун*?

М. Р. Фасмер в свое время отказался отвечать на этот вопрос, написав лишь одно слово: «Неясно». Такой же пометой он снабдил и русск. *шуляк*, *шулик* 'вид коршуна'. О. А. Черепанова по этому поводу заключила: «слово *шуликун* — *шиликун* помечено в словаре М. Фасмера как этимологически неясное. Действительно, в силу семантической и словообразовательной изоляции слова в современных говорах непосредственные его источники указать трудно» [23]. Далее следует уже изложенная этимология на основе мордовск. *шылыган* 'бабий головной убор'.

Так ли изолировано это «загадочное» слово и в семантическом, и в словообразовательном отношении? Действительно ли его этимологию следует искать вне славянского лексического фонда, вне славянских языков или оно имеет в славянских языках и родственные слова и корни? Обратимся к фактам.

В сборнике, посвященном 70-летию Виктора Ивановича Борковского, мне была предоставлена приятная возможность поместить

---

[20] Еще более сомнительны рассуждения автора о возможности видеть в фонетических вариантах русских слов (*шиликун*, *шуликун* и т. п.) отражение особенностей эвенкийского фонетического строя (*Черепанова О. А.* Указ. соч. с., 136).

[21] *Потанин Г. Н.* Очерки Северо-западной Монголии. СПб., 1883, вып. IV. Материалы этнографические, с. 744.

[22] *Черепанова О. А.* Мифологическая лексика русского Севера. Л., 1983.

[23] *Черепанова О. А.* Демонологическая лексика севернорусских говоров, с. 135—136.

статью в его честь. В статье рассматривалось происхождение севернорусского слова *ястребуха* 'незавившийся качан капусты' в связи с этимологией и историей слова *шуля́к* 'я́стреб, коршун' и отмечалось, что 'ястреб' и 'коршун' могут иметь еще названия: русск. *шули́к*, *шу́лик*, *шульпе́к*, укр. *шуля́к*, *шули́к*, *шули́ка*, *шулёка*, *шулень*, *шула́ш*. Часть этих лексем может относиться также к 'незавившемуся качану капусты': укр. *шуля́к*, *шуля́х* (умск.), *шуляч́ок*, часто мн. *шуляки́*, *шуля́ччя*. Этимология этих слов, на наш взгляд, прозрачна: она восходит к праслав. *šujь 'левый', 'плохой', 'нечистый', 'неправедный', 'негодный' (противопоставленному *desnъ 'правый' и *pravъ 'правый', по чаще 'прямой', а также 'справедливый, истинный', 'праведный', 'годный'; ср. *правота*, *право*, *правда* и др.). Старинные народные представления о принадлежности бесов и всей нечистой силы к левой стороне, а ангелов и праведной силы к правой — общеизвестны. Изложение материала на эту тему заняло бы слишком много места [24]. Достаточно напомнить, что, помимо *lěvъ и *šujь, семема 'левый' может выражаться лексемами *xidъ, *krivъ, а семема 'правый', помимо лексем *desnъ, *pravъ, может быть передана лексемой *dobrъ [25].

Поэтому трудно говорить о семантической изолированности слова *шуликун*. Славянская демонология знает множество названий бесов, созданных по этой модели. Достаточно привести только русский материал из работы Д. К. Зеленина о восточноевропейском табу слов: *недобрик*, *недобрый*, *нехороший*, *худой*, *негодный*, *негодная сила*, *нечистик*, *нечисть* и т. п.[26] С. Максимов указывает непосредственно на русское название черта — *левый* [27]. Это один из очень распространенных способов номинации нечистой силы [28]. Нельзя говорить и о словообразовательной изолированности, так как суф. *-ун*, означающий (так же, как и суф. *-ик*) действующее лицо, широко известен в славянской демонологии и в первую очередь в русской демонологии: *шишкун*, *шептун*, *шатун*, *ведун*, *лизун*, *вещун*, *колдун* (ср. белорусск. *морун*, *тряпун* 'падучая', укр. *чаклун* и т. п.) [29]. Р. О. Якобсон не без основания видел в слове *Перун* тот же суф. *-ун*, который «безусловно обозначал изрекле именно действующее лицо» [30]. В боль-

---

[24] *Толстые Н. И.* и *С. М.* К семантике правой и левой стороны в связи с другими символическими элементами. — В кн.: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам, I (5). Тарту, 1974.

[25] См.: *Толстой Н. И.* Из географии славянских слов. 3. Правый — левый. . . — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. М., 1965, с. 135—140.

[26] *Зеленин Д. К.* Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. — В кн.: Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1930, т. IX, с. 93—97.

[27] *Максимов С.* Нечистая сила. СПб., 1899, с. 11.

[28] О другом способе номинации по месту обитания см.: *Толстой Н. И.* Из заметок по славянской демонологии. 1. Откуда дьяволы разные? — В кн.: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам, I (5).

[29] *Зеленин Д. К.* Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии, с. 107—112.

[30] *Якобсон Р. О.* Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии. — В кн.: Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук. М., 1970, т. 5, с. 610.

шинстве случаев этот суффикс действующего лица присоединялся к отглагольным корням (*шептун*, *шатун*, *лизун*), но известны случаи, к тому же и на Русском Севере, когда он присоединялся к корням прилагательного (ср. у Даля: «Бѣлун м. *западн.* (бѣл—бог?) род доброго домового; белобородый, в белом кафтане и с белым посохом; является с просьбою утереть ему нос, и за это сыплет деньги носом»[31]; также *белун* череповецк. 'прозвище белотелого человека'; *белун* новгород., тихвинск. 'беловатая глинистая почва') и к корням существительного (*шишкун*). Из той же северновеликорусской зоны можно привести значительное число этнографических примеров, демонстрирующих любовь нечистой силы к левой стороне. Бесовский коллега и собрат шиликуна вологодский *батма́н*, *бата́ман*, *бата́мушко* имеет такую склонность: «Чтобы задобрить батамушку, связал ему из белой шерсти рукавицы, обе на левую руку»[32]. А может быть, у батамушки обе руки левые?

Таким образом, слово *шуликун* не изолировано в славянском мире ни в семантическом, ни в словообразовательном, ни в этнолингвистическом (и даже чисто этнографическом) отношении. Может быть, можно говорить о некоторой его обособленности в плане географическом, так как в средне- и южновеликорусских диалектах оно не зафиксировано, так же как не зафиксировано и в украинском и белорусском языках. Все же южнославянская языковая зона дает если не прямое, то во всяком случае ценное соответствие: в болгарских родопских диалектах *шулек* 'незаконнорожденный ребенок', а в южномакедонских кукушских диалектах *шу́л'ко* 'обращение к еще не крещеному мальчику' (эти примеры анализировались нами в статье о слове *ястребуха*[33]). Если учесть, что шуликуны бывали особенно активны в период Святок, которые у сербов называются некрещеными днями (некрштени дани) и в качестве таковых воспринимались в прошлом и на Русском Севере, если учесть, что на том же Севере шуликуны считались остроголовыми мелкими бесами, похожими на детей, южнославянское соответствие не покажется случайным. Не случайно, вероятно, также в Сербии в зоне Крагуевацкой Ясеницы (Шумадия) ряженые, обходившие дома на Масляницу (Бела Недеља), назывались *шиљкани*[34] (ср. сев.-русск. *шуликуны* 1. 'бесы на Святки', 2. 'ряженые на Святки). Эта параллель также интересна, однако она скорее этнографическая, чем языковая, так как сербск. диал. *шиљкани*, надо полагать, этимологически связано со словом *шиљаст* 'заостренный' (ср. общеслав. **šidlo* 'шило'), хотя возможность исходной формы *шуљкани* категорически отвер-

---

[31] Любопытно привести для сравнения описание тобольского ряженого шиликуна, данное Ф. Зобниным: «Шуликунами называются такие нарядчики, которые одеваются в белое (покойницкая одежда), на голову одевают остроконечный берестяной колпак, в рот вставляют репные зубы, лицо расписывают себе углем и белой глиной» (*Зобнин Ф.* Указ. соч., с. 517).

[32] Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1966, вып. 2, с. 140.

[33] *Толстой Н. И.* Из великорусской диалектной семантики, с. 261—262.

[34] *Павловић І. М.* Живот и обичаји народни у Крагујевачкој Јасеници у Шумадији. Београд, 1921, с. 97.

гать трудно (ср. русск. *шуликун* > *шиликун* и т. п.). В таком случае помимо македонск. *шу́л'ко* была бы еще одна яркая южнославянская параллель.

Любопытны и примеры семантической эволюции слова *шуликун*, зафиксированные новейшими словарями русских говоров Сибири и Дальнего Востока: новосибирск. *шу́ликин* 'ряженый', забайкальск. *шили́куны* 'группы играющих детей', *шуликáн* 'святочный пирог', приамурск. *шилюканы*, *шилюки́* 'маленькие дети, мелюзга'. Картотека Архангельского областного словаря дает ряд ценных фиксаций интересующего нас слова без суффикса *-ун* или с иными суффиксами: *шулики* 'ряженые' (мезенск.), 'мужчины, купающиеся в проруби зимой' (пинежск.), *чели́каны* 'водяные духи', (пинежск.) и в выражении *всё до чи́лика* 'все до конца' (лешуконск.) и т. п. (За возможность ознакомиться с архангельскими примерами приношу большую благодарность О. Г. Гецовой).

Можно было бы указать и на русские и вообще славянские представления о сезонном превращении кукушки в ястреба (ср. поговорку *променял кукушку на ястреба*) и о мифологических свойствах ястреба как вместилища злой души (ср. перевоплощение: душа → птица), однако этот вопрос требует своего рассмотрения в более широком мифологическом контексте. Тем не менее этот момент мог повлиять на образование слова *шуликун* (*шулик* → *шуликун*).

КНЯЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ XI—XII ВВ.

В. Ю. Франчук

Язык княжеских посланий, включенных в древнерусские летописи в качестве особого вида дипломатических документов («речей»), не изучался. Более того, самое их существование подвергается сомнению, и многие исследователи-филологи принимают высказанное до открытия берестяных грамот предположение о том, что в XI—XII вв. правители восточнославянских княжеств вели переговоры лишь в устной форме [1]. В связи с этим изучение грамматической структуры данной разновидности текстов, важное само по себе, приобретает решающее значение в деле установления их характера. Ниже остановимся на особенностях формуляра посланий.

Не все княжеские послания, включенные в летописи, имеют законченный вид. Как правило, летописцы обращаются с их текстами свободно, отбирая для своего изложения лишь самое существенное. Естественно, что наиболее страдают при этом начало и конец документа, не несущие информации. Можно думать, что не все документы

[1] История вопроса рассматривается в ст.: *Франчук В. Ю.* О языке древнерусской дипломатии. — ВЯ, 1984, № 4.

имели полный формуляр и при их составлении. Изученный материал свидетельствует, что такой его элемент, как приветствие, зачастую передавался послом в составе специального оборота, которым по дипломатическому этикету начиналось посольство [2]. В оборот обязательно входили: 1) подлежащее, указывающее на степень родства или вассальной зависимости; 2) дополнение, обозначающее адресата речи; 3) сказуемое, передающее смысл высказывания: и тако емоу ре(ч) посолъ Ростиславль. бра(т) ти молвить (II, 356) [3]. Иногда оборот распространялся именем князя или князей, от которых прибыл посол: Володимири же моужи. Изѧславли рекоша емоу. бра(т) ти молвить Володимиръ Изѧславъ (II, 375). При существительном могло употребляться притяжательное местоимение, а весь оборот нередко начинался или заканчивался наречием способа действия тако: и ре(ч) ему посолъ Изѧславль. тако ти молвить Изѧславъ бра(т) твои (II, 374). Порядок слов в таком обороте обычно свободный, но, если в него входит слово, передающее приветствие, оно ставится в препозиции к глаголу говорения. Например: в то же верема посолъ. пригна изъ Оугоръ. къ Изѧславу ѡ(т) сна е(г) Мьстислава. и ре(ч) снъ ти сѧ клапѧеть. и тако молвить (II, 434); и ту пригна ему посолъ. ѡ(т) короля въ стѣ дружины и ре(ч) Изѧславу зать ти сѧ король клапѧеть. и тако ти молвить (II, 447).

С оборотом, которым начинается речь посла, в определенном соотношении находятся обороты, которыми отправитель сопровождает его отправление. Например, Вячеслав Владимирович так напутствует своего мужа: поѣди къ брату Гюргеви. брата ѡ(т) мене цѣлуп. . . тако молви брату моему (II, 428—429). В сходных выражениях обращается Ярослав Галицкий к послу киевского князя: а ны(н) поѣди къ ѡ(т)цю своему Изѧславу. а ѡ(т) мене сѧ ему поклони. и се ему ѣвиши (II, 464). Вслед за подобной фразой посол передает княжеское послание уже от имени отправителя. Этот текст и рассматривается нами как документ.

Структурно он делится на три части. В первой находится наименование лица, которому адресовано послание. В отдельных случаях в эту часть включается приветствие, пожелание ему или же сообщение о начале переговоров. Вторая часть заключает в себе основное содержание документа. В ней выделяются две единицы. В первой (А) излагаются обстоятельства и причины, побудившие направить послание. Вторая (Б) содержит указание на те действия, которых ожидает отправитель в связи со своим обращением. Нередко эта единица заканчивается предупреждением адресату (В). В третьей (заключительной) части отправитель послания, как правило, выражает надежду на помощь высших сил.

---

[2] См.: *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947, с. 116.

[3] Примеры цит. по изд.: Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. I—II. Нумерация тома и столбцов в тексте в скобках.

Приведем примеры посланий XII в., выделяя элементы их структуры.

№ 1: 1) се брате 2) (А) на мѧ еси приходилъ. и землю повоевалъ. и старѣшиньство еси с мене снялъ. (Б) ны(н) же брате и сн҃оу Роускыѧ дѣлѧ землѧ и хр(с)тыанъ дѣлѧ. не пролѣвше крови хр(с)тыаньскы. но даи ми Переѧславль. ать посажю сна своего оу Переѧславли. а ты сѣди цр(с)твоуѧ в Киевѣ. (В) не хощеши ли того створити 3) за всимъ бъ̀ (II, 380).

№ 2: 1) брате и сватоу 2) (А) ѡ(т)чиноу нашю и хлѣбъ нашъ взялъ еси. (Б) ажь любишь с нами рѧдъ правыи. и в любви с нами быти то мы любви не бѣгаемь. и на всеи волѣ твоеи станемь. (В) пакы ли что еси оумыслилъ. а того не бѣгаемь же. 3) да како ны бъ̀ расоудить с вами и стыи Спсъ̀ (II, 698—699).

№ 3: 2) (А) то есть было пре(ж) дѣдъ наши(х) и при ѡ(т)цихъ наши(х). миръ стоить до рати. а рать до мира. ны(н) же на на(с) про то не жалоуи. ѡже есмы оустали на рать. жаль бо ны есть бра(т) своего Игорѧ. а того есмы искали. абы ты поустилъ брата наше(г) аже ouже бра(т) нашь оубитъ. а пошелъ к бви а тамо намъ вси(м) быти. а то бвѝ правити. (Б) а мы доколѣ хочемъ Роускоую землю гоубити. а быхомъ ѧ оуладили (II, 364).

Для сравнения использован текст княжеского письменного послания конца XI в., близкий и по содержанию и по форме к посланию черниговских князей (№ 3). Сравниваемый текст является отрывком из грамоты Мстислава Владимировича, который Мономах цитирует в своем письме[4] к Олегу Святославичу: 2) (А) ладимъсѧ и смѣри(м)сѧ. а братцю моему судъ пришелъ. (Б) а вѣ ему не будевѣ местника. но възложивѣ на бо̀. а стануть си пре(д) бмъ̀. а Русьскы земли не погуби (I, 252).

В соответствии со структурой посланий в их формуляре выделяются формулы, типичные для каждой из перечисленных частей.

В первой части отправитель обращается к форме звательного падежа: брате ѡже тѧ привели старѣишаѧ дружина. а поѣди Ростову (I, 380); бра(т)ѧ что тако дѣлаѥте (I, 401); сну̀ мнѣ с кимъ Рускую землю оудержати с тобою. а поѣди сѣмо (II, 479); сватоу кр(с)тъ еси ко мнѣ целовалъ на томъ. Кто мнѣ ворогъ. то и тобѣ ворогъ (II, 701).

Отличительной особенностью княжеских посланий XII в. является использование для выражения обращений существительных, обозначающих родственные отношения, хотя на самом деле, как отмечает В. Т. Пашуто, «термины родства уже давно стали формой вассалитета» [5].

[4] Текст письма Мономаха не рассматриваем, так как его содержание, а следовательно, и структура выходят за рамки обычной княжеской дипломатии. Ср., однако, строки, сходные с началом черниговского послания: то бо были рати при оумны(х) дѣтѣ(х) [ошибочно вместо дѣдѣхъ] наши (х). при добры(х) и при ближнихъ ѡцихъ нашихъ (I, 252).

[5] *Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В., Шушарин В. П., Щапов Я. Н.* Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965, с. 60.

Очевидно, таким положением вещей объясняется употребление во второй половине XII в. в функции обращений двух равноправных существительных, одно из которых определяет степень вассальной зависимости, а другое выражает родственные связи: брате и свате. Романко ѡ(т) на(с) ѡ(т)ступилъ (I, 413); брате и ѡ(т)це ако ни в оумѣ своемъ ни на ср(д)ци ми того не было (II, 373); брате и сноу. много ти есмь добра творилъ (II, 619); брате и сватоу аже ти поути петоуть азъ ти сѧ повѣдаю. есть ми поуть на Литвоу (II, 676).

В это же время наблюдаются и первые случаи включения в состав обращения к старшим по положению князьям существительного *господин*: и посла [Владимир Галицкий] ко Всеволодоу. ко оуеви своемоу в Соуждаль. и молѧсѧ емоу ѡче г(с)не оудержи Галичь подо мною. а ѩзъ бжии и твои есмь со всимъ Галичемь. а во твоеи волѣ есмь всегда (II, 667).

В отдельных случаях как обращение используются предложения и даже ряд предложений, следующих одно за другим: брата еста моѩ. хр(с)ть еста цѣловала на томъ. ако моего. что есть то исправити (II, 394); ты намъ братъ еси. поиди же въ свои Суждаль (II, 443); ты ѡць ты г(с)нъ ты бра(т). гдѣ твоѩ обида будеть ми переже тобе главы своѣ сложи(м) за тѧ (I, 403).

Такие конструкции в начале посланий, по-видимому, преследуют цель выявить сущность вассальных отношений отправителя и адресата. И так как эта сущность зачастую не совпадает с их родственными связями, то адресат, желая выразить ее как можно точнее, обращается даже к сложноподчиненному предложению: «ако мнѣ Гюрги ѡць тако мнѣ и ты ѡць» (II, 395), — заявляет двоюродный брат Изяслава Мстиславича. «Отцом» признает его и юный Ярослав Галицкий: аче бъ ѡ(т)ца е(г) понѧлъ. а ты ми буди въ ѡ(т)ца мѣсто (II, 464). Вячеслав Владимирович называет племянника не только «сыном», но и равным себе «братом», что выражено весьма многословно с цитированием прямой речи: аже дѣеши ты мои еси ѡць а ты мои и снъ оу тебе ѡ(т)ца нѣту а оу мене сна нѣтуть. а ты же мои снъ ты же мои братъ (II, 418).

Кроме указания на лицо, к которому направляется послание, его первая часть может включить слово-приветствие или формулу пожелания. В первом случае она является однокомпонентным определенно-личным предложением, в котором выделяются два элемента: 1) косвенное дополнение в форме дательного падежа — адресат; 2) сказуемое предложения — приветствие. Например: брате кланаю ти сѧ. ты еси мене старѣи а како ты вгадаеши а ѩзъ в томъ готовъ есмь (II, 365); ѡ(т)це кланаю ти сѧ а чо ми бъ ѡ(т)ца ми Мистислава ѡ(т)нѧлъ. а ты ми еси ѡць (I, 417).

Как можно заключить из приведенных примеров, глагол *кланяться* имеет в них наряду со значением приветствия и значение «изъявлять покорность, признавать себя вассалом». Употребление глагола *кланяться* в таком специальном значении составляет спе-

цифику княжеских посланий, и документами этого времени не засвидетельствовано. По наблюдениям Н. А. Мещерского, в берестяных грамотах в качестве формул начала употребляются обороты с существительными *поклонь* и *покланяние*, а также *челобитье*. Разновидностью последней формулы являются начальные слова «такому-то целом бью» [6].

Специфику княжеских посланий составляет и употребление в качестве приветствия формулы пожелания *богъ помози* с управляемым дательным падежом адресата: бъ помози зятю нашему королеви. и братоу нашему Болеславу. и снѣви нашемоу Индриховѣ ѡже межи нами добра хочете (II, 388); снѣ бъ ти помози. ѡже на мене еси ч(с)ть возложилъ (II, 419); бъ ти помози брате. ѡже на еси тако помоглъ (II, 420).

В синтаксическом плане здесь представляет интерес сказуемое в реликтовой форме побудительного наклонения [7].

При отсутствии приветствия или пожелания начальная часть может иметь сугубо информативный характер, что достигается введением глагола *являти* в значении «сообщать»: и посласѧ Изѧславъ к Ростиславоу братоу своемоу и ре(ч) емоу бра(т) ꙗвлѧю ти. на Ѳлгови(ч) есми ходилъ (II, 362). Синонимом глагола *являти* выступает оборот *ведомо буди*, имеющий более официальный характер: Изѧславъ же съ ꙗростью ѡ(т)вѣща ему. вѣдомо ти буди брате всѧко не ворочюсѧ (II, 499); Андрѣи же. . . посла к новгородцемъ. река имъ вѣдомо буди. хочю искати Новагорода. и добромъ и лихомъ (II, 509).

Строение второй части послания (изложение его содержания) тоже подчиняется определенным правилам. Указывая в первой единице на обстоятельства и причины, которые побудили его к переговорам, отправитель обычно использует следующие виды самостоятельных предложений.

С первым словом — подлежащим. Подлежащее, как правило, выражено личным местоимением: мы оуже зло створили ѥсмы (I, 173); вѣ послевѣ к брату своєму (I, 173); азъ во всемь виноватъ (I, 379); ꙗ не ищю подъ тобою ничего же (II, 603); ты ми еси самъ реклъ (II, 405); Реже встречается подлежащее, выраженное существительным: Всеславъ ти бѣжалъ (I, 173); королъ зѧть твои пустилъ ти помочь (II, 434); зѧть мои перестоупилъ рѧдъ (II, 697).

Первое предложение начинается второстепенным членом — дополнением (с предлогом или без предлога) или обстоятельством: на Ѳлгови(ч) есми ходилъ. к Черниговоу ходилъ и на Ѳлговѣ есми стоꙗлъ (II, 362); оу тебе снѣвъ. 3. (II, 430); ѡ(т)чиноу нашю и хлѣбъ нашь взѧлъ еси (II, 698); всѧко не ворочюсѧ (II, 499).

С начальным дополнением или обстоятельством первое предло-

---

[6] *Мещерский Н. А.* Существовал ли «эпистолярный стиль» в Древней Руси? (Из заметок о грамотах на бересте). — В кн.: Вопросы теории и истории языка (Сб. в честь проф. Б. А. Ларина). Л., 1963, с. 213—214.

[7] См.: Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982, с. 137.

жение может быть вопросительным: что тако дѣлаете (I, 401); кому ищеши волости (II, 499); чему тобѣ наша ѡтчина (II, 578).

Нередко начальному слову предшествует указательная частица *се*: се ты не шелъ єси с нама на погань (I, 228); се оугри оуже идуть (II, 385); се оуже мы идемъ на су(д) бжии (II, 434); се брате бъ скупилъ на по месту (II, 421); се прислалъсѧ еси к нама (II, 452).

Особую группу составляют документы, в которых изложение содержания начинается характерной для крестоцеловальных грамот формулой *цѣловалъ* (*цѣловали*, *цѣлуемъ*, *цѣлуйте* и т. д.) *крестъ*. За крестоцеловальной формулой, как правило, следует ссылка на условия договора: ты е(с) намъ хр(с)тъ цѣловалъ ако ти поити с нами [на] Изѧслава (II, 363 ; на то(м) цѣлун хр(с)тъ ѩко ти в томъ въ всем оустоѩти и Киева подъ Вѧчеславо(м) и подъ Изѧславомъ не искати (II, 443); Рогъволодъ же цѣлова к нимъ хр(с)тъ. на томъ ѩко не поманути ему всего того (II, 495). По наблюдениям В. И. Борковского, безличные предложения с инфинитивом в качестве сказуемого имели чрезвычайно широкое распространение в грамотах. Это «может быть частично объяснено тем, — пишет он, — что в грамотах требуется четко и кратко перечислить обстоятельства, которые выполняются в течение всего срока действия грамоты» [8].

Дальнейшее изложение событий и обстоятельств, которые побудили отправителя направить послание, не связано с какими-то специальными видами формул. В зависимости от содержания и других причин оформление этой части документа может быть разнообразным. именно здесь наиболее ярко проявляются индивидуальные черты авторского стиля. Так, полной противоположностью кратким энергичным посланиям Юрия Долгорукого являются многословные послания старшего его брата Вячеслава Владимировича, в которых эта единица разрастается за счет всякого рода мелких подробностей, цитирования чужих высказываний и т. д. (Ср. II, 385—386, 429—430).

Вторая единица основной части послания представляет собой особую формулу, в которой заключается указание на те действия, в которых заинтересован отправитель документа.

Ее типичное начало — побудительное предложение, включающее повелительную форму глагола: иди ис Суждала Мурому а в чюжеи волости не сѣди (I, 237); даи мою дружину добро(м) (I, 403); а вороти ми товара брата моего со што любо (II, 375); молитесѧ ѡ мнѣ королеви (II, 450). Желая смягчить свое требование, отправитель прибегает к первому лицу двойственного или множественного числа: послѣзѣ же ко Стославоу Ѡлговичю (II, 374); а ѡ(т)толѣ миръ възмевѣ (I, 380); а вѣ сѧ сама оурадивѣ (II, 430); а извѣстимся и ѣще. ако на семъ пути. ни тѧжи. имѣти ни которого же извѣта (II, 345).

Намериваясь избежать какого-либо действия, он употребляет повелительную форму глагола с отрицанием. Например: не бѣгаи ни-

---

[8] *Борковский В. И.* Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение. Львов, 1919, с. 80.

каможе (I, 240); не мори сѧ голодомъ с дружиною. и людии не помори (I, 402); не тучи ѡ сну моемь (II, 339); ны(н) же на на(с) про то не жалоуи (II, 364); а крови хр(с)тьѩнъски не пролѣимы (II, 431). Нередко в эту единицу входят сложноподчиненные предложения, выражающие условные отношения, например: ѡже тѧ привели старѣишаѧ дружина. а поѣди Ростову. а ѡ(т)толѣ миръ възмевѣ (I, 380); аже сѧ хощеши со мною рѧдити. ать поѣдеть Изѧславъ Володимирю. а Ростиславъ Смоленьскоу а вѣ сѧ сама оурѧдивѣ (II, 430); аже ти будемъ вборзѣ надоби. а посли противу к намъ атъ мы борже поидемъ (II, 434); ны(н) же ѡже хощеши. поити на Изѧслава. а поиди а мы с тобою (II, 363).

За просьбой или требованием нередко следует указание на те последствия, которые угрожают адресату в случае их невыполнения. Формула угрозы обычно представляет собой различные виды сложноподчиненных условных предложений: 1) предложения, связанные условными отношениями: аще ли хощеши гнѣвъ имѣти и погубити гра(д). то вѣси ѩко нама жаль ѡтнѧ стола (I, 173); 2) бессоюзные: не идеши ли а мы есмь въ хр(с)тьномъ цѣлованьи прави. а не можемъ мы ѡдини ратью погыбати (II, 363); пакы ли брате не поѣдеши на мѧ. не жалуи. аже моеи волости пожень быти (II, 386); не хочеши ли оуправити а то оузримъ (II, 394); не хочета ли того. всего исправити. то ѩ в ѡбидѣ не могу быти (II, 394). Возможны, однако, и другие сложноподчиненные предложения, например с придаточным уступительным: аче ти мѧ оубити сноу на семъ мѣстѣ. а оубии а ѩ не ѣдоу (II, 397).

Обращение к богу (третья часть документа) чаще всего выражается различными видами побудительных предложений: а бъ промежи нами будеть (I, 230); а тои ны прч(с)тѣи г ки судити съ снмъ своимъ и бмъ наши(м). въ сни вѣкъ и в будущии (II, 431); да како насъ бъ расоудить и кр(с)тъ ч(с)(т)ныи (II, 693); да како ны бъ расоудить с вами и стыи Спсъ (II, 699). Как правило, такое предложение является главной частью сложноподчиненного условного редложения; пакы ли хощеши на мое старишиньство поѣжати ѩко то еси поѣхалъ. да бъ за всимь (II, 430). В той же синтаксической форме, что и упование на бога, может содержаться указание на зависимость происходящих событий от вполне реальных земных обстоятельств: а иже поѣдуть на тѧ с хвалою. а бъ будеть с тобою и ѩ и моѧ сновца (II, 499).

Послания, включенные в летописи, имеют своеобразное синтаксическое строение, во многом, однако, совпадающее со строением известных письменных документов [9]. Наиболее четко сходство между

---

[9] Ср.: *Шахматов А. А.* Исследование о Двинских грамотах XV века. — В кн.: Исследования по русскому языку/Изд. ОРЯС АН. СПб., 1903, т. II, вып. 3, с. 125—140; *Борковский В. И.* Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение; *Борковский В. И.* Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение. М., 1958; *Аванесов Р. И., Борковский В. И.*, Палеографический и лингвистический анализ новгородских грамот на бересте. М., 1955, и др.

ними прослеживается в использовании устоявшихся речевых трафаретов, закрепленных длительным употреблением. Подобные устойчивые формулы определенно выделяются как вначале, так и в конце княжеских посланий.

Все это свидетельствует о том, что в XI—XII вв. существовала устойчивая традиция их оформления, сохранившаяся в основных своих чертах на протяжении долгого времени. Однако в пределах этой традиции отдельные отправители имели большие возможности для выявления индивидуальных особенностей своего авторского стиля. Отраженные в древнерусском летописании дипломатические переговоры князей отличаются таким богатством синтаксического выражения, которое, на наш взгляд, могло появиться лишь в результате использования летописцами письменных источников.

ИСТОЧНИКИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Аввакум, Житие — «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное и другие его сочинения»/Под ред. Н. К. Гудзия. М.: Гослитиздат, 1960.

Аввакум, Письма — Письма протопопа Аввакума. — Там же.

АВК — Акты, изд. Виленскою Археограф. комиссиею для разбора древних актов. Т. I—XXXIX. Вильна, 1865—1915.

АИ — Акты исторические, собр. и изд. Археограф. комиссиею. СПб., 1841—1842. Т. I—III.

Алекс. — Александрия начала XVII ст. Ркп. ГПБ, Q. XVII.

Арист. — Аристотелевы врата конца XVI ст. — В кн.: *Сперанский М. Н.* Из истории отреченных книг. СПб., 1908. Т. IV.

Арх. Стр. I — Архив П. М. Строева, т. I. — РИБ, т. 32. Пг., 1915.

АМГ I — Акты Московского государства. Изд. Акад. наук./Под ред. Н. А. Попова. СПб., 1890. Т. I.

Англ. д. — Памятники дипломатических сношений Московского государства с Англиею, т. 2 (с 1581 по 1604 г.). — Сб. РИО, т. 38. СПб., 1883.

Арц. и Тих. — *Арциховский А. В., Тихомиров М. Н.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). М.: Изд-во АН СССР, 1953 (№ 1—10).

Астрах. а. — Акты Астраханской воеводской избы XVII в. — Хран. в ЛОИИ, ф. 178.

АХУ II — Акты Холмогорской и Устюжской епархий, ч. 2. — РИБ, т. 14. СПб., 1894.

АЮБ — Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Изд. Археогр. комиссией/Под ред. Н. Калачова. СПб., 1857—1884. Т. I—III.

Бер. — Лексикон словенороський Памви Беринди. К.: Вид-во УСРР, 1961.

Библия — Библейские книги начала XVII ст. Ркп. ГПБ, 1.2.

Бова — Повесть о Бове около 1580 г. — В кн.: *Веселовский А. Н.* Из истории романа и повести. — Сб. ОРЯС, 1888, т. 44, № 3.

Барк. — Баркулабовская летопись. — Киевские университетские известия, 1898, (год 38-й) № 12.

Волх. — Повесть о трех королях-волхвах конца XV ст. Ркп. ГПБ, Q, I, 391, л. 39—96 об.

ВЧМ — Великие минеи четии, собр. всероссийским митрополитом Макарием, 1897. Вып. 6.

ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова/Подгот. к печати В. Г. Гейман, Н. А. Казанова, А. И. Копанев, Г. Е. Кочин, Р. Б. Мюллер и Е. А. Рыдзевская/Под ред. С. Н. Валка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.

Грамотки — Грамотки XVII—начала XVIII века/Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова/Под ред. С. И. Коткова. М., 1969.

Домострой — Домострой XVI в. — В кн.: *Орлов А. С.* Домострой по Коншинскому списку и подобным. — Изд. ОРЯС, 1908.

Дух. дог. гр. — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XV вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

Ев. Арх. — Архангельское евангелие 1092 г. — В кн.: Древние памятники Русского письма и языка. Труд И. И. Срезневского. 2-е изд. СПб., 1882.

Ев. Мст. — Апракос Мстислава Великого/Под ред. Л. П. Жуковской. М.: Наука, 1983.

Ев. Остр. — Остромирово евангелие 1056—1057 гг./Изд. А. Х. Востоковым. СПб., 1843.

Ж. Феод. Печ. — Житие Феодосия Печерского, по Успенскому сборнику XII в. — В кн.: Сборник XII века Московского Успенского собора/Под ред. А. А. Шахматова и П. А. Лаврова. М., 1899. Вып. I.

Изб. 1073 г. — Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 г. — Изд. ОЛДП, 55. СПб., 1880.

Изб. 1076 г. — Изборник 1076 года/Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов/Под ред. С. И. Коткова. М., 1965.

Ио. екз. Бог. — Богословие святого Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна ексарха Болгарского, сп. XII—XIII вв. — Чтения ОИДР, 1877, кн. 4.

Ист. — Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII—начала XVIII века. М., 1964.

ИЮМ — Историко-юридические материалы, извлеченные из архивных книг губерний Витебской и Могилевской. Витебск, 1871—1906. Вып. I—XXXII.

Казанск. ист. — Казанская история/Подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Г. Н. Моисеевой/Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1954.

КВС — Книга Виленского замкового суда 1552 г. Ркп. ЦГАДА, ф. 389, кн. 240.

Кн. прих.-расх. Синб. — В кн.: *Зерцалов А. Н.* Материалы для истории Синбирска и его уезда/Приходо-расходная книга Синбирской приказной избы /1665—1667 гг. Симбирск, 1896.

Козм. — Книга глаголемая Козмография, сиречь описание с его света земель и государств великих, сп. 1670 г. СПб., 1878—1881.

Котош. — *Котошихин Г.* О России в царствование Алексея Михайловича. М., 1906.

К. с. — Книга степенная царского родословия. — ПСРЛ. СПб., 1908—1913. Т. XXI.

КСДР—Картотека Словаря древнерусского языка XI—XIV вв., сост. и хран. в Ин-те рус. яз. АН СССР.

К. Тур. — Слово Кирилла Туровского. — В кн.: *Сухомлинов М.* Рукописи графа А. С. Уварова. СПб., 1858. Т. II.

Куранты[1] Вести-Куранты. 1600—1639 гг. М., 1973.

Куранты[2] — Вести-Куранты 1642—1644 гг. М., 1976.

Летописец 1619—1691 гг. — В кн.: Летописцы последней четверти XVII в. — ПСРЛ. М., 1969. Т. 31.

Лет. сказ. — Летописное сказание Петра Золотарева. — ПСРЛ. М., 1968, Т. 31.

Лет. Ипат. — Ипатьевская летопись, ок. 1425 г. — ПСРЛ. 2-е изд./Под ред. А. А. Шахматова. СПб., 1908. Т. II.

Лет. каз. — Казанский летописец. — В кн.: История о Казанском царстве. — ПСРЛ. СПб., 1903. Т. XIX.

Лет. Лавр. — Лаврентьевская летопись, 1337 г. — ПСРЛ, 2-е изд. Л., 1926—1928. Т. I, вып. 1—3.

Лет. Моск. — Московский летописный свод конца XV в. — ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25.

Лет. Ник. — Летопись Никоновская. — ПСРЛ. СПб., 1885. Т. X.

Лет. Новг. I Комисс. — Новгородская I летопись (Комиссионный список). — В кн.: Новгородская I летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

Лет. Новг. I Синод. — Новгородская I летопись (Синодальный список). — Там же.

Лет. Новг. II — Новгородская II (Архивная) летопись. — ПСРЛ. М., 1965. Т. 30.

Лет. Новг. IV — Новгородская IV летопись, вып. 2. — ПСРЛ, Л., 1925, Т. 4, ч. 2, вып. 2.

Лет. Пск. I — Псковская первая летопись (Тихановский список). — В кн.: Псковские летописи, вып. I/Под ред. А. Насонова. М.; Л., 1941.

Лет. Соф. — Софийские летописи. — ПСРЛ. СПб., 1853. Т. VI.

Лет. Суздал. — Суздальская летопись. — ПСРЛ. Л, 1927. Т. I, вып. 2.

Лет. Тр. — Троицкая летопись 1408 г. — В кн.: *Приселков М. Д.* Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.; Л., 1950.

Лет. Устюж. — Устюжский летописный свод/Архангелогородский летописец/Подгот. к печати и ред. К. Н. Сербиной. М.; Л., 1950.

Пересветов — Пересветов. — В кн.: *Ржига В. Ф.* И. С. Пересветов, публицист XVI в. М., 1908.

Письма Ив. IV — Письма Ивана Грозного А. Курбскому. — В кн.: Сочинения князя Курбского, т. I. — РИБ, т. XXXI. СПб., 1914.
Письма Курб. — Письма Курбского. — Там же.
ПНЧ XIV в. — Пандекты Никона Черногорца, XIV в. — ГИМ, № 16.
Пов. Кат.-Рост. — Повесть князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского. Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. 2-е изд. РИБ, т. XIII. СПб., 1909.
Пов. о прихожении — Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков/Подгот. текста и статья В. И. Малышева/Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л., 1952.
Пов. о раз. Ряз. — Повесть о разорении Рязани, не позднее XIV в. Волоколамский список XVI в. — В кн.: Воинские повести Древней Руси/Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
Пов. о Рос. царстве — Новая повесть о преславном Российском царстве и великом государстве Московском. — В кн.: Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. 2-е изд. РИБ, т. XIII. СПб., 1909.
Пов. об Азов. взятии — Историческая и поэтическая повести о взятии Азова в 1637 г. — Там же.
Пословицы XVII в. — Сборник пословиц XVII века. — В кн.: *Симони П. К.* Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и пр. — Сб. ОРЯС, 1899, № 66, № 7.
Прение — Прение живота и смерти (список сер. XVI в., собр. Софийской библиотеки, № 1454). — В кн.: Повести о споре жизни и смерти/Исслед. и подгот. текстов Р. П. Дмитриевой/Отв. ред. Я. С. Лурье. М.; Л., 1964.
Пс. XVI — Псалтырь XVI ст. Ркп. ГБЛ, 1906, № 335.
Пут. Гогары — Путешествие по святой земле дьякона Гогары в 1614 г. — В кн.: Сказания русского народа, собр. И. Сахаровым. СПб., 1849. Т. 2, кн. VIII.
Пут. Зосимы — Путешествие иеродиакона Зосимы в Царьград и Иерусалим в 1420 г. — Там же.
Пут. мин. — Минея служебная/Путятина/, май XI в. — ГПБ, Соф. № 202.
Пут. моск. купцов — Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова по святым местам в 1582 г. — В кн.: Сказания русского народа, собр. И. Сахаровым. СПб., 1849. Т. 2, кн. VIII.
Рассп. речи — Расспросные речи въ Сибирскомъ Приказѣ казака Василья Кобякова и пребыванiи его въ Туркестанѣ. — В кн.: Дополнения к актам историческим. СПб., 1867. Т. X.
Сатиры о пьянстве — Сатиры о пьянстве: «Праздник кабацких ярыжек». «Калязинская челобитная». — В кн.: Русская демократическая сатира XVII века/Подгот. текстов, статья и комментарии В. П. Адриановой-Перетц/Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л., 1954.
Сб. 81 — Сборник поучений средины XVII ст. Ркп ЦБ АН Литов. ССР, RKF-81.
Сб. 255 — Сборник поучений середины XVII ст. Ркп ЦБ АН Литов. ССР, PKF-255.
Сб. 262 — Сборник библейских книг начала XVI ст. Ркп ЦБ АН Литов. ССР, PKF-262.
Сб. 752 — Сборник житий святых второй половины XVII ст. Ркп ГИМ, Сб. Синод. 752.
Син. пат. — Синайский патерик/Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина/Отв. ред. С. И. Котков. М., 1967.
Сказ. Авр. Пал. — Сказание Авраама Палицына (окончательная редакция)/Подгот. текста и комментарии О. А. Державиной и Е. В. Колосовой/Под ред. Л. В. Черепнина. М.; Л., 1955.
Сказ. о Гр. Отрепьеве — Сказание о Гришке Отрепьеве, по сп. XVII в. — В кн.: Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. 2-е изд. — РИБ, т. XIII. СПб., 1909.
Сказ. про Бову — Сказания про храброго витязя, про Бову королевича. — В кн.: *Гудзий Н. К.* Хрестоматия по древней русской литературе XI—XVII вв. 7-е изд. М.: Учпедгиз, 1962.
Сл. Дан. Зат. — В кн.: Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. Л.: Изд-во АН СССР, 1932.
Сл. о Кулик. битве — Слово о Куликовской битве Софония Рязанца/(Задон-

щина). — В кн.: Воинские повести древней Руси/Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.

Сл. о плк. Иг. — Слово о полку Игореве/Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950.

СлРЯ XI-XVII сс. — Словарь русского языка XI—XVII вв., вып. 2. М., 1976; вып. 5, 1978, вып. 11 — в печати.

Сл. Ср. — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. I—III. СПб., 1893—1903 (примеры, взятые из словаря, даны с принятыми в нем сокращениями).

Смол. гр. 1229 г. — В кн.: Смоленские грамоты XIII—XIV вв./Подгот. к печати Т. А. Сумникова и В. В. Лопатин/Под ред. Р. И. Аванесова. М.: Изд-во АН СССР, 1963.

Ст. 1588 — Статут Великого княжества Литовского. Вильна, 1588.

Ст. о Смуте — Статьи о Смуте, извлеченные из Хронографа редакции 1617 г. и Отповедь в защиту патриарха Гермогена. — В кн.: Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. 2-е изд. — РИБ, т. XIII. СПб., 1909.

Стоглав — Стоглав. Царьския вопросы и соборныя ответы о многоразличных церковных чинех. М., 1890.

Суд. Ив. IV — Судебник Ивана IV. — В кн.: Акты исторические, собр. и изд. Археограф. комиссиею. СПб., 1841. Т. I (1334—1598), № 153.

Суд. Фед. Ив. — Судебник царя Федора Иваповича. Изд. Комиссией печатания госуд. грамот. М., 1900.

Трист. — Повесть о Тристане около 1580 г. — В кн.: *Веселовский А. А.* Из истории романа и повести. — Сб. ОРЯС, 1888, т. 44, № 3, с. 1—127.

Улож. 1649 г. — Соборное Уложение царя Алексея Михайловича (1649 г.). М., 1907.

Хож. Аф. Ник. — Хожение за три моря Афанасия Никитина, 1466—1472 гг./ Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1958.

Хр. 2405 — Книга, глаголемая кроникъ, сиречь собрание от многихъ летописецъ (Хронограф XVII ст.). Ркп. ГБЛ, № 2405.

Хронограф № 154 — Ркп. ГИМ, Воскр. № 154.

Чет. — Четья 1489 г. Ркп. ГБ АН УССР, ДО/415 л.

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Кузьмина И. Б. (Москва)
О возможности использования результатов сопоставительного изучения разновременных лингвогеографических данных для исторического синтаксиса русского языка 6

Трестерова З. (Чехословакия)
К некоторым особенностям связности древнерусского текста и их роли в перестройке «типа» синтаксиса 13

Попова З. Д. (Воронеж)
Об изучении сложных предложений старорусского языка 20

Кузнецова Р. Д.
Функции начальных союзов в памятниках русской письменности XI—XVII вв. 27

Кершиене Р. Б. (Москва)
Особенности сочинения (сложные предложения) в письменных памятниках древнерусского и старорусского языков 33

Морозова С. Е. (Москва)
Многокомпонентные конструкции в летописи Грабянки 40

Ринберг В. Л. (Ивано-Франковск)
К проблеме конструкции прямой речи и связаного текста в историческом синтаксисе 49

Лопатина Л. Е. (Москва)
Средства организации текста при передаче чужой речи (на материале судебных документов XVII в.) 57

Преображенская М. П. (Москва)
Служебное слово *дак* в северноруссских говорах 65

Сабенина А. М. (Москва)
«Дательный самостоятельный» как высокий стилистический вариант предложения 73

Собинникова В. И. (Воронеж)
Однокомпонентные безличные предложения со значением «стихийного явления природы» в славянских языках 80

Владимирова Л. А. (Москва)
Функционально-семантические особенности местоимений *чьто* (*что*), *кыи* и их синтаксические эквиваленты 88

www.rustang.ru

Сорокина В. К. (Москва)
Синонимичные словосочетания пространственного значения в русских памятниках письменности XV—XVII вв. 93

Харпалева В. Ф. (Москва)
О вариативности форм объекта в памятниках русской письменности XV—XVII вв. 100

Шелихова Н. Т. (Москва)
Атрибутивные словосочетания со значением количественной характеристики имен действия в старорусских памятниках 108

Богатова Г. А. (Москва)
Реализация категории лица/нелица по данным словаря исторического жанра 114

Глинкина Л. А. (Челябинск)
К проблеме грамматической нормы в деловой письменности XVIII в. 120

Гумецкая Л. Л. (Львов)
Глагольный постфикс *-ся* в украинском языке 126

Кедайтене Е. И. (Москва)
Вариативность форм имен существительных мужского рода единственного числа в языке памятников полемической литературы юго-западной Руси XVI—XVII вв. 130

Лопушанская С. П. (Волгоград)
Элемент *-тъ* (*ть*) в формах прошедшего времени древнерусского глагола 135

Шаламова А. Н. (Москва)
Подвижность приставки *не-* в древнерусском и старорусском языке (по письменным памятникам XI—XVII вв.) 142

Кобаяси Масанари (Япония)
Заметки об истории сказуемого на *-no*, *-to* в польском языке (перевод с польского Л. Е. Лопатиной) 147

Азарх Ю. С. (Москва)
Об актуальной и исторической производности слова 150

Санников В. З. (Москва)
О степени лексической близости древнерусской, старорусской, староукраинской и старобелорусской письменной речи 156

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Арутюнова Н. Д. (Москва)
Что мы предпочитаем? (семантическая структура народных суждений о предпочтительности) 164

Бромлей С. В. (Москва)
Восточнославянские языки как объект лингвогеографии 172

Груцо А. П. (Минск)
Наименование некоторых частей руки и ноги в белорусском языке 180

Иванчикова Е. А. (Москва)
Аспекты изучения синтаксиса художественной прозы 184

Ивич Милка (Югославия)
Об одной экспрессивной синтаксической конструкции (перевод с сербохорватского языка И. П. Петлевой) 192

Караулов Ю. Н. (Москва)
Семантическая иерархия в словаре и ее отражение в синтаксисе 197

Лекант П. А. (Москва)
Глагол и предложение 202

Прокопович Е. П. (Москва)
Синтагматика видо-временны́х форм русского глагола 207

Рогожникова Р. П. (Ленинград)
Временна́я и стилистическая дифференциация служебных слов 214

Ширяев Е. Н. (Москва)
Бессоюзные сложные предложения в стихотворной поэтической речи 220

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Булахов М. Г. (Минск)
«Слово о полку Игореве» в оценке Е. Ф. Карского 227

Вомперский В. П. (Москва)
Первая петербургская риторика начала XVIII в. 231

Воронцова В. Л. (Москва)
«Российская грамматика» А. А. Барсова как источник сведений об ударении второй половины XVIII века 237

Дерягин В. Я. (Москва)
Варьирование в формулах русской деловой речи XV—XVII вв. 243

Жуковская Л. П. (Москва)
Несколько страничек из истории филологической науки: русские академики и издание Мстиславова евангелия 249

Князевская О. А. (Москва)
Древнейшая славянская рукопись Хроники Георгия Амартола 253

Кутина Л. Л. (Ленинград)
Из истории русской филологической науки (Словарь Академии Российской) 260

Орешников А. С. (Москва)
Примечания к тексту «Русской Правды» 267

Сорокин Ю. С. (Ленинград)
К истории термина «мышление» 271

Толстой Н. И. (Москва)
Заметки по славянской демонологии. 3. Откуда название *шулик-куп*? 278

Франчук В. Ю. (Киев)
Княжеские послания XI—XII вв. 286

Источники и принятые сокращения 294

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ

ЯЗЫКИ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА

К 85-летию
академика В. И. Борковского

Утверждено к печати
Институтом русского языка
Академии наук СССР

Редактор издательства Л. М. Гаврилова
Художник И. В. Козик
Художественный редактор А. В. Кабатова
Технический редактор З. Б. Павлюк
Корректоры Н. Г. Васильева, Т. С. Козлова,
Ю. Л. Косорыгин

ИБ № 29741

Сдано в набор 12.12.84
Подписано к печати 25.04.85
Формат 60×90¹/₁₆
Бумага книжно-журнальная.
Импортная
Гарнитура обыкновенная новая
Печать высокая
Усл. печ. л. 19,1. Усл. кр. отт. 19,1. Уч.-изд. л. 22,5
Тираж 2950 экз. Тип. зак № 2192.
Цена 2 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул. 90

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА

15 л. 1 р. 60 к.

Работа освещает круг актуальных вопросов, связанных с проблемой взаимоотношения языка и идеологии. Дается анализ достижений социалистического общества в области языковой политики многонационального государства. Критически рассматриваются буржуазные теории по данной проблеме.

Для лингвистов широкого профиля, социологов, преподавателей вузов, аспирантов.

А. А. Зализняк

ОТ ПРАСЛАВЯНСКОЙ АКЦЕНТУАЦИИ К РУССКОЙ

25 л. 3 р.

Книга представляет собой первое целостное описание исторической эволюции акцентной системы русского языка от праславянской к современной. Монография входит в цикл работ (коллектива авторов) по диахроническому обследованию славянских акцентных систем, подготавливающих создание «Сравнительного акцентологического словаря славянских языков».

Для широкого круга лингвистов, изучающих сравнительную грамматику славянских языков, историю русского языка и диалектологию, а также для специалистов по акцентологии и общему языкознанию.

ЯЗЫК И МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

20 л. 2 р. 50 к.

Книга посвящена проблемам функционального и внутриструктурного развития языков в связи с их применением в сфере массовой коммуникации. На большом фактическом материале рассматриваются социолингвистические проблемы развития средств массовой информации и пропаганды на языках народов СССР.

Для исследователей массовой коммуникации, лингвистов, практических работников периодической печати, радио, кино, телевидения, работающих в условиях многоязычной аудитории.

Л. П. Калакуцкая

СКЛОНЕНИЕ ФАМИЛИЙ И ЛИЧНЫХ ИМЕН В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

20 л. 2 р. 50 к.

Монография содержит теоретическое описание и конкретные практические рекомендации относительно склонений фамилий и личных имен в русском литературном языке.

Для широкого круга читателей — лингвистов, преподавателей русского языка, редакторов, корректоров газет и журналов, работников радио и телевидения.

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: 117192 Москва, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой».

480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13 («Книга — почтой»);
320093 Днепропетровск, проспект Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 Душанбе, проспект Ленина, 95 («Книга — почтой»);
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289;
420043 Казань, ул. Достоевского, 53;
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252030 Киев, ул. Пирогова, 2;
252142 Киев, проспект Вернадского, 79;
252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);
277012 Кишинев, проспект Ленина, 148 («Книга — почтой»);
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1;
660049 Красноярск, проспект Мира, 84;
443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»);
191104 Ленинград, Литейный проспект, 57;
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2;
196034 Ленинград, В/О, 9 линия, 16;
220012 Минск, Ленинский проспект 72 («Книга — почтой»);
103009 Москва, ул. Горького, 19а;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
630076 Новосибирск, Красный проспект, 51;
630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22 («Книга — почтой»)
142292 Пущино, Московская обл., МР, «В», 1;
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
450025 Уфа, ул. Коммунистическая 49;
720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).